

*IX*

*Acta Slavica Estonica*

СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА И  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
TRANSLATION STRATEGIES AND  
STATE CONTROL

---



UNIVERSITY OF TARTU  
Press

ACTA SLAVICA ESTONICA IX

*Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение X.  
Стратегии перевода и государственный контроль.  
Translation Strategies and State Control.  
Тарту, 2017*



Тартуский университет  
Отделение славистики  
Кафедра русской литературы

ACTA SLAVICA ESTONICA IX

Труды по русской и славянской филологии  
Литературоведение  
X

Стратегии перевода  
и государственный контроль  
Translation Strategies and State Control



UNIVERSITY OF TARTU  
Press

**Acta Slavica Estonica IX.** Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, X. Стратегии перевода и государственный контроль. Translation Strategies and State Control. Ответственный редактор Леа Пильд. Тарту, 2017. 395 с.

Международная редколлегия серии “Acta Slavica Estonica”:

И. Абисогомян (Эстония), Д. Бетеа (США), А. Дуличенко (Эстония),  
Л. Киселева (Эстония), Е.-К. Костанди (Эстония), И. Кюльмоя (Эстония),  
А. Лавров (Россия), М. Мозер (Австрия), В. Мокиенко (Россия),  
А. Мустайоки (Финляндия), Т. Степанищева (Эстония), В. Храковский (Россия)

Международная редколлегия «Трудов по русской и славянской филологии.  
Литературоведение»:

Д. Бетеа (США), А. Долинин (США), С. Доценко (Эстония),  
Л. Киселева (Эстония) — председатель редколлегии, А. Лавров (Россия),  
Р. Лейбов (Эстония), А. Немзер (Россия), А. Осповат (США/Россия),  
П. Песонен (Финляндия), Л. Пильд (Эстония), Т. Степанищева (Эстония),  
П. Тороп (Эстония), А. Ханзен-Лёве (Германия)

Все статьи и публикации настоящего тома прошли предварительное рецензирование  
All manuscripts were peer reviewed

Ответственный редактор: Л. Пильд  
Технический редактор: С. Долгорукова

Managing editor: L. Pild  
Technical editor: S. Dolgorukova

*Издание осуществлено при финансовой поддержке Издательского совета  
Тартуского университета и в рамках институционального гранта THVLC15030I.*

*This publication was made possible by the financial support of the Publishing Board  
of the University of Tartu and within the institutional grant THVLC15030I.*

© Статьи: авторы, 2017

© Составление: Кафедра русской литературы Тартуского университета, 2017

ISSN 2228-2335 (print)  
ISBN 978-9949-77-681-8 (print)

ISSN 2228-3404 (pdf)  
ISBN 978-9949-77-682-5 (pdf)

Tartu Ülikooli Kirjastus / University of Tartu Press  
www.tyk.ee

# СОДЕРЖАНИЕ

От составителей .....	7
I. Стратегии перевода и государственный контроль	
D. Monticelli. From Modelling to Untranslatability: Translation and the Semiotic Relation in Y. Lotman's Work (1965–1992) .....	15
C. Витт. «Советская школа перевода» — к проблеме истории концепта .....	36
N. Kamovnikova. The Consciousness of Necessity: Translation of National Literatures in the Soviet Union .....	52
E. Земскова. «Права литературного гражданства»: переводчики в литературной бюрократии 1930-х годов .....	69
Л. Найдич, А. Павлова. Темы, запретные для советского читателя .....	85
A. Shakhova. Paradigm Shifts in Soviet Linguistics and Translation Studies: The Case of the Linguistic Discussion of 1950.....	106
Н. Азарова. Стихи Мао Цзэдуна и судьба их переводов в России .....	122
Л. Пильд. Перевод как «интериоризация»: Фридеберт Туглас — переводчик романа А. Н. Толстого «Петр Первый» .....	135
A. Lange. Editing in the Conditions of State Control in Estonia: the Case of Loomingu Raamatukogu in 1957–1972 .....	155
M.-K. Lotman, E. Sütiste. Between Accuracy and Freedom: on Compensation Strategies in Estonian Literary Translation of the 1960s .....	174
Т. Степанищева. «Лирический фрагмент» Ф. И. Тютчева на эстонском языке: О стратегии переводчика .....	199
C. Купп-Сазонов. О двух переводах романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: вопрос цензуры .....	221

Р. Бендер. Эстонские переводы балтийско-немецких текстов в советскую эпоху и их восприятие .....	236
М. Боровикова. Шарль Бодлер в переводе М. Цветаевой .....	248
II. Перевод идеологии на язык школьных учебников	
Л. Киселева. «Окно в Европу» в переводе на язык гимназических учебников истории .....	267
Т. Гузаиров. Конструирование национальной школьной истории (на примере начальных событий Северной войны в эстонских учебниках истории 1920–1930-х гг.) .....	286
Л. Пильд. К истории одного анонимного перевода: роман А. Н. Толстого «Петр Первый» в «Хрестоматии» для эстонских школьников XI класса .....	299
А. Веселко. Русская литература в эстонской школе советского периода: границы идеологии .....	311
А. Сенькина. Между всеобучем и политпросветом: советские журналы-учебники 1930–1932 гг. ....	324
In memoriam	
Памяти Ларисы Ильиничны Вольперт .....	345
Памяти Вячеслава Всеволодовича Иванова .....	349
Указатель имен .....	351
Kokkuvõtted .....	365
Summaries .....	377
Сведения об авторах .....	390
About the Contributors .....	393

## ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящий том продолжает издания кафедры русской литературы Тартуского университета, подготовленные в рамках проекта «Идеология перевода и перевод идеологии: механизмы культурной динамики в Эстонии в условиях российской и советской власти в XIX–XX вв.»<sup>1</sup>. Сборник состоит из двух разделов и включает в себя статьи участников двух международных научных семинаров: «Стратегии перевода и государственный контроль» (Тарту, 8–10 декабря 2016) и «Учебник как идеологический текст» (Тарту, 29–30 сентября 2017), также проведенных в рамках проекта. В центре исследовательского внимания оказываются взаимоотношения государственных институтов и членов переводческого сообщества в советский период; идеология и поэтика переводов художественных произведений, вошедших в русско-советский литературный канон; механизмы трансляции идеологии в имперских и советских школьных учебниках.

В методологическом плане можно указать на единство большинства исследований этой книги. Ряду авторов близок подход к описанию советской системы, представленный в книге Алексея Юрчака о позднем социализме, в которой выявляются «несоответствия, сдвиги, разрывы внутри системы — на уровне ее дискурса, идеологии, смыслов, практик, социальных отношений, структуры времени и пространства, организации повседневности и так далее, — которые привели к возникновению этого парадокса, к ощущению системы как вечной, при ее одновременной внутренней хрупкости»<sup>2</sup>. Применительно к материалу сборника можно сказать, что в целом ряде публикуемых работ показано, как возникали и постепенно нарастали «несоответствия» и «сдвиги» в тоталитарном переводческом дискурсе, приведшие в конечном итоге к его разрушению и уничтожению.

---

<sup>1</sup> IUT34-30 Tõlkeideoloogia ja ideoloogia tõlkimine: kultuuridünaamika mehhanismid Eestis vene ja nõukogude võimu tingimustes 19.–20. sajandil / Ideology of Translation and Translation of Ideology: Mechanisms of Cultural Dynamics under the Russian Empire and Soviet Power in Estonia in the 19th – 20th Centuries. Руководитель проекта Л. Пильд. См. предыдущее издание: Идеологические контексты русской культуры XIX–XX вв. и поэтика перевода / Ed. L. Pild // Wiener Slavistischer Almanach. Wien: Peter Lang, 2017. Sb. 93.

<sup>2</sup> Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее советское поколение. М., 2014. С. 34 (см. оригинал: *Yurchak, A. Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation. Princeton University Press, 2006*).



Первый раздел сборника посвящен проблемам идеологического контроля над деятельностью переводчиков в Советском Союзе. В ряде статей анализируются формы вмешательства цензуры и других государственных институций в их деятельность, а также стратегия переводчиков и комментаторов «неправильных», с точки зрения советского литературного канона, произведений. В работе **Н. Азаровой** рассматриваются особенности восприятия поэзии Мао Цзэдуна в контексте советских переводческих и литературоведческих установок 1950-х гг. Вопреки ожиданию, поэзия Мао не соответствовала каноническому образу творчества коммунистического лидера: его стихи были сложны по своей структуре, поэтому переводились мало и остались почти неизвестными советскому читателю. Исследование **А. Найдич** и **А. Павловой** посвящено цензурным запретам, которым подверглись переводы немецкой литературы. Анализируются переводы на русский язык произведений Г. Бёлля, В. Кёппена и Ф. Дюрренматта. Среди «запретных» авторы выделяют неугодные власти интерпретации исторических событий; «еврейскую» тему, отношение к которой объясняется государственным антисемитизмом в СССР; область сексуального, а также тему разгрома церкви и пропаганды атеизма в Советском Союзе. В статье **Н. Камовниковой** исследуется ситуация в СССР 1960–1980-х гг., когда предварительным условием для признания писателя, пишущего на одном из национальных языков, стал перевод его произведений на основной государственный (т. е. русский) язык. Чтобы обеспечить свое литературное будущее, писатель должен был сделать так называемый «свободный» выбор, который в действительности превращался в «осознанную необходимость». В статье **Е. Земсковой** показано, при каких обстоятельствах в 1930-е гг. занятия художественным переводом стали восприниматься как профессия, отдельный вид писательской деятельности. Бюрократическая машина Союза советских писателей политизировала переводческую деятельность и сделала возможным причисление переводчиков, не вполне благонадежных членов общества, к «сословию» творческих работников.

К выделенной группе статей примыкают исследования **А. Шаховой** о влиянии работы Сталина «Марксизм и языкознание» на «смену парадигм» в советском языкознании и переводоведении начала 1950-х гг. и **Р. Бендер** об эстонских переводах и рецепции произведений прибалтийско-немецких писателей в советскую эпоху. Автор заключает, что в Советской Эстонии за «железным занавесом» представление о 700-летнем подневольном существовании эстонцев под немецким владычеством было интегрировано в марксистскую концепцию истории. Участие прибалтийских немцев в литературе, особенно в сталинское время, почти всегда

представлялось в негативном ключе и в результате постепенно стиралось из культурной памяти.

Другой блок исследований первого раздела посвящен случаям «гибкого» отношения к прескриптивным нормам в переводе (вплоть до их полного игнорирования) и выяснению причин подобной практики у редакторов издательств и переводчиков художественной литературы в Эстонии в 1940–1970-е гг. В статье **А. Ланге** рассматривается деятельность первой редакции известной литературной серии “Loomingu Raamatukogu”/«Библиотека журнала “Лооминг”» в 1957–1972 гг., когда ее главным редактором был маститый переводчик Отто Самма, много сделавший для того, чтобы в печати могли появиться произведения, противостоящие тоталитарному дискурсу. «Личные отношения», связывавшие его с Москвой, приобретали важное значение при получении разрешения на публикацию, а также при привлечении сотрудников, позволяли нарушать официально установленные правила и манипулировать правящими институциями. Однако возможность избежать жесткой идеологической регламентации находили и сами эстонские переводчики. Как показано, в статье **Л. Пильд** об эстонском переводе романа Алексея Толстого «Петр Первый», осуществленном известным прозаиком Фр. Тугласом в 1940-е гг., осознанное дистанцирование переводчика от идеологической составляющей оригинального текста, которая была для него неприемлемой, и сосредоточенность на стилистической стороне романа становились возможными благодаря отсутствию четких директив, определявших норму перевода на языки национальных республик.

Отсутствие эксплицированных предписаний в этой области даже заставило некоторых переводчиков формулировать правила внутренней цензуры с целью распространить их на все переводческое сообщество и обезопасить таким образом корпорацию от возможных преследований. Например, 22 февраля 1950 г., накануне VIII пленума ЦК КПЭ, после которого начались политические репрессии, переводчик Вяйно Линаск, редактировавший перевод романа «Петр Первый» (по-видимому, для второго издания книги), писал Фр. Тугласу: «Учитывая мнение, выраженное в издательстве на последнем открытом партийном собрании, что в переводе “Петра Первого” встречается очень много малоизвестных слов, и поэтому чтение произведения для широкого читателя затруднено, я заменил в нем такие слова

на общеизвестные, а также в ряде мест изменил предложения на более удобочитаемые»<sup>3</sup>.

С наступлением «оттепели» круг возможностей избежать прямого идеологического давления государственных институтов в Эстонии, как и в других союзных республиках, расширяется. В статье **С. Купп-Сазонов** показано, как удалось скрыть от Главного управления по делам литературы и издательств подготовку к публикации эстонского перевода романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Перевод, осуществленный М. Варик и Ю. Оямаа, вышел в свет в конце 1968 г. Автор статьи, основываясь на интервью с переводчиками «Мастера и Маргариты», заключает, что и они, и главный редактор издательства считают выход романа Булгакова на эстонском языке своей небольшой победой над цензурой.

Ко второй половине 1970-х гг. на новый уровень выходит переводческая трактовка русской классической поэзии. Как показано в работе **Т. Степанищевой**, исследующей поэтику сборника 1977 г. «Ilmsi ja ulmsi» / «Наяву и во сне», переводчики А. Эхин и Л. Сеппель обратились к текстам тех русских поэтов XIX в., которые не занимали главных мест в советском литературном каноне. Поэты-классики Фет и Тютчев трактуются переводчиками как «певцы сложных психологических состояний» и неявно противопоставляются менее интересному для них поэту некрасовской школы Никитину. Автор статьи приходит к выводу, что эти переводы следует рассматривать не как выполнение официального заказа, а как авторский опыт художественного перевода, в ходе которого Эхин и Сеппель решали свои творческие задачи. Своеобразной формой противостояния властным структурам можно считать и переводческую деятельность Цветаевой в поздний период творчества. Как показано в статье **М. Боровиковой**, помимо «заказных» переводов второстепенных поэтов, Цветаева обращается к произведениям Ш. Бодлера, которые не были связаны с официальным заказом и необходимостью переводить для заработка. Цветаевские переводы из Бодлера демонстрируют глубинную связь с ее оригинальным творчеством.

Отдельную группу в сборнике составляют работы, анализирующие теоретические проблемы перевода в советскую эпоху. Важное место в них

<sup>3</sup> Ср.: «Arvestades viimasel lahtisel parteikoosolekul kirjastuses avaldatud arvamust, et "Peeter Esimene" tõlkes esineb väga palju vähetuntud sõnu, mistõttu teose lugemine on laiaelede rahvahulka dele raskendatud, asendasin käesolevas töös selliseid sõnu üldtuntumatega ja muutsin kohati ka lauseid pisut kergemini loetavamaks" (Väino Linaski kiri Fr. Tuglasele. 22. veebr. 1950 [KM EKLA f. 245; 42:19]). В каких формах проявлялась самоцензура в сталинскую эпоху и в постсталинское время, еще предстоит исследовать.

занимает вопрос о языке описания процесса перевода. Так, в статье **С. Витт** рассматривается формирование понятия «советская школа перевода» и детально прослеживается, как складывался этот концепт в контексте саморефлексии переводческого сообщества в период первого послевоенного десятилетия. Автор рассматривает дискурсы, в терминах которых конструировалось представление о «советской школе перевода». В статье **М.-К. Лотман** и **Э. Сютисте** анализируется сущность компенсаторного метода в переводе на основе его истолкований в западном и русско-советском переводоведении. Авторы предпринимают попытку выяснить, в какой мере применима компенсаторная стратегия к переводам с древнегреческого, английского и русского языков, опубликованным в Эстонии в середине 1960-х гг. В статье исследуются переводы Софокла, Аристофана, Демосфена, Геродота, Х. Ли, У. Голдинга и А. С. Пушкина на эстонский язык. В работе **Д. Монтичелли** об эволюции взглядов Ю. М. Лотмана на феномен и процесс перевода демонстрируется, что понятие перевода в поздних трудах ученого описывается как аналог взаимодействия между разными семиотическими системами.

В статьях второго раздела сборника идет речь о школьном учебнике как важнейшем инструменте перевода или трансляции идеологии. Поскольку школа — это государственный институт, программы и учебники проходили и проходят серьезный отбор с точки зрения соответствия государственной идеологии и политике. В последние десятилетия в исследовательской литературе уделяется все более пристальное внимание участию школы в идеологическом строительстве. Так, Дэвид Бранденбергер подверг анализу сдвиг советской идеологии от интернационализма 1920-х гг. к сталинскому «руссоцентризму» середины 1930-х и проследил роль реставрации школьного курса истории и первых советских «имперских» учебников в этом процессе<sup>4</sup>. В частности, он показал, какого направления придерживался Сталин, когда лично редактировал рукопись первого «Краткого курса истории СССР» (1937) А. В. Шестакова. Впоследствии это пособие использовалось в качестве основного как в начальной, так и в средней и даже высшей советской школе. Как известно, формируя новое историческое сознание советских людей, Сталин приказал ориентироваться на дореволюционные учебники истории, и в этой связи их изучение

---

<sup>4</sup> *Brandenberger, D. National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956. Harvard University Press, 2002* (см. русский перевод: *Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм. Советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.). М., 2017. С. 39–86.*)

с идеологической точки зрения приобретает особое значение. В статье **Л. Киселевой** как раз и рассматриваются проблемы перевода государственной идеологии на язык школьной истории на примере интерпретации периода петровских реформ в дореволюционных гимназических учебниках. Автор показывает, что школьная история в имперскую эпоху старалась не только следовать одному из центральных национальных мифов, но и «демифологизировать» эпоху и личность царя-преобразователя, показывать не только достижения этой крайне противоречивой эпохи, но и провалы, не только достоинства, но и недостатки личности самого Петра и страшную жестокость его методов.

Дореволюционные учебники служили отправной точкой и при конструировании национальной школьной истории в Эстонской Республике 1920–1930-х гг. **Т. Гузаиров** показывает, как происходил этот процесс на материале отображения начальных событий Северной войны в школьных учебниках. В отличие от российской и советской интерпретаций, эстонские авторы изображают русско-шведскую войну как национальную катастрофу, подчеркивая неприязнь эстонского народа к врагам и акцентируя разрыв с «чужим» государством. При создании эстонского исторического нарратива используются и «локальные» факты, подключаются свои национальные герои. Подобные «местные особенности» российская и советская школьная история игнорировали.

Работа **А. Сенькиной** посвящена такому уникальному виду учебных пособий, как журналы-учебники, которые создавались и использовались в начальной и средней школе в СССР в 1930–1932 гг. Они представляли собой также особую форму идеологического воздействия на советских школьников и, как показывает автор, совершили радикальный сдвиг от образовательного содержания к информационно-пропагандистскому, т. е. были направлены на решение задач не столько всеобщего обучения, сколько политического просвещения школьников советской страны. В статье **А. Веселко** изучаются первые советские учебники по русской литературе, которые появились в эстонской школе во второй половине 1940-х гг. На примере двух учебников демонстрируется, как политическая обстановка определяла стратегию учебного книгоиздания и тактику авторов-составителей учебных пособий.

Сюжет о попытке противостояния писателей и переводчиков государственным институтам советской власти развивается и в этом разделе тома. В статье **Л. Пильд** анализируется дискуссия о «точном» и «вольном» переводах школьного хрестоматийного текста, завязавшаяся между Союзом

писателей и Министерством просвещения ЭССР в конце 1940-х гг. и закончившаяся победой литераторов.

Дальнейшие исследования участников нашего проекта будут осуществляться, по меньшей мере, в трех направлениях. Предполагается продолжить и методологически детализировать изучение форм и видов идеологического надзора над эстонскими переводчиками и редакторами издательств в 1940–1970-е гг.; расширить анализ независимой от официального заказа и/или противостоящей тоталитарному дискурсу переводческой деятельности в Эстонии; начать исследование учебно-педагогической литературы 1950–1970-х гг. с точки зрения представленных в ней способов передачи государственной идеологии.



## FROM MODELLING TO UNTRANSLATABILITY: TRANSLATION AND THE SEMIOTIC RELATION IN Y. LOTMAN'S WORK (1965–1992)

DANIELE MONTICELLI

Though semiotics as a discipline lost its centrality in the humanities some decades ago, Yuri Lotman's semiotics of culture continues to strike us with the multidisciplinary potential of many of its concepts which need yet to be fully understood and developed. Lotman's research interests were so wide that, in addition to the generally used label of "semiotician", he could also well be defined as, for instance, a Pushkin scholar or a literary theorist. However, so far as I know, Lotman has never been defined as a translation scholar, at least not in the common sense of the term, that is as someone who investigates interlinguistic translation processes and their results. Indeed, he has not considered translation from this point of view in his work. Nevertheless, the notion of translation came to occupy an increasingly central place in Lotman's semiotic theory as he moved from the study of modelling systems through the elaboration of the fundamentals of the semiotics of culture and the later theory of the semiosphere. The kind of "translation" he became interested in was not translation between different natural languages, but translation between and within different semiotic systems, a kind of translation that was conceptualized by Lotman on the basis of a loose analogy with translation in the ordinary sense of the word. The last result of this conceptualization will be the idea of translation as a pervasive mechanism of cultural dynamics and human thought. This is definitely one of the outcomes of Lotman's theory, which if adequately understood and developed, could be of particular interest for a better understanding of currently central issues in the humanities such as intercultural relations and conflicts, borders, the centre-periphery dynamic and hybridity.



Translation has not always been at the center of Lotman's theoretical reflection in the field of semiotics, which started and developed in the 60s from other premises and focused on other concepts. In what follows, I will briefly reconstruct the appearance and development of the notion of translation in Yuri Lotman's thought from the middle of the 60s to his last book *Culture and Explosion* (1992). Any periodization of the thought of a scholar is of course a tentative and arbitrary enterprise. This is particularly true for a thinker like Lotman for whom it is correct to say that crucial elements of his later thought are already detectable as scattered observations in his earlier works, while many of the issues that strongly characterize his earlier thought often resurface at some point in his later works. In Lotmanian terms we can speak of an interplay between the center and the periphery of his theoretical attention, where peripheral elements progressively move to a central position, while central ones are relegated to the periphery without being completely discarded. It is, in other words, more a matter of shifts in the dominant of his theoretical thinking rather than of radical turns. Though I will roughly follow in my analysis a chronological line, my remarks will try to group Lotman's ideas around conceptual dominants rather than clear-cut periods of time.

## 1. Relations

The present investigation is based on the idea that the issue of relations can be used as a test to distinguish the different phases of Lotman's thinking on translation. This is not a random choice insofar as relations are, we could argue, *the* central issue of semiotics. If many definitions of the sign circulate today within the field of semiotics, each of them pinpointing this, that or the other aspect of the traditional object of study of the discipline, the common basis of all these definitions lies in the fundamental idea that in order to speak of a 'sign', some kind of relation must be in place: the one is not enough for a sign, we need at least two, or maybe three. The crucial question while establishing the fundamentals of a semiotic theory is therefore: which elements enter into semiotic relation and what kind of relation do these elements obtain? An old tradition of thought, which is perhaps best resumed in modern semiotics by Charles S. Peirce's definition of the sign as something "standing for" something else (see [Peirce 1991: 67–9, 141; Peirce 2003: 106]), understands the semiotic relation as a "representative" relation, making intelligible phenomena that would otherwise remain opaque to knowledge, by positioning their ideal representatives (signs) into an organized structure for representation (a system

of signs). This is of course only one of the possibilities in understanding relations from a semiotic point of view and in Lotman we can find, as we will see, different and more reciprocal ways of understanding the position and function of the constitutive elements of the semiotic relation.

My argument will therefore investigate the increasing centrality of the notion of translation in Lotman's (later) thought, following the shifts between different ways of conceptualizing the semiotic relation and its elements at different stages of Lotman's work. I will show that the focus of Lotman's attention gradually moves from 1) the representative relations between modelling systems and external reality to 2) the hierarchical relation between different kinds of modelling systems to 3) the translational relation between different languages and semiotic systems. The notion of translation enters Lotman's research horizon along with this movement and becomes central in the third stage just mentioned. Insofar as relation always implies the distinction and separation of (at least) two elements and, at the same time, their connection and interaction, it is quite clear why the issue of borders, their establishment and crossing is a constant element of Lotman's reflection on relations and translation. The (in)famous bar separating and connecting the two sides of the sign relation in the long history of (post)structuralist semiotics becomes in Lotman's thought the border which distinguishes and, at the same time, connects semiotic systems making translation possible<sup>1</sup>. Lotman's approach to translation can be defined from this point of view as a "topo-symbolic" approach in which spatial notions and models become the representatives of symbolic relations and communicative interaction.

## 2. From modelling to reflection and transformation: the origins of the Tartu-Moscow School

The central notion in the elaboration of the new semiotic paradigm of the Tartu-Moscow school of semiotics in the second half of the 60s has been the notion of "model" or, more precisely, of "modelling system". The notion of model, which has been considered by Thomas A. Sebeok and Marcel Danesi the chief object of study not only for Tartu-Moscow semioticians but for semiotics in general, is a straightforward way of conceptualizing the semiotic relation in representational terms. As Sebeok and Danesi states, modelling can

---

<sup>1</sup> I have investigated the relations between the notion of border and translation in Lotman's theory of the semiosphere elsewhere (see: [Monticelli]).

be defined as “the ability to produce forms *to stand for* objects, events, feelings, actions, situations, and ideas perceived to have some meaning, purpose, or useful function” [Sebeok & Danesi: 1]<sup>2</sup>. This definition presents us with the separation of two layers of reality (forms and different kinds of beings) and the establishment between them of a relation of a representative (a “standing for”) and abstractive kind (implying the production of forms) — the meaning, purposes, function of the modelled beings are presupposed, but comes to be fully grasped only within the model itself.

It is interesting to observe that, in an article written in 1967, Lotman describes the relations between the model and its object rather in strongly iconic terms, defining the former as “an analogue of the object of perception that substitutes it in the process of perception” [Lotman 2011: 250]. However, as soon as, in the same article, Lotman comes to define not the model but the modelling system which generates it, discrete elements, their structural relations and rules of combination immediately replace the iconic understanding of the relations between the model and its object: “A *modelling system* is a structure of elements and rules of their combination, existing in a state of fixed analogy to the whole sphere of the object of perception, cognition, or organization. For this reason, a modelling system can be treated as a language” [Ibid.]. The modelling activity therefore establishes a relation between language and the extra-linguistic reality — “perception, cognition or organization” in Lotman’s terms, “objects, events, feelings, actions, situations, and ideas” in Danesi and Sebeok’s terms. “Modelling system” can in this respect be considered the name that Lotman and the Tartu-Moscow semioticians chose as the equivalent to the “systems of signs” that for Saussure constituted the object of the new science of semiology [Saussure: 15–17]. From this point of view, it is interesting to observe that Lotman employs the word “language” as a general synonym for “modelling system”, while Saussure employed “system of sign” as the general term of which (natural) language constitutes one example: “A language is a system of signs expressing ideas, and hence comparable to writing, the deaf-and-dumb alphabet, symbolic rites, forms of politeness, military signals and so on. It is simply the most important of such systems” [Ibid.: 15].

Should we interpret the generalization of the notion of “language” by Lotman in the light of the classical structuralist strategy, which transforms the Saussurean pre-eminence of language among the systems of signs into

---

<sup>2</sup> From here on the emphasis in the quoted passage is mine, if not specified otherwise.

a methodological reductionist tool for the researcher that starts to explain all the other systems according to the structure and functioning of (natural) language? I do not think so. In fact, already in this preliminary phase of their thinking, Lotman and Tartu-Moscow semioticians focus their attention not so much on the relation between language (the modelling system) and extralinguistic reality (the object of the activity of modelling) or the internal structure of language, but rather on the relations between different languages (modelling systems) themselves. These relations are conceived in vertical, hierarchical terms which involve a primary and a secondary system relating as a basis (the primary system) and a superstructure (the secondary system) built upon it: "It is useful to call those systems that have natural language as their basis and accumulate additional superstructures, thus creating second order languages, secondary modelling systems" [Lotman 2011: 250]<sup>3</sup>.

The Saussurean pre-eminence of (natural) language is thus transformed into its primacy in human modelling activities, but what really interest Lotman and Tartu-Moscow semioticians are the relations of language with the secondary modelling systems, as they explain in the first collective volume of the school (1965):

*<...> one of the fundamental issues in the investigation of secondary modelling systems is the determination of their relationship with linguistic structures. It is why it is important to explain what we mean by the notion of 'linguistic structure'. It is indisputable that every sign system (secondary systems included) can be considered as a language. <...> A consequence of this is the conviction that any system of signs can be, in principle, investigated with linguistic methods, and the special role of contemporary linguistics as a methodological discipline. However, from "linguistic methods" in this broad sense, we must distinguish those scientific principles which come from the habit of dealing with natural languages — which are a particular kind of linguistic system. It appears that it is taking this path that makes the search for the peculiarity of secondary modelling systems and the means of studying them possible [Лотман 1965: 6; my translation. — D. M.]*

This passage shows that Tartu-Moscow semioticians are aware of the fact that the study of secondary modelling systems requires a specific approach and cannot be simply explained according to the structural understanding of natural language ("linguistic methods"). However, they do not yet dispose, at this stage of the research, of the notions needed to understand the relation

---

<sup>3</sup> For a thorough discussion of secondary modelling systems in the theory of the Tartu-Moscow school see [Monticelli 2016: 432–451].

between modelling systems (languages) in the dynamic, interpretative and transformative terms of a communication process. It is still a matter of representative, abstractive and hierarchical relations, as we see particularly well in the structuralistic understanding of the text that still characterizes Lotman's approach at this stage of his work.

### 2.1. The text as "structure of the work" and "system of relations"

The titles of Lotman's monographs at the beginning of the 70s — *The structure of the artistic text* (1970), "The tasks and methods for the structural analysis of the poetic text" (1972), *Analysis of the poetic text: The structure of poetry* [Лотман 1972] — show his commitment to the structuralist approach to the study of the text. In the terms employed here, this means that the text is also considered the result of a modelling activity that separates it from the external reality. Lotman claims in this respect that the artistic space has a pre-eminent modelling function in the text, stressing the role of the frame, beginning, ends, etc. [Lotman 1977: 209–217], making possible the internal organization of the text as a meaningful structure. As he explains:

the *artistic reality* is graspable when we proceed to *separate the essential*, without which the work would not be itself, from those features which are in some cases important, and nevertheless can be eliminated insofar as by replacing them the *essence of the work* is maintained and the work remains itself < ... > *The reality of the text is created by a system of relations — what bears significant (meaning giving, value-making) oppositions, or in other words everything which enters into the structure of the work* [Лотман 1972: 12; my translation. — D. M.].

The relations in places here are 1) the relation between an object (the work) and a single modelling system by which "we proceed to separate the essential", thus revealing "the artistic reality", i. e. the text as "structure of the work" and 2) the system of relations which creates the text and originates from the modelling system which proceeds to transform the work into its structure. This structuralist approach to the text is based on the exclusion of a whole series of other possible relations (all those that are not essential from the point of view of the modelling system adopted). From our point of view, it is important to observe how far we are here from Lotman's later understanding of the text as a polyglot device by which different modelling systems/languages may enter into an interactive relation with transformative results.

However, it is interesting to observe that in the *Structure of the artistic text*, the most systematic synthesis of Lotman's thought at the beginning of the 70s,

the role of the protagonist in the narrative plot is described in terms of events triggered by movements across the borders between spaces described by Lotman as semantically incompatible and differently coded. The protagonist establishes a relation between these spaces by violating the border, which delimits the sphere of action of other minor characters. The event provoked by the crossing of borders introduces some kind of unpredictable novelty into the plot and the situation. This very same idea of the establishment of a relation between incompatible and differently structured semantic spaces as a premise for the emergence of new, unpredictable meanings will resurface as a central tenet of Lotman's understanding of translation in the last phase of his thinking — a chapter of *Culture and Explosion* is, for instance, entitled "Semantic intersection as the explosion of meanings".

## 2.2. The notion of translation in Lotman's earlier works

If we look for explicit mention of translation in this first phase of Lotman's work, we won't find anything that could point to specific theoretical attention to the notion, though some scattered observations already point in the direction of a broadening of the notion to comprehend the relations between different modelling systems/languages. Thus, while in the *Analysis of the poetic text: The structure of poetry* the few occurrences of the word 'translation' always refer to interlinguistic translation of concrete works and language pairs, in a passage of *The structure of the artistic text* translation is associated with a process of transforming recodification involving different structures:

Although it is difficult to establish the fundamental difference between such types of recoding as the deciphering of content and the translation of a phonic form into a graphic form or translation from one language into another, it is still obvious that *the greater the distance between structures made equivalent to each other in the process of recoding, the greater the disparity in their nature, the richer will be the content of the very act of switching from one system to the other* [Lotman 1977: 36].

The direct proportional relationship between the degree of difference of the systems between which recodification (translation) occurs and the degree of richness of the content emerging from the switching clearly affirmed in this passage will be a central aspect of Lotman's later theory of translation. Another broadened use of the notion of "translation" in the same work refers to the relations between the text ("work of art") and its object:

Because a work of art is in principle a reflection of the infinite in the finite, of the whole within an episode, it cannot be constructed as the copy of an object in the

forms inherent to it. *It is the reflection of one reality in another, that is, it is always a translation* [Lotman 1977: 210; my emphasis. — D. M.].

The text is understood here not so much in representative terms, but rather iconic ones (a “reflection”) that reminds us of the Lotmanian definition of model quoted above. In this passage, Lotman also implicitly offers a first, tentative definition of translation as “reflection of one reality in another”<sup>4</sup>.

These are all good examples of the presence in Lotman’s earlier works of ideas that will only be fully developed later, within the framework of Lotman’s new theory of translation. Before proceeding to see how this happens, it is worth mentioning that in the article on “The results of the semiotic analysis of art today” [Lotman 1968: 577–585] Lotman described semiotics as “the study of the codification, decifration and transformation of messages” and referred to the issue of automatic translation as a related topic.

Concluding this section, we can claim that, if the research of Lotman and the Tartu-Moscow school in the second half of the 60s and the beginning of the 70s is characterized by the centrality of modelling as the pre-eminent kind of semiotic relation (in the two forms, both hierarchical, of the relation of the modelling system with its object and of the secondary modelling system with the primary modelling system), the issue of an horizontal relation between different modelling systems/languages (“recoding” and “reflection”) and even a broadened use of the notion of “translation” are already present in the works of this period as scattered, marginal remarks.

### 3. Plurality, correlation, polyglotism: Beginnings of the semiotics of culture

The *Theses on the semiotic study of cultures* (1973) can be considered an important signpost for the shift of attention in the conceptualization of the semiotic relation that will bring to the full development of the notion of translation into Lotman’s later thought. The series of articles on the typology of culture published between 1970 and 1973 already contained a few references to translation understood as a broader concept which includes “comparison”, intersemiotic translation [Лотман 1970] and even the modelling activity — Lotman writes there of “translating” the world as a text into an understandable language [Лотман 1973: 227–243]. The *Theses* do not contain many explicit

---

<sup>4</sup> For a discussion of the importance of mirror images in Lotman’s work see [Monticelli 2012: 319–339]. Here, I will return on mirror images and their role in translation later on, while discussing enantiomorphism.

references to the notion of translation, but they construct the whole background on the basis of which the new understanding of translation may fully deploy in the following decade.

First of all, in the *Theses*, Tartu-Moscow scholars define the new semiotics of culture as the “study of the fundamental correlation of different sign systems” [Lotman et al.: 53]. This correlation is still understood in many passages of the *Theses* in the terms of modelling and the relations between different modelling systems, but something important changes, as we can observe in the following passage, where secondary modelling systems are defined:

Under secondary modelling systems we understand such semiotic systems, with the aid of which models of the world or its fragments are constructed. These systems are secondary in relation to the primary system of natural language, over which they are built — *directly (the supralinguistic system of literature) or in the shape parallel to it (music, painting)* [Ibid.: 72].

We have here not only the hierarchical relation that we are already acquainted with between the primary and the secondary, but also a horizontal, “parallel” relation between systems. In addition to the “construction upon” (basis-superstructure), we can therefore also speak of the juxtaposition of systems/languages, which are correlated by being side by side (“parallel”). This progressively brings Tartu-Moscow semioticians to a new understanding of inter-linguistic/systemic relations in culture which will constitute the basis for the development of the semiotics of culture and Lotman's later theory of translation. The fundamental definitory passage in this respect can be found under point 6.1.0 of the *Theses*:

For the functioning of culture and accordingly for the substantiation of the necessity of employing comprehensive methods in studying it, this fact is of fundamental significance: *that a single isolated semiotic system, however perfectly it may be organized, cannot constitute a culture — for this we need as a minimal mechanism a pair of correlated semiotic systems. <...> The pursuit of heterogeneity of language is a characteristic feature of culture* [Ibid.: 69–70].

The study of isolated semiotic systems that constituted the structuralistic basis of the theory of modelling systems is thus definitively replaced by the fundamental idea of the “minimal mechanism” as a “pair of correlated semiotic systems”, which will be the central tenet for the development of the semiotics of culture and Lotman's later thought. Later in Lotman's work this “pair” will become an “at least two”, meaning a general index of systemic plurality. This is why, even if Lotman will extensively employ the notion of “binarism”,



Lotmanian binarism cannot be simply reduced to the structuralistic notion of binary oppositions. The Lotmanian “pair” or “binary” refers, on the contrary, to the irreducible ‘plurality’ of systems/languages in culture: “binarism,” argues Lotman, “must be understood as a principle which is realized in plurality” [Lotman 2000: 124]. To this we should add the Lotmanian characterization of the reciprocal relations between the two systems, which is also firstly drafted in the *Theses*, developing the horizontal understanding of the relations between systems/languages (the “parallelism” mentioned above). Thus, contrary to the hierarchical primary-secondary relation, the parallel relation implies reciprocity and interaction between the (at least) two systems/languages which constitute the “minimal mechanism”. The “correlated” systems in culture are moreover described in the *Theses* as “on the one hand equivalent and on the other hand not entirely mutually convertible” [Lotman et al.: 72]. I will return to this later when discussing the notions of ‘enantiomorphism’ and ‘translation of the untranslatable’.

Now, in a typical Lotmanian move, the *Theses* establish an immediate isomorphism between different levels of analysis and the principle of plurality and correlation just described for systems/languages is extended verbatim to texts, whose plurality and correlation become the fundamentals of cultural pluralism that Tartu-Moscow semioticians now define as “polyglottism” or “polyculturality”: “texts transmitted by the given cultural tradition and introduced from the outside always function *side by side* with new texts. This gives each synchronic state of culture the features of *cultural polyglottism*” [Ibid.: 63] and “the assimilation of texts from another culture results in the phenomenon of *polyculturality*” [Ibid.: 68]. We do not simply have static correlation (juxtaposition) here but also a crossing of borders which is, however, not yet characterized in the terms of “translation”, but rather as “transmission” or “assimilation”.

The analytical isomorphism between “correlated languages” and texts existing “side by side” in culture is extended in the *Theses* to any single text which becomes plural in itself, requiring a new kind of theoretical approach:

the view according to which cultural functioning is not achieved within the framework of any one semiotic system (let alone within a level of the system) implies that in order to describe the life of a text in a system of culture or the inner working of the structures which compose it, *it does not suffice to describe the immanent organization of separate levels*. We are faced with the task of *studying the relations between the structures of different levels* [Ibid.: 75].

Notice the important difference of this passage, in which the analysis of the text is a matter of studying the relations between the structures (in the plural) of different levels, from the structuralistic, immanentist and monosystemic understanding of textual analysis expressed in the quote from Lotman's article on the structural analysis of texts discussed above, where the text was studied as a system (in the singular) of relations.

Though translation is not yet a central issue in the *Theses*, the extension of the notion of the "minimal mechanism" as a principle of heterogeneity, plurality, polyglotism, from culture to systems/language(s) to text(s) constitutes a fundamental premise for the analogous extension (we could even say universalization) of the notion of translation in Lotman's later thought. As a last remark, it is worth mentioning that the notion of translation makes its brief but significant appearance at the end of the *Theses*: "translation from one system of text to another always includes a certain element of *untranslatability*" [Lotman et al.: 73]. Translation and untranslatability will constitute the paradoxical, but inseparable conceptual pair that Lotman will employ during the following 20 years to conceptualize cultural dynamics and the generation of new meanings in communication.

#### 4. From modelling to translation: the theory of the semiosphere

In his Introduction to *Culture and Explosion*, Peeter Torop suggests that a "fundamental turn" in Lotman's later thought can be detected in the 1981 article "Cultural Semiotics and the Notion of the Text". In that article, argues Torop, "Lotman replaces the notion of deciphering or decoding the text with the term of 'communication'" [Torop: xxxv]. It is interesting to consider in this respect the new definition of the semiotics of culture suggested by Lotman in that article, which develops the definition of the *Theses* quoted above ("the study of the fundamental correlation of different sign systems"), explicating the "correlation" in the terms of "mutual interaction" "heterogeneity", "polyglotism": "The semiotics of culture is the research area which studies the mutual interaction of semiotic systems with different structures, the internal heterogeneity of semiotic space, the inevitability of cultural and semiotic polyglotism" [Lotman 1981: 3; my translation. — D. M.].

The shift from "deciphering/decoding" to "communication" and from "correlation" to "mutual interaction" is also, I will argue, a decisive shift from "modelling" to "translation" as the central notion in Lotman's attempt to conceptualize the semiotic relation. To understand what is at stake in this shift,

it is interesting to go back two years (1979) before Torop's "turn", when Yuri Lotman and Boris Uspensky wrote a *Postscriptum* to the *Theses*, which can be considered as a kind of *trait d'union* between the collective manifest of the semiotics of culture and Lotman's semiotics of the 80s:

While *polyglotism* is stressed as a fundamental feature of the internal mechanism of culture, it should be constantly kept in mind that at the basis of any model of culture lies a *binary opposition of two radically different languages, being in a state of mutual untranslatability*. Communication between them takes place with the aid of a *metacultural mechanism that establish a relative equivalence of texts in the two languages* [Lotman, Uspensky: 131].

This "metacultural mechanism" has become "translation" ten years later, when, in the Preface to the *The Universe of the mind*, Lotman sums up the fundamental results of his work in the 80s as follows:

It has been established that a minimally functioning semiotic structure consists of not one artificially isolated language or text in that language, but of a *parallel pair of mutually untranslatable languages which are, however, connected by a 'pulley', which is translation* [Lotman 2000: 2].

We find here *in nuce* the fundamentals of Lotman's later thought that we have already learned to recognize in a preliminary form in the *Theses*, the *Postscriptum* and the 1981 article — the "minimal mechanism", the "parallel pair", "mutual untranslatability" and finally, as a means of "connection" that confers to the whole constellation its dynamics, "translation". However, Lotman will continue in the last phase of his work to employ along with "translation" a series of different synonyms to characterize the connecting "pulley" of the passage just quoted, sometimes making it difficult for readers to follow his argument and recognize the same idea under different names.

Before considering the development of these ideas within the theory of the semiosphere, it is interesting to observe how the turn that the article of 1981 brings about in the general framework of Lotman's thought has to be extended (once again on the basis of the isomorphic principle described above) to Lotman's conception of the text. From an object to be passively modelled by language as it still was at the beginning of the 70s, the text now becomes the place of that plurality and heterogeneity of languages that actively triggers the "transformation" (translation) of messages: "the text does not appear to us as the realization of a message in a single language, but as a complex construction including various codes that is able to transform existing messages and generate new ones" [Лотман 1981: 7; my translation. — D. M.].

#### 4.1. Homogeneity and Heterogeneity in Culture: The semiosphere and the ambivalence of borders and translation

The theory of the semiosphere can be interpreted from our point of view as a point of precipitation in which the ideas slowly and fragmentarily matured in Lotman's reflection since the *Theses* are systematized into a powerful new concept that continues to be based on the spatial imagery that already characterized Lotman's thought at least since *The Structure of the artistic text*. It is therefore not by chance that, in the groundbreaking article "On the semiosphere" (1984), Lotman introduces his new concept by repeating a "refrain" that we know already very well:

It may now be possible to suggest that, in reality, *clear and functionally mono-semantic systems do not exist in isolation*. Their articulation is conditioned by heuristic necessity. Neither, taken individually, is in fact, effective. They function only by being *immersed in a specific semiotic continuum* [Lotman 2005: 206].

The semiosphere is nothing other than the toposymbolic notion used by Lotman to define this "semiotic continuum" which constitutes the conditions of possibility for communication: "Only within such a space is it possible for *communicative processes* and the creation of new information to be realized" [Ibid.: 207]. This brings us to a fundamental characteristic of the semiosphere and central assumption of Lotman's later thought:

And this also lies at the heart of the notion of semiosphere: *the ensemble of semiotic formations precedes* (not heuristically but functionally) *the singular isolated language* and becomes a condition for the existence of the latter. *Without the semiosphere, language not only does not function, it does not exist* [Ibid.: 219].

Polyglotism is therefore not a contingent and derivative situation, but the ontological basis of any semiotic system. This means for us that, in the theory of the semiosphere, translation or at least the need for translation ("the communicative processes" of the passage quoted above) has a pre-eminent role over isolated systems and languages.

Now, given that the semiosphere is a continuum of semiotic systems, it is clear that translation has to be represented (once again with a spatial image) as a movement across this continuum; this is why starting from the article on the semiosphere the issue of translation comes to be inextricably related in Lotman's work with the issue of the borders between different systems, languages, texts, cultures, etc. Drawing and negotiating borders in communication we always implicitly decide on translatability, untranslatability and the destinies of translation. Here are the key passages of the 1984 article in this respect:

“the semiotic border is represented by the sum of *bilingual translating “filters”*, passing through which the text is translated into another language (or languages)” [Lotman 2005: 208–209]; “the border points of the semiosphere may be likened to *sensory receptors*, which *transfer* external stimuli into the language of our nervous system, or a *unit of translation*, which *adapts* the external actor to a given semiotic sphere” [Ibid.: 209]; “The border is a *bilingual mechanism*, translating external communications into the internal language of the semiosphere and vice versa. Thus, only with the help of the boundary is the semiosphere able to establish contact with non-semiotic and extra-semiotic spaces” [Ibid.: 210].

Borders are thus responsible for the regulation of the relations between the internal and the external space, and different kinds of regulation imply different kinds of translation. In the passages quoted above we already find a whole series of metaphors employed by Lotman to characterize this regulation — “filtering”, “passing through”, “transferring”, “adapting”, that also hint to different ways of understanding translation. The establishment of the relation between translation and borders within the semiosphere thus allows Lotman to conceptualize translation as the fundamental mechanism of culture, offering at the same time a new explanation of what he already called in the *Postscriptum* of 1979, the “heterogeneity and the homogeneity of culture”. It is indeed the ambivalence of the borders and the consequent ambivalence of translation which are employed by Lotman to describe and explain in a new comprehensive way the interaction of homogenizing and heterogenizing forces that constitutes the fundamental dynamism of culture.

An analysis of Lotman’s theoretical contributions on the notion of the semiosphere allows us to distinguish between two main functions of the border and consequently two kinds of translation that tend toward, respectively, the homogenization and heterogenization of the semiotic space in which they occur. As I have analyzed this at length elsewhere (see [Monticelli 2009: 327–348]), in what follows I will sum it up very briefly focusing on the issue of relations which constitutes the *leit motif* of this article.

### Translation as self-description

The border can first of all be considered as a line of demarcation that separates the internal space of a given system — be it a language, a culture or the semiosphere itself — from what is external and extraneous to it. There is a clear contradiction between this imposition of a clear-cut separation and the idea,

described above, of the immersion of each system in the semiotic continuum which makes the very same notion of an “external boundary” problematic [Lotman 2000: 124, 130]. Tartu-Moscow semioticians explain this paradox by already introducing in the *Theses* the idea of an understanding of culture “from its own point of view”, which Lotman will later call the ‘self-description’ of culture. It is according to this point of view that culture “will have the appearance of a certain delimited sphere which is opposed to the phenomena of human history, experience, or activity lying outside it” [Ivanov et al.: 53–77].

This delimitation and self-enclosure is not an originary and essential characteristic of a given semiotic entity (be it a person, a text, a culture, a society, etc.), but the result of self-description which brings about a homogenization of the semiotic space. This is achieved through the centralization and hierarchization of the semiotic space by which one of its languages or systems comes to occupy a central position and starts to function as a metalanguage/-system of self-description [Лотман 1978b: 22–23; Лотман 1978a]. Lotman describes this as “the idealization of a real language” and talks of metalinguistic self-description as “the ideological self-portrait” or the “mythologized image” that a culture or society makes of itself [Лотман 1973; Lotman 2000: 129]. From its privileged position, the metalanguage becomes, in other words, an internal principle of *exhaustive translatability*: inclusion within the internal space implies translatability into the metalanguage of self-description. All that is not translatable becomes illegible, insignificant and is kept outside the border of the internal space [Lotman 2000: 129]. Self-descriptive centralization is in this sense the semiotic mechanism which corresponds to the separating/defensive/individualizing function of the boundary. Translation as the process which regulates the relations between the outside and the inside is imagined here as a homogenizing force that draws a clear line of separation between internal, exhaustive translatability and the external untranslatable: “The function of any border,” writes Lotman, “comes down to a limitation of penetration, filtering and the transformative processing of the external to the internal” [Lotman 2005: 210].

### Translation of the untranslatable

The idealized character of self-descriptive translation is related, as we have seen, to the idealized character of the external border. According to idealizing self-description, which represents culture as a “delimited sphere” the border coincides with a single line of separation. However, in the semiotic reality of the semiospheric continuum, the border should rather be conceived as a multi-dimensional, complex space which Lotman also defines, as we have seen,

a “bilingual mechanism”. From the metasystemic (transcendent) point of view of self-description, the border had the function of *separating* the semiotic space from its outside like a membrane or a filter, which let in only what can be (and has already been) translated into the structuring metalanguage at the center of the internal space. On the contrary, from the point of view of its ‘immanent mechanism’, the border as bilingual space *connects* different semiotic systems and opens them to an inexhaustible interplay across borders.

The movement of homogenizing separation and internalizing individuation I described before is thus counterbalanced within the semiosphere by a movement of connecting openness and heterogenizing communication which correspond to an understanding of translation as border crossing/violation as opposed to border establishment and securing. In his later works, Lotman will often describe this kind of translation employing the oxymoronic image of “translation in cases of untranslatability”. Unlike metastructural, self-descriptioal translation, which had to be total and exhaustive, “translation in cases of untranslatability” gives rise to “difficult and inadequate translations” presupposing a fundamental untranslatable residuum which may become the point of departure for always new (similarly “inadequate” but “equally right”) translations [Lotman 1991: 405–6]. The relation that the translation of the untranslatable establishes between differently structured, incompatible systems has, in other words, an heterogenizing impact on any of those systems because it “lets in” those extrasystemic, untranslatable elements that self-descriptioal translation filtered out, thus granting the homogeneity of the internal systemic space.

### Enantiomorphism and dialogue

The final result of Lotman’s understanding of the semiosphere as the space of semiotic relationality, heterogeneity and translation of the untranslatable is the notion of enantiomorphism which specify the kind of relation that has to obtain between the pair of systems of the minimal mechanism constituting the ontological *sine qua non* of any semiotic relation. If Tartu-Moscow semioticians already described in the *Theses* the “correlated systems” of the “minimal mechanism” as “on the one hand equivalent and on the other hand not entirely mutually convertible”, in the 1984 article Lotman systematizes this idea introducing the notion of “correlative difference” which is understood in terms of an enantiomorphic structure as follows:

The simplest and most widely disseminated form of *combination of a structural identity and difference is enantiomorphism, mirror symmetry*, through which both parts of

the mirror are equal, but unequal through superposition, i. e. relating one to the other as right and left. Such a relationship creates the kind of *correlative difference that is to be distinguished from both identity — rendering dialogue useless — and non-correlative difference — rendering it impossible* [Lotman 2005: 220].

This passage introduces another notion that occupies a central position in Lotman's attempt to reconceptualize the relations between different systems/languages in his later work — the notion of dialogue. My suggestion is to consider Lotmanian “dialogue” a synonymic variation of “translation in cases of untranslatability”. In his article “Culture as subject and object of itself” (published in 1989), Lotman characterizes the enantiomorphic relation that occurs between the systems/languages of the minimal mechanism exactly in terms of mutual untranslatability:

the minimal organization includes at least two semiotic mechanisms (languages) which are in a relationship of *mutual untranslatability*, yet at the same time *being similar*, since by its own means each of them models one and the same extrasemiotic reality [Lotman 1997: 10].

This passage helps us to draw a bridge between the different understandings of semiotic relation in the earlier and later periods of Lotman's work: we have here “languages” as models of “extrasemiotic reality” (the modelling systems) and languages in relationship with one another as parts of the “minimal organization” (translation in case of untranslatability).

##### 5. Translation of the untranslatable as a source of unpredictable meanings: (non-)relations and explosions

The final achievements of Lotman's thorough rethinking of the semiotic relation are to be found in his last works — *Culture and explosion* and *The unpredictable workings of culture* — which also represent an opening toward new lines of research that Lotman could unfortunately not pursue in his lifetime. *Culture and Explosion* starts from a rephrasing of the understanding of semiotic relations developed during the 80s. For some reason Lotman now avoids the notion of “semiosphere”, but confirms all of its aspects: the idea of the semiotic continuum and the minimal functioning mechanism, enantiomorphism, dialogue/translation in cases of untranslatability. But at the center of Lotman's attention are now the conditions of possibility for the emergence of novelty in culture and historical processes.

The relation between incompatible systems that the translation of the untranslatable makes possible becomes, in this context, the condition of



possibility for the generation of unpredictable meanings, i.e. novelty: “you could say that the translation of the untranslatable may become the carrier of information of the highest value,” states Lotman [Lotman 2009: 6], and “valuable information” should be understood here as new information, because the transformations taking place during the movement from the input to the output of the system are “unpredictable” [Lotman 1997: 9]. Just like in *The structure of the artistic text*, a narrative event was provoked by the protagonist’s violation of the borders between different semantic spaces, the explosion is provoked now by the “semantic intersection” between incompatible systems triggered by the translation of the untranslatable, which can therefore also be understood as a relation of the unrelated or a short circuit bringing together spaces that had to remain separate with unpredictable results.

What is really new in the last works of Lotman is that the spatial imagery we have described so far in all its transformations is employed to gain a new point of access to (historical) time and temporality. The interaction of continuous processes and explosions in history are thus explained in the same terms that Lotman already used to explain the interaction of homogenizing and heterogenizing forces in culture. This is possibly the most interesting and engaging heritage of Lotman’s latest work that has yet to be thought in the light of the latest shifts and turns in the humanities and social sciences.

## Conclusion

This article investigated the introduction and development of the notion of translation in Lotman’s (and, very partially, the Tartu-Moscow school’s) works, focusing on the issue of the semiotic relation — its constitutive elements and the way they interact with one another. If the reflection of Lotman and Tartu-Moscow semioticians started from the notion of modelling and the relation between modelling systems/languages and extralinguistic reality, the fundamental distinction between primary and secondary modelling systems complicated the picture from the very beginning, stressing the plurality of languages of culture and the need to investigate their relations with one another. Initially these inter-linguistic/systemic relations are understood in vertical, hierarchical terms (the “secondary” built upon the “primary”), but they become increasingly horizontal and reciprocal along with the development of the semiotics of culture, which comes to understand culture as the space of human communication in the terms of “cultural polyglotism”, a “system of systems” and, finally, the “semiotic continuum” of the theory of the semiosphere. The

basis for this understanding of semiotic plurality as the ontological ground of culture and human communication is to be found in the notion of "the minimal functioning semiotic mechanism" as an (at least) binary system that means the relation between (at least) two different systems. In his later works, Lotman starts to describe and understand this relation as translation, which at the end of his work acquires the status of universal mechanism of cultural dynamism and human thinking. Notions such as enantiomorphism and translation of the untranslatable are introduced by Lotman at this stage of his reflection to characterize the relations and interactions between the semiotic systems/languages in a space whose constitutive feature is heterogeneity. This space is consequently shaped not only by continuous, regular and predictable processes, but also explosions, discontinuity, the emergence of unpredictable novelty through the contact established in translation between mutually untranslatable systems.

It is tempting to interpret the different phases of Lotman's understanding of the semiotic relation and translation on the background of the changes in the social and cultural context of the Soviet Union of those times. We could see, for instance, in the developments described above, a progressive enlargement of the domains involved in the semiotic relation accompanied by an increase in the complexity of the relation itself which would mirror the progressive loosening of the isolation, opening of the political and cultural borders and increase of internal differentiation in Soviet culture from Khrushchev's Thaw to Gorbachev's Perestroika. At the end of *Culture and Explosion*, Lotman himself briefly hints to the possibility of applying his notions as instruments to conceptualize the social and cultural challenges of those times, particularly "the radical change in relations between Eastern and Western Europe" [Lotman 2009: 174]. However, it is important to remind here, of the non-linearity of Lotman's thought described at the beginning of this article which makes it impossible to match completely the development of Lotman's theory with the parallel line of political and cultural developments in the Soviet Union. We should generally understand the relations between the development of a tradition of thinking and its times not merely in the terms of socio-cultural determinism, but also as a form of reaction, a "strike-back" of theory to the socio-cultural conditions from which it emerges.

It is in this respect interesting to observe that the development of Lotman's thought toward the universalization of the notion of translation in the theory of the semiosphere and the consequent new understanding of cultural and historical processes parallels in many ways the analogous development from monosystemic structuralism to the opening plurality of poststructuralist

thinking in the West (see [Pilshchikov, Trunin: 368–400]). Notwithstanding the different cultural situation and the lack of direct contact, it is striking to observe the analogies, at least in the general direction of the reflection developed by Lotman and authors such as Roland Barthes and Jacques Derrida in the 60s and the 70s.<sup>5</sup>

I think that, being in many respects a product of its times, Lotman's theory of translation continues to offer important ideas and unexplored potentialities for the humanities and social sciences today. If intensively developed and integrated, its conceptual framework may offer a more complex and dynamic understanding of relations, communication and change in culture and society.

## References

- Ivanov et al.: *Lotman, Y.; Ivanov, V.; Pjatigorskij, A.; Toporov, V.; Uspenskij, B.* Theses on the semiotic study of cultures (as applied to Slavic texts) // Beginnings of the Semiotics of Culture (Tartu Semiotics Library 13) / Salupere, S.; Torop, P.; Kull, K. (eds.). Tartu: University of Tartu Press, 2013.
- Lotman 1968: *Lotman, J.* Kunsti semiootilise uurimise tulemusi tänapäeval // Keel ja Kirjandus. 1968. Nr 10.
- Lotman 1977: *Lotman, Y.* The Structure of the Artistic Text. (Michigan Slavic Contributions 7. Lenhoff, G.; Vroon, R., trans.). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1977.
- Lotman 1991: *Lotman, J.* Kultuurisemiootika: tekst — kirjandus — kultuur / Tõlk. P. Liias, I. Soms, R. Veidemann. Tallinn, 1991.
- Lotman 1997: *Lotman, Y.* Culture as subject and object of itself // *Trames*. 1997. 1 (51/46).
- Lotman 2000: *Lotman, Y.* Universe of the mind / Transl. by A. Shukman. Bloomington: Indiana University Press, 2000.
- Lotman 2005: *Lotman, Y.* On the semiosphere // *Sign Systems Studies*. 2005. Vol. 33. №1.
- Lotman 2009: *Lotman, Y.* Culture and Explosion. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2009.
- Lotman 2011: *Lotman, Y.* The place of art among other modelling systems // *Sign Systems Studies* 2011. Vol. 39. № 2/4.
- Lotman et al.: *Lotman, Y.; Ivanov, V.; Pjatigorskij, A.; Toporov, V.; Uspenskij, B.* Theses on the semiotic study of cultures (as applied to Slavic texts) // Beginnings of the Semiotics of Culture (Tartu Semiotics Library 13) / Salupere, S.; Torop, P.; Kull, K. (eds.). Tartu: University of Tartu Press, 2013.

---

<sup>5</sup> I have considered this elsewhere (see [Monticelli 2016; Monticelli 2012]).

Lotman, Uspenskij: *Lotman, Y.; Uspenskij, B.* Heterogeneity and homogeneity of cultures: Post-scriptum to the collective theses // *Beginnings of the Semiotics of Culture* (Tartu Semiotics Library 13) / Salupere, S.; Torop, P.; Kull, K. (eds.). Tartu: University of Tartu Press, 2013.

Monticelli 2009: *Monticelli, D.* Crossing boundaries. Translation of the untranslatable and (poetic) indeterminacy in Juri Lotman and Giacomo Leopardi // *Interlitteraria*. 2009. 14. Vol. 2.

Monticelli 2012: *Monticelli, D.* Challenging Identity: Lotman's "Translation of the Untranslatable" and Derrida's Différance // *Sign Systems Studies*. 2012. Vol. 40. № 3/4.

Monticelli 2016: *Monticelli, D.* Critique of ideology or/and analysis of culture? Barthes and Lotman on secondary semiotic systems // *Sign Systems Studies*. 2016. Vol. 44. № 3.

Monticelli: *Monticelli, D.* Borders and Translation: Revisiting Juri Lotman's Semiosphere // *Semiotica* (forthcoming).

Peirce 1991: *Peirce, Ch. S.* Peirce on Signs: Writings on Semiotics by Charles Sanders Peirce // Ed. by J. Hoopes. Chapel Hill; London: The University of North Carolina Press, 1991.

Peirce 2003: *Peirce, Ch. S.* Basic Concepts of Peircean Sign Theory // *Semiotics* / M. Gottdiener, K. Boklund-Lagopoulou, A. Ph. Lagopoulos (eds.). London: Sage Publications, 2003. Vol. I.

Pilshchikov, Trunin: *Pilshchikov, I.; Trunin M.* The Tartu-Moscow School of Semiotics: a transnational perspective // *Sign Systems Studies*. 2016. Vol. 44. № 3.

Saussure: *Saussure, F. de.* Course in General Linguistics / Ed. by Ch. Bally, A. Sechehaye with the collaboration of A. Riedlinger / Transl. by R. Harris. London: Duckworth, 2000.

Sebeok & Danesi: *Danesi, M.; Sebeok, Th.* The forms of meaning: modeling systems theory and semiotic analysis. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2000.

Torop: *Torop, P.* Forward: Lotmanian Explosion // *Lotman, Y. Culture and Explosion*. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2009.

Лотман 1965: *Лотман Ю.* От редакции // *Труды по знаковым системам*. Тарту, 1965. Вып. 2.

Лотман 1970: *Лотман Ю.* Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Тарту, 1970. Вып. I.

Лотман 1972: *Лотман Ю.* Анализ поэтического текста: Структура стиха. Л., 1972.

Лотман 1973: *Лотман Ю.* О двух моделях коммуникации в системе культуры // *Труды по знаковым системам*. Тарту, 1973. Вып. 6.

Лотман 1978а: *Лотман Ю.* Феномен культуры // *Труды по знаковым системам: Семиотика культуры*. Тарту, 1978. Вып. 10.

Лотман 1978б: *Лотман Ю.* Динамическая модель семиотической системы // *Труды по знаковым системам: Семиотика культуры*. Тарту, 1978. Вып. 10.

Лотман 1981: *Лотман Ю.* Семиотика культуры и понятие текста // *Труды по знаковым системам*. Тарту, 1981. Вып. XII.

## «СОВЕТСКАЯ ШКОЛА ПЕРЕВОДА» — К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИИ КОНЦЕПТА

СУСАННА ВИТТ

Известный русский переводовед Павел Максимович Топер в своей книге «Перевод в системе сравнительного литературоведения» отмечает, что в историографии перевода в России есть существенный пробел. Заканчивая свой обзор «истории переводческой мысли в России» упоминанием издательства «Всемирная литература», Топер выражает сожаление, что «история его <издательства. — С. В.> еще не изучена до сих пор — в той же мере, как не изучена огромная, разносторонняя и противоречивая переводческая деятельность в России в последующие десятилетия». Причины, по предположению автора,

лежат, прежде всего, в сфере идеологической и политической; сначала — из-за раскола единой русской литературы на две ветви — советскую и «белоэмигрантскую», о которой говорить было запрещено, в дальнейшем — из-за массовых репрессий, коснувшихся не только писателей, но и переводчиков, цензурных искажений, запретов на издание и тому подобных обстоятельств, исследовать которые не было возможности [Топер 2000: 123].

Как заключает Топер, «История перевода советского времени должна быть еще написана <...> со всеми ее достижениями и трагедиями, особенностями и закономерностями, объективными и субъективными факторами развития» [Там же]. Сейчас, 17 лет спустя, можно констатировать, что ситуация начинает меняться. О растущем интересе к практике, теории и истории художественного перевода в России (в том числе и советского периода) и в восточной Европе свидетельствует ряд конференций последних лет, соединивших исследователей, которые работают в России и за ее

пределами<sup>1</sup>. В результате появляется все больше публикаций, постепенно восполняющий тот пробел, о котором пишет Топер (см., в частности: [Baer; Burnett, Lygo; Schippel, Zwischenberger; Baer, Witt]). В этой связи стала заметна и тенденция к междисциплинарному взаимообогащению: международное переводоведение начинает обращать все больше внимания на культурный опыт восточной Европы и России, в то время как славистика более активно осваивает перспективы, выработанные в контексте современной науки о переводе (Translation Studies).

Тема настоящей статьи связана с тем, что Павел Топер в процитированном выше отрывке назвал «тому подобные обстоятельства», а именно: с вопросами власти и идеологии в рамках институциональных контекстов советских переводчиков. Речь пойдет о так называемой «советской школе перевода». «Советская школа перевода» была официальной гордостью, чуть ли не символом советской культуры, которая в значительной степени сохранила свой престиж в постсоветское время как в России, так и за рубежом. Несмотря на то, что это понятие занимает центральное место в истории советского перевода, оно достаточно расплывчатое. Часто под ним понимают достижения практики и теории перевода советского времени в целом<sup>2</sup>. Иногда подразумевается некоторая часть переводов, отвечающая определенным критериям<sup>3</sup>. В отличие от многих других знаковых

---

<sup>1</sup> Вот некоторые из них: “Pushkin’s Post Horses: Literary Translation in Russian Culture” (University of Exeter, April, 2008), “Translation in Russian Contexts: Transcultural, Translingual, and Transdisciplinary Points of Departure” (Uppsala University, June, 2014), “Between Policies and Poetics: Itineraries in Translation History” (Tartu, June, 2014), “Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation studies” (University of Vienna, December, 2014), «Наследие советской школы перевода» (МГУ, Москва, март 2015). Организовывались серии панелей с переводческой тематикой в рамках общих конференций о России и восточной Европе: “First Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies”, Tartu, 2016 (5 панелей), ASEES 2016 в Вашингтоне (10 панелей и круглых столов), ASEES 2017 в Чикаго (5 панелей).

<sup>2</sup> Ср.: “The Soviet school of translation appeared in the 1920s as a natural consequence of this tradition [= the tradition of the 19<sup>th</sup> and the early 20<sup>th</sup> centuries]” [Leighton: 6].

<sup>3</sup> Так, Владимир Росельс в предисловии к своему переводу книги чешского исследователя Иржи Левого «Искусство перевода» в 1974 г. различает четыре постулата, «выдвинутых в работах теоретиков нашей школы»: «принципиальная переводимость любого художественного текста; необходимость для переводчика ставить себе писательскую задачу, то есть изучать не только подлинник, но и жизнь; примат литературных аспектов художественного перевода над лингвистическими; наконец, сквозной принцип функциональности, установление которого положило предел извечному спору о переводе “точном” и “вольном”, — принцип, предполагающий, что цель — добиться художественного воздействия на читателей перевода равного воздействию подлинника на соотечественников автора, — эта цель должна и может быть достигнута, если не стремиться копировать художественные средства, использованные

явлений недавнего прошлого, «советская школа художественного перевода» только недавно стала предметом рефлексии и анализа вне собственного самопонимания и официального статуса (см., в частности: [Witt 2016a: 23–43; Witt 2016b: 22–48]). В настоящей статье более подробно будет рассматриваться постепенное, с конца 1940-х гг., конструирование «советской школы перевода» как концепта — процесс, протекающий на пересечении практики, теории и критики перевода. Следует подчеркнуть, что в центре внимания будет именно концепт и его оперативность, а не какие-нибудь имманентные качества «советской школы». Будут анализироваться те *дискурсы*, в терминах которых артикулировались те или иные позиции по отношению к данному предмету<sup>4</sup>. Особое внимание при этом будет уделено метафорике дискурса как его дифференцирующему признаку [Fairclough: 131]. Специфика дискурса как такового заключается в том, что он в определенном отношении непереводим — он не поддается тому, что Роман Якобсон назвал «интралингвистическим переводом»: каждый акт «интерпретации вербальных знаков с помощью других знаков того же языка» [Якобсон: 16–24] обязательно выводит в другой дискурс. Поэтому анализ по необходимости будет строиться на обширных цитатах из архивного и журнального материала.

Основной дискурс, на который с 1934 г. надо было ориентироваться во всех областях советской культурной продукции — дискурс о социалистическом реализме, — был, конечно, актуален и в области художественного перевода. Социалистический реализм был объявлен ведущим методом на Первом всесоюзном совещании переводчиков, состоявшемся в январе 1936 г.<sup>5</sup> Его установки в отношении перевода, однако, были куда более туманными, чем в отношении оригинальной литературы; суть сводилась лишь к «творческой тенденции, творческим перспективам переводчика», по выражению главного докладчика Иоганна Альтмана [РГАЛИ. Ф. 631.

в оригинале, а добиваться функционального подобия, опираясь на возможности своего языка и литературы, — завоевали к этому времени массовое признание» [Россельс: 12].

<sup>4</sup> Под термином дискурс здесь понимается совокупность высказываний, объединенных общей темой и исходящих из специфического институционального контекста; управляемый правилами, которые определяют границы выразимого, дискурс по-разному отсылает к другим дискурсам. Институциональным контекстом в широком смысле в данном случае является советская литература в целом, а в узком — аппарат Союза советских писателей и, в частности, Секция переводчиков зарубежных литератур.

<sup>5</sup> «Понятие социалистический реализм имеет к художественному переводу не меньшее касательство, чем ко всей советской литературе» [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 6. Ед. хр. 124. Л. 35]. Секция переводчиков ССП была основана 16 октября 1934 [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Ед. хр. 1. Л. 32].

Оп. 6. Ед. хр. 124. Л. 37]<sup>6</sup>. Было объявлено также, что социалистический реализм противостоит «натуралистическому копированию», «формализму» и «импрессионизму» в переводе, однако более подробно эта тема до войны не обсуждалась.

Во время войны Секция переводчиков Союза советских писателей была «законсервирована» и вопросы перевода были отнесены к ведению Национальной комиссии, где они обсуждались нерегулярно. Концепт «советской школы перевода» начал формироваться в контексте интенсивной профессиональной саморефлексии переводчиков в связи с восстановлением Секции, которое произошло в 1947 г. [РГАЛИ. Ф. 2854. Оп. 1. Ед. хр. 383. Л. 1, 5]. Это, как известно, было время новых ориентиров в политике и культуре страны: так называемой ждановщины и борьбы против «низкопоклонства перед Западом», а вскоре, и против «космополитизма».

С самого начала в центре внимания стояли вопросы теории перевода. На одном из первых заседаний возрожденной Секции переводчиков (переименованной в «Секцию переводчиков зарубежных литератур»), в Москве 2-го февраля 1948 г., ленинградский ученый Андрей Федоров выступил с программным докладом под названием «Теория перевода в советском литературоведении» [Там же. Ед. хр. 114]. На этом заседании я остановлюсь несколько подробнее, потому что оно мне кажется значимым для дальнейшего развития переводческого дискурса.

Федоров в своем докладе особенно выдвинул «то положительное, что внесла советская теория перевода» [Там же. Л. 37] со времен ее возникновения в самом начале 20-х гг., противопоставив ее «пессимистической концепции», восходящей к Гумбольдту и Шлейермахеру. Это положения, которые в русской литературе, по мнению Федорова, «были сформулированы символистами и акмеистами» [Там же. Л. 7]. «[Н]аша русская, советская теория перевода, — заявляет Федоров, — представляет собой в мировой филологической науке совершенно новое явление, совершенно оригинальное и беспрецедентное явление» [Там же. Л. 32]<sup>7</sup>. Основными чертами этой теории по Федорову являются, во-первых, «признание и диалектическое обоснование принципа переводимости и адекватности перевода, т. е. возможности полноценного перевода, достигаемого иногда и путем удале-

<sup>6</sup> Об этом совещании и о ранней истории Секции переводчиков ССП см.: [Witt 2013: 141–184].

<sup>7</sup> Такое подчеркивание уникальности и мирового значения «нашей русской советской теории перевода» было, конечно, не лишено основания, но одновременно находится в русле поисков «русских приоритетов», то есть утверждений об отечественном происхождении изобретений и открытий в области культуры и науки, которое стало заметной частью риторики новой политики.



ния от формальной точности и от дословного значения отдельных элементов» [РГАЛИ. Ф. 2854. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 24]; во-вторых, «установление необходимости оценивать переводы с точки зрения функционально-смыслового соответствия оригиналу, а не только формального совпадения» [Там же. Л. 26]; и, в-третьих, «систематическое использование данных истории литературы, истории языка и смежных филологических и общих гуманитарных дисциплин, т. е. принцип изучения явлений в их взаимосвязи». Как заметил один из слушателей доклада, положения, изложенные Федоровым, во многом были созвучны его же книге 1941 г. «О художественном переводе». Но в докладе был приведен и четвертый пункт:

Четвертая черта не нашла отражения в печатных тезисах и я добавляю ее сейчас, так как это необходимо отметить. Это — характерное для нашей теории перевода отсутствие узко-оценочного догматизма и широта оценок. Действительно, среди существующих у нас переводов мы знаем переводы, казалось-бы очень разные по типу [Там же. Л. 28].

В качестве примеров такого разнообразия Федоров упоминает переводы М. Лозинского, С. Шервинского и С. Маршака, то есть, говоря терминами Лоренса Венути, представители разных полюсов на шкале «форегнизации» и «доместикации», «отчуждающего» и «осваивающего» перевода [Venuti]. «Несомненен тот факт, — заключает Федоров, — что наша критика и наша теория перевода признают и ту, и другую возможность, как практически равноправные, а теоретическое обоснование этого — еще одна из неразрешенных задач» [Там же. Л. 29]. Следует отметить, что такое отсутствие нормативности в советской теории перевода предшествующего, да и последующего периода крайне необычно (из редких исключений можно назвать книгу М. П. Алексеева «Проблема художественного перевода» 1931 г. [Алексеев]).

Свой доклад Федоров заканчивает, однако, в другой тональности. Излагая задачи, стоящие перед критикой перевода, он переключается на дискурсы актуальной для того времени политической кампании:

В первую очередь, разоблачение всякого рода низкопоклонства перед зарубежной наукой и литературой, которое может выражаться в очень разнообразной форме именно в переводной литературе, начиная от использования порочных теоретических и исторических концепций в трудах или переводимых, или издаваемых в оригинале. <...> Кроме того, очень важный момент — это благоговение перед ино-язычным. Это тот переводческий язык, который выражается в сознательных, или бессознательных ошибках в переводе, ведущих к созданию чужестранных построений, к созданию слов пересаженных с ино-

странного языка, — всего того, с чем хорошо знакома старая переводческая практика [РГАЛИ. Ф. 2854. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 35].

Эту тему подхватывают и некоторые участники обсуждения, разгоревшегося после доклада. Председатель Секции Иван Кашкин в своем введении указывает, что «[н]ам в прениях очень важно подкрепить эти новые рубрики конкретными материалами, просто для примера; нужно было бы показать, что есть отдельные недопустимые искажения русского языка в угоду мнимой подобности» [Там же. Л. 38]. А Самуил Маршак говорит о том, что «когда один язык соприкасается с другим, происходит какая-то борьба; как болото затягивает переводчика чужой язык, засасывает в свои обороты, почти в свой круг образов» [Там же. Л. 40]. Сама установка на плюрализм в переводческой практике подвергается критике. По мнению Кашкина, «когда говорят, что не надо вводить категорию “нужно”, то это может иметь смысл по отношению к вчерашнему дню, но о том, что нужно, приходится говорить в применении к сегодняшнему дню. Думать о том, что нам нужно, — это, конечно, наша обязанность» [Там же. Л. 68]. Федоров в своем заключительном слове, однако, эмфатически подчеркивает:

Подводя итоги теоретической работе по переводу, я не имел ввиду давать какие-либо нормативные рецепты и говорить о том, что нужно и что не нужно в практике перевода и что вытекает из принципов (не моих, а тех, которые создавались силами многих филологов и литературоведов). Полагаю, что ничего такого нормативного в докладе вообще не было [Там же. Л. 80].

В последующей дискуссии, которая во многом касалась отдельных примеров плохих переводов и мизерного состояния критики перевода, выделяется один участник, принявший более принципиальную точку зрения. Это поэт-переводчик и стиховед Георгий Шенгели, предыдущий председатель Секции переводчиков. Соглашаясь с положениями Федорова в общем, он подчеркивает, что при переводе необходимо разобраться в иерархии художественно действенных элементов переводимого произведения. Для этого следует, как и предлагает сам Федоров, обратиться к смежной науке, а именно к поэтике. Как заявляет Шенгели,

мы будем обладать научной теорией перевода только тогда, когда будет разработана настоящим образом поэтика, когда мы будем иметь возможность судить касательно данного автора и каждого данного у этого автора произведения, на чем он его строит, чем оперирует, как работает [Там же. Л. 49].

Таким образом, Шенгели развивает «функционально-смысловой» аспект федоровской теории в сторону литературоведения.

По сути, уже в этой первой попытке обозначить контуры «советской теории перевода» намечается конфликт, который будет обостряться в течение ближайших лет, а именно конфликт между дескриптивными и прескриптивными установками в переводческом дискурсе. А о «советской школе перевода», собственно, речь пошла пару недель спустя, на вечере, посвященном обсуждению нового перевода байроновского «Дон-Жуана» того же Георгия Шенгели. Вышедший в 1947 г. перевод был снабжен послесловием, в котором Шенгели излагает свою философию перевода и главные принципы, которыми он руководствовался в работе над текстом Байрона. Его критическая точка отсчета — классический перевод «Дон Жуана» Павла Козлова (1888/1889), по которому до этого момента русский читатель главным образом знакомился с этим произведением. Перевод Козлова, по мнению Шенгели, «крайне неточен в узком смысле слова и совершенно фальшив в художественном отношении» [Шенгели: 523]. Шенгели иллюстрирует эту «неточность» и «художественную неполноценность» примерами из Козлова, который по подсчетам «одного ученого» передал содержание произведения «едва ли больше, чем на 60%». Это, согласно Шенгели, оказывается фатальным для русского образа Байрона, который очень заботился о подробностях: «Байрон исключительно заботлив в детализировке своих картин; он не набрасывает их широкими мазками, он “сухой иглой” гравировывает их на меди». К тому же Козлов не выдержал формы октавы, а октава, как утверждает Шенгели, «неотъемлемый стилистический фактор, и переводчик должен сохранить ее, несмотря ни на какие трудности». Шенгели сохраняет октаву, однако одновременно он заменяет байроновский пятистопный ямба русским шестистопником. Как объясняет Шенгели, ссылаясь на собственные исследования, «размер сам по себе не есть самодовлеющая ценность, не есть элемент определенного стиля», и только русский шестистопник способен вместить в себя богатство деталей и вместе с тем легкость, небрежность и разговорность байроновского стиля [Там же: 533]. Этот принцип Шенгели называет «принципом функционального подобия».

Итак, 11 марта 1948 г. состоялось обсуждение нового перевода. Со вступительным докладом выступил переводчик и критик Эзра Левонтин. Докладчик в основном положительно оценил работу переводчика и заключил, что «успех Г. Шенгели является успехом всей школы советского перевода». Отклики участников дискуссии были тоже преимущественно положительными. Среди них, однако, были и некоторые критические замечания. Они были высказаны председателем Кашкиным, который открыл дискуссию напоминанием о ее непосредственном политическом контексте, «по-

сле ряда постановлений по вопросам литературы, искусства, после философской дискуссии, и во всем нам понятных условиях сегодняшнего дня» [РГАЛИ. Ф. 2854. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 3].

Критика Кашкина относилась как к докладу, так и к самому переводу. В частности, он упрекает Левонтина за слова о том, что Суворов «предстает читателю во всем величии мудрой скромности, в неразрывной связи гениального полковника с войском, народом». Этот образ, говорит Кашкин, «конструирован на основе одной хорошей строки: “He made no answer, but took the city”. Но сегодня говорилось и о других строках, касающихся Суворова, гораздо менее удачных, особенно в переводе» [Там же. Л. 5]. Само издание, как считает Кашкин, «внеисторично»: «Нет предисловия, которое определило бы общее понимание Байрона, меру прогрессивности и консерватизма самого Байрона» [Там же. Л. 15]. Но главная ошибка докладчика, по мнению Кашкина, заключалась именно в применении термина «советская школа перевода»: «нисколько не умаляя достоинства ГАШ <Георгий Аркадьевич Шенгели. — С. В.>, не следовало бы все-таки постановку вопроса провозглашать его разрешением и тем паче канонизировать как принцип советской школы перевода» [Там же. Л. 9]. В самом переводе, для Кашкина самое неприемлемое — попытки найти «острые приемы». Главную же причину недостатков в переводе Шенгели Кашкин видит в его стремлении к точности:

Все в точности и это приводит в пределе к утомительному любованию деталями туалета <...> все как будто на месте. Но во многих строфах это «на месте» напоминает то, как во многих московских [зачеркнуто] квартирах подолгу стоит на месте поставленная газовая аппаратура, а теплотворного газа нет [Там же. Л. 12].

Сформулированный Шенгели принцип функционального подобия, который у него касается лишь выбора стихотворного размера, Кашкин соотносит с переводческой практикой Шенгели в целом, что дает повод для резкой критики отдельных решений. Находит ли читатель «правду» в переводе Шенгели, спрашивает в заключение Кашкин, и сам же отвечает:

Пока еще далеко не всюду. Но Г. А. настолько сжился и вработался в Д. Ж., что мы вправе ожидать, что в его дальнейшей работе эта переводческая правда решительно возобладает, и что мы увидим перевод не менее блестящим, но более близким Байрону [Там же. Л. 15].

Хотя обсуждение «советской школы перевода» на этом заседании велось в русле полемики, этот концепт не получил здесь никаких положительных определений. Единственное определение было по принципу «от против-

ного» — «советская школа», по заявлению Кашкина, это во всяком случае не практика Шенгели. О своем непризнании методов перевода, направленных на некую «точность», Кашкин писал еще в 30-е гг. В статье 1936 г. он критиковал перевод романа Диккенса «Записки Пиквикского клуба», выполненный Евгением Ланном и его женой Александрой Кривцовой по их же «формальному принципу точности перевода». Точность Шенгели, которая мотивируется функциональностью, и точность Ланна и Кривцовой, которая стилистически мотивирована, очень разные по характеру — что, впрочем, хорошо описано в книге Андрея Азова [Азов]<sup>8</sup>. Но у Кашкина они в дальнейшем будут сведены воедино и противопоставлены «советской школе перевода». Кашкин остался недоволен обсуждением перевода Шенгели 11 марта 1948 г. и добился постановления бюро Секции о том, чтобы признать его «неудовлетворительным» и просить членов Секции Маршака, Чуковского и Асеева «как не принявших участие в прениях, дать письменную оценку нового перевода “Дон Жуана” и рецензии на него Э. Е. Левонтина <...>» [РГАЛИ. Ф. 2854. Оп. 1. Ед. хр. 283. Л. 33, 34]. Спустя два года Кашкин возвращается к той же теме в своем выступлении на отчетно-выборном собрании Секции переводчиков 3 марта 1950 г., где выражает недовольство как докладом Федорова, так и обсуждением перевода Шенгели. В этой связи он заявляет:

Правда, при этом наглядно выяснилось, что противостоит основному творческому ядру Секции. То, чему нам надлежало бы дать отпор. В нашей области не было прямых вылазок, но замаскированные вредные тенденции все же были. Сохранились отголоски не до конца разоружившегося формализма в разных его аспектах.

— Проявления чуждой ориентации — в творческом методе.

— Беспринципный практицизм и эмпиризм, который прикрывается ложным и мнимым принципом бездумной кальки.

Дело даже не столько в завершенных носителях этих тенденций, сколько в том, что сами тенденции эти еще носятся в воздухе и отравляют его [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 88. Л. 20–20 об.].

Здесь Кашкин, обостряя свою полемическую позицию, артикулирует ее в терминах дискурса о «формализме». Возникший в рапповской риторике начала 30-х гг., термин «формализм» начал употребляться как антоним пропагандируемому с 1932 г. социалистическому реализму. Особенно активно использовавшийся в связи с кампанией против «формализма и нату-

<sup>8</sup> Описывая концепции Ланна, Шенгели и Кашкина, Азов, однако, не затрагивает вопроса о «советской школе перевода».

рализма» в 1936 г., этот дискурс возобновился во второй половине 1940-х, и в дальнейшем конструировании концепта «советской школы перевода» он будет играть чуть ли не главную роль. Если в общем «формализм» означал любые модернистские тенденции художественного творчества и «чрезмерный интерес» к вопросам эстетики, то в отношении к переводу он приобретал дополнительный оттенок «любования чужим как таковым». В борьбе против нежелательных тенденций Кашкин приписывал переводчикам активную и многоплановую роль:

Мы не должны и не хотим засорять сознание советского читателя переводами Сартра или Генри Миллера, Фолкнера или Андре Жида, отвратительные писания которых совершенно достаточно были освещены должным образом и оценены в ряде статей. Перевод, в меру своих возможностей, тоже должен активно вмешиваться, правильно отражать происходящее и действительно помогать читателю в понимании происходящего. Настоящий рост переводного дела предполагает сознательный и более строгий отбор книг [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 88. Л. 13 об.].

Осенью того же 1950-го года состоялось заседание Секции о задачах советского перевода мировых классиков. Здесь перевод Шенгели вновь оказался в центре внимания — к удивлению самого переводчика, так как вопрос о нем, собственно, в течение почти трех лет не поднимался. Кашкин теперь выступил с речью, в которой осуждал «ложную фактографическую точность, которую иной раз лишь затемняет идейно-художественный смысл произведения». «Что же это, — спрашивает Кашкин, — норма советского перевода и советской переводческой культуры?» — и отвечает:

Конечно, нет! И все мы это отлично знаем. Мы знаем, что принципы и методы советского переводческого искусства утверждались в тяжелой борьбе с чуждыми и враждебными взглядами, оставшимися в наследство от времен декадентства и формализма и от халтурного периода нэпа. Пришлось преодолеть и небрежную бальмонтовщину и схоластическую шпетовщину <... > [РГАЛИ. Ф. 2854. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 9].

Но так как все равно не прекращается выпуск порочных переводов типа «версификаторской транспонировки “Дон Жуана” Шенгели, или мертвый догматизм Ланновских переводов Диккенса», Кашкин призывает

дать отпор всем попыткам вульгаризации, опошления, фальсификации самого понятия «принципы советского перевода», «школа советского перевода», попытки выдать за его достижения работы, чуждые самому существу этого понятия [Там же. Л. 10].

Кашкин предъявил Шенгели и более конкретный упрек, который в некотором смысле противоречил основной критике. Шенгели обвинялся в искажении образа Суворова и его солдат в поэме Байрона. Обвинение Кашкина было подкреплено примерами из перевода, в ответ на которые Шенгели указал, что «буквально все эти места, оскорбляющие Суворова, присущи оригиналу; они переведены мною точно» [РГАЛИ. Ф. 2854. Оп. 1. Ед. хр. 118. Л. 16]. Тем не менее эта критика получила широкий резонанс в дальнейшем. Общая характеристика перевода Шенгели, данная Кашкиным на этом заседании — несоветского, непоэтичного и непатриотичного — стала фактом, повторяющимся из контекста в контекст. Так, в годовом отчете Секции за 1950-й год, например, Байрон в переводе Шенгели упоминается как «случай рецидива формализма в переводческой работе», в котором «увлечения внешней виртуозностью и экзотикой привели к ряду искажений образной системы подлинника, в частности, оказались сниженными по сравнению с английским текстом образ Суворова и его солдат» [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 91. Л. 36].

Еще один дискурс, имеющий отношение к развитию концепта советской школы перевода, прозвучал на том же осеннем заседании Секции 1950 г. Его можно условно назвать «антимарристским». Речь идет о последствиях статьи Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» в «Правде» летом того же года. Эта публикация, как известно, положила конец марризму в советской лингвистике. В области перевода, как и во всех филологических дисциплинах, следовало сейчас задуматься об импликациях нового императива для собственной деятельности. Главный докладчик Николай Вильям-Вильмонт процитировал высказывание Сталина о том, что язык «коренным образом отличается от надстройки», и подчеркнул, что «смена базисов, надстроек не приводит к смене языка, к внезапной языковой революции». Следовательно, по Вильмонту, «Мы, русские переводчики, переводим мировую литературу не на какой-то новый язык, а на современный русский язык, по своей структуре мало чем отличающийся от языка Пушкина» [РГАЛИ. Ф. 2854. Оп. 1. Ед. хр. 120. Л. 1]. Из этого вытекает, по Вильмонту, тезис о культурном наследии в области художественного перевода, в котором подчеркивается «неразрывность традиций старого русского и советского перевода». Это создало возможность включить старые переводы в советский канон. Пушкин, Лермонтов и Жуковский, а также Достоевский и Тургенев были объявлены предтечами советского перевода. Такая переоценка русских переводов XIX века была невыгодна для Шенгели, который, как мы видели, противопоставил свой перевод «Дон Жуана» козловскому переводу 1888 г. Среди достижений советско-

го перевода Вильмонт назвал работы Маршака, Лозинского, Немчиновой, Волжиной и Дарузес. Им было противопоставлено «неправильное истолкование Диккенса Ланном и Кривцовой».

Антимарристский дискурс был развернут дальше в статье тогда еще молодого П. М. Топера «О некоторых принципах художественного перевода», напечатанном в первом номере журнала «Новый мир» за 1952 г. Здесь прежние переводческие проблемы артикулируются в терминах антимарризма: марризм отождествляется с формализмом, а формализм — как и раньше — с ориентированным на точность переводом:

Сталинские труды по вопросам языкознания показывают всю несостоятельность формалистических принципов, существовавших в практике и теории перевода еще сравнительно недавно.

Переводчики-формалисты ввели понятие «точности» перевода, под которой они подразумевали формальную точность в передаче оригинала. Их деятельность, протекавшая почти исключительно в области переводов с западноевропейских языков, была одним из проявлений низкопоклонства перед буржуазным Западом. С барским презрением к законам русского языка, к традициям русской литературы, они требовали сохранения каждого формального элемента, каждой запятой подлинника, насиловали строй русского языка, навязывали ему чуждые, иноязычные конструкции. С поистине марристским, космополитическим пренебрежением к национальной самобытности русского языка, его структуре и свойственным ему законам развития, они требовали копирования всех синтаксических ходов подлинника, открыто выдвигали принцип передачи формы подлинника в отрыве от его идейного содержания [Топер 1952: 237].

Марризм, по мнению Топера, долгое время тормозил необходимое создание «реалистической теории перевода» [Там же: 235]. Такую теорию Топер предлагает составить по «щедро разбросанным в статьях Белинского мыслям» [Там же: 240]; она должна обобщить «опыт лучших мастеров советского перевода» [Там же: 247].

Понятие «реалистического перевода» получает развитие в последующих статьях Кашкина, первая из которых вышла в «Новом мире» в декабре того же 1952 г. под названием «Традиция и эпигонство» ([Кашкин 1952с]; см. также: [Кашкин 1952а, 1952б, 1954а, 1954б, 1954с]). Основываясь на ленинской теории отражения, Кашкин утверждает, что советские переводчики «стараятся воссоздать ту объективную реальность, которая словами выражена и придает жизнь слову; они стараются воспроизводить не отдельные слова, а именно реальность, которая содержится в тексте подлинника, со всем его смысловым и образным богатством»; переводчик



должен «различить за словесным выражением отраженную в нем конкретную действительность» [Кашкин 1955: 126]. Полномочия, таким образом отданные советскому переводчику с его более «прогрессивной», чем у оригинального автора, перспективой, на практике оправдывали всякие стратегии по адаптации оригинала для советского читателя вплоть до сокращений и пересказа. Реалистический перевод преподносится Кашкиным как «единый метод» советской школы перевода и противопоставляется в каждой из этих статей приписанному Шенгели и Ланну «буквализму». В статье «О методе и школе советского художественного перевода» (в третьем номере журнала «Знамя» за 1954 г.) Кашкин максимально приближает свой метод к основному дискурсу о социалистическом реализме:

в реалистическом методе, в его правдивости, в его исторической конкретности лучшая гарантия верной передачи подлинника со всей его светотенью; гарантия передачи верной, но преломленной нашим восприятием уже потому, что наш советский художественный перевод вовсе не «ремесло фотографа», а творческое освоение, отрасль искусства социалистического реализма [Кашкин 1954а: 145].

Но и противники метода — представители «формализма» — характеризуются в опознаваемых категориях. Максимальную остроту эта характеристика приобретает на обсуждении доклада Кашкина о «пережитках формализма в художественном переводе» 4 марта 1953 г., где заявляется:

Формализм в переводческой теории и практике — это анти-народный ~~анти-партийный~~, антисоветский, исходящий из идеалистических воззрений, антидемократический, реакционный, оторванный от жизни, от актуальной действительности, от народа и его запросов, «перевод для перевода» [РГАЛИ. Ф. 2854. Оп. 1. Ед. хр. 389. Л. 35].

Общая картина противника «советской школы перевода», которая конструируется Кашкиным в этой дискуссии и в других контекстах, апеллирует к разным аспектам антикосмополитического дискурса: что-то чужое («иноязычие», «чуждые враждебные идеи») тайно проникает («под шумок», «под маской»), «засоряет» «чистоту русского языка», «народный язык» и «мертвит», «умерщвляет» «живое содержание» или же «идейно-художественное единство» произведения. При этом широко применяются и элементы метафоры дискурсов 30-х гг., в частности, «вредительского» дискурса: нежелательное явление сравнивается с «блохами», «пауком/паутиной», «недугом», «болезнью», «заразой», которые подлежат «искоренению».

Итак, мы увидели, насколько тесно связана история концепта «советской школы перевода» с вопросами власти и идеологии в той форме, в какой они существовали в профессиональной среде переводчиков на рубеже 1940–1950-х гг. Конструирование концепта предполагало наличие Другого, которое так же необходимо было сконструировать. Мы видели, как активизировались при этом в своеобразных сочетаниях дискурс о социалистическом реализме, дискурс о формализме, дискурсы ждановщины и кампании против космополитизма и, после 1950 г., антимарристский дискурс. Этот процесс был так тесно связан с именем Ивана Кашкина и его собственной школой («школой Кашкина»), что она стала практически синонимичной с «советской школой» вообще. Волна переводов произведений американской литературы во времена оттепели, большая часть которых была выполнена бывшими участниками (вернее, участницами) коллектива Кашкина, и, в особенности, канонизация Хемингуэя, придали новый статус имени Кашкина (который был специалистом по его творчеству и написал предисловие к первому двухтомнику Хемингуэя в 1959 г.). Слава Кашкина как переводоведа, педагога, переводчика и литературоведа, в свою очередь, стала неотъемлемой частью дискурса о «советской школе». Как вспоминает бельгийский ученый Кристиан Баллю, во время конференции по переводу в Московском лингвистическом университете в 2002 г., профессор Марина Литвинова заявила ему: “Nous sommes tous des Kachkiniens” [Balliu: 939]<sup>9</sup>.

В заключение зададимся вопросом: какие последствия имело описанное формирование концепта «советской школы перевода» с его специфической оперативностью? Ответ представляется тройким. Во-первых, произошло последовательное перемещение всего дискурса о переводе в сторону специфической прескриптивности и соответствующая расстановка оценочных координат — от плюралистической концепции Федорова 1948 г. до «единого метода» Кашкина — которая ощутима в русском переводоведении по сей день. Во-вторых, все дискурсы, некогда использованные Кашкиным в полемике с декларированными противниками «советской школы», способствовали вытеснению категории «чуждости» из русского перевода и сделали невозможным концептуализацию этой категории в безоценочных терминах. Между тем, ориентированные на некую «точность» подходы к переводу (представленные, в том числе, Шенгели и Ланном) являются частью русского наследия переводческой мысли, которая сегодня получает новую актуальность в свете «новошлейермахерских»

---

<sup>9</sup> Марина Литвинова известна сегодня, в том числе, своими переводами Гарри Поттера.

работ Андре Бермана [Berman], Лоренса Венути [Venuti] и вдохновенных ими исследователей международного переводоведения. В-третьих, дискурсы сталинского времени, которые характеризуют ранние тексты о «советской школе перевода», мешают сегодняшнему восприятию этих текстов, заслоняя те интересные наблюдения, которые в них несомненно тоже содержатся. И — не в последнюю очередь — затрудняется непредвзятый анализ переводов представителей самой «школы Кашкина» с их действительно очень большим культурным значением в позднее советское время. А такой конкретный анализ, выявляющий «имплицитный аспект» истории перевода [Тогор: 25], представляется задачей первостепенной важности, если мы действительно хотим установить, как выглядела на уровне переводческой практики «советская школа перевода».

## Литература

РГАЛИ. Ф. 631; Ф. 2854.

Азов: Азов А. Поверженные буквалисты: Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы. М., 2013.

Алексеев: Алексеев М. Проблема художественного перевода. Иркутск, 1931.

Кашкин 1952а: Кашкин И. Удачи, неудачи и полуудачи: рецензия на «Избранное» Байрона. М.–Л.: Детгиз, 1951 // Новый Мир. 1952. № 2.

Кашкин 1952б: Кашкин И. Ложный принцип и неприемлемые результаты // Иностранные языки в школе. 1952. № 2.

Кашкин 1952с: Кашкин И. Традиция и эпитонство: об одном переводе байроновского «Дон Жуана» // Новый мир. 1952. № 12.

Кашкин 1954а: Кашкин И. О методе и школе советского художественного перевода // Знамя. 1954. № 10.

Кашкин 1954б: Кашкин И. О реализме в советском художественном переводе // Дружба народов. 1954. № 4.

Кашкин 1954с: Кашкин И. Вопросы перевода // В братском единстве. М., 1954.

Кашкин 1955: Кашкин И. В борьбе за реалистический метод // Вопросы художественного перевода / Ред. В. Россельс. М., 1955.

Россельс: Россельс В. Опыт теории художественного перевода // Левый И. Искусство перевода / Пер. с чешского и предисл. В. Россельса. М., 1974.

Топер 1952: Топер П. О некоторых принципах художественного перевода // Новый мир. 1952. № 1.

Топер 2000: Топер П. Перевод в системе сравнительного литературоведения. М., 2000.

Шенгели: *Шенгели Г.* Послесловие // Байрон Г. Дж. Дон Жуан / Пер. Г. Шенгели. М.: ГИХЛ, 1947.

Яacobсон: *Яacobсон Р.* О лингвистических аспектах перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 1978.

Baer: *Baer, B. J.* (ed.). Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary translation in Eastern Europe and Russia. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2011.

Baer, Witt: *Baer, B. J.; Witt, S.* Translation in Russian Contexts: Culture, Politics, Identity. London [in print].

Balliu: *Balliu, Chr.* Clefs pour une histoire de la traductologie soviétique // Meta. 2005. № 3.

Berman: *Berman, A.* The Experience of the Foreign. Culture and Translation in Romantic Germany / Transl. by S. Heyvaert. New York: State University of New York Press, 1992.

Burnett, Lygo: *Burnett, L.; Lygo, E.* (eds.). The Art of Accommodation. Literary Translation in Russia. Oxford: Peter Lang, 2013.

Fairclough: *Fairclough, N.* Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. London; New York: Routledge, 2003.

Leighton: *Leighton, L.* Two Worlds, One Art: Literary Translation in Russia and America. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1991.

Schippel, Zwischenberger: *Schippel, L.; Zwischenberger, C.* (eds.). Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies. Berlin: Frank & Timme, 2016.

Torop: *Torop, P.* History of Translation and Cultural Autotranslation // Between Cultures and Texts, Itineraries in Translation History / with an Introduction by T. Hermans. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011.

Venuti: *Venuti, L.* The Translator's Invisibility. A History of Translation. London, 1995.

Witt 2013: *Witt, S.* Arts of Accommodation: The First All-Union Conference of Translators, Moscow, 1936, and the Ideologization of Norms // The Art of Accommodation: Literary Translation in Russia / Ed. by L. Burnett, E. Lygo. Oxford: Peter Lang, 2013.

Witt 2016a: *Witt, S.* Byron's "Don Juan" in Russian and the "Soviet School of Translation" // Translation and Interpreting Studies. The Journal of the American Translation and Interpreting Studies Association [Special Issue: Contexts of Russian Literary Translation / Ed. by S. Witt, J. Hansen]. 2016. 11:1.

Witt 2016b: *Witt, S.* Translation and Intertextuality in the Soviet-Russian Context: The Case of Georgii Shengeli's "Don Juan" // Slavic and East European Journal. 2016. 60:1.

## THE CONSCIOUSNESS OF NECESSITY: TRANSLATION OF NATIONAL LITERATURES IN THE SOVIET UNION

NATALIA KAMOVNIKOVA

The history of literary translation in the Soviet Union has remained in the focus of attention of researchers in the recent years. Impressive research in the field of literary translation was done by Brian Baer [Baer 2016; Baer 2011], Daniele Monticelli and Anne Lange [Monticelli 2014: 95–111; Monticelli 2015: 204–209], Susanna Witt [Witt: 155–190], and many others. In this article, I shall try to look upon the issue of literary disparity and the subordinate position of national literatures and their translations into other national languages from a different angle. In order to describe the translation situation in the Soviet Union in the 1960–1980-ies, I shall use statistical data, as well as officially issued recommendatory lists, which might prove useful in defining the true status of national languages and literatures of Soviet Socialist republics in relation to the Russian language. This correlation of language statuses would precondition the demand for translations into and from the national languages, because the demand for translation is directly linked with the parameters of status and prestige of the languages involved in the translation process. The statistics will be followed by several examples in order to illustrate the overall translation tendency in the Soviet Union in the chosen period.

Being translated into Russian — the dominating language of the Soviet Union — was the prerequisite for an author to enjoy recognition in the USSR. Despite the federative multilingualism officially stipulated by the Soviet Constitution [Конституция: 3–49]<sup>1</sup>, it was the Russian language which was the language of the dominating majority and the lingua-franca of the USSR; it was politically maintained as the main language of the state. Throughout the

---

<sup>1</sup> See Articles 34, 36, 45, 159

Soviet era, the Russian Soviet Federative Socialist Republic remained the biggest in terms of both its territory and population. The historical domination of the Russian Federation over other republics and autonomies of the Soviet Union consisted, among other factors, in the increase of the role of the Russian language in all spheres of public life, including literature and arts.

The dominant role of the Russian language in literature and publishing is clearly visible from the statistical data, beginning from the number of its speakers and speakers of other national languages of the Soviet Union. The census of 1959 was considered imperfect in terms of the language picture, because its questions on language and ethnicity were not clearly separated. However, the majority of the population (over 90%) of the Russian Federation indicated the Russian language as their main language. The census of 1970, which paid closer attention to the issues of language and ethnicity, demonstrated a clear domination of the Russian language, with almost 141.8 mln. people naming it a native language (out of the total population, which made almost 241.7 mln. people). 41.9 mln. people named Russian their second language, which means that 183.7 mln. people, or more that 75 % of the total population of the country, could speak the Russian language [БОЛДЫРЕВ: 7, 46].

The given figures ensured the position of the Russian language in the hierarchy of literary space: publications in Russian enjoyed better promotion and a wider audience, which included readers who used Russian as both the first and the second language. Thus, for instance, in 1965, the number of books published in the Soviet Union in the Russian language equaled 57 521 out of the total number of 76 101, which made exactly 75% of the total number of the published titles [Печать СССР 1966: 10]. The proportion remained stable in the subsequent years, the number of Russian titles amounting to almost 77% in 1972 [Печать СССР 1974: 9] and almost 78% in 1980 [Печать СССР 1981: 24]. The relation of the titles published in the Russian language to the total number of published titles, therefore, was maintained in order to meet the needs of the Russian speakers, who, as we have seen above in the census data, made 75% of the population of the country.

The importance of the Russian language and its role of a lingua-franca were regularly stressed in official contexts. Addressing the Fifth Congress of Writers of the USSR in 1971, writer Georgii Markov stated: "In the context of the merge of socialist literatures, the Russian language plays a particularly important role. Almost every important work written in the languages of the sister republics becomes known to the all-Union reader" [Марков: 8]. The statement relates to the role and the wide circulation of Russian language publications in the Soviet Union, as well as to the fact that translations into

Russian regularly served as intermediary texts for further translations into other languages of the Soviet Union. Kazakh writer and translator Aben Satybaldiev described this reality of the Soviet translation, stating that “almost all main literary works of our <i. e. Kazakh> literature have been translated into Russian, and through Russian they are being translated into other world languages” [Сатыбалдиев: 181–182]. Ukrainian poet and translator Mikola Bazhan applied this formula to all national literatures of the Soviet Union, indicating that “in most cases a book written in a language other than Russian enters the world stage due to its Russian translation” [Бажан: 25]. The perspectives described made it natural that most Soviet authors writing in languages other than Russian sought possibilities of getting their works translated into the Russian language.

To an extent, this overall tendency created the effect of reciprocity: the centralized domination of the Russian language was overtly welcome and maintained by representatives of national literature, despite the possible covert resentment. The numerical superiority of the Russian-speaking readership, better perspectives of a literary career, and even a further chance to get one’s works translated into other world languages made it impossible for national writers and literatures to resist the situation. The overall orientation of writers towards the lingua-franca contributed to the actual lowering of the status of national languages and literatures.

Therefore one can assert that the Russian language was not only a lingua franca in the traditional meaning of the term — that is, a chief medium of communication, a common language used by speakers of different language backgrounds [Sridhar: 53]. In the Soviet Union, the Russian language played a special role of a literary lingua franca, a mediator in the communication of literatures and readers. For this reason, the total number of translations (literary and non-literary) into Russian exceeded the total number of translations made into all other languages of the Soviet Union. The following chart lists the main fifteen languages of the Soviet republics and the number of translations published in each of these languages.

Table 1

Languages of translation	Number of published translations, 1965 <sup>2</sup>	Number of published translations, 1980 <sup>3</sup>
Total	8 883	8 317
Russian	2 299	2 294
Ukrainian	364	378
Belorussian	85	87
Uzbek	528	271
Kazakh	226	229
Georgian	387	162
Azerbaijan	322	222
Lithuanian	385	233
Moldavian	297	202
Latvian	363	261
Kyrgyz	192	241
Tajik	177	116
Armenian	291	197
Turkmen	174	96
Estonian	389	263

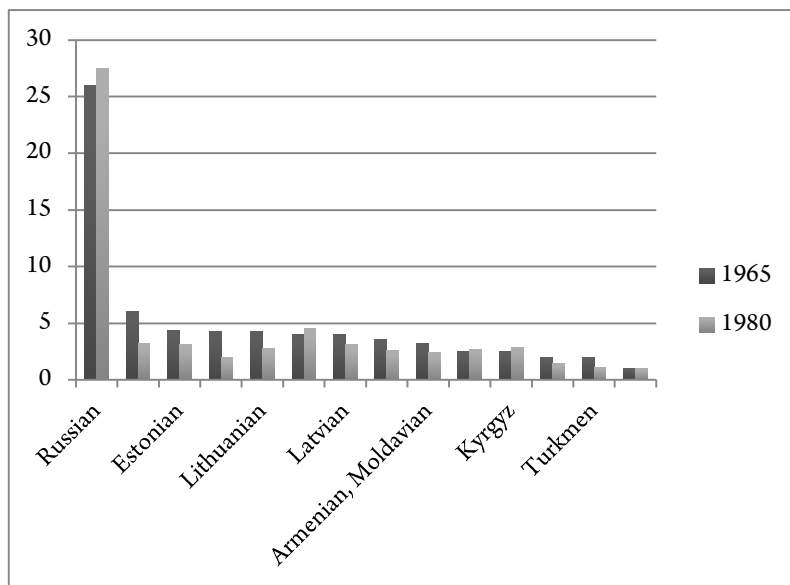
The chart clearly demonstrates the general preference of the Russian language as the prime language for further circulation of texts in the Soviet Union. Thus, for instance, in 1965, when the total number of translated titles in the Soviet Union amounted to 8883, 2299 titles were translated into Russian from 94 languages, which made 26% of all translations. For comparison, the number of translations into Ukrainian that year made 364 titles (4%) from 35 languages, into Lithuanian — 385 (4.3%) from 31 languages, into Estonian — 389 (4.4%) from 23 languages, and from Belorussian — 85 (less than 1%) from 10 languages [Печать СССР 1966: 10]. Similar statistics applies to 1980, with translations into Russian accounting for 27% of all translations, Ukrainian — 4.5%, Lithuanian — 2.8%, Estonian — 3.1%, Belorussian — 1% [Печать СССР 1981: 24]. As one can see, the total number of translated titles decreased by 1980, with an unsubstantial increase in numbers in the case of the Russian, Ukrainian and Kyrgyz translations. The following diagram presents the overall picture more vividly.

<sup>2</sup> [Печать СССР 1966: 10].

<sup>3</sup> [Печать СССР 1981: 24].



Diagram 1



The publishing statistics by each republic makes the domination of the Russian language even more apparent. Such statistics began to be collected and published in the 1970-ies; here, for the sake of clarity, I shall list the data of 1980 [Печать СССР 1981: 140–5]: with goals having been set over two decades before, the year 1980 should have, in theory, shown an increase in the number of translations into the languages of the Soviet Union.

Table 2

Soviet Socialist Republic	Publications in the local national language	Publications in the Russian language	Publications in other languages of the Soviet Union
Ukraine	2 164	6 572	17
Belarussia	370	2 548	1
Uzbekistan	973	1 030	144
Kazakhstan	757	1327	84
Georgia	1 382	564	125
Azerbaijan	793	395	26
Lithuania	1 270	282	–
Moldavia	523	942	3
Latvia	1 118	1341	12
Kyrgyzstan	482	578	14
Tajikistan	261	319	8

Armenia	714	362	10
Turkmenistan	311	349	1
Estonia	1 304	598	2
Russia	45 543		1 150

As one can see from the Table 2, publications in the Russian language in most republics exceeded the number of publications in local national languages, with the exception of Georgia, Azerbaijan, Lithuania, Armenia, and Estonia, who demonstrated a strong preference of local national languages. However, despite the occasional attempts to maintain the status of local languages and literatures, one can assert here, that the term *languages of limited circulation* can be applied to all national languages in the historical context of the Soviet Union. By *languages of limited circulation* I here understand all languages the usage of which is restricted to a certain geographical territory or nationality. Languages of limited circulation therefore may function as the main means of communication within their geographical and social realm, but do not perform a steady function of a lingua franca<sup>4</sup>. In this regard, any language of the Soviet Union apart from Russian can be considered a language of limited circulation.

This overall slant towards the Russian language alone had an adverse effect on the status of national languages and literatures. The effect was enhanced by the centralized approach to the selection of titles and translation methods. The role of national languages was substantially undermined by the way national literatures got represented in translations.

The process of individual selection of authors and works was made in strict accordance with the existing rules and regulations and carefully screened at every stage. Screening of translated literature was done not only at the final stages, when ready translations were studied both first by editors and then by controlling organs, but also on the preliminary stages, when publishers compiled publishing plans, which were then to be approved by Glavlit — the central controlling organ. To compile the publishing plan, publishers needed to get themselves acquainted with lists of works recommended for literary translation in order to bring the publishing plans in line with the officially defined literary course. Official recommendations were an integral part of the Soviet publishing procedure already in the end of the 1930-ies, when special attention started to be paid to the methodology for construction of recommendatory bibliographical reference lists. The purpose of the lists was not only to provide the reader (and, hence, the publisher and the translator) with a list of

<sup>4</sup> For more on languages of limited circulation (distribution) and the role of national literatures, see, for instance, [Szegegy-Maszák: 5–18].

recommended literature — the ultimate goal pursued in this case was “to create the readership system, to set the courses for it to follow, to define the final result of the reading” [Лауфер: 100]. This means that the final purpose of recommendatory lists was far from being purely educational. Recommendatory lists were not compiled as reading lists; their function was to a great degree manipulative, with the final result of the perspective reading already set and predetermined. Construction of literary bibliographies was directly affected by the regulations on ideology issued by the Central Committee of the Communist party and the requirements they imposed on literature, print, and culture in different years (О журналах «Звезда» и «Ленинград»; О литературно-художественной критике: 524–528; О репертуаре драматических театров; О повышении роли библиотек). Throughout the subsequent decades, arts and literature continued to remain “part of the common cause, important means of communist education and weapons of ideological struggle” [Лауфер: 219]. The consistent fulfillment of the prescriptions and regulations of the Communist party made the Soviet literary bibliography a highly politicized phenomenon “based on *the Communist party principles*<sup>5</sup> in the production and transfer of information and its propaganda” [Трубников: 11].

Lists of recommended works were issued by different organizations and different purposes. To ensure the uniformity of description, I shall here dwell upon the lists issued in one year — namely, 1961. Thus, for instance, the *List of Literary Works of the Literatures of the Nations of the USSR Recommended for Translation into Languages of the Peoples of the USSR* (Список художественных произведений) was compiled as a reference-book for publishers and translators. The distinctive feature of this list is its absolute anonymity both in terms of its compiler and its publisher: the front page bears the name of the location and the year — Moscow, 1961, — leaving the source of publication unknown. The Russian National Library catalogue also describes the publisher as “unidentified” [Catalogue]. This typewritten and further duplicated anonymous document has the structure of a reference book: it lists the names of the recommended authors, the titles of their books, and provides brief summaries of each work.

The listed recommended works are grouped by republic (and, therefore, by source language); the proportion of recommended titles per capita looks quite logical at the first glance, yet careful calculations expose discrepancies. Initially, it would be logical to assume that the number of recommended titles from each republic depended on the population of each republic, that is, that the share of

---

<sup>5</sup> Italics as in the original.

the population of each republic per one title recommended for translation into other languages would be more or less equal. However, if we divide the population of each republic by the total number of titles recommended for translation into other languages, it would turn out that the highest density of writers and important works of the Soviet Union was in Armenia (one title per 41 thousand persons) and Estonia (one title per 46 thousand persons), Latvia and Tajikistan followed with one title per 60 thousand persons, then came Turkmenistan (61 thousand) and Kyrgyzstan (64 thousand). At the same time, Ukraine looks quite unprolific — one title per 327 thousand persons; the situation in Moldavia is even worse — one title per 412 thousand persons.

Table 3

Soviet Socialist Republics	Population (census 1959) — in thous. persons <sup>6</sup>	Literature recommended for translation in 1961 (in titles)						Approx. share of population of the republic per one recommended title — in thous. persons
		Prose	Poetry	Plays	Works for children and youth	Anthologies	Total	
Azerbaijan	<b>3 698</b>	23	7	3	-	-	<b>37</b>	<b>100</b>
Armenia	<b>1 763</b>	30	12	1	-	-	<b>43</b>	<b>41</b>
Belorussia	<b>8 056</b>	23	19	2	-	-	<b>44</b>	<b>183</b>
Georgia	<b>4 044</b>	5	7	-	-	-	<b>12</b>	<b>337</b>
Kazakhstan	<b>9 295</b>	17	7	-	-	-	<b>24</b>	<b>387</b>
Kyrgyzstan	<b>2 066</b>	11	21	-	-	-	<b>32</b>	<b>64</b>
Latvia	<b>2 093</b>	13	4	-	18	-	<b>35</b>	<b>60</b>
Lithuania	<b>2 711</b>	12	7	-	5	-	<b>24</b>	<b>113</b>
Moldavia	<b>2 884</b>	7	-	-	-	-	<b>7</b>	<b>412</b>
Tajikistan	<b>1 981</b>	12	21	-	-	-	<b>33</b>	<b>60</b>
Turkmenistan	<b>1 516</b>	10	14	-	1	-	<b>25</b>	<b>61</b>
Uzbekistan	<b>8 119</b>	8	5	1	2	-	<b>16</b>	<b>507</b>
Ukraine	<b>41 869</b>	50	25	33	14	6	<b>128</b>	<b>327</b>
Estonia	<b>1 197</b>	11	-	-	15	-	<b>26</b>	<b>46</b>

Works written in Russian are not included in the list of recommendations, which prompts that translation of Russian works into the languages of the

<sup>6</sup> As listed in census tables, see [Болдырев: 7].

Soviet Union was a matter of course practice which did not require additional incentives.

It is quite apparent that the list was carefully studied by publishers and translators and taken as serious guidelines for the selection of literature. Thus, for example, all eleven works of Estonian writers recommended for adult readers were translated into Russian during the Soviet period. Some of the translations followed the publication of the recommendatory list immediately, like *The Story of Emajõgi* by Luise Vaher [Вахер]. A number of translations of recommended works were published already in 1961, which prompts that the translations of these works were being made or even had already been made by the time the list of recommendations was published. This concerns such works as Hans Leberecht's novel *Palaces of the Vassars*, which was first published in Estonian in 1960, and enjoyed its first translation into Russian in 1961 [Леберехт]. The same concerns the novel by Ants Saar *There Searched a Man for Happiness*, first published in Estonian in 1958 and almost immediately translated into Russian [Саар], and Osvald Tooming's *The Road Goes through the Woods*, originally published in 1960 and hurriedly translated into Russian by 1961 [Тооминг]. A few works written before 1960 had been translated into Russian before the recommendatory list came out; some of them had already enjoyed two translations, like the first part of *The Windy Coast* by Aadu Hint [Хинт 1952; Хинт 1958]. It is true that the list did not define the Russian language as the primary target language of translation; however, translations into Russian were much more frequent, which is clearly seen from Table 1 and Diagram 1.

Another recommendatory list — *Classic Literatures of the Peoples of the USSR* [Кунина] — was compiled to cater the needs of educational organizations and teachers of literature and literary history. It includes the names and works of literatures of twelve Soviet republics and three autonomous regions (Jewish, Ossetia, and Tatar). Works of the Russian literature are also omitted here, alongside with Moldavian and Kyrgyz literary works. And if the list of classical Russian works is apparently omitted for the reasons mentioned above, it is at first hard to find a satisfactory explanation for the absence of Moldavian and Kyrgyz literature. Indeed, even if the description of Moldavian literature requires a considerable overlap with Romanian literature for the reasons of their common literary history, this should not have been the reason for the exclusion of Moldavia from the list. Considerable overlaps with literatures of other countries were not an impediment for compiling lists of classics of other republics. Thus, for instance, the list of Azerbaijan classics is headed by

the Persian poet Nizami Ganjavi. The Tajik section consists of the works by four poets: Rudaki, Ferdowsi, Omar Khayyam, and Saadi Shirazi, all of whom wrote in Persian. The list of Uzbek literature starts with Ali-Shir Nava'i, who became famous for his poetry in the Chagatai language, as well as in Persian; it is followed by Babur who also wrote in Chagatai. This means that the inclusion of Vasile Alecsandri or Ion Creangă into the Moldavian list would not have contradicted the approach chosen by the compilers of the index. This instant of neglect for Moldavian literature was not a sole one: even two decades later the collective monograph edited by Georgii Lomidze in 1986 stated: "The novel in Moldavia, which was set up in the 1930-ies, started to develop, as we know, in the recent twenty or so years" [Ломидзе: 153]. The comment is disputable, as already in the nineteenth century the Moldavian literature prided in the names of Bogdan Petriceicu Hasdeu and Constantin and Iacob Negruzzi.

The Kyrgyz literature of the nineteenth — beginning of the twentieth century was to a great extent limited to folklore [Эралиев: 362]; however, it also has its heroes like the akyn Moldo Kylych. The compilers, however, chose to omit Kyrgyz and Moldavian literature completely. This neglect goes contrary to the approach of equality of nations and literatures, which was also referred to by the compilers in the introduction to the index, where they spoke about the October revolution, which had created conditions for the wide circulation of national literatures "regardless the language they were written in" [Кунина: 3].

The choice of some classics over others in the index is also worth mentioning here. The selection of works of national classics at times demonstrates a clear slant towards the official party policy. This concerns, for instance, the works of such important classics of the Lithuanian literature as Maironis and Juozas Tumas-Vaižgantas, neither of whom was mentioned in the index. One of the most famous Lithuanian poets, Maironis (born Jonas Mačiulis, 1862–1932) was a Catholic priest, a graduate of St. Petersburg Catholic Theological Academy and a rector of Kaunas Priest Seminary. Already during his lifetime, Maironis was labeled "a proponent of bourgeois-nationalist ideology" [Литературная энциклопедия: 704]. As the author of romantic works on medieval subjects, Maironis also received uncomplimentary characteristics of literary officials. "In the context of the "independent" republic of Lithuania," went the Literary Encyclopedia in 1932, "these works proclaim monarchy, which is so much favored by many bourgeois-landowning circles of modern Lithuanian national-fascists, and therefore have a distinct reactionary nature" [Ibid.: 705]. Despite such unflattering descriptions, works by Maironis twice appeared in Russian translations in the Soviet Union in large circulations.

In 1948 and 1949 collected works of Maironis were published by *Goslitizdat* in 10 000 copies each year [Майронис 1948; Майронис 1949]. Direct recommendations for further publications were not found possible.

Writer Juozas Tumas (1869–1933), who was known under the pen-name of Vaižgantas, was also a Catholic priest, a rector of the Vytautas Magnus Church in Kaunas, and a social activist. Widely known and published in Lithuania, he remained virtually unknown to the Russian readers, with the novella *Little Fools' Tears* published in the collection of Lithuanian prose in 1948 [Вайжган-тас: 32–39]. The next Russian publication of Vaižgantas came twenty years later, when his novel “Uncles and Aunts” was published 1968 by a Lithuanian publisher [Тумас]. Neither Maironis, nor Vaižgantas were listed among the Lithuanian classics, despite the fact they were considered to be so in their home land. The Lithuanian list of classics in 1961 was limited to Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė) and Julius Janonis, both of whom had a more “appropriate” biography and literary subjects, the first being a peasant poet, the latter — a revolutionary activist and a Bolshevik.

Misrepresentation of national literatures in bibliographies, indexes, recommendatory lists, and, therefore, literary translations presented a serious problem, as it interfered with the very notion of equality and brotherhood of nations. This fact was pointed out, albeit in passing, by the Balkar poet Kaisyn Kuliev.

There is one problem, which critics barely touch upon: *what to translate*<sup>7</sup> into the Russian language from the languages of peoples of our country. I think this question one of the most important, when it goes about literary translation, and it must be solved in the first instance. How to translate is very important. It is much spoken and written about, but what to translate — this is what we usually keep silence about. Quite often one translates such books, which might have played some role in their young literature, in a formative stage, but they do not tell a thing to the Soviet reader; these are things without literary value [Кулиев: 383].

What is also notable in Kuliev’s comment is, again, the reference to the Russian language as the main target language. By the date of publication of Kuliev’s article in 1973, the unique status of the Russian language among the national languages of the country had been firmly established, and the Russian language continued to be used as a literary intermediate, the translations into Russian enjoying wide circulation and big readership. The comparatively lower status of the national languages of the Soviet Union, alongside with the Iron Curtain effect, which consisted in the increased curiosity in the literatures of the

---

<sup>7</sup> Author’s italics.

unknown, made the majority of Russian literary translators seek to translate literatures written in major European languages: English, French, German, and Spanish. Yet getting commissioned to these translations required experience and a substantial record of published literary translations, which younger translators did not have. This is why young Soviet translators actively engaged in translating poetry of the nations of the Soviet Union and the Communist bloc, hoping that once they are noticed, they would be getting commissions to works of “bigger” literatures. The lack of language command was not considered an impediment, because the Soviet literary system completely justified the use of interlinear trots in translating poetry. Interlinear trots — prosaic word for word translations of the original verse — were used to create translated poetry by poet-translators who were unfamiliar with the originals and their languages<sup>8</sup>.

The use of interlinear trots in translating poetry was a practice well familiar to translators and publishers of the Russian Empire, which was naturally taken over by the Soviet literature. The heightening of interest towards interlinear trots in the Soviet Union was determined by the shift in the role of literature, which was supposed to serve public purposes, including education. In context of this high demand for new literary texts, interlinear trots were considered useful: they were a way to introduce the readers to the variety of national literatures and a means of education of a new generation of well-qualified literary translators who, upon learning the language while translating from the interlinear trot, would later be able to translate from the original, too [РоссеЛБС: 45–46].

Let us take a look at the table of contents of the volume of Estonian poetry of the nineteenth century published in Leningrad in 1961 [РyMMO]. The book contains 454 poems by 20 Estonian poets translated into Russian by 42 translators. The anthology was compiled by an Estonian — namely, the Estonian writer and poet Paul Rummo (1909–1981); he also wrote the foreword and commentaries for the volume. Another Estonian who took part in compiling the anthology was poet Leon Toom, who co-edited the translations of the volume together with the well-known and highly respected Russian poet and translator Pavel Antokol’skii. The anthology includes translations made by Toom — namely, 41 out of 100 poems by Juhan Liiv and one out of 13 poems by Jakob Liiv included in the volume. The third Estonian speaker is Yurii Shumakov, a graduate of Tartu University and a famous translator of Estonian poetry, whose translations of two poems by Mihkel Veske are included in the

---

<sup>8</sup> For more detail about the earlier history and status of interlinear trots see: [Witt].



volume. Rummo, who did not translate for the volume, and Toom and Shumakov, who both made their contributions into the volume as translators, are the only people whose knowledge of Estonian cannot be questioned. Another name is David Samoilov, who would move to Estonia 13 years later in 1974, and who might have been familiar with some Estonian in the beginning of the 1960-ies. There are also four translations by poet Igor Severianin, who moved from the Soviet Russia to Estonia in 1918 and remained its resident till his death in 1941. Other translators, in all probability, resorted to interlinear trots. Poet Vsevolod Rozhdestvenskii is known to have spoken and translated French, Svetlana Evseeva, Bronislav Kezhun, Vsevolod Azarov were original poets, Anatolii Chevelikhin was a poet and a journalist, Vladimir Derzhavin, Aleksandr Kochetkov, and Dmitrii Levonevskii were translators but did not know Estonian, poet and translator Vladimir Kornilov did not speak Estonian, and Dr. Efim Etkind — a distinguished scholar and a translator — spoke English, French, and German, but, again, not Estonian. Among other poet-translators for the volume were such well-known poets and translators as Ariadna Efron, Mikhail Svetlov, Maria Petrovykh, who are known to have worked a lot with interlinear trots. This means that out of 42 translators no more than four spoke Estonian well, therefore three quarters of the anthology was translated via interlinear trots.

One cannot but point out that the inclusion of such political personae non-grata as Yurii Shumakov and Igor Severianin (two and four translations respectively) was a great risk taken by editors Rummo, Antokol'skii, and Toom. One being a former political prisoner, the other — an emigrant and a decadent, Shumakov and Severianin could be included only in such big collections of poetry, where their names could pass the censor unnoticed in the extensive table of contents, which occupies twelve pages of the anthology. Such inclusions of politically inconvenient names into large poetry collections was a regular practice of Soviet anthologists in the 1960–1980-ies.

The employment of interlinear trots gradually turned from a temporary measure into a routine, which did not meet much opposition on the behalf of national writers. Quite on the contrary, their criticism mainly referred to the quality of interlinear trots or the final results, but not to the interlinear translation methodology as such. Within one single collection of articles published in 1973, one can find expressions of hope that interlinear trots should further be prepared by better qualified specialists [Мамедов: 188], complaints that some translations from national literatures were unable to meet modern requirements [Сатыбалдиев: 182], or wishes for closer cooperation of national authors with their translators working with interlinear trots, for

“the author will not allow the translator to deviate from the original text” [Эралиев: 372].

Such author — translator cooperation, indeed, took place regularly. Close cooperation of translators and authors sometimes grew into friendship and gave life to volumes of works of national poetries published in Russian translations. This concerns the collaborative work of the Russian translator Mikhail Yasnov with the Moldavian poet Paul Mihnea and the Nenets poet Leonid Lapsui and of the Russian translator Viktor Andreev with the Yiddish-writing poet Khaim Beider. Yasnov’s translations of Mihnea’s poetry were published widely: thus, for instance, in 1975, twenty-six translations by the twenty-nine-year-old Yasnov were published in the collection of Mihnea’s poetry alongside with the translations of older and better known colleagues [Михня]. But however fruitful individual cases of author-translator cooperation might have been, it is quite obvious, that the national poets were willing, or, at least, did not mind placing their works in the hands of translators who could not read the original.

From this perspective, the general literary tendency in the Soviet Union can be described as the gradual construction of a new literary and linguistic identity. Historic domination of the Russian language as the target language of translations was further maintained as a lingua-franca and the binding element for the peoples of the Soviet Union. Since language, in Szegedy-Maszák’s definition, “stands for the collective memory that creates an imagined community” [Szegedy-Maszák: 13], domination of a single language in translation contributes to the construction of a potentially new community with different collective memories of both emotional and linguistic nature. The steady movement of the state towards a well-structured and well-subordinated society required a similar consolidation on the level of the language, literature, and, therefore, translation. This is why the initial plans of increasing the share of translations into national literatures were gradually erased from the common memory. At the same time, the demand for translations into Russian remained strong in the national languages of the Soviet Union, as translation in the disparate linguistic context, in Szegedy-Maszák definition, ensures “a better chance for survival” [Ibid.: 15]. The word *survival* here can be applied both to national literatures of the Soviet Union and to individual cases of living writers and poets, who naturally sought recognition by a wider readership. The seemingly free choice of representatives of national literatures to be translated into Russian was, as the famous quote goes, a consciousness of necessity, a way of ensuring a literary future in the given circumstances. This required their

coming to terms with the literary approaches and methods applied to translations, as well as being referred to as “writers of sister republics”, that is, being labeled as representatives of “minor” literatures. The alternative to this conscious decision was remaining restricted to the national language readership and, given the number of readers, eventually falling into oblivion. With the Russian readership in the country amounting to 75%, the translation situation in the Soviet Union was almost impossible to fight. Therefore, the steady advancement of the Russian language in literature and translation was a centralized process which developed with a yielded consent of individuals — writers, poets, and translators — who were solving their everyday creative tasks.

## References

Baer 2016: *Baer, B. J.* Translation and the Making of Modern Russian Literature. New York; London: Bloomsbury, 2016.

Baer 2011: *Baer, B. J.* Contexts, Subtexts, Pretexts: Literary Translation in Eastern Europe and Russia. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2011.

Catalogue: The Russian National Library Catalogue / <http://primo.nlr.ru>

Monticelli 2014: *Monticelli, D.; Lange, A.* Translation and Totalitarianism: The Case of Soviet Estonia // *The Translator*. 2014. № 20.

Monticelli 2015: *Monticelli, D.* Translation under Totalitarianism. Soviet Estonia, Johannes Semper and Translation History // *Новый Протей*. Харьков, 2015. Вып. 1.

Sridhar: *Sridhar, K. K.* Societal multilingualism // *Sociolinguistics and language teaching* / Ed. by S. L. McKay, N. H. Hornberger. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Szegedy-Maszák: *Szegedy-Maszák, M.* Canon, translation, and literary history // *Across Languages and Cultures*. 2003. № 4(1).

Witt: *Witt, S.* The shorthand of Empire: Podstrochnik practices and the making of the Soviet literature // *Ab Imperio*. 2013. № 3.

Бажан: *Бажан М.* Ценный труд писателя-переводчика // *Художественный перевод: Взаимодействие и взаимообогащение литератур* / Ред. С. Авакян. Ереван, 1973.

Болдырев: *Болдырев В.* История переписи населения СССР. М., 1974.

Вайжгантас: *Вайжгантас.* Слезы дурочек / Пер. О. Иоделене // *Литовские новеллы*. М., 1948.

Вахер: *Вахер А.* Рассказ Эмайыги / Пер. О. Наэль. М., 1965.

Конституция: Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 1977 / Редакция от 24 июня 1981 // Конституция (Основной Закон) Союза Совет-

ских Социалистических Республик, Конституции (Основные Законы) Союзных Советских Социалистических Республик. М.: Известия Советов Народных Депутатов СССР, 1985.

Кулиев: *Кулиев К.* Певцы нашего общего дома // Художественный перевод: Взаимодействие и взаимообогащение литератур / Ред. С. Авакян. Ереван, 1973.

Кунина: *Кунина А., Шалашова З.* Классики литературы народов СССР: Рекомендательный указатель. М., 1961.

Лауфер: *Лауфер И.* Теория и методика советской литературной библиографии: Историко-графический очерк. М., 1978.

Леберехт: *Леберехт Г.* Дворцы Вассаров: В 2 т. М., 1961.

Литературная энциклопедия: Литературная энциклопедия / Под ред. А. Луначарского. М.: ОГИЗ РСФСР, Советская Энциклопедия, 1932. Т. 6.

Ломидзе: *Ломидзе Г.* Советская многонациональная литература (Очерк развития). М., 1986.

Майронис 1948: *Майронис.* Избранное / Пер. с литовского. М.: Гослитиздат, 1948.

Майронис 1949: *Майронис.* Избранное / Пер. с литовского. М.: Гослитиздат, 1949.

Мамедов: *Мамедов Д.* Эстафета переводчиков // Художественный перевод: Взаимодействие и взаимообогащение литератур / Ред. С. Авакян. Ереван, 1973.

Марков: *Марков Г.* Расцвет и сближение братских литератур // Художественный перевод: Взаимодействие и взаимообогащение литератур / Ред. С. Авакян. Ереван, 1973.

Михня: *Михня П.* Встреча с собой. Кишинев, 1975.

О журналах «Звезда» и «Ленинград»: О журналах «Звезда» и «Ленинград». Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) 14 августа 1946 // Правда. 1946. 21 авг.

О литературно-художественной критике: О литературно-художественной критике. Постановление ЦК КПСС. 21 января 1972 г. // Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник документов (1965–1973). М., 1973.

О повышении роли библиотек: О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе. Постановление ЦК КПСС // Правда. 1974. 26 мая.

О репертуаре драматических театров: О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) 26 августа 1946 // Большевик. 1946. № 16.

Печать СССР 1966: Печать СССР в 1965 году. Статистические материалы. М., 1966.

Печать СССР 1974: Печать СССР в 1972 году. Статистические материалы. М., 1974.

Печать СССР 1981: Печать СССР в 1980 году. Статистический сборник. М., 1981.

Россельс: *Россельс В.* Знание, талант, труд // Сколько весит слово: Статьи. М., 1984.

Руммо: *Руммо П.* Эстонские поэты XIX века. Л., 1961.

Саар: *Саар А.* Человек искал счастье / Пер. А. Божич и И. Кононова. М., 1961.

Сатыбалдиев: *Сатыбалдиев А. Пути казахского перевода // Художественный перевод: Взаимодействие и взаимообогащение литератур /* Ред. С. Авакян. Ереван, 1973.

Список художественных произведений: *Список художественных произведений литератур народов СССР, рекомендуемых для перевода на языки народов СССР. М., 1961.*

Тооминг: *Тооминг О. Дорога через лес. М., 1961.*

Трубников: *Трубников С. Библиография художественной литературы и литературоведения. М., 1985.*

Тумас: *Тумас Ю. Дяди и тетки /* Пер. С. Васильева. Вильнюс, 1968.

Хинт 1952: *Хинт А. Берег ветров /* Пер. А. Соколова. Таллинн, 1952.

Хинт 1958: *Хинт А. Берег ветров /* Пер. А. Даниэля и А. Борщаговского. М., 1958.

Эралиев: *Эралиев С. Переводческая деятельность в Киргизии // Художественный перевод: Взаимодействие и взаимообогащение литератур /* Ред. С. Авакян. Ереван, 1973.

## «ПРАВА ЛИТЕРАТУРНОГО ГРАЖДАНСТВА»: ПЕРЕВОДЧИКИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ БЮРОКРАТИИ 1930-х годов

ЕЛЕНА ЗЕМСКОВА

В январе 1964 года в Ленинграде состоялся суд над Иосифом Бродским, будущим знаменитым поэтом и Нобелевским лауреатом, обвиняемым в специфическом преступлении советской эпохи — «тунеядстве», то есть отсутствии профессии и постоянной работы. Одним из основных аргументов защиты, помимо неустойчивого психического здоровья обвиняемого, стали ссылки на то, что Бродский работает как переводчик. Адвокат указывала на наличие у Бродского опубликованных переводов и на мнения «экспертов» в этой области — Чуковского и Маршака. Все три свидетеля со стороны защиты характеризовали молодого поэта именно как переводчика.

Переводчица Наталья Грудина сообщила суду, что «переводы Бродского сделаны на высоком профессиональном уровне. Бродский обладает специфическим, не часто встречающимся талантом художественного перевода стихов». На вопросы адвоката и заседателей она ответила, что работа переводчика требует глубоких знаний («Да, для хороших переводов, подобных переводам Бродского, надо знать творчество автора и вникнуть в его голос»), что, даже не зная языка оригинала, переводчик может создавать художественные переводы высокого качества. На вопрос адвоката, считает ли она «подстрочник предосудительным использованием чужого труда», Грудина ответила: «Боже сохрани» [Вигдорова: 223–224].

Филолог Ефим Эткинд, специалист по истории литературного перевода, также поддержал мысль о таланте и успехах Бродского-переводчика:

Перевод стихов — труднейшая работа, требующая усердия, знаний, таланта. На этом пути литератора могут ожидать бесчисленные неудачи, а материальный доход — дело далекого будущего. Можно несколько лет переводить стихи

и не заработать этим ни рубля. Такой труд требует самоотверженной любви к поэзии и к самому труду. Изучение языков, истории, культуры трудового народа — все это дается далеко не сразу. Все, что я знаю о работе Бродского, убеждает меня, что перед ним как поэтом-переводчиком большое будущее [Вигдорова: 226].

Николай Адмони, также как и Эткинд, профессор Педагогического института имени Герцена, указал, что знакомство с переводами Бродского из польского поэта Галчинского и других авторов свидетельствует

о большом мастерстве и культуре переводчика. А чудес не бывает. Сами собой ни мастерство, ни культура не приходят. Для этого нужна постоянная и упорная работа. Даже если переводчик работает по подстрочнику, он должен, чтобы перевод был полноценным, составить себе представление о том языке, с которого он переводит, почувствовать строй этого языка, должен узнать жизнь и культуру народа и так далее. А Иосиф Бродский, кроме того, изучил и самые языки [Там же].

Очевидно, все три свидетеля полагают художественный перевод специфическим видом писательского профессионального труда. Все они пытаются сообщить суду, что Бродского нельзя назвать тунеядцем, поскольку занятия художественным переводом можно трактовать не как случайные заработки, а как постоянную работу. Эта узкая писательская специализация обладает одновременно и характеристиками квалифицированного труда (требует знаний, навыков, усилий и времени), и признаками творческой деятельности, требующей определенного таланта, одаренности. Сообщая суду о сути и принципах работы переводчика, свидетели апеллируют к некоторому представлению об этой профессии, которое кажется им общезначимым если не для всего советского общества, то, по меньшей мере, для образованной его части.

Читая стенограмму суда над Бродским, а также другие свидетельства 1960–1980-х гг., мы видим, что занятие переводами художественной литературы мыслится как профессия, и, следовательно, как возможность для того, кто занимается художественным переводом, быть включенным в систему общественных отношений, занять свою ячейку в строгой советской социальной иерархии. Переводческие занятия обеспечивали тем, кому удавалось играть по правилам системы, достаточно устойчивый социальный статус. В этом отношении характерны, например, воспоминания Лиляны Лунгиной о том, как она пыталась получить разрешение на выезд за границу в конце 1970-х:

Все мои коллеги-переводчики ездили за границу, а меня не выпускали. <...> И я написала Андропову <...> И я написала, что вот получила четыре отказа поехать к своим друзьям; люди моей категории, то есть члены секции переводчиков Союза писателей, все ездят, — если я не могу поехать, то просила бы объяснить причины, почему я составляю исключение [Дорман: 334–336].

Здесь Лунгина указывает на определенную «кате­го­рию», почти касту людей, обладающих определенными привилегиями. Сравнивая положение дел в Советском Союзе с постсоветской ситуацией, переводчица Александра Петрова, например, подчеркивает, вероятно, не без преувеличения, свойственный воспоминаниям:

В советское время нелегко было пробиться в печать, но уж зато у переводчиков с именем (тех, кого мы называем «наши замечательные мастера») была не жизнь, а малина: гонорары громадные, сроки для работы большие. А сейчас все наоборот, и, чтобы прожить на литературный заработок, надо переводить много и быстро [Калашникова: 389].

Очевидно, что представление о художественном переводе как о профессии, связанной с определенным социальным статусом, возникло в русской культуре относительно недавно. Еще в 1920-е гг. переводы для частных издательств, к которым прибегали большинство известных и начинающих писателей, считались, скорее, средством временного заработка, чем профессиональным литературным трудом. Однако в 1930-х гг., когда все стороны общественной жизни подверглись жесткому давлению набирающей силу тоталитарной власти, государственные, частные и кооперативные издательства были закрыты, а интеллектуальный труд становился возможным только в жестких рамках «творческих союзов», в частности, Союза писателей. Именно в эту эпоху занятия художественным переводом становятся не литературным жестом, хобби или способом заработка, а способом социальной легитимации тех, кто этим занимается.

Несомненно, открытое обсуждение социального статуса переводчика было невозможно не только в сталинские годы, но и на протяжении всего советского периода. Характерна в этом отношении судьба предисловия Ефима Эткинда к подготовленной им в 1968 г. и уже принятой в печать антологии «Мастера русского стихотворного перевода», весь первый том которой пришлось перепечатывать из-за одной фразы в предисловии: «Общественные причины этого процесса понятны. В известный период, в особенности между XVII и XX съездами, русские поэты, лишённые возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, разговаривали с читателем языком Гете, Орбеллиани, Шекспира и Гюго» [Эткинда 2001:



118]. «Клеветническими» партийные инстанции сочли лишь намек на то, что в период сталинского правления многие писатели занимались переводами вынужденно.

В следующий раз предметом открытого академического обсуждения социальные роли советских переводчиков стали уже в 1990-е гг. в пионерских работах американских славистов. Лорен Лейтон, сравнивавший статус переводчика и переводческого труда в американской и советской культуре, отдает предпочтение последней и подчеркивает, что в СССР существовала переводческая элита, как на общесоюзном, так и на республиканском уровнях. Именно эта элита, по его мнению, и образовала так называемую «советскую школу перевода» [Leighton: XV–XVI]. Морис Фридберг в работе 1997 г. решительно возражает Лейтону, называя его позицию идеализированной. По его собственным наблюдениям, даже в 1980-е гг. советские переводчики страдали от собственной ущербности, они не могли ездить за границу и даже не всегда имели доступ к иностранным книгам, кроме того, многие из них чувствовали свое подчиненное положение внутри Союза писателей [Friedberg: 117–119].

В предисловии ко второй редакции антологии «Мастера поэтического перевода», вышедшей в той же книжной серии, только через тридцать лет после первой, Эткин вновь вернулся к теме, критически рассматривая советские практики перевода с языков народов СССР:

Начальство считало это необходимым и под него спускало большие капиталы — в результате перевод стихов превратился в работу, не только пользовавшуюся официальным престижем, но и хорошо оплачиваемую. <...> Благодаря гонорарам за переводы те поэты, стихи которых не печатались, могли существовать. Были среди них и такие, кто даже не пытался публиковать собственные стихи; они много и успешно переводили — с языков советского Востока — обеспечили материальную независимость Тарковскому и Семену Липкину. Другие, хотя и не поглощенные в такой же степени переводческим профессионализмом, тоже жили главным образом гонорарами за переводы» [Эткин 2008: 40].

Эти мнения трех исследователей, выступающих здесь, скорее, в качестве современников событий, показывают, что советский переводчик оказывается амбивалентной фигурой. Он предстает то поденщиком, зарабатывающим мизерные суммы и лишенным собственного поэтического голоса, то квалифицированным профессионалом, добившимся определенного общественного положения и успеха. Социальная амбивалентность, как показывает в своем исследовании Шейла Фицпатрик, была одной из характерных черт новой советской идентичности. По мнению исследовательницы,

в 1920–30-е гг. в советском обществе под огромным давлением государства каждый человек вынужден был точно определить собственную социальную идентичность — «приписать» себя к определенному классу. На деле же, утверждает Фицпатрик, «процесс такого приписывания произвел на свет социальные общности, которые походили на классы в марксистском понимании, но которые было бы вернее именовать советскими сословиями [Фицпатрик: 88]. Между новыми советскими сословиями существовали как социальные пропасти, вроде отсутствия паспортов у крестьян, так и «более тонкие различия в правах и привилегиях различных социальных групп» [Там же: 101].

Попробуем транспонировать рассуждения Фицпатрик в область истории советской литературы. Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. о перестройке литературных организаций, приведшее в итоге к созданию Союза писателей, стало сигналом о смене представлений об идентичности писателя. В двадцатые годы писатель рассматривался как представитель своего класса, пролетарские писатели принципиально отличались от буржуазных «попутчиков». Созданный в 1934 г. Союз советских писателей, в который принимали в обмен на лояльность всех писателей, ранее приписываемых к враждующим классам, оказывался уже «сословной» организацией. Членство в Союзе писателей обеспечивало человеку «приписанность» к определенному социальному слою, без которой существовать в советском обществе было затруднительно. Кроме того, членство в СП означало возможность пользоваться сословными привилегиями, участие в распределении материальных благ, таких как жилье и снабжение, а для тех, кто становится частью бюрократической машины союза писателей еще и возможность регулярного заработка [Антипина: 61–69].

Мне представляется, что предложенный Фицпатрик способ описания социальной идентичности советских людей продуктивен и для анализа документов из архива Секции переводчиков Союза писателей. Ниже я постараюсь проанализировать некоторые документы и стенограммы заседаний Секции в 1933–1936 гг., обращая основное внимание на то, как именно участники этих заседаний идентифицируют себя в качестве переводчиков.

## Переводчики и создание Союза советских писателей

Сразу после публикации постановления ЦК от 23 апреля «О перестройке литературно-художественных организаций» был образован Оргкомитет будущего Союза советских писателей под председательством Горького.

В составе этого Оргкомитета, среди прочих подразделений, действовало Бюро переводной литературы. Постановлением были закрыты прежние писательские организации, стоявшие на различных идеологических или эстетических позициях. В этих организациях не участвовали те, кто занимался исключительно переводами, поскольку перевод не рассматривался как идеологическая работа. Теперь же предполагалось, что в Союз писателей могут войти не только авторы оригинальных произведений, однако и их работа, заключающаяся в переводе чужих текстов, попадала в зону идеологии, должна была стать политически приемлемой, советской.

В декабре 1933 г. Бюро переводной литературы провело расширенное заседание, названное в сохранившихся протоколах «Московской конференцией переводчиков». Главным вопросом этого заседания были условия вступления переводчиков в Союз писателей. Возможный прием в члены Союза, несомненно, означал большую, чем в прошлом, степень политической лояльности. Как сообщила председательствующая М. Г. Ингбер, «до сих пор в области перевода в значительной мере был кустарный единоличный характер работы без должного серьезного руководства, даже без необходимой критики. Такое положение совершенно недопустимо» [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Д. 4. Л. 2]. Характерно здесь сравнение переводчика с социально подозрительными кустарями-ремесленниками, не вписывающимися в новое социалистическое общество коллективного труда. Оргкомитет Союза писателей был намерен политически руководить деятельностью переводчиков, постоянно указывая на то, что не всякий занимающийся переводом достоин войти в Союз и быть признанным в качестве «советского переводчика». С другой стороны, в обмен на политизацию работы переводчиков Оргкомитетом предлагались и некоторые материальные блага.

С этих позиций выступил с докладом писатель Петр Павленко. Он указал на огромный «фронт работы» для переводчиков в ближайшие годы и признал, что писательская организация не располагает необходимыми для этой работы кадровыми ресурсами.

Положение с кадрами переводчиков неблагоприятно. Как создалось такое положение? <...> Мы распылили кадры художественных переводчиков, а те, которые остались и работают, оказались в тени.... Вообще по-видимому кадры наших переводчиков никогда не были большими. Постепенно они пополнялись за счет людей, уходящих из других областей литературы. Многие беллетристы уходили в переводы, искусствоведы занимались переводами, создавалось любительство вокруг этого дела и получалось впечатление, что переводчик — это обслуживающий персонал в литературе [Там же. Л. 7].

Таким образом, имеющиеся переводчики виделись руководству будущего Союза писателей социально неопределенной категорией, не до конца профессиональными и готовыми к работе. Павленко выступил с резкой критикой публикуемых переводов, указав на их низкое качество. Однако, одновременно Союз писателей приглашал к сотрудничеству и указывал, что переводчики будут считаться равными прочим писателям:

Переводчики были поставлены в очень незавидные материальные условия... не знают, что будут делать завтра, не уверены в своем завтрашнем литературном дне... Наша задача создать такие условия, чтобы переводчики чувствовали себя кадровыми, основными работниками литературы... [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Д. 4. Л. 8].

Используя терминологию Фицпатрик, можно сказать, что переводчики, по мысли организаторов Союза писателей, могли быть «приписаны» к писательскому «сословию» и пользоваться его правами и привилегиями. Однако критерии приема переводчиков в Союз писателей были не до конца определенными, как следует из выступления Феоктиста Березовского<sup>1</sup>, члена Оргкомитета:

Переводчики, которые органически чувствуют себя работниками литературы, войдут в Союз <...> В уставе <...> говорится так, что членом Союза писателей может быть писатель — драматург, критик и т. д., имеющий самостоятельные творческие труды, напечатанные в литературно-художественных центральных журналах. <...> Вопрос о переводчике решается таким же порядком, что войдут в Союз при наличии творческой продукции, свидетельствующей об определенно сложившемся творческом лице. <...> само собой разумеется, что каждый писатель может быть членом союза в том случае, если он является участником социалистического строительства <...> [Там же. Л. 57–58].

Выступления членов Бюро переводной литературы выдержаны были в духе складывавшегося в то время ритуала «самокритики»: собственную работу по подготовке к Съезду они считали недостаточной, однако одновременно указывали и на «объективный характер» проблем и возможность улучшения ситуации посредством работы самих членов Бюро. Приведем в качестве примера характерное высказывание члена Бюро Инны Зусманович:

Работа Бюро переводной литературы была весьма слабой ... Я должна сказать, что у бюро впечатление, что мы работаем впустую, что никого за нами нет.

---

<sup>1</sup> В стенограмме указана лишь фамилия выступавшего. По содержанию выступления, однако, можно с большой вероятностью предполагать, что речь идет не о переводчике Юрии Березовском, а о литературном функционере Феоктисте Березовском. См. о нем: [Максименков: 212–258].

Не хватает сил, потому что чрезвычайно пассивна вся переводческая масса, оргкомитет не видел переводчика ... При этом я совершенно уверенно говорю, и могу привести целый ряд примеров, что скандальные случаи, о которых говорил Павленко и которые имеют еще место в переводной практике, как раз касаются не членов нашей организации. ... Пройдя квалификацию наших уважаемых известных всем вам квалифицированных работников, мастеров переводного дела, в такие ситуации не попадали [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Д. 4. Л. 19–20].

Все выступавшие от имени переводчиков стремились так или иначе убедить собрание в том, что их прием в Союз писателей на равных с другими литераторами оснований наилучшим образом скажется на качестве их работы. Способствовать повышению качества должны были различные усилия набирающей обороты бюрократической машины будущего Союза. Члены Бюро предлагали проводить вечера переводной поэзии (что в определенной мере соответствовало социалистическому соревнованию на производстве), организовать курсы повышения квалификации для переводчиков, сотрудничать с издательствами по вопросам подбора кадров для переводов. Также на этом заседании было сообщено, что Бюро будет готовить доклад о художественном переводе для Съезда писателей.

Делегатами Первого всесоюзного съезда советских писателей, проходившего в течение двух августовских недель 1934 г. в Москве, стали многие переводчики, однако отдельного доклада о художественном переводе и важной роли переводчиков в развитии советской литературы в программе не было [Первый всесоюзный]. Большинство выступавших проблемы перевода не затрагивали. Исключением стали лишь выступления представителей Грузинской ССР, восхвалявших переводы из грузинской поэзии, выполненные Борисом Пастернаком и Николаем Тихоновым. Никто из тех, кто участвовал в заседаниях Бюро переводной литературы, не выступал на съезде. Мандатная комиссия, регистрировавшая делегатов, не фиксировала перевод как отдельный вид литературной деятельности. В отличие от прозаиков, поэтов, драматургов, критиков и даже детских писателей, переводчики не были официально включены в реестр писательских профессий. Этот момент кажется весьма важным, поскольку в очередной раз подчеркивает неустойчивый, амбивалентный характер существования переводчиков внутри писательской бюрократической машины. В Союз писателей принимали людей, не имевших других опубликованных произведений, кроме переводов, переводчики были «приписаны» к «творческому» словию. Однако и внутри этого сословия были социальные границы, которые переводчик не мог преодолеть: драматурги, прозаики, критики, публи-

ковавшие от своего имени идеологически верные тексты, занимали в писательской иерархии более высокие позиции.

### От Первого всесоюзного съезда писателей к Первому всесоюзному совещанию переводчиков

Секция переводчиков в Союзе писателей была создана сразу же после съезда и проводила регулярные заседания, начатые Бюро переводной литературы. В октябре 1934 г. было избрано Бюро секции в составе Дмитрия Горбова, Ольги Гальперн [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Д. 14. Л. 3], Георгия Шенгели, Бориса Ярхо и Павла Зенкевича. Все пятеро, а также большинство участвовавших в заседаниях членов Союза писателей, еще недавно, хотя и занимались переводами, никак не назвали бы перевод своей профессией и не идентифицировали бы себя в качестве переводчиков. Достаточно сказать о выдающемся ученом Борисе Ярхо<sup>2</sup>, до 1929 г. работавшем в ГАХН, и Дмитрии Горбове<sup>3</sup>, одном из ведущих литературных критиков объединения «Перевал». Когда в мае 1936 г. состав Бюро переизбирался [Там же. Л. 33–38] и существенно обновился, в нем уже не было арестованного к тому времени Ярхо, Горбов перестал участвовать в заседаниях по болезни, а Гальперн перешла на работу в Иностранную комиссию ССП. Четверо из шести новых членов Бюро секции — Наталья Касаткина, Осип Румер, Валерий Тарсис и Вера Топер — занимались в своей профессиональной жизни преимущественно переводами и, с точки зрения «новой сословности», могли быть идентифицированы как «советские переводчики».

В целом можно сказать, что программа деятельности Секции, заявленная на конференции в декабре 1933 г., была во многом реализована в 1934–1936 гг. Проводились регулярные заседания с научными докладами и творческие вечера. Особенно важным всем членам секции представлялся вопрос о специальном переводческом образовании. Борисом Ярхо был написан проект программы двухгодичного семинара по повышению квалификации переводчиков с европейских языков [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Д. 1. Л. 21–22]. Очевидно, именно наличие специального профессионального образования могло указывать на сложившуюся профессионализацию рабо-

<sup>2</sup> О переводческой деятельности Ярхо см. кратко в биографической части предисловия публикаторов «Методологии точного литературоведения» [Акимова, Шапир: VII–XXXII]. Этой теме был посвящен неопубликованный доклад Марины Акимовой «Б. И. Ярхо в издательстве “Academia”» на конференции «Мировая литература как советский культурный проект» (Москва, ВШЭ, 2017).

<sup>3</sup> О Дмитрии Горбове см.: [Белая: 443–489].

ты переводчика и таким образом гарантировать социальный статус носителей этой профессии, особенно тех, кто преподает, занимается воспроизводством кадров.

Один из наиболее интересных документов в этой связи — докладная записка, написанная, скорее всего, также Ярхо [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Д. 1. Л. 23–26]. В этом документе, посвященном необходимости введения специального образования для переводчиков, рассматриваются социальное происхождение и переводческие навыки людей, занимающихся переводом. Автор выделяет несколько категорий переводчиков, рассматривая полученное ими образование, фактически указывающее на социальное происхождение, с точки зрения его пригодности для перевода тех или иных текстов. К первой группе относятся переводчики, имеющие университетское историко-филологическое образование, многие из которых владеют несколькими иностранными языками «практически» (то есть говорят на иностранных языках) и «лишь филологически» (то есть обладают навыками критического чтения текстов на языке). Как пишет Ярхо, эта категория

<...> обладает одним недостатком: образование работники этой категории большей частью получили до мировой войны: после этого они за границей не бывали, а некоторые и вовсе незнакомы с западноевропейской жизнью. Современной художественной литературой они снабжаются слабо. А потому, являясь наилучшими переводчиками классиков, они мало пригодны для переводов современной литературы [Там же. Л. 23].

Очевидно, что в этом пассаже описываются люди одного с Ярхо круга и социального происхождения, именно эти люди составляли старшее поколение членов Секции. Представители старой «буржуазной интеллигенции» не претендуют на перевод современных идеологических произведений, но считают себя способными исполнить роль посредников между новой советской читательской аудиторией и иностранной классикой. Этой категории противопоставляются люди нового поколения, «окончившие лингвистические или педагогические вузы» уже после революции:

У этих переводчиков замечается недостаток практических знаний языков. Историческая подготовка (даже в области истории языка) большей частью ничтожна. Познания в области теории литературы встречаются далеко не у всех. Зато хорошая политическая подготовка, большее знакомство с современным, особенно, газетным языком, дают этой категории крупное преимущество при переводе послевоенной литературы: но и тут при более сложных в художественном отношении текстах их познания оказываются иногда недостаточными [Там же. Л. 24].

Далее в документе речь идет о необходимости обучения представителей этой самой второй, политически подготовленной, но малообразованной категории, а также других категорий переводчиков. В записке не говорится, кто именно их должен учить, но из проектов курсов для переводчиков можно понять, что члены Бюро и секции собирались принять в этом активное участие, поскольку мыслили именно себя носителями высоких профессиональных стандартов. Обучение переводчиков, действительно, было начато в 1936 г. в Литературном институте [РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 1. Д. 408, 409], а заведующий кафедрой художественного перевода Борис Грифцов был избран в Бюро Секции переводчиков [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Д. 14. Л. 37].

Важным бюрократическим успехом Секции переводчиков и, как представляется из документов, лично председателя секции Павла Зенкевича стало проведение в январе 1936 г. Первого всесоюзного совещания переводчиков, организованного Союзом писателей совместно с Гослитиздатом, роль которого в истории советского перевода подробно рассматривалась Сусанной Витт [Witt: 141–184]. Всесоюзное мероприятие, подробно освещавшееся «Литературной газетой», помимо очевидного идеологического посыла, связанного с необходимостью политического контроля над коммуникацией на разных языках народов СССР, обозначало и государственное признание перевода как литературной профессии. Однако положение переводчиков внутри Союза писателей оставалось проблематичным, на что Зенкевич указал в самом начале заседания Секции переводчиков, посвященного подготовке к совещанию. Он предполагает в своем будущем докладе говорить

<...> чуть ли не впервые о положении переводчика в нашей стране, о его бытовом положении, материальном положении, правовом положении. ... пора подумать о том, что если переводчики являются в настоящее время одними из членов семьи союза писателей, то надо посмотреть, уравнен ли он в правах с остальными членами этой семьи [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Д. 8. Л. 7 об.].

Участники этого подготовительного заседания довольно эмоционально высказывались по поводу собственного социального статуса и положения переводчиков в Союзе писателей. Поводом для таких высказываний стали не только опасения подвергнуться атаке литературной критики, которая приравнивала ошибки переводчиков к политической неблагонадежности, но и неустойчивое материальное положение, а также неудачи в борьбе за материальные ресурсы, распределявшиеся через Литфонд.



Наиболее емко эти настроения выразил в своем выступлении Александр Ромм. По его мнению, переводческую секцию и ее инициативы игнорируют все, кто имеет репутацию «не только переводчика». По мнению Ромма, никто не выбирает профессию переводчика добровольно, для всех она оказывается вынужденным занятием:

Тут кто-то сказал, что с нами обращаются как с писателями второго сорта. Если бы это было так, то было бы еще ничего. С нами обращаются как с переводчиками второго сорта и переводчики первого сорта нами брезгуют. ... Мы не видим набора советской молодежи в среду переводчиков.... Люди не хотят быть переводчиками, потому что это чувство социальной неполноценности, с которым переводчик рождается, развивается и честно умирает, препятствует людям хотеть быть переводчиками. Люди этим занимаются поневоле [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Д. 8. Л. 28].

Другой участник заседания Павел Карабан (Шлейман) указал на то, что большинство переводчиков не принимают в Литфонд, то есть не допускают до основных материальных привилегий, которыми располагал Союз писателей. Карабан полагал, что это обстоятельство необходимо учесть докладчику на Совещании, «чтобы мы не были на положении каких-то лишенцев или иждивенцев» [Там же. Л. 29]. В очередной раз обратим внимание на использование в связи со статусом переводчиков лексики, связанной с советской социальной идентичностью. «Лишенцами» называли лиц, лишенных избирательных прав по признаку социального происхождения, а «иждивенцами» были несовершеннолетние дети и неработающие. Возражать на эти высказывания был вынужден председатель секции Павел Зенкевич. Он отметил:

Критика о переводах поставлена неудовлетворительно, это правильно, но нужно делать какие-то выводы и после того, как перед переводчиками раскрылись двери Союза писателей, после того, как переводчики получили права литературного гражданства, — все остальное заложено уже в нас самих. Это не значит, что мы должны вообразить себя гениями, но я возражаю против такой унижительной линии для переводчиков. Не так наше дело плохо [Там же. Л. 56].

Понятно, что оптимистический тон высказывания Зенкевича объясняется его позицией как руководителя секции. Ромм говорил о низкой привлекательности секции переводчиков для тех членов союза, которые хотя и являются действующими переводчиками, но имеют также возможность выступать в роли поэта или прозаика. По мнению Ромма, поддержанному другими выступавшими, бюрократические ресурсы секции слишком ограничены, чтобы отстаивать статус переводчиков внутри Союза. Зенкевич,

отвечая на высказывания коллег, рассуждает, прежде всего, как бюрократ от литературы, говоря об аппаратных неудачах и успехах. В такой перспективе сам факт признания «писательского» статуса переводчика уже оказывается серьезным бюрократическим достижением, как и существование отдельной переводческой секции, способной, по мнению ее руководителя, чисто аппаратными, бюрократическими методами добиваться улучшения статуса собственных членов. Зенкевич не возражает коллегам по существу, он предлагает им посмотреть на ситуацию как на промежуточный итог работы, которая далеко не закончена. Один из пунктов проекта резолюции гласил:

Поставить вопрос о необходимости повышения гонораров переводчикам художественной литературы и просить издательства национальных республик поднять гонорары за переводы классиков мировой и русской литературы до уровня авторского гонорара. Просить ССП СССР и ССП нацреспублик заслушать отчеты издательств о системе оплаты труда переводчиков и наметить конкретные меры по улучшению условий труда и быта переводчиков [РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 21. Д. 9. Л. 1].

Однако на самом Всесоюзном совещании переводчиков, где в течение двух с половиной дней были заслушаны четыре больших доклада и сорок пять человек выступили в прениях, материальные проблемы переводчиков и их положение среди писателей отошли на задний план. Представители союзных республик наперебой рассказывали о сравнимых со стахановскими успехах в деле перевода русской классики и партийных документов на свои языки. Второй магистральной темой стали принципы художественного перевода, и эта тема была резко политизирована уже в первом докладе литературного критика Иоганна Альтмана. Однако и статус перевода как профессии, и проблематичное социальное происхождение переводчиков оставались некоторым фоном многих выступлений. Например, представитель Карельской республики Виртанен сделал такое отступление от своего доклада, вызвав смех в аудитории:

У нас некоторые выражаются так, что переводчики обычно бывают разложившиеся элементы (смех). Некоторая доля правды здесь есть. У нас бывает иногда так, что человека уволили со службы за пьянство, или за другой проступок, а он начинает заниматься переводами (смех). Или еще так бывает — люди, освободившись из дома заключенных, начинают заниматься переводами. Так что было некоторое основание у товарищей, которые так заявляли. Но, конечно, нельзя считать, что только разложившиеся элементы у нас занимаются переводами. Я уже говорил, что у нас не умеют поднять на должную высоту этот вопрос. Настоящее совещание является для нас большим событием, и мы наде-

емся много получить от этого совещания [РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Д. 8480. Л. 131].

Характерно, что это высказывание выдержано в сатирическом тоне, в котором только и оказывается возможным описание реальности, не вписывающейся в официальные идеологические рамки, а в конце появляется обязательное для советской сатиры указание на будущее исправление ситуации.

Другим примером обращения с неудобным фактом того, что переводчики оказываются под подозрением из-за своего двусмысленного положения и самой природы перевода как межкультурной коммуникации, мы видим в выступлении Инны Зусманович. Она призывает собравшихся сравнить сегодняшний статус переводчиков с тем, что было раньше:

<...> здесь собрались — плохие ли, хорошие — но специалисты своего дела, люди, работающие в определенной области, люди литературные. Ведь мы не можем забыть о том, что несколько лет тому назад переводчики были, по существу, люди самых различных социальных прослоек и самых различных социальных медвежьих уголков, если можно так выразиться. Это были люди, которые получали из-за границы от эмигрантских родственников книги и переводили их в наших издательствах. Не надо забывать, что сейчас мы находимся как будто в своей семье, у нас как будто есть общие большие задачи и об этих задачах мы собирались поговорить [РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Д. 8480. Л. 224].

Примечательно в этом фрагменте повторяющийся конъюнктив — «как будто», выдающий неуверенность и обеспокоенность человека, проговаривающего то, что не укладывается в общую картину социалистических успехов и потенциально содержит опасность обвинений в антисоветской деятельности. В определенном смысле организаторам совещания повезло, что они успели провести его до начала кампании борьбы с «формализмом», открывшейся через три недели статьей в «Правде» о музыке Шостаковича, после которой уязвимым для обвинений в контрреволюционной деятельности оказывался практически любой творческий работник. Однако сталинские репрессии не миновали и членов Секции переводчиков, хотя из протоколов заседаний невозможно заключить, что кто-то из участников отсутствует потому, что уже арестован, на эту тему наложено негласное табу, отсутствие кого-либо из членов секции никак не фиксируется ни в протоколе, ни в выступлениях.

Два из многих сфабрикованных НКВД политических дел напрямую затронули постоянных участников Секции переводчиков. В феврале 1935 г. по «Делу по обвинению немецко-фашистской контрреволюционной организации на территории СССР» был арестован Дмитрий Усов, участвовав-

ший во многих заседаниях, а осенью был арестован Борис Ярхо. Дело, известное под названием «дела о немецко-русском словаре», стало поводом для ареста многих бывших сотрудников ГАХН и переводчиков издательства “Academia” [Нешумова: 51–56]. С уходом Ярхо, который в ГАХН возглавлял сектор по изучению художественного перевода, в секции прекратились систематические научные заседания. Не прошло и года после ареста Ярхо, как по делу «украинских националистов — литературных работников» были арестованы Павел Зенкевич и Павел Карабан (Шлейман) [Мандельштам]. После ареста Зенкевича активность переводческой секции пошла на спад, в 1937 и 1938 гг. несколько заседаний были проведены под председательством Шенгели, и в 1938 г. секция была расформирована. Переводческая активность переместилась в национальную секцию. Отдельная секция переводчиков, уже с уточнением «переводчиков западных литератур», была восстановлена лишь после войны.

События 1930-х гг. во многом определили место переводчиков в литературной иерархии и советском обществе не только сталинской эпохи, но и более поздних периодов. Очевидно, однако, что в годы оттепели и позднего социализма с усложнением социальной структуры советского общества более разнообразными стали и социальные функции переводчиков. Так, Брайан Бер подчеркивает роль переводчиков в становлении самосознания поздней советской интеллигенции [Ваер: 537–560], Станислав Савицкий указывает на роль переводов для функционирования неофициальной литературы [Савицкий: 44 и др.]. Подробное изучение более поздних документов из фонда Союза писателей, которое я планирую предпринять, и других советских институций может позволить в дальнейшем исследовать историю трансформаций переводческой профессии, приведших к ситуации, описанной в начале статьи. Как мне представляется, рассмотрение истории литературного перевода в СССР сквозь призму подходов социальной истории может позволить описать перевод как социальную практику советского общества и лучше понять роль переводной литературы в закрытом советском обществе.

## Литература

РГАЛИ. Ф. 613; Ф. 631; Ф. 632.

Акимова, Шапир: *Акимова М., Шапир М.* Борис Исакович Ярхо и методология точного литературоведения // Ярхо Б. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы. М., 2006.

Антипина: *Антипина В.* Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е годы. М., 2005.

Белая: *Белая Г.* Дон Кихоты революции — опыт побед и поражений. М., 2004.

Вигдорова: *Вигдорова Ф.* Право записывать. М., 2017.

Дорман: *Дорман О.* Подстрочник. Жизнь Лиллианы Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. М., 2010.

Калашникова: *Калашникова Е.* По-русски с любовью: Беседы с переводчиками. М., 2008.

Максименков: *Максименков А.* Очерки номенклатурной истории советской литературы // Вопросы литературы. 2003. № 4.

Мандельштам: *Мандельштам Е.* Воспоминания / Публ. Е. Зенкевич. Предисл. А. Меца // Новый мир. 1995. № 10 / [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/1995/10](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/10) (Дата обращения: 18.12.2017).

Нешумова: *Нешумова Т.* О Дмитрие Усове — поэзия и правда // Усов Д. «Мы сведены почти на нет ...». М., 2011. Т. 1.

Первый всесоюзный: Первый всесоюзный съезд советских писателей 1934. Стенографический отчет. Репринтное воспроизведение издания 1934 г. М., 1990.

Савицкий: *Савицкий С.* Андеграунд. История и мифы ленинградской неофициальной литературы. М., 2002.

Фицпатрик: *Фицпатрик Ш.* Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века. М., 2011.

Эткинд 2001: *Эткинд Е.* Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., 2001.

Эткинд 2008: *Эткинд Е.* Русская переводная поэзия XX века // Мастера русского поэтического перевода, XX век. СПб., 2008.

Baer: *Baer, B. J.* Literary Translation and the Construction of a Soviet Intelligentsia // Massachusetts Review. 2006. Vol. 47 [3].

Friedberg: *Friedberg, M.* Literary Translation in Russia: A Cultural History. Penn State University Press, 1997.

Leighton: *Leighton, L. G.* Two Worlds, One Art: Literary Translation in Russia and America. Dekalb: Northern Illinois University Press, 1991.

Witt: *Witt, S.* Arts of Accommodation: The First All-Union Conference of Translators, Moscow, 1936, and the Ideologization of Norms // The Art of Accommodation: Literary Translation in Russia, eds. L. Burnett, E. Lygo. Oxford: Peter Lang, 2013.

## ТЕМЫ, ЗАПРЕТНЫЕ ДЛЯ СОВЕТСКОГО ЧИТАТЕЛЯ

ЛАРИСА НАЙДИЧ, АННА ПАВЛОВА

### Введение

Первый, предварительный этап деятельности переводчика — выбор переводимого текста. Этот выбор диктуется как заказом, так и эстетическими вкусами самого переводчика. Под заказом мы понимаем и непосредственное обращение редакции, и соображения оплаты, и моду, и актуальность, «востребованность» соответствующей тематики современным переводчику социумом, и многие другие обстоятельства, побуждающие переводчика взяться за дело. Сочетание двух факторов — вкуса переводчика и заказа — дает мощный положительный стимул для работы. Стремление к планомерному и централизованно регулируемому переводу шедевров мировой литературы на русский язык в XX веке отразилось в основании целого ряда издательств и серий: это серия «Всемирная литература», основанная Горьким в 1919 г. и просуществовавшая до 1927 г., издательство «Academia», основанное в 20-х гг. и разгромленное в 30-х, а впоследствии хорошо известные всем русским читателям серии «Литературные памятники», 200-томная Библиотека всемирной литературы (БВЛ), «Библиотека приключений» (несколько серий) в издательстве Детгиз. Планомерный перевод произведений, созданных на разных языках и в разных культурах, восходит к основополагающему понятию «мировой литературы» как огромного культурного пространства, сформулированному и обоснованному Гете [Birius, Goethezeitportal]. И сам Гете, и его последователи учитывали в формировании этого пространства роль переводчиков. В то же время условия советской цензуры препятствовали осуществлению этих планов: переводились лишь те авторы, которые соответствовали определению «прогрессивные зарубежные писатели». Так, в серии БВЛ из немецкоязычных писателей XX века представлены лишь Иоганнес Р. Бехер, Бер-

тольт Брехт, Томас и Генрих Манн, Анна Зегерс и Лион Фейхтвангер. Известно, с каким трудом проходили цензуру переводы Кафки. Впервые на русском языке его новеллы вышли в журнале «Иностранная литература» (№ 1 за 1964 г.). А в 1965 г. в издательстве «Прогресс» был издан том Кафки, куда вошли новеллы и притчи, а также роман «Процесс» [Синеок]. Посмертным цензурным гонениям подвергались писатели, произведения которых не соответствовали принципу реализма, в текстах которых усматривались намеки, двойное дно, или, как писали цензоры, «неконтролируемый подтекст». Предпочтение отдавалось писателям-коммунистам, друзьям Советского Союза, критикам капитализма, реалистам. Естественно, что недопустимой была тема критического изображения советской действительности.

#### Советская страна глазами иностранца: путь переводов к читателю

Книга Лиона Фейхтвангера «Москва 1937», написанная по личным впечатлениям автора и впервые изданная в Амстердаме, была сразу же переведена на русский и опубликована в Советском Союзе. Хотя в предисловии к книге сказано, что в ней допущен «ряд ошибок и неправильных оценок», перевод целиком соответствует оригиналу и сделан весьма профессионально. В частности, на страницах книги встречаем следующие замечания:

В этих заметках я высказывался за бóльшую терпимость в некоторых областях, выражал свое недоумение по поводу иной раз безвкусно преувеличенного культа Сталина и говорил насчет того, что следовало бы с большей ясностью раскрыть, какими мотивами руководствовались обвиняемые второго троцкистского процесса, признаваясь в содеянном. И в частных беседах руководители страны относились к моей критике с вниманием и отвечали откровенностью на откровенность [Фейхтвангер].

Но в целом Фейхтвангер положительно оценивает советскую действительность и даже оправдывает репрессии: «То, что акты вредительства были, не подлежит никакому сомнению. Многие, стоявшие раньше у власти — офицеры, промышленники, кулаки, — сумели окопаться на серьезных участках и занялись вредительством» [Там же]. Несмотря на лояльность к СССР, книга Фейхтвангера была вскоре после публикации запрещена в Советском Союзе; ее перевод был переиздан лишь в 2001 г.

Другие свидетельства очевидцев, посещавших Советскую Россию, не были переведены вообще или переводились уже после перестройки. Очень интересны эссе Вальтера Беньямина, который побывал в Москве

в 1926–27 гг. Вскоре был опубликован его большой очерк «Москва», написанный по заказу Мартина Бубера для журнала “Die Kreatur” и содержащий правдивые и весьма нелестные для советского строя описания всего, что он видел, пережил и осознал. Еще более точные свидетельства жизни в советском государстве имеются в его дневнике, переведенном на русский язык лишь в 1997 г. [Беньямин]. А критические очерки Йозефа Рота о путешествии по России в 1926 г. (“Reise in Russland”, 1926) целиком так и не были переведены на русский язык (см. репортаж [“Joseph Roths Russland”], а также [Roth; Rot]).

Понятно, что советская цензура делала все для того, чтобы подобные свидетельства современников не были доступны русскоязычному читателю.

#### Несовместимость сюжетных линий и отдельных высказываний с советской идеологией

Большие трудности возникали в тех случаях, когда писатель мог бы сойти за «прогрессивного», но в его произведениях встречались высказывания или целые сюжетные линии, не одобряемые советской цензурой. Так было с прозой Генриха Бёлля. Бёлль неоднократно бывал в СССР, интересовался жизнью советских людей, выступал против фашизма во всех его проявлениях и критиковал буржуазную, капиталистическую действительность в ФРГ. На русский язык он был впервые переведен в 1952 г., когда в единственном в то время международном журнале «В защиту мира» вышел его рассказ «Весьма дорогая нога». С 1956 г. переводы Бёлля на русский публикуются регулярно огромными тиражами. Правда, в конце 70-х и до середины 80-х гг. Бёлля в СССР не публиковали из-за его поддержки диссидентов, прежде всего Солженицына. Тем не менее, он остается одним из самых популярных зарубежных авторов в Советском Союзе. Безусловно, в произведениях этого «прогрессивного писателя» и, как известно, принципиального человека, были и пассажи, недопустимые с точки зрения советского начальства. Выход приходилось искать и переводчикам, и редакторам. Как отмечают критики П. Брун и Х. Глейд [Bruhn, Glade: 41], в переводе романа «Групповой портрет с дамой»<sup>1</sup>, опубликованном впервые в журнале «Новый мир» (№ 2, 1973; переводчик Людмила Черная), в результате серьезной цензурной правки было сделано около 150 сокращений (приблизительно 500 строк) текста. Известно, что Бёлль был возму-

<sup>1</sup> Первое издание романа вышло в 1971 г. (Böll, H. Gruppenbild mit Dame. Köln). В настоящей статье роман цитируется по 20-му изданию, вышедшему в 2001 г. (см.: [Böll]).



щен качеством перевода. В 1988 г. Еленой Михелевич был сделан еще один перевод этого романа. Выпущенные места были восстановлены, но некоторые искажения, связанные с вопросами политики и идеологии СССР, остались (см. диссертацию Любови Мельниковой [Мельникова]).

Приведем несколько примеров несовместимости текста Бёлля с советской идеологией (см.: [Böll; Бёлль]):

Немецкий оригинал	Перевод	Комментарий
<p>...die hat sich aus dem nichts gemacht, dass ja nun ihre alten Genossen wieder auftauchten. Die hatte nur eine Zeile im Kopf, schon damals: 'Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr', und mit ihren ehemaligen Genossen wollte sie schon gar nicht — sie hat sie nur Thälmannisten genannt, die ihren Mann oder Freund in Frankreich ans Messer geliefert haben, in den eineinhalb Jahren, wo der Stalin-Hitler-Pakt galt, gegen den er gewesen ist, von Anfang an.</p>	<p>&lt;Фрагмент текста почти полностью выпущен&gt;</p>	<p>Ильза Кремер потеряла мужа: его предали его товарищи по партии, коммунисты, когда он скрывался во Франции, как противника пакта Сталина–Гитлера, и он погиб в лагере. После этого Ильза не желала возобновлять старые контакты с коммунистами, даже когда они снова вышли из подполья и приобрели влияние. Если этого не знать (а это в тексте перевода полностью выпущено), то становится непонятен пассаж, который переводчица все-таки зачем-то оставляет: «Ильзу не волновало даже то, что ее старые товарищи опять вышли на сцену. Уже в ту пору на все у нее был один ответ: “Больше я не хочу, больше не хочу”». Но переводчицу эта нестыковка не смущает.</p>
<p>Nun kam die Zeit, wo Boris zuverlässige Nachrichten über den Frontverlauf, den Vormarsch</p>	<p>А вскоре настало время, когда Борис начал снабжать нас и надежной информацией о линии</p>	<p>Из перевода изъято все, что свидетельствует о том, что в лагере военнопленных была своя</p>

<p>der sowjetischen und der aliirten Truppen lieferte — und jetzt wurde er Bekömmeling von Viktor Genrichovič, der solche Nachrichten dringend brauchte, um unsere Moral hochzupäppeln — und weil er dessen Bekömmeling war, verlor er natürlich das Vertrauen anderer — das versteht sich von selbst, wenn man die Dialektik der Gefangenschaft kennt.</p>	<p>фронта и о продвижении советских войск и войск союзников». &lt;Отсюда и далее фрагмент текста выпущен&gt;</p>	<p>мораль, были свои начальники и у них были свои любимчики, что другие пленные этих любимчиков недолюбливали или даже презирали.</p>
<p>Um so viel Auskunft von Pjotr Petrovič Bogakov zu bekommen, bedurfte es fünf günstiger Gelegenheiten, musste der Verf. Einen Infusionsflaschengalgen kaufen, da der zur Verfügung gestellte hin und wieder zu seiner ursprünglichen Verwendung benutzt wurde; es wurden sogar Kinokarten investiert, um Belenko und Kitkin in Farbverfilmungen von 'Anna Karenina', von 'Krieg und Frieden' und 'Doktor Schiwago' zu schicken, Konzertkarten, um ihnen Mstislav Rostropovič nicht entgehen zu lassen.</p>	<p>Для того чтобы получить от Петра Петровича Богакова такую обширную информацию, авт. пришлось пять раз беседовать с ним, выискивая для этого подходящие возможности. Далее: купить новую виселицу для внутривенных вливаний, поскольку старую все же использовали иногда по прямому назначению. И наконец, снабжать билетами в кино соседей Богакова по комнате.</p>	<p>Чтобы не упоминать роман «Доктор Живаго» и имя и фамилию знаменитого виолончелиста Мстислава Ростроповича, переводчица убирает вообще все названия кинокартин и упоминание концертов. Начиная с 1969 года Ростропович и его семья поддерживали Солженицына, разрешив ему жить на своей даче под Москвой и написав открытое письмо Брежневу в его защиту. За этим последовала отмена концертов и туров, остановка записей. В 1974 году Ростропович и Вишневецкая эмигрировали.</p>
<p>“... nein, und nach dem Krieg der ganze Klimbim mit Widerstand und Rente, Wiedergutmachung und eine neue KP mit</p>	<p>&lt;Фрагмент текста полностью выпущен&gt;</p>	<p>Здесь идет речь о членах Коммунистической партии Германии, которые предали своего товарища (Вилли Кремера), из-</p>

<p>Leuten, von denen ich weiß, daß sie meinen Willi auf dem Gewissen haben. Wissen Sie, wie ich die genannt habe? Ministranten. Nein, Nein — dazwischen die ahnungslose Leni, das arme Ding, die sie tatsächlich rumgekriegt haben, als “Hinterbliebene eines tapferen Frontkämpfers der Roten Armee” so ne Art Wahlkampf-Blondine abzugeben. Und ihren kleinen Jungen als Lev Borisovič Gruyten — na, da haben dann wohl alle Bekannten und Verwandten auf sie eingeredet, daß das nicht ging, und sie hats gelassen, aber sie hatte dann noch mehr Dreck am Stecken als während des Krieges. Noch Jahre später hat man sie “die blonde Sowjet-Hure” genannt...”</p>		<p>за чего он попал в лагерь и погиб, а после войны распространяли о себе героические истории.</p>
<p>“Ich hab ja nun eine Frau dort gelassen und einen Sohn, der ungefähr so alt sein dürfte wie Sie, wenn er die zwanzigtausend Möglichkeiten, um Kopf und Kragen zu kommen, überstanden hat. Mein Lavrik war 44 neunzehn, und den haben sie sicher noch geholt — wer weiß wohin — und manchmal denke ich doch dran, hinzufahren und dort zu</p>	<p>&lt;Фрагмент текста полностью выпущен&gt;</p>	<p>Богаков рассказывает здесь о своей семье, которую он бросил в СССР и к которой после войны так и не вернулся, оставшись в Германии. Кроме того, он признается, что изменял жене с другими женщинами, причем речь идет, скорее всего, об изнасиловании немок в 1945 году.</p>

<p>sterben, egal wo — meine Larissa, ob die wohl noch lebt? Ich habe sie ja nun betrogen, sobald ich Gelegenheit dazu hatte, schon im Februar 45, als sie uns an die Front schickten, um Gräber und Schützenlöcher und Geschützstellungen zu buddeln. Da hab ich zum ersten mal nach vier Jahren nach einer Frau gegriffen und bin bei ihr eingekehrt &lt;...&gt;, und ich könnte Ihnen nicht sagen, wie alt sie war, — nun, gesträubt hat sie sich nicht, nur später ein bisschen geweint, denn das waren wir wohl beide nicht gewohnt, Ehebruch, wenn mans so nennen kann...”</p>		
<p>“... Ich konnte nicht mehr weg von dieser Stadt, das mögen mir mein Lavrik und meine Larissa verzeihen...”</p>	<p>Нет, я не мог покинуть этот город, да простят мне мои близкие.</p>	<p>В немецком тексте речь идет о том, что Богаков не пожелал покидать Берлин и возвращаться в СССР к семье, а русский перевод не называет здесь ни жену, ни сына, смягчая этот пассаж и заменяя семью «близкими».</p>
<p>“... die Wange einer Frau, ihr Haar, ihre Tränen — und, nun ja, ihren Schoß. Marie oder Paula oder Katharina, und hoffentlich ist sie nie auf die Idee gekommen, es ihrem Mann zu erzählen oder irgendeinem Beichtvater zu flüstern...”</p>	<p>&lt;Фрагмент текста полностью выпущен&gt;</p>	<p>Здесь Богаков снова говорит о том, что «занимался любовью» с немками после освобождения из плена, что в советском дискурсе было недопустимо упоминать.</p>

<p>Ich habe Boris' Vater in den Jahren zwischen 33 und 41 in Berlin kennengelernt und mich regelrecht mit ihm angefreundet. Das war gar nicht so ungefährlich, weder für ihn noch für mich. Weltpolitisch gesehen, bin ich immer noch für eine Allianz zwischen der Sowjetunion und Deutschland, und ich vertrete die Ansicht, dass eine echte, herzliche, von gegenseitigem Vertrauen getragene Allianz sogar die — DDR von der Landkarte wegfeigen würde. Wir, wir sind es, an denen der Sowjetunion liegt. Nun, das ist Zukunftsmusik.</p>	<p>&lt;Фрагмент текста полностью выпущен&gt;</p>	<p>Здесь идет речь о том, что необходим послевоенный союз между СССР и Западной Германией; этот крепкий союз мог бы с годами сделать существование ГДР излишним, и эта страна исчезла бы с карты мира. Понятно, что такое мнение советскому читателю в 1973 году демонстрировать было нельзя.</p>
---	--	---

Критика марксистской идеологии, неприятие антигуманного советского общества, упоминание некоторых нежелательных эпизодов из истории СССР — все эти темы вымарывались и из переводов произведений других авторов. Ниже приведем некоторые фрагменты оригинала и «перевода» из романа Вольфганга Кёппена «Смерть в Риме»<sup>2</sup> (см.: [Коеррен; Кёппен]):

Немецкий оригинал	Перевод	Комментарий
<p>Ein rotes Plakat der Kommunistischen Partei brannte wie ein Fanal. Judejahn dachte an die Nacht des Reichstagsbrandes. Das war die Erhebung gewesen! Eine Epoche hatte begonnen! Eine Epoche ohne Goethe! Was wollte die russisch-römische</p>	<p>Красный плакат коммунистической партии пылал как факел. Юдеян вспомнил ночь, когда пламя охватило рейхстаг. Какой тогда царил подъем! Наконец-то! Началась новая эпоха! Эпоха без Гете! Чего же хочет эта русско-рим-</p>	<p>В немецком тексте идет речь о пакте между Гитлером и Сталиным, о возможностях их более длительного и прочного союза. Они названы «сильными братьями». В русском переводе все это «смазано» и описано очень обтекаемо.</p>

<sup>2</sup> Первое издание романа вышло в 1954 г.

<p>Kommune? Judejahn vermochte den Text nicht zu lesen. Was brauchte er ihn zu lesen? Er war für an die Wand stellen. Hier an diese Mauer sollte man sie stellen. In Lichterfelde hatte man sie an die Wand gestellt. Nicht nur Rotfront; da hatten noch ganz andere an der Mauer gestanden. Judejahn hatte nur zum Spaß mitgeschossen. Wer sagte, dass die Menschen Brüder seien? Schwächlinge, die etwas haben wollten! Und wenn man sich mit Moskau geeinigt hätte? In Moskau saßen keine Schwächlinge. Wenn man es unter starken Brüdern ausgehandelt, wenn es zu einem größeren umfassenderen Stalin–Hitler-Pakt gekommen wäre?</p>	<p>ская коммуна? Юдеян не мог прочесть текст плаката. Да и зачем ему читать? Он — за расстрелы. К стенке их надо ставить. В Лихтерфельде их расстреливали. Не только ротфронтовцев, там у стенки стояли и другие. Юдеян для забавы тоже стрелял в них. Кто сказал, что люди — братья? Хлюпики, которые просто хотят что-нибудь получить! А что, если бы дело дошло до более широкого пакта, если бы мы тогда заключили более тесный союз с Москвой? В Москве-то сидят не хлюпики! Что, если бы более сильные столкнувались между собой?</p>	
<p>Der Aufstieg, das Weiterleben, das gute fette und erfolgreiche Weiterleben nach totalem Krieg, nach totaler Schlacht und totaler Niederlage war und blieb auch Verrat, Verrat an den Absichten, der Vorsehungsschau und dem Testament des Führers, es war und blieb schmäbliche Kollaboration mit den westlichen Erbfeinden, die das deutsche Blut, die den deutschen Soldaten gegen den</p>	<p>Новый подъем, продолжение жизни, сытое и успешное продолжение жизни после тотальной войны, после тотальной битвы и тотального поражения было и остается изменой фюреру, изменой его целям, предвидению и завещанию, было и остается постыдным сотрудничеством с исконными западными врагами, которым нужен немецкий солдат, немецкая кровь против</p>	<p>В русском тексте убрано упоминание союзников как победителей, а также их восточного партнера (СССР) как участника их победы.</p>

östlichen Teilhaber ihres erschlichenen Sieges brauchen.	их бывшего восточного партнера.	
--	---------------------------------	--

Ср. фрагменты оригинала и «перевода» из повести Фридриха Дюрренматта «Подозрение»<sup>3</sup> (см.: [Dürrenmatt; Дюрренмат]):

Немецкий оригинал	Перевод	Комментарий
Man sollte die Dinge endlich vergessen, sagt man, und dies nicht nur in Deutschland; in Russland kämen jetzt auch Grausamkeiten vor, und Sadisten gebe es überall.	Говорят, надо забыть в конце концов старое. Жестокость и садисты бывают всюду.	Никакого упоминания о России, где в 1951 г. также происходили страшные события.

### Еврейская тема

Государственный антисемитизм — одна из политических линий советского государства, сказывавшаяся во многих сферах общественной жизни и культуры. Историки считают, что этот процесс начался в середине 30-х гг. «В 1936 г. происходит смена ориентиров: еврейская тема объявлена несуществующей, и цензура начинает рьяно выполнять новую установку идеологического аппарата ЦК» [Блюм: 187]. Казалось бы, власти действовали нелогично — зачем упускать хороший повод критики царского режима и демонстрации преимуществ советского строя? Но нет — стали изыматься любые упоминания о еврейских погромах, происходивших до революции, а впоследствии и вообще любые упоминания евреев и еврейской тематики. Так, искажению подвергся рассказ А. Куприна «Гамбринус»: в издании 1937 г. было вычеркнуто место, где говорилось о погромах. Из полного собрания сочинений Горького (1949–58 гг.) были удалены статьи и рассказы, касающиеся еврейской темы. После Второй мировой войны было приказано молчать о зверствах нацистов по отношению к евреям. Опубликованная в 1961 г. поэма Евтушенко «Бабий Яр», как известно, вызвала большой скандал, в том числе и в писательской среде. Скандалом сопровождалось и использование этого текста в 13-й симфонии Д. Шостаковича (1962). Главлит занимался фронтальным просмотром всех изданий, связанных с еврейской тематикой — они объявлялись сионистскими и изымались

<sup>3</sup> Повесть была написана в 1951–52 гг.

из библиотек. В справочных изданиях не упоминалась национальность деятелей культуры и науки, если они были евреями. Так, в Театральной энциклопедии читаем: «Майя Плисецкая — советская балерина». Ситуация с запрещением еврейской темы начала постепенно исправляться с началом перестройки (промежуточным стыдливым вариантом слова *евреи* стал термин *граждане еврейской национальности*). Ее слом ознаменовался публикацией романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в журнале «Октябрь» в 1989 г. Цензурирование переводной литературы в связи с еврейской темой пока не изучено. Приведем несколько найденных нами примеров (см.: [Böll; Бёль]):

Немецкий оригинал	Перевод	Комментарий
<p>“Wie bist du denn durchgekommen, bei Untersuchungen und so, ich meine, durchgekommen, mit deiner, nun sagen wir, veränderten Vorhaut? — und er hats mir gesagt, er hat einen Freund gehabt, einen Medizinstudenten in Moskau, dem ziemlich klar war, wie gefährlich das werden konnte, und der hat ihm das provisorisch mit nem Stück Katzendarm ganz säuberlich unter fürchterlichen Schmerzen wieder drangenäht, bevor er in die Armee mußte, und es hat gehalten, bis — nun bis er dauernd in diese Erregungszustände geraten ist, und da ist diese Vernähung draufgegangen, ab”.</p>	<p>&lt;Фрагмент текста полностью выпущен — 2 полных страницы&gt;</p>	<p>Непосредственное упоминание обрезания как признака, выдающего еврея. Тема Холокоста и попыток спасения евреев в связи с проблемой традиционного обрезания.</p>



Ср. также [Кюерпен; Кёпшен]:

Немецкий оригинал	Перевод	Комментарий
<p>Warum ging er nicht gutgekleidet, mit einem guten Paß ausgestattet, mit Geld reichlich versehen in ein gutes Restaurant, füllte sich den Bauch bis zum Speien, füllte ihn sich, wie ihn sich die Juden wieder füllten, füllte ihn sich mit Gänseleber, mit Mayonnaisen, mit zarten gemästeten Kapaunen, ging dann in ein Dancing, gutgekleidet, mit Geld versehen, trank sich voll und gabelte für die Nacht was auf, wohl gekleidet, wohl versehen, geil wie die Juden, er konnte konkurrieren, er durfte Ansprüche stellen, warum tat er es nicht?</p>	<p>Почему он, в хорошем костюме, с хорошим паспортом, с хорошими деньгами, не идет в хороший ресторан, не набивает там брюхо до отказа, как эти люди без роду, без племени? Почему бы ему не нажраться гусиной печенки, не попробовать различных соусов, не отведать откормленного каплуна, а затем не отправиться в дансинг — в хорошем костюме, с хорошими деньгами, — напиться там и подцепить девчонку на ночь? Хорошо одетый, с хорошими деньгами, он мог бы составить им конкуренцию, он имеет право претендовать на многое — почему же он этого не делает?</p>	<p>В тексте Кёппена множество раз упоминаются евреи, это навязчивая идея бывшего офицера вермахта Юдеяна. В переводе упоминание евреев часто сохраняется, но иногда и изымается (видимо, чтобы не переборщить). В данном отрывке они становятся «людьми без роду без племени» (видимо, переводчики еще хорошо помнят эпоху «безродных космополитов»). А дальше речь в немецком тексте идет о «похотливых евреях». Вместо этого в русском переводе находим только местоимение «им».</p>
<p>... sie war nicht schwarzbraun, die neben ihm saß, schwarz wie Ebenholz, welsch, vielleicht eine Jüdin, sie war bestimmt eine Jüdin, eine Aussaugerin, eine Blutverderberin...</p>	<p>... эта рядом — не смутлая, она черная, как эбонит, эта заморская девка, вероятно еврейка, даже наверняка еврейка, предательница, низшая раса...</p>	<p>В немецком тексте Blutverderberin — это не просто «низшая раса», а та, которая портит роду (кровь), если с ней совершает половой акт представитель арийской расы.</p>
<p>... das Gewimmel von Leuten, merkwürdig gekleidet und sonderbar zweifelhaften Gehabens, das ganze Gesocks, wie</p>	<p>... все эти кишевшие вокруг них люди, странно одетые и с сомнительными, чужаковатыми манерами, весь этот</p>	<p>Трудно назвать <i>кагал</i> словом из антисемитского жаргона. Но бывало, что антисемиты так говорили. Нужно было до-</p>

Friedrich Wilhelm Pfaff-rath jiddisch-antisemitisch jargonierte.	кагал — Фридрих-Вильгельм Пфафрат употребил выражение из антисемитского жаргона.	бавить еще и эпитет. Переводчики не решились употребить слово «идиш», как в немецком оригинале, и получился довольно нелепый вариант перевода.
--	--	--

В повести Ф. Дюрренматта «Подозрение» действует герой по имени Гулливер, человек мощного телосложения и огромного роста. Он — еврей, сидевший когда-то в лагере и подвергшийся операции без наркоза, сделанной нацистским врачом-садистом. Нигде в русском переводе не упомянуто, что Гулливер — еврей, хотя из-за этого остается неясным, почему он оказался в лагере. Сам Дюрренматт регулярно называет Гулливера евреем: «еврей сказал», «еврей засмеялся» и т. д., а переводчик везде заменяет это слово на «Гулливер», «гигант», «собеседник». В оригинале Гулливер, например, «готов почтенными талмудистами и их семью бородами», а в русском тексте он просто «готов поклясться».

В этой же повести рассказывается о судьбе доктора Марлок — еврейке, которая была к тому же еще и коммунисткой. Она эмигрировала в 1936 году в СССР, откуда ее после заключения пакта Молотова–Риббентропа выдали гестапо. Она оказалась в концлагере, где стала любовницей врача-садиста. Вся ее вера в людей разрушена, она превратилась в робота, внутри она вся выжжена. Вся эта сюжетная линия в переводе отсутствует, и читатель только узнает, что героиня повести была в лагере и стала любовницей врача, но он не может понять, ни почему она оказалась в лагере, ни почему у нее очерствело сердце, и мучения других людей ее не трогают. Таким образом текст повести в переводе искажен совершенно безнадежно. Ср. [Dürrenmatt; Дюрренматт]:

Немецкий оригинал	Перевод	Комментарий
... aber ich will nichts vergessen und dies nicht nur, weil ich ein Jude bin — sechs Millionen meines Volkes haben die Deutschen getötet, sechs Millionen! — nein, weil ich immer noch ein Mensch bin...	... но я не хочу забывать, потому что я все еще человек...	В переводе ни слова не сказано о погибших от руки немцев шести миллионах евреев и о том, что говорящий (Гулливер) тоже еврей.

<p>“Christ, Christ, vernimm, was ein Jude dir erzählt, dessen Volk euren Heiland gekreuzigt hat und der nun mit seinem Volk von den Christen ans Kreuz geschlagen wurde...”</p>	<p>Комиссар, комиссар, послушай, что я говорю.</p>	<p>Должно быть: «О христианин, послушай еврея, чей народ распял вашего Спасителя, который, в свою очередь, нынче вместе с его народом был распят христианами!» В переводе текст искажен до неузнаваемости.</p>
<p>... auch bei den anderen starben die kunstvoll gefesselten Juden brüllend unter Messern am Schock...</p>	<p>... так же и у других умирали искусно связанные арестанты под ножами от шока, вызванного болью...</p>	<p>Замены слова «еврей» на все, что «подвернется под руку», встречаются в тексте перевода постоянно, как будто переводчик считает это слово чем-то глубоко неприличным.</p>

### Религиозная тема

Замены в переводах были связаны и с разгромом церкви в Советском Союзе, с пропагандой атеизма. Так, например, Гулливер в повести Дюрренматта на протяжении всего своего длинного монолога несколько раз обращается к Берлаху “Christ”, а в переводе везде это обращение заменено на «комиссар». Ср. [Dürrenmatt; Дюрренматт]:

Немецкий оригинал	Перевод	Комментарий
<p>Er soll nicht so schreien, sagte der Kommissär, sonst komme die Nachtschwester. Sie seien in einem soliden Spital. “Die Christenheit, die Christenheit”, sagte der Jude. “Sie hat gute Krankenschwestern hervorgebracht und ebenso tüchtige Mörder”.</p>	<p>— Не кричи, — сказал комиссар, — иначе придет дежурная сестра. Мы ведь в солидном госпитале. — Солидность, солидность, — ответил тот, — она создала хороших медсестер и старательных палачей.</p>	<p>Вместо «христианство» (именно оно изобрело добросовестных сестер милосердия и добросовестных же убийц) переводчик употребляет слово «солидность», что лишает реплику Гулливера всякого смысла.</p>

<p>“Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, wie es so schön im Korinther dreizehn heißt. Aber die Hoffnung ist die zähste unter ihnen, das steht bei mir, dem Juden Gulliver, mit roten Malen in mein Fleisch gezeichnet”.</p>	<p>— Вера, надежда, любовь!.. Надежда — самая живучая из них, это врезалось в тело Гулливера следами шрамов.</p>	<p>Ср. в Книге Коринфян, 13: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». Переводчик Библию, естественно, не упоминает.</p>
---	--	--

Бывали случаи, когда переводчики по незнанию даже самых известных религиозных текстов допускали ошибки. Так, Нора Галь приводит пример, как переводчик не смог справиться с известным библейским выражением из Екклезиаста «Отпущай хлеб твой по водам» [Галь: 71–72]. Ошибка такого же характера допущена в уже цитировавшемся нами переводе романа Бёлля. Ср. [Völl; Бёльль]:

Немецкий оригинал	Перевод	Комментарий
<p>“... ein ziemlich billiger und kitschiger Heiliger Joseph...”</p>	<p>Иосиф Прекрасный, так сказать, в дешевом варианте? Иосиф Прекрасный для бедных.</p>	<p>Неверный перевод; heiliger Joseph = святой Иосиф, а не Иосиф Прекрасный. Незнание Библии.</p>

### Физиология, исключение сексуальных тем

Еще одна причина купюр в переводах — ханжество, требование не допускать описания «неприличных» ситуаций и использования соответствующих слов, что в первую очередь касалось всего, что связано с сексом. Физиологические проявления людей, анатомия «ниже пояса», сексуальные связи обходили молчанием, считали недостойными — в этом отношении коммунистическая идеология унаследовала христианские представления о греховности плоти. Несколько поколений советских людей воспитывались в сексуальном невежестве, в страхе, в боязни извращений [Кон]. Секс и физиология считались «нездоровыми» явлениями. Особенно страшными казались гомосексуальные отношения, рассматривавшиеся как преступление — с 1934 до 1993 г. они были уголовно наказуемы в СССР. Проповедовавшаяся некоторое время после революции 1917 г. вольность нравов быстро уступила место аскетизму. Красавиц — героинь кино интересовали выполнение плана, работа колхоза, отношения в трудовом коллективе,

а если и любовь, то в ее возвышенно-платоническом варианте. Конечно, и в немецкой литературе соблюдались правила приличия, запрещающие откровенное описание сексуальных сцен и не допускающие некоторые неприличные слова, требующие их замену эвфемизмами (кажется, бóльшие вольности позволялись в англоязычной традиции), но все же в советской печати запреты были заметно строже. Помимо действия цензуры, здесь сказывается и традиция: было принято, что письменный язык — сугубо литературный, без вкраплений просторечной и грубой лексики. Не был выработан лексикон и стиль описания сексуальной стороны жизни человека: в распоряжении переводчиков могли быть либо медицинские термины, либо непристойные слова. Характерна заметка известного историка Арона Яковлевича Гуревича, критиковавшего перевод «Песни о нибелунгах»:

С minne как чувственным влечением в переводе тоже обстоит не все благополучно. Гунтер, потерпев жалкое фиаско в первую брачную ночь, делится наутро своею горестью с Зигфридом: «Я к ней со всей душою, она ж меня, мой друг, // Связала и повесила на крюк в стене, как тюк» (строфа 649). Так перевел Ю. Б. Корнеев. Несколько более расплывчато выразился переводчик М. И. Кудряшев: «Я к ней, было, с любовью...». Но в подлиннике сказано “do ich si wande minnen”, и означает это в данном тексте не душевное движение, а “to make love!” [Гуревич: 276–314].

Курьез этого замечания выдающегося ученого состоит в том, что он, требуя от переводчиков прямого высказывания, сам прибегает к английской идиоме. Таким образом, сексуальная тема ставила сложную задачу перед переводчиками и перед цензорами. Самый простой выход состоял в редакторских купюрах, которые часто искажали смысл произведения, или в эвфемизмах. Ср. [Böll; Бёлль]:

Немецкий оригинал	Перевод	Комментарий
“...Amerikaner <...>, die nicht viel mehr zu sagen wußten als “fucking war” und “fucking generals” und “shit on the fucking Hürtgen forest”...	... и только все время ругались по-английски.	Эвфемизация (смягчение грубости) и опущение фрагментов.
“Der menschliche Paarungsdrang geht ja von Liebe auf den ersten Blick über den spontanen Wunsch, einer Person des anderen oder eigenen	Первооснова стремления людей жить парами — это любовь с первого взгляда, то есть стихийное желание обладать существом другого	Эвфемизация (смягчение при упоминании сексуальных потребностей: вместо «стремление к спариванию») и опущение (указание на

Geschlechts...”	пола, просто обладать, не связывая себя надолго.	гомосексуализм).
“... Margaret hats ziemlich mit Männern getrieben...”	Маргарет любила довольно много мужчин.	Эвфемизация (смягчение при упоминании секса: вместо «якшалась со многими / крутила романы со многими мужчинами»).
“... von improvisierten Vergleichen, die erlaubtes und unerlaubtes Küssen beschreiben sollten, wobei “Schnecken” eine von dem Mädchen nicht zu eruiierende Rolle spielten ...”	...говорил о дозволенных и недозволенных поцелуях, причем неясную для девушек роль здесь играли «сдобные булочки».	Эвфемизация (смягчение при упоминании анатомии: Schnecke на жаргоне — женский половой орган.
“Aber wenn es über mich kam, habe ich diese Bedenken über Bord geworfen und mich spontan verhalten und bin, nun, ich bin rangegangen und hab hin und wieder — so nennen wir das auch — eine aufs Kreuz gelegt”.	Но нет правил без исключений, иногда я действовал спонтанно и... Ну да, иногда я, так сказать, шел на связь. Так мы это тоже называли.	Эвфемизация (смягчение при упоминании секса: вместо «снимал бабу, трахался с кем-нибудь»).
“Jedenfalls: der eine kam zu mir, packte an meine Brust und zog mir die Hose runter, der andere zu der jungen Frau, nahm ihr das Holz aus dem Mund und küsste sie, und wir haben es eben da miteinander getrieben, wie Sies nennen wollen, zwischen uns das schlafende Jüngelchen...”	Просто мы захотели быть вместе...	Текстовый фрагмент полностью искажен и почти вычеркнут, так как здесь Бёльль изображает сцену откровенного секса.
“... das Instrumentarium männlicher Geschlechtlichkeit, dessen Erregung und Erregbarkeit mit	<Фрагмент текста полностью выпущен>.	Речь идет о мужской сексуальности, о сексуальном возбуждении.

sämtlichen Folgen, Freuden...”		
--------------------------------	--	--

Ср. также [Кюерпен; Кёпшен]:

Немецкий оригинал	Перевод	Комментарий
Unter dem Tisch pressten sie Knie und Hacken zusammen, auch den Arsch.	Они расправили плечи, щелкнули под столом каблуками.	«Задницы», которые они (бывшие эсэсовцы) напрягают под столом, в русском тексте не упоминаются.
Ich sah einen Mann ein Weib begatten, und mich ekelte, weil ihre Vereinigung das Leben fortsetzen konnte.	Я представил себе, как мужчина обнимает женщину, и мне стало противно, ведь объятие могло вызвать продолжение жизни.	В немецком тексте речь идет не об объятии, а о соитии; как объятие может вызвать продолжение жизни?
“Wo wirst du schlafen?” Und ich dachte: Soll ich ihm die Hälfte des Bettes anbieten? Und ich dachte: Ich darf ihm mein Bett nicht anbieten.	— Где ты ночуешь? — А сам подумал: предложить ему остаться у меня? И подумал: нет, я не должен предлагать ему остаться.	В немецком тексте речь идет о том, чтобы предложить двоюродному брату переночевать на свободной половине постели. Но даже это кажется переводчикам, видимо, чем-то недопустимым.
...und Siegfried dachte an den Schoß des Weibes und dass sie Kinder hatte, und es ekelte ihn vor dem feuchten und warmen Schoß, vor den feuchten und warmen Kindern, dem feuchten und warmen Leben.	Зигфрид подумал о ее лоне, о том, что у нее есть дети, и ему стало противно от этой теплой и влажной груди, от влажных и теплых детей, от влажной и теплой жизни.	Почему-то повторное упоминание лона заменяется упоминанием груди. Видимо, это уже просто превысило меру, с точки зрения переводчиков.
Ich ging zum Tiberufer. Ich lehnte mich über die Brüstung und sah unten auf dem Fluss in male-ricisch trügendem Glanz ...	<Текстовый фрагмент о том, как Зигфрид знакомится с мальчиком-проституткой и совершает с ним соитие, полностью выпущен из перевода —	Несмотря на то, что в романе постоянно упоминается гомосексуализм и переводчики само слово регулярно переводят, откровенная

	это примерно две полных страницы текста>	сцена реального соединения представителей одного пола в печатной продукции СССР была немыслима.
Sie glitten langsam dahin, unsichtbare Kufen auf unsichtbarem Eis, drunter schillerte die Unterwelt, tobten die Kobolde, wirrten die bösen Wichtel, knirschten die Höllenschergen, waren erwartungsvoll, schürten unsichtbar Feuer, badeten in Flammen, rieben sich geil ihr Glied...	Они плавно скользили вперед, словно на незримых полозьях по незримому льду, а под ними переливалась красками преисподняя, неистовствовали гномы, волновались злые карлики, скрежетали зубами адские палачи, все они были охвачены ожиданием, раздували незримые костры, купались в пламени...	Пассаж о том, что эти жители преисподней похотливо потирали свой детородный орган, из русского текста выпущен.
...der Gedanke an die Sünde reizte die Hoden, regte die Samenzellen an.	Но размышления о грехе вызывали в нем желания, будили его мужскую силу.	Грубая, животная телесность Юдеяна, подчеркиваемая упоминанием физиологических деталей (мошонка, семенники) в переводе заменена чем-то туманным; в итоге омерзение, вызываемое этим человеком, отчасти нейтрализуется, что резко нарушает замысел автора.

### Заключение

Уже на приведенных здесь примерах можно убедиться в том, что цензурные искажения и сокращения вели к обесмысливанию целых сюжетных линий, а также к обеднению передачи духовного и морального облика героев произведений или деформации их характеров. Фальсифицировался замысел автора. Это не могло не отражаться на художественном качестве текстов и на том впечатлении, которое они производили на читателя.



Ущерб, который наносился этим имиджу писателя и восприятию его текстов, трудно переоценить.

Едва ли можно сегодня сказать, насколько цензурная правка переводного текста была обусловлена работой над ним редактора, а сколько мест вымарывалось или искажалось самим переводчиком заранее, еще до сдачи рукописи в редакцию. Можно предположить, что переводчик во многом руководствовался самоцензурой, зная, что такое-то место заведомо «не пройдет».

Приведенный в нашей статье материал, касающийся цензурных купюр в переводах, ясно высвечивает идеологические запреты в Советском Союзе. Конечно, эти советские реалии хорошо известны и памятливы поколениям людей, живших в то время, и без анализа переводов. Но молодому поколению сегодня уже трудно себе представить, чего были лишены советские читатели. Наш материал настолько нагляден, что может быть убедительнее декларативных заявлений и самых подробных описаний. Он может быть использован и исследователями цензуры, и в работах по истории советской культуры вообще.

Сегодня необходимо внимательно изучить все переводы, выполнявшиеся в годы господства советской цензуры, оценить их качество и, в зависимости от результатов этой экспертизы, возможно, принять решение о новых переводах тех же произведений. В архивах русской литературы в Марбахе (Deutsches Literaturarchiv, Marbach) и в Бремене (Archiv der Forschungsstelle Osteuropa, Bremen) хранятся, в частности, переводы произведений некоторых западных писателей «без купюр», т. е. те варианты переводов, которые либо так и не увидели свет, либо были опубликованы с цензурными искажениями. Работа по поиску этих переводов, сравнению их с оригиналами и с опубликованными русскими текстами только начинается.

## Литература

Беньямин: *Беньямин В.* Московский дневник / Пер. С. Ромашко / <http://www.fedy-diary.ru/html/032013/0703013-03a.html> (Дата обращения: 22.06.2017).

Бёль: *Бёль Г.* Групповой портрет с дамой / Пер. А. Черной // Новый мир. 1973. №№ 2–6.

Блюм: *Блюм А.* Еврейская тема глазами советского цензора. (По секретным документам Главлита эпохи Большого террора) / Петербургский Еврейский Университет. Сер. «Труды по иудаике». 1995. Вып. 3: Евреи в России: История и культура.

Галь: *Галь Н.* Слово живое и мертвое. М., 2001.

Гуревич: *Гуревич А.* Средневековая литература и ее современное восприятие. О переводе «Песни о нибелунгах» // Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976.

Дюрренматт: *Дюрренматт Ф.* Подозрение / Пер. Е. Факторовича. М.: Прогресс, 1997.

Кёппен: *Кёппен В.* Смерть в Риме / Пер. В. Девекина и В. Станевич. М.: Прогресс, 1980.

Кон: *Кон И.* Клубничка на березке. Сексуальная культура в России. Алматы, 2010. Изд. 3-е.

Мельникова: *Мельникова Л.* Роман Генриха Бёлля «Групповой портрет с дамой» как опыт рецепции русской литературы XIX века // Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. наук. Нижний Новгород, 2016.

Рот: *Рот Й.* Ленинград / Пер. А. Жеребина / <http://magazines.russ.ru/zvezda/2004/9/ro17.html> (Дата обращения: 22.06.2017).

Синеок: *Синеок А.* Цензурная судьба Кафки в России / <http://www.vehi.net/kafka/sineok.html> (Дата обращения: 22.06.2017).

Фейхтвангер: *Фейхтвангер Л.* Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей. М.: Художественная литература, 1937.

Birus, Goethezeitportal: *Birus, H.* Goethes Idee der Weltliteratur. Eine historische Vergegenwärtigung // Goethezeitportal / [http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/goethe/birus\\_weltliteratur.pdf](http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/goethe/birus_weltliteratur.pdf) (Дата обращения: 15.10.2016).

Bruhn, Glade: *Bruhn, P.; Glade, H.* Heinrich Böll in der Sowjetunion 1952–1979. Einführung in die sowjetische Böll-Rezeption und Bibliographie der in der UdSSR in russischer Sprache erschienenen Schriften von und über Heinrich Böll. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1980.

Böll: *Böll, H.* Gruppenbild mit Dame / <https://www.dtv.de/buch/heinrich-boell-gruppenbild-mit-dame-959.pdf> (Дата обращения: 27.12.2017).

Dürrenmatt: *Dürrenmatt, F.* Der Verdacht. Diogenes, 1985.

“Joseph Roths Russland”: Репортаж “Joseph Roths Russland”, Programm “Arte” / <http://www.arte.tv/de/videos/055886-002-A/die-gro%C3%9Fe-literatur> (Дата обращения: 24.06.2017).

Koepfen: *Koepfen, W.* Der Tod in Rom. Berlin: Volk und die Welt, 1983.

Roth: *Roth, J.* Reise in Russland. Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1970.

## PARADIGM SHIFTS IN SOVIET LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES: THE CASE OF THE LINGUISTIC DISCUSSION OF 1950

ANASTASIA SHAKHOVA

### 1. Introduction

The term *Linguistic Discussion* refers to a series of articles published by Soviet scholars in the newspaper «Правда» in 1950. The linguistic discussion began with Čikobava's article, which raised vibrant questions concerning the state and the further development of the Soviet Linguistics. The culminating point of the linguistic discussion was the publishing of Stalin's contribution entitled «Марксизм и вопросы языкознания» (“Marxism and Problems of Linguistics”). In this work, Stalin denied that language was a superstructure on the base, though the class character of language was assumed by the Soviet scientific community. He severely criticized the theory of Marr, which used to be an officially acknowledged linguistic theory at that time, and offered a new Marxist definition of *national language*. “According to Marr, the structure of a society determines not just superficial sociolinguistic differences but the basic structural and typological features of that society's language. The burden of the Pravda articles was to denounce this view”, says Mossop [Mossop].

Stalin's essay had a great impact on the development of the Soviet linguistics. It was followed by the restructuring of the discipline and by a *paradigm shift*: linguistics and consequently translation studies became new objectives, new terminology and had to develop new methods and approaches that would fit into the new paradigm. The science in general and linguistics in particular received a new function; they had to become ideological and to promote Marxist ideology. Being at that time a sub-discipline of linguistics, Soviet translation studies absorbed the ideas of the linguistic discussion as well. They can be found in Fedorov's «Введение в теорию перевода» — the work,

which heralded the establishment of the linguistic approach in the Soviet translation studies [Федоров 1953]. Through institutionalized reception and translation, the ideas of the linguistic discussion as well as Stalin's theses travelled to East Germany where they were presented as scientific achievements.

The paradigm shift motivated by Stalin's essay was a result of an intervention of a nonprofessional authority into the scientific development. However, the present contribution is intended to prove that this paradigm shift had features of both a scientific and a non-scientific revolution. In the present article, the ideas of the linguistic discussion are analyzed from two perspectives. On the one hand, the linguistic discussion can be considered a sort of *anomaly* [Kuhn], which affected the existing paradigm in linguistics, namely the theory of Marr. On the other hand, the ideas of the linguistic discussion can be regarded as *travelling theories* [Said; Susam-Sarajeva]. They crossed interdiscursive borders and travelled into the discourses of the Soviet translation studies. Their traces in East German discourse can be also regarded as a result of a travelling process.

The analysis of the case of the linguistic discussion is aimed to draw attention to the political and ideological factors, which influence the development of scientific disciplines.

## 2. Paradigm Shifts and Scientific Revolutions

From the historical perspective, the processes that affected the development of the Soviet linguistics and translation studies and led to the establishment of the linguistic approach in Translation Studies can be described with the help of the model suggested by Thomas S. Kuhn in his work "The Structure of Scientific Revolutions" (1962).

According to Kuhn's theory, a scientific discipline's development is a complex process that includes several stages. A mature science can be described as 'normal science', i. e. a "research firmly based upon one or more past scientific achievements, achievements that some particular scientific community acknowledges for a time as supplying the foundation for its further practice" [Kuhn: 10]. Kuhn points out that one of the features of a 'normal science' is "the assumption that the scientific community knows what the world is like" [Ibid.: 5]. This assumption results in a conservative behavior of the scientific community:

Much of the success of the enterprise derives from the community's willingness to defend that assumption, if necessary at considerable cost. Normal science, for

example, often suppresses fundamental novelties because they are necessarily subversive of its basic commitments [Kuhn: 5].

A ‘normal science’ has its own objects of analysis, methods, and objectives as well as a set of principles of scientificity and patterns of discourse production. “The entire constellation of beliefs, values, techniques, and so on shared by the members of a given community” is a *paradigm* [Ibid.: 175]. Kuhn characterizes the ‘normal science’ stage as a period of puzzle-solving activities [Ibid.: 35–36]. The tasks and objectives are usually chosen according to the existing paradigm, while solutions are meant to prove the rightfulness of the paradigm.

No matter how successful a paradigm may be, it can be shaken by unexpected phenomena, by anomalies that cannot be explained or studied within the paradigm’s frame. Kuhn admits that “if an anomaly is to evoke crisis, it must usually be more than just an anomaly” [Ibid.: 82]. An anomaly that questions the rightfulness of the paradigm can lead to its crisis and, consequently, to the transition to another stage of the scientific development, which fosters the emerging of new theories, approaches, and, consequently, paradigms [Ibid.: 82]. A shift from an old paradigm to the new one can be described as a *scientific revolution* [Ibid.: 90]. Why does Kuhn call paradigm shifts *revolutions*? He underlines the similarity between a political revolution and a scientific revolution: “In both political and scientific development the sense of malfunction that can lead to crisis is prerequisite to revolution” [Ibid.: 92].

Kuhn points out the restrictive and normative features of a paradigm shift:

The new paradigm implies a new and more rigid definition of the field. Those unwilling or unable to accommodate their work to it must proceed in isolation or attach themselves to some other group [Ibid.: 19].

As far as the phase preceding the stage of a ‘normal science’ is concerned, Kuhn suggests that the type of research conducted during the pre-paradigm stage resembles the research during the periods of crisis [Ibid.: 84]. He describes this kind of activities as following:

The pre-paradigm period, in particular, is regularly marked by frequent and deep debates over legitimate methods, problems, and standards of solution, though these serve rather to define schools than to produce agreement [Ibid.: 47–48].

According to Kuhn’s model, Stalin’s ideas concerning the class character of language and the historical development of languages can in general be considered an *anomaly*. Neither Stalin’s intervention nor his linguistic ideas were expected by the scientific community. By that time, Marr’s theory was a dogma in linguistics; however, some members of the scientific community

doubted its scientific character, but could not prove its unscientific nature. Stalin's ideas denied the scientific nature of Marr's theory and attacked its premises for not being truly Marxist.

Stalin's ideas were incompatible with the theory of Marr; consequently, a paradigm shift became inevitable. Even those scholars, who supported Marr at the beginning of the linguistic discussion, had to revisit their attitude towards his theory. Academician Meshchaninov, who previously used to support Marr in his contribution «За творческое развитие наследия академика Н. Я. Марра» ("For the creative development of the heritage of the academician N. J. Marr"), had to address an penitential letter to the editors of Pravda and confess that his views were erroneous. So did Chemodanov in a similar letter.

The anomaly, namely, the Stalin's linguistics ideas, resulted in structural and content-related changes in linguistics. This restructuring changed its status among other scientific disciplines and influenced the development of its subordinate disciplines. Mossop points out that "linguistics had a very high profile when Fedorov was writing his book. Indeed the entire fifth chapter of the book is devoted to the Pravda articles and their relevance to translation" [Mossop]. Mossop even sees direct connections between Fedorov's monography [Федоров 1953] and the consequences of the linguistic discussion: "One might even imagine that Fedorov realized, in the aftermath of the Pravda articles, that certain ideas he already had could now be published" [Ibid.].

The consequences of the linguistic discussion, such as reforms in linguistics and in translation studies, will be described in the next subchapters of the present contribution.

One more important aspect of the paradigm shift, caused by the linguistic discussion, is worth mentioning in the present chapter. Kuhn suggests that scientific disciplines develop in a natural way only if the choice between paradigms remains in the hands of the scientific community; meanwhile he admits that political powers might have as well certain impact on the paradigm debates. However, if a nonprofessional authority forges a paradigm shift in a scientific discipline, this kind of 'revolution' wouldn't be a scientific one [Kuhn: 167].

Stalin's intervention was, of course, an example of the interference of a non-professional authority into the development of Linguistics. However, Stalin's linguistic theses did not come out of the blue. It is worth mentioning that Stalin's "brilliant ideas" were already expressed a few decades ago by Polivanov [Jacobs: 76–77]. Mossop even suggests that Stalin's essay was written with the help of Georgian linguist Arnold Čikobava [Mossop], which would, on the one hand, explain why these theses could be so easily and quickly integrated

in the discourse of the Soviet linguistics. On the other hand, the real author of the essay published under Stalin's name did not matter: it was not about the authorship, but about the status of the person claiming authorship. Stalin's personal influence was so strong that his name was already a reason to agree with his thoughts. No wonder that quotations from Stalin's essay were later often used as evidence in scientific debates, as well as quotations from the works of Marxism classics. However, this was not quite a new practice, as Marr's followers preferred to use political arguments instead of scientific arguments in linguistics debates as well [Erren: 322]. It might seem bizarre, but Marr's theory, which gained its status as a scientific paradigm with the help of ideological arguments, was finally beaten down by ideological arguments.

### 3. The Consequences of the Linguistic Discussion

#### 3.1. Paradigm Shift in Linguistics

The influence of the Soviet government on the scientific discourses can be described as *patronage* in Lefevere's terminology. Though this concept basically refers to the discourse production in literary systems, it can be also applied to the norms discourse production in scientific systems. Lefevere suggests that *poetics* and *ideology* represent two major mechanism of text production control in literary systems. Ideology prescribes what the world should look like, and poetics prescribes what the literature should be like [Lefevere: 65]. According to Dizdar, similar mechanisms influence text production in general [Dizdar: 357], including text production within a discourse of a discipline, such as linguistics or translation studies.

The analysis of text production in scientific systems shows that ideology maintains here a similar role, while the function of poetics is performed by the principles of scientificity. While the principles of scientificity control the discourses of a discipline from inside, the ideology, being a component of patronage, influence the development of the scientific discourse from outside. With his essay, Stalin set new norms of discourse production and established new principles of scientificity in the field of the Soviet linguistics and consequently in translation studies. The abolition of Marr's dogmas in linguistics as well as the establishment of new ideologically marked discourse patterns testifies the fact that Stalin's intervention in linguistics was "less of scientific than of political-ideological value" [Hartmann, Eggeling: 224; my translation].

Hartmann and Eggeling point out that, on the one hand, the "independence of the language from social formation", proclaimed in Stalin's essay, slowed

down the development of sociolinguistics in the USSR [Hartmann, Eggeling: 224–225]. On the other hand, “a green light was given to the rehabilitation of the psycholinguistic studies of Baudouin <de Courtenay> and the Petersburg school” [Bruche-Schulz: 144; my translation]. After the linguistic discussion, the discourse production in linguistics and, consequently, in the field of translation studies, changed in terms of content and structure. The new “genuinely scientific” Stalinist concept of language became an indispensable premise for further scientific activity.

The impact of Stalin’s essay on the discourse of the Soviet linguistics can be traced in works of Soviet scholars of that time, published after the linguistic discussion. Vinogradov informs the reader about the structural and content-related changes in Soviet linguistics after the publication of Stalin’s essay. He announces the three most important development objectives of the Soviet linguistics defined by Stalin’s essay, including “the liquidation of the Arakcheev regime in linguistics”, “the liberation of Soviet linguistics from the Marr’s doctrine”, and “the establishment of Marxism in linguistics”, while the latter objective is referred to as the most important one [Виноградов: 10; my translation].

Vinogradov also announces that the study of the internal rules of language development, the study of grammar and basic vocabulary of the languages of the USSR and other languages, as well as the comparative grammar studies of the languages of the socialist nations are the new objectives of linguistics [Ibid.: 11]. This reflects Stalin’s thesis about the primacy of grammar as well as his understanding of a *national language*. Similar ideas can be found in works of Sukhotin and Sevortjan [Сухотин; Севортян].

Stalin’s work is highly approved by scholars and explicitly praised in most contributions of that time. “New Era”, “turning point”, “ingenious program”, “logical and profound theory of Marxist Linguistics” [Виноградов: 10; Сухотин: 3; Севортян: 510] are typical expressions aimed to show respect and ideological loyalty. The praise of Stalin and his thesis is characterized by a constant iteration of epithets like *гениальный труд* / work of genius, *крепкий* / solid, *незыблемый* / steadfastly, *подлинно научный* / genuinely scientific, *творческий* / creative, etc. This positive *image* of Stalin as a *linguist* is shaped by Soviet scholars and their works in order to present his essay as a scientific linguistic contribution.



### 3.2. The Traces of the Linguistic Discussion in Fedorov's «Введение в теорию перевода»

The fact that the ideas of the linguistic discussion can be traced in several important works concerning translation theory allows regarding them as a *travelling theory*. This concept as well as a model illustrating how theories and ideas travel from one literary or scientific system to another, being adapted to the needs of the target system, was elaborated by Edward Said in 1983.

Said puts forward a four-stage-model of a *travelling process*. First of all, there is a point of theory's origin, which may be regarded as a starting point of a travelling process. Then there is "a passage through the pressure of various contexts as the idea moves from the earlier point to another time and place where it will come into a new prominence" [Said: 126]. Travelling theories are then accepted or rejected, and, finally, transformed and adapted to the needs of their new use [Ibid.].

Neumann and Nünning conceive travelling process "as a multilayered, complex and conflictual process which generates difference and defies tendencies towards homogenisation and universalization" [Neumann, Nünning: 7]. The authors enhance Said's model and propose four directions of a travelling process: 1) travelling between academic disciplines: crossing disciplinary boundaries; 2) travelling between academic and national cultures and cultures of research: crossing national borders; 3) travelling diachronically across time: crossing the boundaries between historical periods; 4) travelling synchronically between functionally defined subsystems: travelling between academia and society, its cultural practices, norms and power relations [Ibid.: 11].

The ideas of the linguistics discussion travelled synchronically between academic disciplines and anchored in the discourse of the Soviet translation studies. This would not be possible without active support of the scientific authorities and without adaptation of these ideas to the needs of the Soviet translation studies.

The institutionalized development of Soviet translation studies as a sub-discipline of Linguistics began in the 1950s. Surely, some essential publications concerning theoretical aspects of translation already appeared earlier, such as Fedorov's monography «О художественном переводе» ("On the literary Translation"), 1941 [Aleksieva: 27], as well as works of Chukovsky (for example: [Чуковский 1936; Чуковский 1941]). However, contemporary Russian and European scholars regard Fedorov's «Введение в теорию перевода» as a starting point in the establishment of translation studies as an independent discipline [Нелюбин, Хухуни: 119; Menzel, Pohlan: 9; Aleksie-

va: 28]. Both Fedorov's essay [Федоров 1952] and his most famous work [Федоров 1953] bear imprints of Stalin's essay "On Marxism and the Problems of Linguistics".

In the introduction to his monography (1953), Fedorov claims that a fruitful development of translation studies in the Soviet Union can be possible only if based on Stalin's ideas expressed in his prominent "linguistic works" [Ibid.: 3] as well as on Marxist-Leninist-Stalinist premises [Ibid.: 14–15].

Fedorov explains that after the publication of Stalin's essay, translation studies has received a set of new objectives. First of all, the experiences of Marx, Engels, and Lenin in translation should be examined and generalized. Secondly, Stalin's ideas concerning the national character of languages, the peculiarities of a national language, and the inseparability of thought and language should be applied in translation studies. Consequently, the principle of translatability, which according to Fedorov results in a fundamental possibility of a full-value translation as well as the concept of adequacy, should be formulated and integrated into translation studies [Ibid.: 102–103]. Finally, Fedorov points out that though many works have been written on literary translation, such important issues as translation of political and scientific literature still remain an open question [Ibid.: 104].

According to Fedorov, the works of the classics of Marxism constitute a particular text type [Ibid.: 231], consequently, translating the political literature requires not only special translational skills, but the ideological fidelity of the translator. It is remarkable how these new objectives of translation studies reflect the state patronage over the development of the discipline; the mediation and promotion of the ideology are represented as scientific objectives.

Fedorov supposes that translation studies can only make progress if based on the comparative analysis of languages [Федоров 1952: 3]. He explains that translation is a linguistic task from a practical perspective, and a linguistic problem from a theoretical point of view [Ibid.]. He repeatedly refers to Stalin's thesis that thinking is inseparable from language [Ibid.].

In accordance with Stalin's theses, Fedorov pleads for the principle of fundamental translatability. He criticizes the idea of untranslatability for its agnosticism and idealism [Ibid.: 17]. According to Fedorov, the principle of translatability is already proved by the translation experience itself. Though deviations from the norms of the national language, such as jargon expressions, may represent a translational problem, the absolute translatability between standardized national languages is, however, an axiom for Fedorov [Федоров 1953: 106–108].

Fedorov introduces new terminology into the discourse of translation studies. He criticizes the definition of adequacy proposed by Smirnov and proposes the term ‘polnocennost’ (full-value) instead [Федоров 1952: 17]. Fedorov states that it is now possible to classify different types of linguistic material [Ibid.: 9] with the help of the linguistic concepts with which Stalin enriched Soviet science. In Fedorov’s taxonomy, each genre should be defined according to the correlation between the elements of the basic vocabulary and the elements not typical for the basic vocabulary [Федоров 1953: 197].

In accordance with Stalin’s theses, Fedorov proposes new requirements to translators. He blames translators for the “excess of lexical borrowings from the source language” and recommends replacing them with national-language equivalents [Федоров 1952: 5]. Fedorov regards excessive borrowings as an ideological abuse of the national language [Федоров 1953: 225]. Fedorov also postulates that a translation must conform to the norms of the national language [Ibid.: 117].

The most important requirements for translators are the principles of partisanship and ideological responsibility. The ideological responsibility of the translator is expressed in the text selection, in the quality of the translation and in the veracity of the translation [Ibid.: 3].

Fedorov expresses the opinion that a translator, regardless of his specialization field, always serves a particular country, society or class. He postulates that a translation always has an ideological component. A Soviet translator serves the interests of the Soviet people and should rely on the genuinely scientific worldview, on Marxism-Leninism [Федоров 1952: 21].

Fedorov describes the Marx, Engels, and Lenin as experienced translators. He analyzes their translational decisions in order to summarize the conditions for a successful translation. These conditions include excellent language skills, broad general knowledge, and treatment of the original as an inseparable unity of form and content, as well as a creative approach towards translation [Федоров 1953: 72]. The works of the classics of Marxism-Leninism are the most cited texts in Fedorov’s monography.

While the classics of Marxism are described as experienced translators in Fedorov’s work, Stalin is depicted as a strong scientific personality. Fedorov states that “Stalin’s brilliant work” saved Soviet Linguistics and offered a “genuinely scientific approach” [Ibid.: 97]. Although Stalin’s works are not quoted very often (just few examples: [Ibid.: 8, 59]), Stalin’s voice can often be found between the lines of Fedorov’s monography.

New objectives, new terminology, new principles of scientificity and discursive patterns, as well as a new image of an ideal translator testify to the

establishment of a new paradigm in Soviet translation studies. The state patronage, especially its ideological component, makes itself evident in the fact that the principles of scientificity as well as the requirements imposed on the translators are based on ideological premises. Fedorov, however, not only interpreted and adapted Stalin's ideas. He also claimed that he had used them as a starting point for scientific argumentation. Nevertheless, in the latter editions of Fedorov's work, the whole chapter about Stalin's essay and its importance for the development of translation studies was completely removed from the text, also for political reasons. The passages including quotations from Stalin's works were rewritten and or replaced with similar quotations from Marxist classics. The fact that Fedorov's monography maintained its coherence after Stalin's theses were removed, proves that references to Stalin's ideas served as a discursive marker of ideological loyalty of the author.

### 3.3. The Ideas of the Linguistic Discussion in East Germany

The ideas of the linguistics discussion have also travelled from the Soviet discourse to the discourse of other scientific systems, having crossed national borders. The analysis of the East German publications in the field of linguistics and translation studies reveals that the linguistic discussion was presented there as a series of scientific publications rather than a political issue. This became possible through institutionalized reception as well as through translation and other forms of rewriting.

Susam-Sarajeva points out that theories do not travel by themselves and that translation often serves as a vehicle for travelling theories. Translation as a form of *rewriting* in Lefevere's terminology plays a *formative role* in the migration processes as it shapes the travelling theory to the needs of the target system. Translation also plays an indicative role, showing what the needs and expectations of the target system are [Susam-Sarajeva: 1]. It reflects the power constellation between the source and the target system, which characterizes any intercultural contact, where interference takes place [Even-Zohar: 117–118]. Bassnett and Lefevere point out that “all rewritings, whatever their intention, reflect a certain ideology and a poetics” and refer to rewriting as to “manipulation, undertaken in the service of power” [Bassnet, Lefevere: 1–11].

The linguistic discussion had a resonance in East Germany and influenced the discourses of Linguistics and Translation Studies there. Stalin's essay was

translated into German already in 1950 and was re-edited several times. Here are some examples of how often the work was reprinted in East Germany<sup>1</sup>.

The essay was discussed on the governmental level at the Conference of the Central Committee of the Socialist Unity Party (Germ. SED) in Berlin (1951). The focus of the discussion was on the significance of Stalin's essay for scientific development. New responsibilities concerning politics and economics were attributed to science [Maffeis: 101]. The traditional German secular understanding of the function of science was replaced with its new ideological objectives [Schulz: 27]; and Marxism-Leninism was declared the only possible premise for scientific development. Schulz emphasizes that the new understanding of science also affected the "cognitive aspects of scientific activity" [Ibid.: 27].

In 1952, a number of contributions belonging to the linguistic discussion were translated into German and published by Kuczynski and Steinitz. According to the preface, the editors offer to the readership several most important contributions of the Linguistic Discussion [Kuczynski, Steinitz: 5]. The preface begins directly with the praise of Stalin and his essay, which is described as a "work of genius". The editors explain that these contributions are supposed to stimulate research in East German Linguistics and to inform the reader about the current state of development of Soviet Linguistics [Ibid.].

Following articles were translated from Russian into German:

1. A. S. Čikobava. Über einige Fragen der sowjetischen Sprachwissenschaft (On Some Problems in Soviet Linguistics). Translated by H. Zikmund, E. Becker and K. Günther. This article originally opened the linguistic discussion. The focus is on the development perspectives of linguistics as well as on the critique of Marr's theory.

2. Gr. Kapancjan. Über einige allgemeinlinguistische Thesen N. Marrs (On Some General Linguistic Theses of N. Marr). Translated by E. Becker and H. Zikmund. The focus of the article is on the critique of Marr.

3. V. Vinogradov. Es gilt, die sowjetische Sprachwissenschaft auf der Grundlage der marxistisch-leninistischen Theorie zu entwickeln (It is necessary to

---

<sup>1</sup> *Stalin, I.* Über den Marxismus in der Sprachwissenschaft. Berlin: Einheit, 1950; Berlin: Neues Leben, 1951; *Stalin, I.* Der Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaft. Berlin: Dietz. First edition, 1951; Berlin: Dietz. Second edition, 1951; Berlin: Dietz. Third edition, 1952; Berlin: Dietz. Fourth edition, 1953; Berlin: Dietz. Fifth edition, 1954; Berlin: Dietz. Sixth edition, 1955. West German and Austrian editions: *Stalin, I.* Über Marxismus in der Sprachwissenschaft. Wien: Stern-Verlag, 1950; *Stalin, I.* Marxismus und Fragen der Sprachwissenschaft. München: Rogner u. Bernhard. First edition, 1968; München: Rogner u. Bernhard. Second edition, 1972; *Stalin, J.* Werke. Bd. 15. Dortmund: Roter Morgen, 1979 / <http://www.kpd-ml.org/doc/partei/stalin-band15.pdf> [08.08.2017].

develop Soviet Linguistics on the basis of the Marxist-Leninist theory). Translated by H. Zikmund and B. Hammer. Vinogradov calls for the rejection of Marr's theory and for new development perspectives.

4. L. Bulahovskij. Auf dem Wege zur materialistischen Sprachwissenschaft (On the Way to Materialistic Linguistics). Translated by R. Köhler, G. Kirchner, R. Ružička and J. Schütz. The article is about the critique of Marrs theory and new development strategies in Linguistics.

5. P. Čornyh. Zur Kritik einiger Thesen der "neuen Lehre von der Sprache" (On the criticism of some theses of the "new doctrine of language"). Translated by H. Zikmund. The focus of the article is on the defaults of Marr's theory.

6. B. V. Gornung. Über die historische Gemeinschaft der indoeuropäischen Sprachen (On the Historical Community of Indo-European Languages). Translated by H. Zikmund. The focus of the work is on the criticism of Marr's theory.

7. B. A. Serebrennikov. Über die Mängel der historisch-vergleichenden Methode in der Sprachwissenschaft (On the Defects of the Historical-Comparative Method in Linguistic Science). Translated by H. Zikmund. The focus of the work is on the criticism of Marr.

8. R. I. Avanesov. J. W. Stalin über Sprache und Dialekte (J. V. Stalin on language and dialects). Translated by H. Zikmund. The focus of the work is on the application of Stalin's theses in linguistics.

9. V. Vinogradov. Über den Grundwortschatz und seine wortbildende Rolle in der Geschichte der Sprache (About the Fundamental Treasure and Its Vocal Educating Role in the History of Language). Translated by H. Zikmund. The focus of the work is the application of Stalin's theses in science.

The contributions 1–5 represent a systematic critique of Marr's linguistic theory. His "palaeontological" analysis of the four elements, as well as his ideological views concerning the class character of the language, are strongly criticized for their non-Marxist and consequently non-scientific premises. The most important argument, however, is that Marr's theory had never been an approved theory or a paradigm in the East German discourse. Consequently, the publication of the articles concerning the critique of Marr's theory cannot be explained by the needs of the target system, but is more likely the result of the Soviet patronage. Furthermore, the praise of Stalin's linguistic theses as well as the description of the new principles of scientificity can be regarded as an attempt to impose the same ideological principles of scientificity on the East German linguistics.

#### 4. Conclusion

The main focus of the present contribution was on the interdiscursive migration of theses of the linguistic discussion and on the paradigm changes, caused by these theses. Stalin's direct intervention into the development of the Soviet linguistics was, on the one hand, a sign of political and ideological control. On the other hand, it allowed a quick and effective abolishment of the previous paradigm, namely, the theory of Marr, which was slowing down scientific development.

Stalin's intervention can be regarded as an anomaly from the perspective of the scientific system. His essay contained ideas which were incompatible with the existing paradigm. Meanwhile, though Stalin was not a member of the scientific community, the personal influence of the leader of the Soviet state was so strong, that the ideas, published under his name, were accepted by the scientific community immediately. The members of the scientific community who used to express other opinions and support Marr's theory were forced either to retire or to publicly confess that they were wrong.

The reforms, which followed Stalin's intervention, affected the objectives of Linguistics as well as its methods and terminology. Similar changes took place in the young Soviet translation studies. Fedorov's pioneering work «Введение в теорию перевода» contained an entire chapter about Stalin's essay and its role in the development of the discipline. Fedorov's arguments for the principle of translatability, his requirements concerning translation and translators as well as new objectives in translation studies were underpinned with quotations from Stalin's work. These quotations were used as axioms and as scientific judgements. However, the fact that Fedorov's work remained consistent and coherent after Stalin's theses were removed from its text proves that Stalin's theses were used rather as markers of ideological loyalty than scientific judgements.

Scientific disciplines in general as well as linguistics and translation studies in particular were given a new function: they had to be ideological and promote *the Marxist ideology*. The theses of the linguistic discussion set new norms of the scientific discourse, new principles of scientificity as well as new rules of text production. Methods, approaches and theories that were not compatible with Stalin's theses were either severely criticized or completely excluded from the scientific discourse.

In accordance with the Soviet colonization claims, the theses of the linguistics discussion spread to the areas of influence of the USSR. Through translation and reception, these theses and their interpretation crossed the

language borders between science systems. Through translations, reviews and criticism, a positive image of the theses of the linguistic discussion was shaped in the discourse of the East German Linguistics. Selective translation as well as other forms of rewriting such as reviews and criticism played a decisive role in the travelling processes of the ideas of the linguistic discussion.

The case of the linguistic discussion and its institutionalized reception in the discourses of linguistics and translation studies shows how political institutions and patrons can affect the development of a scientific discipline as well as how easily the ideology can be anchored in the principles of scientificity. The theory of Marr, which used to be an acknowledged official linguistic theory, gained its position with the help of ideological arguments. Consequently, a successful transition to a new, more productive paradigm became possible due to the ideological criticism of this theory. Taking this fact into consideration, it can be said that an intervention of a nonscientific authority triggered a non-scientific revolution, which however resulted in a breakthrough in linguistics and translation studies. This break-through became then a condition for a scientific revolution.

## References

- Alekseeva: *Alekseeva, I.* Zur gegenwärtigen Situation der Übersetzungswissenschaft in Russland. Russische Übersetzungswissenschaft an der Schwelle zum 21. Jahrhundert / Eds. B. Menzel, I. Pohlan // Ost-West-Express. Kultur und Übersetzung 12. Berlin: Frank&Timme, 2013.
- Bassnett, Lefevere: *Bassnett, S.; Lefevere, A.* Introduction. Where are we in Translation Studies? // Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Topics in Translation 11 / Eds. S. Bassnett, E. Gentzler. Multilingual Matters Ltd., 1998.
- Bruche-Schulz: *Bruche-Schulz, G.* Russische Sprachwissenschaft: Wissenschaft im historisch-politischen Prozeß des vorsowjetischen und sowjetischen Russland // Linguistische Arbeiten 151. Tübingen: Niemeyer, 1984.
- Dizdar: *Dizdar, D.* Translation. Um- und Irrwege. Berlin: Frank&Timme, 2006.
- Erren: *Erren, L.* "Selbstkritik" und Schuldbekentnis. Kommunikation und Herrschaft unter Stalin [1917–1953]. München: Oldenbourg, 2008.
- Even-Zohar: *Even-Zohar, I.* Gesetzmäßigkeiten der kulturellen Interferenz // Ästhetik und Kulturwandel in der Übersetzung / Ed. M. Krysztofiak. Bern: Peter Lang, 2008.
- Hartmann, Eggeling: *Hartmann, A.; Eggeling, W.* Sowjetische Präsenz im kulturellen Leben der SBZ und frühen DDR 1945–1953. Berlin: Akademie Verlag, 1998.
- Jacobs: *Jacobs, S.* Zur sprachwissenschaftstheoretischen Diskussion in der Sowjetunion: Gibt es eine marxistische Sprachwissenschaft? // Slavistische Beiträge 283. München: Verlag Otto Sagner, 1992.



Kuczynski, Steinitz: *Kuczynski, J.; Steinitz, W.* Beiträge aus der sowjetischen Sprachwissenschaft 1 // Berlin: Kultur und Fortschritt, 1952.

Kuhn: *Kuhn, Th. S.* The Structure of Scientific Revolutions. Second edition, enlarged. The University of Chicago Press, 1970.

Lefevere: *Lefevere, A.* Interpretation, Übersetzung Neuschreibung: Ein alternatives Paradigma. Deskriptive Übersetzungsforschung. Eine Auswahl / Ed. S. Hagemann // Translationswissenschaftliche Bibliothek 4. Berlin: Saxe, 2009.

Maffei: *Maffei, S.* Zwischen Wissenschaft und Politik. Transformationen der DDR-Philosophie 1945–1993. Frankfurt; New York: Campus Verlag, 2007.

Menzel, Pohlan: *Menzel, B.; Pohlan, I.* Vorwort // Russische Übersetzungswissenschaft an der Schwelle zum 21. Jahrhundert / Eds. B. Menzel, I. Pohlan. Ost-West-Express. Kultur und Übersetzung 12. Berlin: Frank&Timme, 2013.

Mossop: *Mossop, B.* Andrei Fedorov and the Origins of Linguistic Translation Theory / <http://www.yorku.ca/brmossop/Fedorov.htm> [08.08.2017].

Neumann, Nünning: *Neumann, B.; Nünning, A.* Travelling Concepts as a Model for the Study of Culture // Travelling Concepts for the Study of Culture / Eds. B. Neumann, A. Nünning. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2012.

Said: *Said, E. W.* Traveling Theory // Said, E. W. The Text, the World and the Critic. Cambridge; Massachusetts: Harvard University Press, 1983.

Schulz: *Schulz, T.* Sozialistische Wissenschaft. Die Berliner Humboldt-Universität [1960–1975]. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2010.

Susam-Sarajeva: *Susam-Sarajeva, Ş.* Theories on the Move. Translation's role in the Travels of Literary Theories. Amsterdam; New York: Rodopi, 2006.

Виноградов: *Виноградов В.* Развитие советского языкознания в свете учения И. В. Сталина: доклад на сессии отделений общественных наук Академии Наук СССР, посвященной годовщине опубликования гениального произведения И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», 20 июня 1951 года / [http://www.ras.ru/publishing/raserald/raserald\\_articleslist.aspx?magazineid=2ae4b4b8-e5f6-472c-8822-fd8b60b2bdbb](http://www.ras.ru/publishing/raserald/raserald_articleslist.aspx?magazineid=2ae4b4b8-e5f6-472c-8822-fd8b60b2bdbb) (Дата обращения: 08.08.2017).

Нелюбин, Хухуни: *Нелюбин Л., Хухуни Г.* История и теория перевода в России [History and Theory of Translation in Russia]. М., 2003.

Севортыан: *Севортыан Э.* Советская тюркология в последидискуссионные годы [Soviet Turkish Studies after the Linguistic Discussion] // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. 1953. XII. № 6.

Сухотин: *Сухотин В.* Советское языкознание на новом пути [Soviet Linguistics on the New Way] // Вестник АН СССР. 1951. № 6.

Федоров 1952: *Федоров А.* Основные вопросы теории перевода // Вопросы языкознания. 1952. № 5.

Федоров 1953: *Федоров А.* Введение в теорию перевода [Introduction to the Theory of Translation]. М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1953.

Чуковский 1936: *Чуковский К.* Искусство перевода. М.; Л., 1936.

Чуковский 1941: *Чуковский К.* Высокое искусство. М., 1941.

## СТИХИ МАО ЦЗЭДУНА И СУДЬБА ИХ ПЕРЕВОДОВ В РОССИИ<sup>1</sup>

НАТАЛИЯ АЗАРОВА

Для русской культуры фигура Мао Цзэдуна ни в коей мере не ассоциируется с образом поэта. Тем не менее первая публикация переводов 18 стихотворений Мао на русском языке появилась в библиотеке журнала «Огонек» в 1957 г. непосредственно после их первого появления в печати в Китае. Интересно, что поздние стихи Мао в советское время не выходили в том числе из-за охлаждения отношений с Китаем.

Перевод стихов политической фигуры такого масштаба, как Мао, подразумевал не только ответственность переводчиков и кураторов, но и воспринимался как факт международной политики, который в то же время не должен был противоречить внутренним эстетическим установкам социалистического реализма. В Китае также работала группа ответственных за комментарий стихов Мао, на который обязаны были опираться переводчики на разные языки. В то же время в послесловии и комментариях к изданию вообще не говорится о поэтике Мао. Комментаторы ограничиваются историческими фактами: рассказывается о сражениях Красной армии, о становлении советской власти в Китае, а послесловие посвящено утверждению реалистического характера китайской литературы, ее народности и революционности.

Задача переводов стихов Мао, очевидно, поставила в тупик высшее литературное руководство. Несмотря на то, что нужно было перевести всего несколько стихотворений, была создана целая команда из ведущих поэтов и переводчиков, не знающих китайский язык (С. Маршак, А. Сурков, Н. Асеев), которые переводили по подстрочнику известного китаиста-

---

<sup>1</sup> Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00130) в Институте языкознания РАН.

переводчика Л. Эйдына и входящего в группу поэтов-переводчиков М. Басманова, который совмещал переводческую деятельность с работой в консульстве в Пекине. Строгий идеологический надзор обеспечивал неизвестный Н. Федоренко, курировавший проект в качестве редактора и автора послесловия.

В момент выхода стихов Мао Цзэдуна Федоренко занимает пост замминистра иностранных дел (с 1955 по 1958). С 1958 по 1962 он — посол СССР в Японии. После Карибского кризиса с 1963 по 1968 г. — постоянный представитель СССР при ООН и Совете безопасности. И, наконец, с 1970 по 1989 г. — главный редактор журнала «Иностранная литература». В 1956 г. Федоренко выпустил книгу «Китайская литература», в это время он работал замминистром иностранных дел, а в 1986 г. выходит его книга о большом китайском поэте Цюй Юане (340–278 до н. э.). Другие китаисты, которые участвовали в переводе стихов Мао Цзэдуна, как и Федоренко, специализировались не на современной, а на древней литературе.

В развернутом послесловии к публикации стихов Мао в качестве основной проблематики Федоренко выдвигает те тезисы, которые обычно фигурировали при обосновании отбора текстов, предназначенных для любого советского перевода. Эти тезисы провозглашали принципы народности, простоты и понятности [Федоренко]. Парадоксально, что отнюдь не простые стихи Мао Цзэдуна были понятны, возможно, не более 5% населения современного ему Китая. Федоренко клеймит вэньянь [Там же: 25], т. е. древний китайский язык, на котором писалась поэзия до 20-х гг. XX в., до гоминдановской реформы языка, но при этом как будто забывает о том, что Мао как раз пишет на вэньяне, хоть и с вкраплениями довольно большого количества разговорных слов и почти избегая сложных построений, за которыми современному образованному читателю было бы нужно обращаться к словарю.

Ни в комментариях, ни в переводах Мао не предстает как новатор. Между тем, новаторство Мао не только в смелых образах, но и в том, как он работает с традицией: он парадоксально сочетает классическую форму и разговорный язык или сталкивает современный синтаксис и грамматические формы древнего языка. Стихотворение «Куньлунь» одно из самых разговорных, неклассических из стихов цикла. Здесь, в отличие от других стихов, есть местоимения *я* и *ты*, обычно отсутствовавшие в классической поэзии и, соответственно, в большинстве стихов Мао. Но любопытно другое — синтаксис стихотворения современен, а само местоимение *я* – *zhi* не употребляется в современном языке, оно взято из классического вэньяня.

В стихах Мао используется около 25 классических форматов стиха, большая их часть — вариации жанра цы. Этот жанр имел песенное происхождение, и первоначально исполнялся под музыку. Средневековый поэт в цы был гораздо более свободен, чем в формальном жанре ши. Однако делать вывод о народности, или песенности, или неформальности поэзии Мао на основании его обращения к цы, по меньшей мере некорректно. На самом деле, цы был действительно народным в VII–IX вв., а уже с X–XI вв., т. е. с Сунского периода, это был далеко не народный формат. Чтобы писать в жанре цы, то есть соответствовать определенному ритмическому рисунку, в основе которого лежит мелодия, а также соблюдать четкую заданную смену ровного и ломаного тона, требовалось очень большое мастерство поэта. Поэт, пишущий в жанре цы в XX веке по центонному типу с большим количеством интертекстуальных клише из старой поэзии, должен был быть формалистом очень высокого класса, в какой-то степени крайним формалистом. Поэтому попытки притянуть жанр цы у Мао к народной поэзии — это дань идеологии, попытка представить советскому читателю фигуру Мао в привычных когнитивных рамках и в том числе дать установку переводчикам.

Борьба против формализма, развернувшаяся в 1946 г., диктовала полное игнорирование формального совершенства стихов Мао, так как любое любование формой, которое бесспорно присуще стихам Мао, должно было бы быть объявлено буржуазным эстетством. И в этом смысле появление трехстиший в переводе Асеева кажется неким экстравагантным вызовом времени.

### 十六字令三首

### ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО 16 СЛОВ<sup>2</sup>

山，快马加鞭未下鞍。

(1) Горы!

惊回首，离天三尺三。

(2) Я в седле, плеть в руке, скакуна ноги скоры.

(3) Вверх взгляни —

(4) Достанешь рукой голубые просторы.

山，倒海翻江卷巨澜。

(5) Горы!

奔腾急，万马战犹酣。

(6) Как волненья морского крутые валы и повторы,

(7) Словно конницы вздыбленной,

(8) В яростной битве стесненной, заторы.

山，刺破青天铎未残。

(9) Горы!

天欲堕，赖以拄其间。

(10) Их вершины вонзились в небесные синие взоры.

<sup>2</sup> Здесь и далее переводы Маршака, Эйхлина и Асеева цитируются по изданию [Мао Цзэ-дун].

- (11) Небо падало вниз,  
 (12) Но его — вершин поддержали опоры.

(пер. Н. Асеева)

Именно в этом стихотворении нельзя было избежать решения формальных задач, поскольку уже в его названии — «Три стихотворения по 16 слов» — был задан формальный принцип. Привлечение к переводу бывшего футуриста Асеева объясняется тем, что следование формальному принципу было коротко объяснено даже в канонических китайских комментариях. Асеев буквально следует эквизнаковому подходу — в каждой строфе русского текста по 16 слов, причем считаются даже предлоги и союзы.

Однако, несмотря на формалистическую закалку, Асеев все равно использует «лишние» метафоры и сравнения, которых нет у Мао; рационализирует, спрямляет синтаксис. Несмотря на формальные приемы, Асеев, в отличие от Мао, выглядит барочно. Но он и упрощает образы, очевидно, опасаясь обвинения в «непонятности»: на непонятности в 30-е гг. была основана идеологическая критика поэзии самого Асеева. Там, где у Асеева *вверх взгляни*, у Мао более сложное пространственное и словесное построение — *буквально оглядываясь назад в чудо*. А там, где у Асеева *достанешь рукой голубые просторы* (характерный советский поэтический штамп), наоборот — *до неба всего три суня*, что можно было, безусловно, перевести *до неба всего три метра*, но пожилой Асеев уже недостаточно смел для сжатых герметичных образов.

Поэт Мао вовсе не был ориентирован на подчеркнутую понятность. Его стихи компрессивны, в них изобилует эллипсис, который пугает переводчиков. Действие может развиваться в разных местах, временах, характерно смешение временных и пространственных планов в одном стихе, причем переходы никак не обозначаются.

Одно из самых известных стихотворений Мао «Снег» перевел Эйдлин. Стихотворение написано в классическом жанре «поэзии приграничной заставы», помещающем субъекта на временную и пространственную границу одновременно:

### СНЕГ

- (1) Виды севера — той стороны,  
 (2) Где на тысячи ли ледяной покров  
 (3) И за далью бескрайней беснуется снег,  
 (4) За Великой Стеной и внутри страны  
 (5) Расстиляется в дымке земной простор  
 (6) И в верховьях и в устье Большой Реки

- (7) Застывает вода, прекратив свой бег.
- (8) А в горах пляшут кольца серебряных змей,
- (9) А равнинами мчат снеговые слоны,
- (10) Соревнуются с небом самим высотой.
- (11) Ясный день наступил —
- (12) Ты взгляни, как красива земля
- (13) Яркой краской узоров на белой одежде простой.
- (14) И за долгие годы — от древних людей и до нас —
- (15) Самых гордых героев пленяла прекрасная наша страна!
- (16) Только жаль,
- (17) Еле тлея устремлений высоких огонь
- (18) В первом цинском Хуане и в ханьском властителе У,
- (19) И ни в танском Тайцзуне, ни в сунском Тайцзу
- (20) Не блистал нашей древней поэзии дух.
- (21) Чингисхан в свое время был взласкан судьбой.
- (22) Что умел он? Орлов настигать стрелой.
- (23) Все прошло.
- (24) Чтоб узнать настоящих людей,
- (25) Заглянуть надо в нынешний день!

(пер. Л. Эйдлина)

### Снег<sup>3</sup>

- (1) Пейзаж северного края, тысяча ли заперты (заблокированы) льдом, далеко  
дальше снег парит.
- (2) Вдаль по обе стороны Великой стены посмотреть — только лишь мутная муть.
- (3) Хуанхэ от верховья до устья замерла, задержала течение течения.
- (4) Серебряные змеи танцуют в горах, на равнинах бегут (себя гонят) восковые  
слоны, хотя высотой сравниться с небесным владыкой.
- (5) И тут ясный день — видишь на подкладке из некрашеного шелка пленительную  
красную одежду.
- (6) Подобная красота мира (гор и рек) заставляла склониться перед собой даже  
бесчисленных героев.
- (7) Жаль, что цинский Шихуан и ханьский У-ди были не слишком одаренными.
- (8) А танский Танцзу и сунский Тай-цзу были почти лишены дара высокой поэзии.
- (9) В свое время баловень неба Чингизхан только и знал что стрелять сов из лука.
- (10) Все уже прошло, многочисленные люди одаренные жизнью  
(букв. люди ветра и потока), стоит посмотреть на нынешнюю династию.

В основе стиха лежит концептуально-пространственная игра. Вся первая строфа — это, с одной стороны, установление, остановка, замирание, а с другой — неожиданное движение на фоне замирания и остановки и па-

<sup>3</sup> Здесь и далее подстрочник мой. — Н. А.

параллельно появление неожиданного динамичного цвета — цвета красной одежды на фоне статики серебряно-серо-белого.

Мао пользуется и такими традиционными приемами классической поэзии, как тавтофоны, т. е. повтором двух одинаковых иероглифов подряд, которые одновременно похожи на звукоподражание и, усиливая значение друг друга, способны образовывать некое новое понятие. Тавтофоны принято считать одним из непередаваемых приемов китайской поэзии, поэтому переводчик их избегает, хотя способы передачи их на современном русском языке, безусловно, есть, и можно создать интересный образ, воспринимаемый в том числе и на глаз. Тавтофоны неслучайно появляются парами и стоят друг под другом. Тавтофон *taotao теченье течения* в третьей строчке у Мао расшифровывается переводчиком как *бег воды*, а то, что у Эйдлина *земной простор в дымке* в оригинале второй строчки тавтофон, который можно перевести как *мутная муть*.

В переводе Эйдлина пропадает как сама статика, так и необходимое соотношение статики и динамики. Эйдлин знает китайский, но ему чужд Мао как поэт, он переводит его образы как прямое описание. У Мао снег не *бесновался* (3), он присутствовал, *парил*, по ту сторону не было ничего, кроме снега. С другой стороны, Эйдлин прибегает к экспликации, вводя метафоры, которые отсутствуют в оригинальном тексте. У Мао буквально *в горах танцуют серебряные змеи, на равнинах быстрые (бегут, себя гонят) восковые слоны*. Эйдлин преобразует компрессивный образ в развернутую метафору — у него *пляшут кольца серебряных змей* (8), упрощает смелые образы Мао и делает их понятными простому читателю — *равнинами мчат снеговые слоны* (9). *Змеи и слоны* Мао — это удивительно смелые для китайской поэзии середины XX в. образы, которые современники называли «странными». Далее переводчик следует той же линии — он уподобляет китайские образы советской поэзии о родной природе, создавая нечто похожее на учебник родной речи: *Ты взгляни, как красива земля* (12).

Эйдлин привносит строчки, полностью отсутствующие в оригинале, но входящие в когнитивные рамки представлений советского человека о герое: *еле тлеет устремлений высоких огонь* (17), в оригинале просто говорится, что у императоров *не было поэтического дара*. В целом Эйдлин многократно усиливает патриотический пафос в стихотворении Мао, в то время как для китайцев со времен древности мир и страна были фактически синонимами. Сказать о том, что *героев пленяла красота страны* (15) по существу обозначало соответствие мира и человека.



Во второй строфе Мао вспоминает не просто героев, а основателей династий, то есть тех, кто обеспечивает движение. Первая и вторая строфа тесно связаны друг с другом — речь идет о тех, кто обеспечивает движение на фоне замирания, остановки. Диалектика замирания и движения — то, что характерно для этих людей: они не ломают замирание, но своим движением обеспечивают связь с миром.

У Мао очень велика роль концовок, именно о концовках стихотворения чаще всего спорят разноязычные комментаторы, предлагая различные трактовки. Последняя строчка стихотворения «Снег» одна из самых известных строк Мао.

Здесь Мао использует даосский термин *фэнлю* — люди, которые следуют за собственной природой, подлинные, настоящие люди, не связанные канонами; буквально — люди ветра и потока — те, кто понял первопричины Дао, и в дальнейшем им все дается без труда. Д. Воскресенский предлагал оригинальный концепт *ветротекучий*. *Фэнлю* — это именно даосский, а не конфуцианский идеал благородного мужа, государственника. Это люди вдохновения. Возможный перевод — *одаренные жизнью герои*: они не преодолевают обстоятельства, а легко сочетают в себе статику и динамику, о чем собственно и стихотворение.

У Эйдлина это переведено как *настоящие люди*, что в сознании советских людей не могло не ассоциироваться с «Повестью о настоящем человеке» или чем-то подобным, то есть с идеей преодоления, в то время как в китайском сознании образ коммунистических лидеров вполне вписывался в следование даосской диалектике. Поскольку непонятно, о ком идет речь: об одном человеке или нескольких, а Мао говорит это в 1945 г., то скорее всего, он имел в виду себя и Чан Кайши. Однако уже в 1956 г. эту строчку можно прочесть так, как будто она относится только к Мао.

Мао обращается к двум основным императорам. Это Танский Тай Цзун и Сунский Тай Цзу. Оба они были боевыми генералами и не отличались достижениями в культуре (литературе). Но это не значит, что в Китае не было императоров — заметных литераторов и художников. Но все эти императоры появлялись на исходе, на закате династии.

Строчки стихотворения Мао многозначны, и они ассоциируются с китайской историей по-разному: не только с негативной стороной, т. е. с недаренными императорами-полководцами, но и с Цао Цао, одной из самых популярных фигур в китайской истории. Он сочетал в одном лице литературный талант и талант полководца, но формально он не был императором, он не стал основателем династии — это сделал его сын.

В отличие от этого веера властителей, вот это я (*мы*), герой (герои) нашего времени способны одновременно быть и основателями династий, и литературными гениями. Таков субъект стихотворения — одаренность жизнью и соответствие ритму мира проявляется одновременно и в энергии сражения, и в новаторстве и формальной сложности стиха, и в способности основать новую династию. Таким образом эстетство необязательно подразумевает упадок и отсутствие жизненной энергии. Скорее всего, переводчик не прочел так стихотворение, но даже если бы это и произошло, то подобный пафос практически невозможно было транслировать в конце советских 50-х, когда эстетство и сложность формы однозначно подразумевали буржуазный упадок и вырождение. Возможно, такая трактовка образа коммунистического вождя была бы еще большим ударом по борьбе с формализмом, чем следование формальным принципам в переводе Асеева.

Переводы Маршака, как и переводы Эйдлина, гораздо многословнее оригинала.

Обратимся к переводу Маршака более раннего стихотворения «Чанша».

#### **ЧАНША**

- (1) В день осенний, холодный
- (2) Я стою над рекой многоводной,
- (3) Над текущим на север Сянцзяном.
- (4) Вижу горы и рощи в наряде багряном,
- (5) Изумрудные воды прозрачной реки,
- (6) По которой рыба чьи снуют челноки.
  
- (7) Вижу: сокол взмывает стрелой к небосводу,
- (8) Рыба в мелкой воде промелькнула, как тень.
- (9) Все живое стремится сейчас на свободу
- (10) В этот ясный, подернутый инеем день.
  
- (11) Увидав многоцветный простор пред собою,
- (12) Что теряется где-то во мгле,
- (13) Задаешься вопросом: кто правит судьбою
- (14) Всех живых на бескрайней земле?
  
- (15) Мне припомнились дни отдаленной весны,
- (16) Те друзья, с кем учился я в школе.
- (17) Все мы были в то время бодры и сильны
- (18) И мечтали о будущей воле.
- (19) По-студенчески, с жаром мы споры вели
- (20) О вселенной, о судьбах родимой земли
- (21) И стихами во время досуга

- (22) Вдохновляли на подвиг друг друга.  
 (23) В откровенных беседах своих молодежь  
 (24) Не щадила тогдашних надменных вельмож.

- (25) Наши лодки неслись всем ветрам вопреки,  
 (26) Но в пути задержали нас волны реки...

(пер. С. Маршака)

### Чанша (подстрочник)

- (1) Стою одиноко холодной осенью у мандаринного острова, где река Сянцзянь  
 поворачивает на север.  
 (2) Смотрю, как красный полнит горы, гряды леса окрашиваются до предела.  
 (3) Река сплошь затоплена бирюзой, сотни лодок состязаются за поток.  
 (4) Орел ударяется о неба простор, рыбки парят на мелководье, обледелым днем  
 все живое (букв. 10 тысяч видов) соперничает за собственный путь.  
 (5) Удручен, увидав необозримый простор перед собой, вопрошаю великую землю:  
 кто решает, кому идти на дно, кому выплыть?  
 (6) Здесь мы бывали, сотня друзей, столько удивительных лет вспоминается.  
 (7) Это мои одноклассники, одаренные цветущие юноши.  
 (8) С неутомимым задором школяров.  
 (9) Спорили обо всем на свете, увлеченно читали, клеймили те годы и власть  
 предержавших.  
 (10) Не вспомнить, когда в середине потока ударились о воду, волны положили  
 предел летящей лодке.

Характерно, что в основе стихотворений «Чанша» и «Снег» лежит одна и та же мелодия, это видно даже по подстрочнику. Например, седьмая и восьмая строчки короткие и в «Чанша» и в «Снеге», а четвертая, пятая и десятая длинные и там, и там. Но по переводам, обладающим абсолютно разным ритмическим рисунком, мы этого никогда не поймем. Ритм китайского стиха в большой степени образуется количеством иероглифов в строке, поэтому академик В. Алексеев предлагал добиваться, как бы это ни было трудно, соответствия количества иероглифов и русских слов в переводе (не считая, разумеется, союзов, предлогов, частиц). Мы видели, как Асеев перфекционистски справляется с этой задачей, буквально считая каждое слово, но остальные переводчики, очевидно, не просто отступают от этой максимы, считая ее ненужным формализмом, но создают ритмический рисунок абсолютно произвольно.

Мао, сочетая разговорные образы и классическую форму, строит весь текст «Чанша» на классических для китайского стиха концептах — *полноты, предела*, которые должны соотноситься и с пространством, и со всем

живым, и с историей, и с субъектом. В самой первой строке обозначается положение человека в пространстве, его точка наблюдения и сообщается, что река поворачивает на север — так уже мандариновый остров из экзотического названия превращается в некий предел, ведь река именно рядом с ним изменяет течение. Важна и динамика цвета и света, лес не стоит статично-багряным, в соответствии с нашими штампами изображения осени, а постепенно грядя за грядой, кулиса за кулисой окрашивается красным, пока не достигает полноты и предела заполнения цветом. Но немаловажно и то, что цвет может возникать благодаря движению солнца, скорее всего закатного.

В концовке стихотворения Мао возвращается к теме предела — *мы ударились о воду, волны положили предел* (10). Мао использует тут тот же самый глагол, что и в первой строфе: *орел у Мао ударяется о простор* (4). А у Маршака *сокол взмывает стрелой к небосводу* (7).

Переводчик сначала дает картинку, а потом эксплицирует, расширяет ее, в результате одна часть стиха оказывается совершенно не связанной с другой — исчезает собственно поэтический смысл, философский параллелизм частей, исчезает концепт предела и наполнения, все превращается в простое описание, образы упрощаются, их компрессивная неожиданность нивелируется.

В переводе исчезает и проходящая через все стихотворение идея множественности и взаимной трансформируемости множественного и единичного (тем более, что в китайском отсутствует противопоставление единственного и множественного числа, и иероглиф «рыба» нужно по умолчанию понимать как «рыбы»): у Мао множественны и рыбки, и лодки, и тысячи видов, и сотни друзей, и все они находятся одновременно и в состоянии соревнования, но это соревнование, эта борьба за поток не похожа на борьбу узника, стремящегося на свободу, она не подразумевает преодоления, это состязание за соответствие потоку.

Но самые большие смысловые расхождения обнаруживаются в репрезентации лирического субъекта. *Мне припомнились или нам? Друзья в интерпретации Маршака мечтали о будущей воле* (18) и *вдохновляли на подвиг друг друга* (22) в духе «Чаадаева» Пушкина, такого у Мао, конечно же, нет. Как и Эйдлин в переводе «Снега», он слишком буквально трактует образ страны, добавляя русифицированное патриотическое звучание.

Недоопределенность и пластичность субъекта в китайском стихе позволяет голосу звучать одновременно и от *мы*, и от *я*, что можно объяснить как китайской идеей синкретизма единичного и множественного, так и пе-

ренесением на социально-политический фон неразделенности личного и исторического у Мао.

И в этом, безусловно, новаторство субъектной структуры поэзии Мао. В русском переводе фигурирует прямой лирический субъект, выраженный *я*. У Мао нет никакого *я*, и это соответствует китайской традиции, в которой форма глагола при опущении местоимения позволяет прочесть текст одновременно относящимся к *я* или *он*, одновременно от 1 и от 3 лица, как нарратив и как лирический монолог. Стихотворение Мао можно, с одной стороны, читать в этом традиционном ключе, но с другой — можно и увидеть, что *я* способно конвертироваться как в *он*, так и в *мы*. Такое прочтение было возможно и в классическом стихе, но вряд ли классические авторы имели в виду подобное скольжение между *я* и *мы*. Мао же непротиворечиво скользит от личного, индивидуального к коллективному. Его внутренние переживания — это не просто отражение истории, но внутреннее и есть история. Это в корне отличается от советского постулата об иерархичности *мы*: коммунистическое *мы*, безусловно, должно было доминировать над буржуазным *я*.

Для современных китайских поэтов Мао — поэт-новатор, стимулировавший поэтическую смелость в коммунистическом Китае. Так, еще в 1963 г. (через 5 лет после публикации стихов Мао) американский исследователь Л. Бурман отмечал: «В области литературы, тем не менее, находится место отклоняющемуся поведению. В то время как все профессиональные писатели в Народной Республике должны следовать требованиям “массовой линии в литературе”, писать “для людей”, один известный нонконформист-любитель стоит в стороне от доктринальных требований Пекина» [Voogman: 37], сформулированных им же самим. Действительно, сам Мао, не считая свою поэтику примером для подражания, предупреждал, что молодым поэтам следует писать проще и не стоит тратить время на поиски соотношения традиции и современности.

Тем не менее в 70-е гг. новая китайская поэзия пошла за Мао, несмотря на его предостережения. Современный известный китайский поэт Ян Сяобинь, закончивший Йель и живущий на Тайване, в личной переписке с автором статьи отмечает, что

поэзия Мао была единственной, которую мы могли читать в 1970-х гг. Влияние на современных поэтов заключается в его предпочтении героическому пафосу деликатной сдержанности, а также романтизма (воображению) реализму. Поэзия Мао пробудила у меня интерес к традиционной регулярной поэзии. После смерти Мао стала доступной поэзия династии Танг и лирика династии

Сонг. Например, мой интерес к поэзии Су Ши и Синь Цици продиктован вкусом Мао.

Во многих местах вне Китая мы встречаем постоянные сомнения в оценке поэзии Мао именно благодаря тому, что доминирует образ Мао-диктатора. Как следствие, мы можем наблюдать спокойную классичность поэтического перевода, не предполагающую никаких неожиданностей, несоответствий и парадоксов. В России стихи Мао остались в тени, абсолютно неизвестными читателю. И сейчас упоминание о стихах Мао вызывает любопытство, но воспринимается как курьез. Хотя, например, по свидетельствам латиноамериканских поэтов, Мао — один из самых читаемых поэтов XX в. Мао — поэт, стихи которого наравне с большими поэтами, пишущими испански, знает наизусть широкая латиноамериканская читающая публика.

Но и в российской современности на восприятие стихов Мао влияет некий созданный образ восточного диктатора, который действительно или якобы пишет стихи<sup>4</sup>.

То, что китайский лидер, получивший хорошее образование, поэт — это неудивительно. Это вполне вписывается в китайскую традицию, в которой любой чиновник должен был сдать экзамен по поэтическому мастерству. Удивительно то, что он хороший поэт, возможно, поэт первого ряда. Мао писал всю жизнь, но опубликовал ограниченное количество текстов. По воспоминаниям, Мао писал в режиме зависимости от писания: во время походов, вечером, ночью. Нельзя сказать, что он недооценивал свои тексты, но ему была свойственна некая перверсивная скромность. В результате он опубликовал тексты только в 65 лет.

В 1957 г. была и другая идеологическая опасность — только что произошло развенчание культа личности. И публикация стихов Мао могла вызвать и почти неизбежно вызывала ассоциацию со стихами Сталина, чего публикаторы старались избежать. Поэтому нигде в комментариях не произносятся такие определения, как *великий поэт* или что-нибудь подобное. Очевидно, была взята установка на осторожную, нейтральную интерпре-

---

<sup>4</sup> Подобный образ отражен в романе Евгения Чижова «Перевод с подстрочника» (2013) [Чижов]: действие происходит в некоем восточном государстве Коштырбастане, а его Народный Вожакий Гулимов — Первый поэт. Прямым прототипом этого персонажа был «пожизненный президент» Туркмении Вечно Великий Сапармурат Туркменбаши (Сапармурат Ниязов), но в тексте романа есть косвенные отсылки к Мао. На автомеханической станции в деревне среди заржавевшей техники и сломанных тракторов висит плакат: «Каждый человек — поэт, и поэзия отблагодарит его за это» (это почти точный перевод одной из известных цитат Мао), а бедные коштыры рассуждают, что, для того чтобы стать крупным поэтом, нужно сначала стать большим начальником.

тацию текста в режиме констатации. Поэтому в переводе Мао получился поэтот на порядок хуже, чем в оригинале. Скорее всего, переводчики могли и не понять, что Мао хороший поэт. Возможно, переводчики с подстрочника не до конца распознавали уровень текста Мао, потому что в подстрочнике им уже давался однозначный вариант трактовки, а когнитивная установка, очевидно, базировалась на опыте перевода национальных поэтов из республик, когда нужно было сделать из поэта средней руки народного поэта, безупречного идеологически.

### Литература

Мао Цзэ-дун: *Мао Цзэ-дун*. Восемнадцать стихотворений // Огонек. 1957. № 3.

Федоренко: *Федоренко Н.* Послесловие / Мао Цзэ-дун. Восемнадцать стихотворений // Огонек. 1957. № 3.

Чижов: *Чижов Е.* Перевод с подстрочника. М., 2013.

Boorman: *Boorman, H. L.* The Literary World of Mao Tse-tung // The China Quarterly, 1963.

## ПЕРЕВОД КАК «ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ»: ФРИДЕБЕРТ ТУГЛАС — ПЕРЕВОДЧИК РОМАНА А. Н. ТОЛСТОГО «ПЕТР ПЕРВЫЙ»<sup>1</sup>

ЛЕА ПИЛЬД

### Введение

Как показали в своих трудах современные эстонские историки перевода, переводческое творчество классика эстонской прозы Фридеберта Тугласа, как и многих других переводчиков, публиковавшихся с 1906 по 1940 г., ориентировано не столько на исходный текст, сколько на его «воссоздание» и «пересоздание» в переводящей культуре [Torop 1999; Sütiste]. Такой тип перевода вписывается в теоретическую концепцию о переводе как «осваивающей» деятельности в противовес переводу как «отчуждению»<sup>2</sup>. По мысли Ю. М. Лотмана, «освоение» чужой культуры, нахождение с ней общего языка, предполагает ее интериоризацию, что, в свою очередь, выражается в конструировании «внутреннего образа внешней культуры», часто не совпадающего с доминантными качествами осваиваемого объекта [Лотман: 117].

В десятилетия, предшествующие советскому периоду, в переводящей культуре Эстонии сформировалось представление о русской классической (и модернистской) литературе как части западноевропейской культуры<sup>3</sup>. «Европейскими» считались далеко не все русские писатели-классики.

---

<sup>1</sup> Статья написана в рамках институционального гранта IUT34-30 Tõlkeideoloogia ja ideoloogia tõlkimine: kultuuridünaamika mehhanismid Eestis vene ja nõukogude võimu tingimustes 19.–20. sajandil / Ideology of Translation and Translation of Ideology: Mechanisms of Cultural Dynamics under the Russian Empire and Soviet Power in Estonia in the 19th – 20th Centuries.

<sup>2</sup> О переводе как «отчуждении», характерном для «слабых» культур в «литературной полисистеме», см.: [Even-Zohar: 117–127].

<sup>3</sup> Ср. развернутую концептуализацию этой точки зрения в работе Й. Семпера [Semper]. О роли Семпера в истории эстонского перевода см.: [Monticelli: 204–209].



Так, например, в 1930-е гг. было издано «Собрание сочинений» Ф. М. Достоевского [Dostojevski], вышли «Избранные произведения» А. С. Пушкина [Puškin]<sup>4</sup>, «Избранные сочинения» А. П. Чехова [Tšehhov]; были осуществлены новые переводы романов Льва Толстого «Анна Каренина» (1939) [Tolstoi 1939] и «Воскресение» (1936) [Tolstoi 1936]. Можно сказать, что сложившийся в 1920–1930-е гг. тип интериоризации русской классики начал постепенно консервироваться и ассоциироваться с наследием «своей» культуры. Однако если основной ценностью в период независимости Эстонской Республики считалась западноевропейская литература и сочинения только некоторых русских классиков имели право именоваться «европейскими», то очевидно, что подобный подход было сложно сочетать с формирующимся в советский период концептом «мировой литературы», в рамках которого литературы ранжировались иначе.

В настоящей статье мы сделаем попытку рассмотреть, как складывалась позиция Тугласа-переводчика после 1940 г. в условиях советизации эстонской культуры, и обратимся для этого к сопоставительному анализу значимых с точки зрения повествовательной техники фрагментов романа Алексея Толстого и их эстонского перевода.

#### Роман «глазастого чувственника»

Роман Алексея Толстого «Петр Первый», над которым автор работал в 1929–1943 гг., в переводе Фр. Тугласа был опубликован в 1948–1949 гг.<sup>5</sup> (второе издание вышло в 1952 г.). Как показано в ряде работ эстонских историков и литературоведов, идеологический надзор за писателями Эстонии приобрел в эти годы тотальный характер и постепенно перерос в политические репрессии (см.: [Kasekamp; Karjahärm: 142–177; Olesk] и др.)<sup>6</sup>. Туглас пока оставался народным писателем Эстонской ССР и членом Союза писателей Эстонии, однако предчувствовал драматическое развитие событий<sup>7</sup>. Учитывая эти сложные обстоятельства, не очень ясно,

<sup>4</sup> Примечательно, что сочинения Пушкина и Толстого были изданы в серии “Maailmakirjandus”/«Мировая литература», что, видимо, предполагало более высокую степень оценки поэта и прозаика, чем других русских писателей-классиков.

<sup>5</sup> См. рецензию В. Помма на перевод Тугласа [Looming 1949: 764–768], где не упомянута фамилия переводчика и фактически не идет речь о самом переводе.

<sup>6</sup> О проявлениях идеологического надзора за переводчиками в советской Эстонии см.: [Тогор 2002; Тогор 2011; Lange, Monticelli].

<sup>7</sup> В 1950 г. Туглас как «буржуазный националист» был лишен звания народного писателя и исключен из Союза писателей ЭССР [Karjahärm: 165].

стал бы переводчик добровольно обращаться к произведению трижды сталинского лауреата, которое идеализирует Российскую империю и оправдывает насилие ради утверждения принципов государственности<sup>8</sup>. В 1935 г., в статье «Литературный стиль»/“Kirjanduslik stiil” Туглас, характеризуя культурное и социально-политическое измерение XVIII века в Эстонии, писал:

See näib olevat sajang, mil Eesti rahvas üldse oma viimsed nooruse-unistused jättis ning raske südame ja tuima meelega elu koormat kandis: esiti Põhja-sõja koledusi, nälga ja katku, siis aga ühtsoodu kasvava orjapõlve raskusi [Tuglas 1996: 443]<sup>9</sup>.

Тем не менее, как свидетельствует в своем «Гартуском дневнике» Эло Туглас, жена писателя, интерес к сочинению Толстого обнаружился у эстонского прозаика еще в середине 1930-х гг., когда он помогал своей супруге осваивать сложный язык романа:

Lugesin Aleksei Tolstoi “Peeter Esimest”. No on alles keel. Peaaegu lahti muukimatu. Alul olin surmahädas, midagi ei mõistnud. Lugesin kõvasti Tuklale ette, ja tänu tema seletustele hakkasin pikkamisi sisse sööma. Kuid mu suumusklid väsisid varsti ja ma pauseerisin. Hiljem oli see hoopis kergem ja ma kuidagi taipasin, mida täpselt ei teadnud. Nüüd ilmub see “Peeter” Maret Vasara tõlkes “Postimehes”. Küll maadleb tõlkija tekstiga — ja jääb tihtigi alla. Ta on tõlkinud just nii, nagu minagi alul mõistsin: “vor” — “varas” jne. Muidugi on need teadmised mul nüüd tänu Tuklale, kes tunneb hästi vene ja piisavalt kirikuslaavi keelt [Tuglas Elo: 328–329].

Пер.: Читала «Петра Первого» Алексея Толстого. Ну и язык, однако. Почти невозможно подобрать к нему ключ. Сперва я просто погибала, не понимала ничего. Начала читать вслух Тугласу и, благодаря его объяснениям, стала постепенно вгрызаться в смысл. Но мускулы скоро устали, и я начала делать паузы. Позднее стало гораздо легче, и я как-то поняла то, чего в точности не знала. Теперь этот «Петр» публикуется в «Постимеэс» в переводе Марет Вазар. Как же переводчица сражается с текстом, — и, тем не менее, зачастую терпит поражение. Она переводит именно так, как я сначала понимала: «вор» — “varas”<sup>10</sup> и т. д. Конечно, я обладаю теперь этими знаниями благодаря Тугласу, который хорошо знает русский и в достаточной степени — церковнославянский.

<sup>8</sup> Ряд отрывков из перевода «Петра Первого» Тугласа были опубликованы уже в № 8 журнала “Looming”/«Творчество» за 1940 г. [Looming 1940: 831–848].

<sup>9</sup> Пер.: «Кажется, что это был век, когда народ Эстонии полностью оставил свои последние мечты молодости; с тяжелым сердцем и вялым настроением влачил он жизненное бремя: сначала пришлось переносить ужасы Северной войны, голод, чуму, вслед за этим — непрерывно возрастающие тяготы рабства» (здесь и далее в тексте статьи перевод с эстонского мой, кроме отдельно оговоренных случаев).

<sup>10</sup> Как известно, слово «вор» имело в XVIII веке значение «преступник вообще».

Таким образом, Туглас не был первым эстонским литератором, обратившимся к произведению А. Н. Толстого. Еще в период независимой Эстонской Республики писателя опередила Маре Педаяс, публиковавшаяся под псевдонимом Марет Вазар, — переводчица, не обладавшая особой известностью, но, тем не менее, взявшая на себя смелость перевести талантливое сочинение русско-советского прозаика.

Как хорошо известно, роман Алексея Толстого получил высокую оценку не только у советских, но и у эмигрантских литераторов; им восхищались, с одной стороны, Б. Пастернак<sup>11</sup>, а с другой — И. Бунин<sup>12</sup>. Выдающийся художественный уровень романа, блестящее воплощение замысла в слове отмечали даже те критики и писатели, которые не одобряли «сменовеховство» Алексея Толстого, его возвращение в советскую Россию в 1923 году и преданность «вождю народов» [Варламов].

Представляется, что выбор текста для перевода Тугласом нельзя назвать случайным.

Общеизвестно, что Туглас, наряду с лингвистом Йоханнесом Аавиком, явился обновителем эстонского литературного языка. Свои лингвистические новации писатель реализовывал в оригинальной художественной прозе и переводах (преимущественно с русского и финского языков)<sup>13</sup>. Художественную литературу он оценивал с точки зрения ее стилистической репрезентации, полагая, что утонченный, рафинированный и гибкий литературный стиль свидетельствует о высокой литературной культуре писателя или целого направления. Литературный критик Пауль Вийрес отмечал:

*Tuglas on stilist par excellence ja õieti tema fantastilises, kujuteldud maailmas leiabki täie õigustuse ta raffineeritud "esteditsev" stiil [Viires II: 450].*

Пер.: Туглас является стилистом *par excellence*, именно в его фантастическом, выдуманном мире находит полное оправдание его рафинированный «эстетствующий» стиль.

Еще на раннем этапе творчества — в начале 1910-х гг. — Туглас, сторонник лаконичного и сжатого литературного письма, обратился к переводу сочинений русских символистов: Валерия Брюсова, Федора Сологуба и

<sup>11</sup> Ср.: «Так напр[имер] я в восхищеньи от Толстовского "Петра" <...> Сколько живой легкости в рассказе, сколько мгновенной загадочности придано вещам и положениям, именно той загадочности, которою дышит всякая подлинная действительность» [Переписка Пастернаков и Ломоносовых: 165].

<sup>12</sup> Ср. дневниковую запись И. А. Бунина от 3 января 1941 г.: «Перечитывал "Петра" А. Толстого вчера на ночь. Очень талантлив!» [Бунин]. См. об этом также: [Седых: 210].

<sup>13</sup> Общие принципы переводческого метода Фр. Тугласа кратко охарактеризованы в работе: [Тогор 1999: 112–124].

Михаила Кузмина<sup>14</sup>, а затем к переводу чеховской новеллы — наиболее ценимого им литературного жанра<sup>15</sup>. Русская предмодернистская и символистская проза малых жанров, безусловно, рассматривались Тугласом как один из источников и образцов для развития эстонского литературного языка<sup>16</sup>.

У нас есть основания полагать, что роман Алексея Толстого мог заинтересовать Тугласа именно с точки зрения его стилистики<sup>17</sup>. Тем не менее, судя по переводу, эстонского писателя привлекали далеко не все стороны этого романа, как не привлекал его, сторонника малых прозаических форм, и сам жанр исторического романа как масштабного эпического произведения.

### Нарративные стратегии в романе и их перевод

Отметим *три нарративные стратегии*, которые характеризуют повествовательную структуру романа «Петр Первый». Во-первых, это полифоническое, или многоголосное повествование, которое представлено в нескольких формах или видах; важнейшие из них — это несобственно-прямая речь повествователя, а также инкорпорированные в роман фрагменты из эпистолярия реальных исторических лиц и документов изображаемой эпохи<sup>18</sup>. Этот тип повествования у Толстого со всей очевидностью являет-

<sup>14</sup> Переводы сочинений русских символистов были опубликованы в сборниках: *Tuglas, F. Valitud leheküljed. Novellitõlked.* Tartu, 1912; *Tuglas, F. Valitud leheküljed. Novellitõlked.* Tartu, 1919.

<sup>15</sup> О Тугласе-новелисте см.: [Aspel I: 112–122; Liiv: 265–271].

<sup>16</sup> Ср.: “Sedaviisi kirjutab näiteks Turgenev, kes ei jaota “stroofidesse” oma “luuletusi proosas”, vaid kelle väga artistliku poeetilised loodusekirjeldused voolavad sujuvalt <...>: eitusteta tervete pikkade lehekülgede ulatuses” [Viire I: 412]. Пер.: «Так, например, пишет Тургенев, который не разделяет на строфы свои “стихотворения в прозе”, но чьи очень артистические и поэтические описания природы текут плавно <...>: на протяжении нескольких страниц, без использования отрицательных конструкций».

<sup>17</sup> Об интересе Тугласа к стилю Алексея Толстого свидетельствует и более позднее эпистолярное признание писателя одному из своих корреспондентов, И. Луйку, от 8 марта 1962 г.: “Mingit uurimust A. Tolstoi stiilist pole ma lugenud ja pean selliseid — omavahel öeldes — suhteliselt kasutuiks. Hoopis olulisem on intuiitiivne kaasaelamine — nii algupärast kirjutades kui ka tõlkides. Seda ei saa õppida ega õpetada. Arvan, et ilukirjandust peaksid tõlkima üksnes ilukirjanikud. Muidu on tulemuseks ainult mõistuspärane refereerimine” (цит. по: [Torop 1999: 118]). Пер.: «Никаких исследований о стиле А. Толстого я не читал. И считаю таковые, между нами говоря, довольно бесполезными. Гораздо важнее интуитивное сопереживание — и при сочинении оригинального произведения, и при создании переводного. Этому невозможно научиться и научить. Считаю, что художественную литературу должны переводить только писатели. В противном случае результатом окажется лишь рассудочное реферирование».

<sup>18</sup> См. об этом, напр.: [Ollson].

ся доминирующим. Во-вторых, это стилизация, реализованная, в частности, в пейзажных и бытовых зарисовках<sup>19</sup>. Стилизованные фрагменты характеризуются повышенным вниманием автора к звуковой и ритмической организации текста, интересом к зрительным и осязательным образам.

Известно, что ранний Алексей Толстой учился писать прозу у русских символистов и начал свой путь прозаика с пародийных стилизаций, представленных в его цикле рассказов «Заволжье» (1908–1912). Проза раннего Толстого тяготела к импрессионизму и одновременно — к «вещественности»; особое притяжение писатель испытывал ко всему видимому и зримому. Федор Степун в своих мемуарах назвал Толстого «глазастым чувственником»<sup>20</sup>, а сам Толстой, уже известный советский писатель, характеризуя историю создания канонизированного в советской литературе романа, свидетельствовал, как бы скрывая свое модернистское прошлое, о биографической подоснове эмпирических деталей и импрессионистических образов в «Петре Первом»:

Если бы я родился в городе, а не в деревне, не знал бы с детства тысячи вещей — эту зимнюю вьюгу в степях, в заброшенных деревнях, святки, избы, гадания, сказки, лучину, овины, которые особым образом пахнут, я, наверное, не мог бы так описать старую Москву. Картины старой Москвы звучали во мне глубокими детскими воспоминаниями и отсюда появилось ощущение эпохи, ее вещественность. Этих людей, эти типы я потом проверял по историческим документам. Документы давали мне развитие романа, но вкусовое, зрительное восприятие, идущее от глубоких детских впечатлений, те тонкие, едва уловимые вещи, о которых трудно рассказывать, давали вещественность тому, что я описывал [Толстой Алексей: 414].

Третьей нарративной стратегией, реализованной в романе Толстого, можно считать лейтмотивную технику, которую Толстой также перенял у известных русских прозаиков-модернистов, в первую очередь, у основоположника романа с лейтмотивной структурой — Д. С. Мережковского<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> О стилизациях в литературе русского модернизма, с которым был тесно связан Толстой-прозаик в 1910-е гг., см.: [Минц 2000].

<sup>20</sup> Ср.: «Человек, совершенно лишенный духовной жадности, но наделенный ненасытной жадностью души и тела, глазастый чувственник, лишенный всяких теоретических взглядов, Толстой не только по расчету возвращался в Россию, но и бежал в нее, как зверь в свою берлогу. Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией» [Степун: 53].

<sup>21</sup> Лейтмотивная структура характеризует поэтику романной трилогии Мережковского «Христос и Антихрист» (1895–1905), которая завершается романом о Петре Первом — «Антихрист. Петр и Алексей». О лейтмотивной поэтике романов Мережковского см.: [Минц 2004].

Стилизованная проза и лейтмотивная структура повествования привлекали в начале 1910-х гг. и Тугласа-переводчика, а его оригинальные сочинения отличалась лаконичностью, тяготением к эвфонии, ритмизации, членению текста на соразмерные фрагменты. В эстонской критике 1930-х гг. подчеркивалась «чувственность» (“*sensuaalsus*”) стиля Тугласа. Как заметил Пауль Вийрес, Тугласа можно назвать «художником-живописцем», воздействующим своими словесными образами, в первую очередь, на зрительные ощущения читателя<sup>22</sup>.

Другой эстонский критик связал эту особенность стиля Тугласа с импрессионизмом в живописи:

See on lubanud nimetada Tuglast maalijaks kirjanduses. Nii nagu maalijale on maailm ennekõike värvivarjundite ja vormivahekordade küsimus, nii näeb ka Tuglas maailma, ses ulatuses, millises ta kujutab teda konkreetsetena, värviliste vormidena, lähenedes oma ääretu värvirikkuse ja paljude värvivarjundite kõrvutamise-ga impressionistlikule maalilaadile [Aspel II: 104].

Пер.: Эта особенность позволила назвать Тугласа живописцем в литературе. Подобно тому, как в восприятии художника мир — это, прежде всего, вопрос о цветовых оттенках и соотношении форм, так и Туглас видит мир в том объеме, в каком изображает его в конкретных, живописных формах, приближаясь в своем бескрайнем богатстве красок и цветовых оттенков к импрессионистической манере в живописи.

Сходство между стилистикой Алексея Толстого и самого Тугласа могло послужить одним из исходных импульсов обращения эстонского писателя к «Петру Первому». Имя Алексея Толстого можно найти в записях («маргиналиях»), где говорится о романе Толстого «Аэлита» (1921–1922), переведенном на эстонский язык в 1930 г. Альфредом Курлентсом. Запись свидетельствует, что в «Аэлите» Туглас увидел элементы стилизации как формы повествования:

Kui Wells kujutab Kuu ja Aleksei Tolstoi Marsi elanikke ning nende ühiskondlikku korda, siis on see ainult koopia või paroodia maakera elanikest ja ühiskondlikust korrast. Just samuti kantakse taeva või põrgu piltidesse üle inimelu õndsuse või õuduse kujutelmad — ainult suurendatud ja stiliseeritud ulatuses [Tuglas 1966: 19].

---

Специфика преломления повествования Мережковского в «Петре Первом» А. Толстого нуждается в детальном изучении.

<sup>22</sup> Pigemini on ta maalija, kes loeb oma sõnakunstilise sisundi pertsipeeritavaks konkreetsetel teel lugema meeltesse, esijoones nägemismeelesse mõjumise kaudu. Ja see sünnib lühikesis lausetervikus nagu mosaigi osistes [Viires I: 411].

Пер.: Если Уэллс описывает жителей Луны, а Алексей Толстой марсиан и их общественный порядок, то это только копия или пародия на жителей земного шара и общественный строй. Точно так же в картины неба или ада переносятся представления о блаженстве или кошмарах человеческой жизни, только в преувеличенном и стилизованном масштабе.

Далее мы попытаемся охарактеризовать отражение в переводном тексте отмеченных выше нарративных структур романа Толстого. Очевидно, что Туглас обращает внимание на все три повествовательные техники, но в своем переводе выстраивает отличную от Толстого иерархию повествовательных типов. Так, например, важные для автора «Петра Первого» лексические повторы, получающие в романе символическую нагрузку и выступающие в функции лейтмотивов, Туглас воспроизводит лишь отчасти<sup>23</sup>.

Переводчика в целом не привлекает и возможность воссоздания на эстонском языке «многоголосной» структуры повествования Толстого. Несобственно-прямая речь повествователя, которая у Толстого зачастую отличается необычайной стилистической пестротой, диалоги персонажей, занимающих разное социальное положение и поэтому говорящих на различных социолектах, не находят точных аналогов в эстонском переводе. Следуя сложившейся в досоветский период традиции перевода русской классики на эстонский язык<sup>24</sup>, Туглас не передает разнообразие речевых стилей, ограничиваясь достаточно редким вкраплением специальной лексики — архаизмов, диалектизмов, просторечия, вульгаризмов — в литературную речь повествователя и персонажей романа.

Наиболее близкой для Тугласа техникой повествования оказывается стилизация пейзажа в зачинах и концовках отдельных глав. Такие фрагменты выступают в романе в функции своеобразных виньеток, замещая, возможно, иллюстрации, бывшие столь популярными в 1910-е гг. и служившие изящным дополнением к прозаическим текстам-стилизациям. Графические иллюстрации к словесным текстам встречаем, например, в модернистском журнале «Аполлон», где печатался и ранний А. Толстой<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Так, например, символика «снега», — все смыслы этого образа в романе передаются Тугласом с исключительной точностью, однако не менее важный для Толстого мотив «света лампы» Туглас не замечает или не считает его существенным.

<sup>24</sup> Формирование традиции перевода русской и советской классики на эстонский язык — большая и сложная тема в истории эстонского перевода, которую лишь предстоит изучать. Отдельные подступы к ней намечены в недавних работах: [Kissel'jova, Pild: 312–320; Пильд 2016: 117–133].

<sup>25</sup> О прозе раннего А. Н. Толстого, опубликованной в журнале «Аполлон», см., напр.: [Пильд 1999].

Обратимся к финалу второй подглавки первой части романа, где эстетизированный зимний пейзаж находится в контрастном соотношении с диалогом второстепенных персонажей романа. Они говорят о предполагаемой смерти царя Федора Алексеевича и заранее напуганы грядущими событиями:

Цыган снял варежку, разворотил усы, бороду, скрывая лукавство:

— Встретил в лесу человека: царь, говорит, помирает.

Иван Артемич привстал в санях. Жуть взяла... «Тпру»... Стащил колпак, перекрестился:

— Кого же теперь царем-то скажут?

— Окромья, говорит, некого, как мальчонку, Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил...

— Ну, парень! — Иван нахлобучил колпак, глаза побелели. — Ну, парень... Жди теперь боярского царства. Все распропадем...

— Пропадем, а может, и ничего — так-то. — Цыган подсунулся вплоть. Подмигнул. — Человек этот сказывал — быть смуте... Может, еще поживем, хлеб пожужим, чай — бывалые. — <...>

Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголок в косом свете<sup>26</sup>.

Пер. Тугласа:

Mustlane võttis labaku käest, silus vurrusid, habet, kavalat muiet varjates:

“Kohtasin metsas üht meest: tsaar ütleb, olevat suremas”.

Ivan Artemitš ajas end reel püstakile. Hakkas jube...

“Тпруу...” Тõмбас mütsi peast, lõi risti ette:

“Kes siis nüüd tsaariks kuulutatakse?”

“Ega ole kedagi muud, ütleb, kui see poisijõmpsiikas, Peeter Aleksejevitsš. Aga tema on vaevalt nänni suust lasknud...”

“Noh, vennas!” Ivan tõмбас mütsi sügavale pähe, silmad läksid valgeks. “Jah, vennas... Nüüd oota muudkui bojaaride valitsust. Oleme kõik kadunud...”

“Vahest kadunud, aga vahest pole ka midagi — nõndaks”. Mustlane liibus ligidale.

“Too mees ütles:läheb mäsuks... Vahest elame veelgi ja sööme leiba, — egas me tänased ole”. <...>

Orav hüppas puutüvel, lendas üle tee, lumi varises, lüngis valguses mängles kübemetesammas<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Толстой А. Петр Первый. М., 1947. С. 9. Здесь и далее в статье ссылки на это издание с указанием в квадратных скобках фамилии автора и страницы.

<sup>27</sup> Tolstoi, A. Peeter Esimene <I> / Tõlk. Fr. Tuglas. Tallinn, 1948. Lk 11. Здесь и далее в тексте статьи ссылки на это издание с указанием в квадратных скобках фамилии автора латиницей и страницы. Анализ фрагментов осуществляется на материале оригинала и перевода первой книги романа А. Н. Толстого.



Мы видим, что Туглас не задается специальной целью передать стилистические особенности простонародной речи. В переводе диалога преобладает общелитературная лексика.

Однако в переводе стилизованного пейзажа степень точности резко возрастает; конструируются соответствия особенностям речи повествователя: вводится диалектная лексема, фонетически близкая соседним словам (*lūngis*<sup>28</sup> *valguses*), используются морфемные повторы (*varises*, *valguses*, *māngles*) и т. д.

В ряде случаев пейзажная зарисовка у Толстого не является только финалом или зачином какой-либо части романа, пейзаж аккомпанирует событиям. Рассмотрим перевод четвертой подглавки пятой главы, где речь идет о погребенной заживо женщине, осужденной за убийство мужа. Отрывок становится самостоятельным поэтическим фрагментом, имитирующим похоронный причет:

Не прогреть землю... Не пошевелиться в могиле... По самые уши закопали... (Мягкий снежок падал на запрокинутое лицо.) <...> Позади головы на темной площади скрипела кольцом веревка на виселице... И умрешь — не упокоишься, — тело повесят... *Больно, больно, земля навалилась... В поясицу комья впились... <...> Опять... Снежок... Еще не смерть* [Толстой: 140–141]<sup>29</sup>.

Пер. Тугласа: *Ei suuda maad soojendada... Ei suuda end hauas liigutada... Kuni kõrvadeni matsid maasse... (Pehme lumeke langes ülespööratud näole.) <...> Pea taga pimedal väljakul kriiksus völlaköie rõngas... Ja kui suredki, — ei rahu saa, — keha puuakse üles... Valusalt, valusalt on maa peale vajunud... Maakamakad tungivad nimmeisse... <...> ...Jällegi... Lumehelbeke... Veel pole surm... [Tolstoi: 255].*

Мы видим, что помимо вполне отчетливых звуковых, лексических, морфемных и синтаксических повторов, стилизующих народный похоронный плач или причет (оплакивание своего горя; вопросительные и восклицательные конструкции и т. п.)<sup>30</sup>, отдельные фразы этого отрывка ритмизованы<sup>31</sup>. Таким образом, стилизованные, поэтические фрагменты романа Толстого, воспроизводятся весьма близко к исходному тексту; можно даже сказать, что Туглас усиливает поэтику ассонансов и аллитераций (у Тол-

<sup>28</sup> *Lūngis valguses* — в косых лучах света

<sup>29</sup> Здесь и далее в тексте статьи курсив в цитатах мой.

<sup>30</sup> О структурных особенностях похоронного причета см.: [Киселева].

<sup>31</sup> По-видимому, это ритмическая цитата из стихотворения в прозе Тургенева «Конец света (Сон)» (1882): «Гляньте! гляньте! земля провалилась» [Тургенев: 134]. Ритмизация находит частичное соответствие в переводе Тугласа: “*Valusalt, valusalt on maa peale vajunud*” [Tolstoi: 255].

стого морфемные повторы и ассонансы встречаются в целом реже, чем в переводе).

Если мы обратимся к важнейшей для Толстого нарративной стратегии — полифоническому переплетению стилистических регистров — то очевидно, что степень точности в переводе возрастает в тех главах/эпизодах, где основными персонажами являются дети (Алексашка Меншиков и Алешка Бровкин). Воспроизводя детские диалоги, Туглас стремится охватить все стили, не ограничиваясь единичными просторечными словами, отдельными диалектизмами или архаизмами, как он обычно поступает при переводе речи взрослых персонажей. Самое простое объяснение такой локальной стратегии перевода заключается в том, что в детской речи меньше церковнославянской лексики, которой Туглас редко подыскивает аналоги. Однако только лингвистическими причинами поведение переводчика объяснить нельзя. Как хорошо известно, детская тема особенно привлекала Тугласа, одно из последних его оригинальных сочинений, роман о мальчике «Маленький Иллимар»/“Väike Illimar”, вышло в 1937 г. И переводчик выделяет «детские» главы в романе Толстого, как бы забывая о своей ключевой установке на «вольность» по отношению к «многоголосию». Отметим, впрочем, что стилистическая пестрота романа отчасти компенсируется редким использованием диалектной лексики, характерной для разных регионов Эстонии<sup>32</sup>.

Приведем некоторые примеры из «детской» главы романа, где в переводе диалога используется разговорная, просторечная и диалектная лексика:

*Тягька по все дни пьяный, жениться хочет. Мачехи боюсь. Сейчас меня бьют, а тогда душу вытрясут <...>. А то наймемся к купцам чего-нибудь делать <...>. С бабой хлопот много <...>. Сейчас мы щей похлебаем, меня позовут наверх молитвы читать, потом пороть <...>. Потом я вернусь. Лягем спать [Толстой: 20].*

Пер. Тугласа: *Minu memm on surnud, Taat on iga päev pommis, tahab uuesti naist võtta <...>. Või siis palkame kaupmeeste manu midagi tegema <...>. Eitedega on palju tülinat <...>. Varsti tuleb õhtulobi [Tolstoi: 34].*

---

<sup>32</sup> Ср., напр.: “lämmi” (теплый, тепло), “gaand” (бадьа), “polut” (полати), “nänn” (женская грудь), “kojus” (привидение, дух), “ikma” (плакать, голосить) и др.

### Перевод диминутивов, сложных прилагательных и иноязычной речи

Для всех трех выделенных выше нарративных стратегий характерно обильное использование уменьшительной, эмоционально-оценочной лексики. Видимо, нельзя считать это специфической особенностью стиля романа Толстого, так как диминутивные формы обладают в русском языке высокой частотностью. Поскольку в эстонском языке их частотность далеко не столь высока, то в переводе диминутивы становятся важнейшими маркерами русскости наряду с воспроизведением звуковой формы имен и фамилий персонажей, некоторыми транскрибированными топонимами и рядом исторических реалий. Уменьшительные и ласкательные слова Туглас, как правило, всегда передает и делает это вполне осознанно, начиная уже с переводов Чехова, выполненных в досоветский период. Еще раз подчеркнем, что все особенности стилистики художественного перевода, о которых до сих пор шла речь, были характерны для Тугласа и в досоветскую эпоху.

В некоторых фрагментах романа диминутивы у Толстого несут особую функциональную нагрузку. Так, в главах о жизни в немецкой слободе диминутивная лексика подчеркивает миниатюрность, игрушечность, известную механистичность немецкого мира, которая, согласно замыслу Толстого, должна вызвать у читателя представление о филистерской сущности семьи Монса, но в то же время передать ощущение привлекательности немецкой слободы для молодого Петра. С русскими диминутивными формами коррелирует здесь и имя Анхен, которое является уменьшительным, образованным от полного «Анна» в немецком языке:

Приятный ночной *ветерок* шевелил *кисточки* на вязаных колпаках у собеседников. В освещенной двери показалась Анхен, подняла невинные глаза к звездам, счастливо вздохнула и исчезла. <...> кусты и *деревца* перевязаны бантами с цветами из золотой и серебряной бумаги и *дорожки* разделены шахматными квадратами [Толстой: 58].

Пер. Тугласа: *Meeldiv tuuleke kõigutas ta kaaslaste kootud mütside tutikesi <...> jalgrajakesed jagatud malekvadrateks* [Tolstoi: 105].

Уменьшительная форма *jalgrajakesed* для эстонского языка необычна, очевидно, что диминутив связан здесь фонетически с последующим глаголом, последнее же слово в предложении как бы намекает, что и пейзаж, и вся немецкая слобода у Толстого обрисованы с точки зрения русского сознания (сочетание «шахматными квадратами» можно было бы перевести как “*maleruutudeks*”, транскрипция здесь необязательна). Последовательно

воспроизводя диминутивные формы, переводчик подчеркивает большой удельный вес субъективной оценочности в русском языке.

Собственно XVIII век в языковом плане маркируется у Толстого многочисленными сложными прилагательными, которые, по мнению исследователей истории русского языка, восходят к церковным источникам, носят преимущественно книжный характер и существуют в языке уже с XI века, а в XVIII веке продолжают образовываться в результате освоения новой иноязычной лексики<sup>33</sup>. Сложные прилагательные у Толстого зачастую оказываются окказионализмами (например, «золотошубные бояре», «страшноглазые попы» и др.; ср. в переводе Тугласа: “*jubedasilmalised rapid*”). Однако переводчик усиливает эту черту исходного текста<sup>34</sup>. Туглас экспериментирует, предлагая эстонскому читателю окказиональные образования, а в ряде случаев преследуя важную для него задачу экономии письма или компрессии текста-источника (например, сочетание «возлюбленный со сладкими речами» переводится как “*magusakõneline*” — «сладкоречивый»). Усиление этой стилистической особенности оригинала выступает как устойчивый маркер архаизации переводного текста.

Все приведенные до сих пор примеры говорят о случаях «точного» перевода, но «точность» либо отражает особенности поэтики оригинальных произведений самого переводчика, где также проявляется стремление к языковым экспериментам, либо направлена на внедрение в язык перевода слов, богатых смысловыми оттенками (некоторые окказиональные образования, диминутивы).

Сходную роль играют «точные» переводы тех фрагментов оригинала, где Толстой имитирует акцент персонажей-немцев, говорящих на русском языке. Туглас конструирует эстонскую речь с немецким акцентом, апеллируя в очередной раз к лингвистическому опыту эстонского читателя:

Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой. «Смирна, хальт!» — солдаты останавливались, отбивая правой ногой, — замирали... «Правой плечь — вперед!

<sup>33</sup> См. об этом, напр.: [Джафаров].

<sup>34</sup> Ср., например, фрагмент, где Толстой не использует сложные прилагательные, но переводчик их конструирует: «<...> Иван Максимович Языков — маленький, в хорошем теле, добрый, сладкий, человек великой ловкости и глубокий проникатель дворцовых обхождений; постный и благостный старец, книжник, первый постельничий — Алексей Тимофеевич Лихачев <...>» [Толстой: 16]. Пер. Тугласа: “<...> *pahuranäoline ja vagaimeline* rauk, kirjatundja, esimene kammerteener Aleksei Timofejevitš Lihhatšev <...>” [Tolstoi: 24]; ср. также: «Царевна была широка в кости <...>» [Толстой: 16]; пер. Тугласа: “*Tsaaritar oli suurekondiline* <...>” [Tolstoi: 25] и др.

Фор-вертс! Неверно! Лумпен! Сволошь! Слюшааай!..» — Генерал багровел, как индюк, сидя на лошади [Толстой: 70].

Пер. Тугласа: Parrem õlg — marss! Vorwärts! Mitte õige! Lumpen! Lontruss! Kulleee!.. [Tolstoi: 127].

### Перевод реалий

Мы стремимся показать, что языковая и стилистическая сторона перевода (ориентация на язык переводящей культуры) является для Тугласа в целом ряде случаев более важной, чем собственно содержательная. Так, например, Туглас не ставит перед собой задачу передать смысл ряда ключевых исторических реалий конца XVII – начала XVIII вв.

В переводе, как правило, не различаются реалии «раб», «холоп» и «смерд». Когда у Толстого в тексте встречается «холоп», Туглас производит генерализацию и заменяет историческую реалию обобщенным «раб» (тем же словом переводится «смерд»):

Труд *холопий*. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти, — тот денег приносит. Да двое ходят с коробами в Москве же, продают ложки, лапти, свистульки. <...> Все стали *холопами*. И ждать надо: еще труднее будет... [Толстой: 10].

*Orjatöö*. <...> Kõik on *orjadeks* muutunud [Tolstoi: 13];

ср. также:

А вчера после вечерни дядюшка Иван Михайлович про тебя говорил: «Читал, мол, мне Василий Васильевич из тетради *про смердов*, про мужиков, — подивился я: уж здоров ли головкой князюшка-то?» И бояре смеялись [Толстой: 55].

Пер. Тугласа: Aga eile ütles onu Ivan Mihhailovitš pärast õhtust jumalateenistust sinu kohta: “Luges mulle Vassili Vassiljeviti oma vihikust *orjadest* ja talupoegadest, — imestasin: kas peaks vürstikese peavärk veel korras olema?” Ja bojaarid naersid [Tolstoi: 100]<sup>35</sup>.

Одним из частных объяснений такого способа передачи лексики можно считать нежелание переводчика перегружать текст транскрипциями с русского, стремление к удобочитаемости эстонского перевода. Так, например, Туглас выбирает эстонское слово “*ori*” (раб), чтобы не транскрибировать

<sup>35</sup> Ср. аналогичный пример генерализации в переводе, где исторические реалии «дань» и «оброк» заменяются обобщенными словами «нагрузка» и «обязанности»: «Что ни год — новый наказ, новые деньги — кормовые, дорожные, *дани* и *оброки*» [Толстой: 8]. Пер. Тугласа: “Iga aasta uued käsud, uued maksud — sööda- ja teerahad, *koormused* ja *kohustused*” [Tolstoi: 9].

с русского — “holopp”. Вероятно, по той же причине переводчик, хотя и использует иногда лексему «бояре», но чаще заменяет реалию обобщенными понятиями — помещики, господа (“mõisnikud”, “härrased”).

Ну, ладно... Того подай, этого подай... Тому заплати, этому заплати... Но — прорва, — эдакое государство! — разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве *бояре* в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну, ладно... [Толстой: 8].

Пер. Тугласа: Noh, hüva... Seda anna ja toda anna... Sellele maksa ja tolele maksa... Kuid seesugune riik on täitmatu, — kas ta kunagi küllalt saab. Egas me töö eest põgene, muudkui kannatame. Kuid *mõisnikud* on hakanud Moskvas kuld-tõldades sõitma [Tolstoi: 10].

Переводя реалии русского простонародного или (реже) боярского быта, Туглас заменяет их словами, знакомыми эстонскому читателю по эстонской классической литературе (в частности, по оригинальным сочинениям самого переводчика), эстонским фольклорным текстам или по собственно-му опыту крестьянского прошлого. Так, например, довольно частый у Толстого эпитет «слюдяное» (окошко) передается как народно-поэтическое “maarjaklaas” (хотя существует и нейтральный аналог этого слова — “vilguklaas”, — который также используется в переводе, но гораздо реже):

Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на *слюдяные* окошечки боярской избы [Толстой: 10].

Пер. Тугласа: Mehed talutasid hobused õue. Seisid ilma mütsita, piiludes kõõrdi härrastemaja *maarjaklaasist* aknakeste poole [Tolstoi: 12].

Надо сказать, что целый ряд слов, обозначающих предметы эстонского крестьянского быта, мы находим в современном толковом словаре эстонского языка не только с примерами из оригинальных произведений Тугласа, но также из перевода романа Толстого «Петр Первый». Например, этноним “lõugas” (очаг) иллюстрируется в словаре примером из новеллы писателя: “Seinad mustasid, söed lõukas hõõgusid, pird põles võbinal” [ЕК1]<sup>36</sup>.

<sup>36</sup> Ср. примеры в Толковом словаре эстонского языка, где приводятся фрагменты из перевода «Петра Первого», включающие бытовые реалии “pistandtara” (тын, плетень) и “räppen” (волоковое окно): “Mõisa ümber käis ülepääsmatu *pistandtara*. Paneb kas või tatarlastele vastu... F. Tuglas (tlk) [ЕК1]; “Musta lae all keerles soe, kuiv suits, voolas liikuva *räppna* kaudu ukse kohal välja: onn oli korstnata. F. Tuglas (tlk) [Там же].

Приведенный в том же словаре пример позволяет заключить, что глагол “udutsema” (дымиться) писатель использовал сначала в своей новелле «Тень человека»/“Inimese vari” (1935), а вслед за этим в переводе «Петра Первого»: “Kuusirp tõusis taevasse, valades külma kuma üle *udutsevate* luhtade. F. Tuglas [Там же].

Одной из главных целей Тугласа — переводчика «Петра Первого» безусловно является создание иллюзии вещественности и осязаемости описываемого простонародного быта, которая, по всей вероятности, должна вызвать у эстонского читателя ассоциации с бытовым пространством эстонской деревни, изображенным, в первую очередь, в творчестве самого Тугласа. В некоторых случаях переводчик намеренно неточен в передаче бытовых деталей оригинала, на первый план выходит стремление создать поэтическую картину, и для этого Туглас прямо апеллирует к осязанию, зрению или слуху эстонского читателя:

Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины [Толстой: 7].

Пер. Тугласа: *Ema seisis ahju juures. Lõuka kohal lõid pirrud heledalt lõkenda-ma* [Tolstoi: 7]<sup>37</sup>.

В переводе появляется реалья, отсутствующая в тексте-источнике: у Толстого идет речь о «шестке», который Туглас заменяется «очагом». Замена позволяет актуализировать звуковую игру, которую в данном случае сложно обнаружить в оригинале.

Передача «чужого» через «свое» вполне согласуется и с переводом других этнографических реалий<sup>38</sup> и названий месяцев. Например, наименование праздника, посвященного Богородице, передается народно-поэтическим «*maarjapäev*». Названия месяцев чаще переводятся народно-поэтическими аналогами (май — «*lehekuu*», февраль — «*küünlakuu*», июль — «*heina-kuu*», март — «*raastukuu*», август — «*lõikuskuu*» и т. д.):

А иные сами едва с голоду живы, хлеба чуть до *Покрова* хватило, едят лебеду [Толстой: 86].

Пер. Тугласа: *Aga mõnel on nälja tõttu vaevalt enesel elu sees, leiba piisas hädäräast maarjapäevani, söövad maltsa* [Tolstoi: 155];

В конце *февраля* русское войско снова двинулось на Крым [Толстой: 93].

Пер. Тугласа: *Küünlakuu lõpul läks vene sõjavägi jälle Krimmi poole liikvele* [Tolstoi: 169].

<sup>37</sup> Известно, например, что слово «*pirid*» (лучина) было введено в эстонский язык Тугласом через его оригинальные сочинения [Viies I: 415].

<sup>38</sup> Мы исходим из классификации реалий, представленной в кн.: [Влахов, Флорин].

## Заключение

Перевод романа Алексея Толстого «Петр Первый» как творческий проект мог заинтересовать Тугласа по следующим причинам. Во-первых, перевод давал возможность актуализировать в памяти эстонского читателя языковое и стилистическое пространство эстонской литературы и, в частности, произведения самого переводчика. Во-вторых, перевод романа позволил продолжить писателю языковые и стилистические эксперименты (в романе мы находим большое количество неологизмов писателя). В-третьих, у Тугласа появился шанс вписать эстонскую версию «Петра Первого» в существующую в эстонской литературной культуре традицию эстонизации русской художественной прозы. И наконец, в-четвертых, писатель выделил в романе, в первую очередь, те нарративные стратегии, которые связывались в его восприятии с европейской и отечественной модернистской культурой (стилизация, отчасти лейтмотивная техника).

Таким образом, можно предположить, что сложившиеся в 1930-е гг. формы интериоризации русской литературы продолжают функционировать и в советский период в переводах тех произведений, идеология которых для переводчика неприемлема. В переводе «Петра Первого» доминируют элементы текста-источника, которые хорошо согласуются с концептом русской литературы как части западноевропейской культуры (поэтика стилизации еще в досоветский период рассматривалась Тугласом как феномен западноевропейского искусства, а ее истоки в русской модернистской литературе возводились к западным писателям)<sup>39</sup>.

В последующие десятилетия стратегии перевода русских классиков и русско-советских писателей, конечно, приобретут более сложный характер, но в переводах прозы почти не будут осваиваться новые формы и типы наррации. По мысли Ю. М. Лотмана, «диалог культур сопровождается нарастанием неприязни принимающего к тому, кто над ним доминирует, и острой борьбой за духовную независимость» [Лотман 1992: 123]. Как представляется, одна из форм такого противостояния эстонских переводчиков идеологическому давлению в советский период — это фактическое отсутствие новых нарративных стратегий, ориентированных на текст оригинала, в переводах русской прозы на эстонский язык.

---

<sup>39</sup> Об этом, в частности, свидетельствует его характеристика эстетической позиции и творчества В. Я. Брюсова как мастера прозаических стилизаций [Pild].



## Литература

Бунин: *Бунин И.* Дневники (1939–1945) // [http://gutenberg.ru/bunin/dnevnik\\_1939-1945\\_godov/16](http://gutenberg.ru/bunin/dnevnik_1939-1945_godov/16) (Дата обращения: 12 ноября 2017 г.).

Варламов: *Варламов А.* Алексей Толстой. Красный шут // <http://fanread.ru/book/4092826/?page=1> (Дата обращения: 12 ноября 2017 г.).

Влахов, Флорин: *Влахов С., Флорин С.* Непереваемое в переводе. М., 1986.

Джафаров: *Джафаров М.* Очерки по истории русского словосложения. Баку, 2009.

Киселева: *Киселева А.* Народная прическа как поэтический жанр // Русская литература. 1989. № 2.

Лотман: *Лотман Ю.* К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Лотман Ю. Избр. статьи. Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992.

Лотман 1992: *Лотман Ю.* Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении // Лотман Ю. Избр. статьи. Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992.

Миц 2000: *Миц З.* К изучению периода «кризиса символизма» (1907–1911): Вводные замечания // Миц З. Поэтика русского символизма. СПб., 2000.

Миц 2004: *Миц З.* О трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» // Миц З. Поэтика русского символизма. СПб., 2004.

Переписка Пастернаков и Ломоносовых: «Неоценимый подарок». Переписка Пастернаков и Ломоносовых (1925–1970) / Публ. К. Барнза и Р. Дэвиса. Подгот. текста П. Бутчер, Р. Дэвиса и Л. Шоррокс // Минувшее. Исторический альманах. 16. СПб., 1994.

Пильд 1999: *Пильд Л.* Тургенев в художественной прозе «Аполлона» // Тургенев в восприятии русских символистов. Тарту, 1999.

Пильд 2016: *Пильд Л.* Нейтрализация сказа в эстонских переводах Н. С. Лескова (1950–1960-е гг.) // Wiener Slavistischer Almanach. Wien, Peter Lang, 2017. Sb. 93 (в печати).

Седых: *Седых А.* Далекое, близкое. Нью-Йорк, 1979.

Степун: *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся / <https://profilib.com/chtenie/80787/fedor-stepun-byvshee-i-nesbyvsheesya-53.php> (Дата обращения: 12 ноября 2017 г.).

Толстой Алексей: *Толстой А.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Статьи. 1910–1941. М., 1949. Т. 13.

Толстой: *Толстой А.* Петр Первый: Роман в трех книгах. М., 1947.

Тургенев: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1982. Т. 10.

Aspel I: *Aspel, A.* Tuglase novellisüsteem // Kirjad Pariisist / Koost. K. Vulf. Tartu, 2000.

Aspel II: *Aspel, A.* Friedebert Tuglas stilistina // Kirjad Pariisist. Tartu, 2000.

Dostojevski: *Dostojevski, F.* Kogutud teosed. Tallinn; Tartu, 1939–1940.

EKI: Eesti keele seletav sõnaraamat / <http://www.keeleeveeb.ee> (Дата обращения: 12 ноября 2017 г.).

Even-Zohar: *Even-Zohar, I.* The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem // *Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies* / Ed. J. S. Holmes, J. Lambert, R. van den Broeck. Leuven, 1978.

Karjahärm: *Karjahärm, T.* Kultuurigenotsiid Eestis: Kirjanikud (1940–1953) // *Acta Historica Tallinnensia*. Tallinn, 2006. Nr 10.

Kasekamp: *Kasekamp, A.* Balti riikide ajalugu. Tallinn, 2011.

Kisseljova, Pild: *Kisseljova, L.; Pild, L.* Ideology and Poetics in the Estonian Translations of Nikolai Leskov // *Sociology Study*. 2016. Vol. 6. № 5.

Lange, Monticelli: *Lange, A.; Monticelli, D.* Tõlkelised ebakõlad totalitarismi monoloogis: Järjepidevused, katkestused ja varjatud konfliktid Nõukogude Eesti tõlkeloos // *Keel ja Kirjandus*. 2013. Nr 12.

Liiv: *Liiv, T.* Friedebert Tuglas novellikirjanikuna // *Looming*. 1986. Nr 2.

Looming 1940: *Tolstoi, A.* Katkend “Peeter Esimesest” / Tõlk. Fr. Tuglas // *Looming*. 1949. Nr 8.

Looming 1949: *Pomm, V.* Aleksei Tolstoi. Peeter Esimene. 1948–1949 // *Looming*. 1949. Nr 6.

Monticelli: *Monticelli, D.* Translation under Totalitarianism. Soviet Estonia, Johannes Semper and Translation History // *Новий Протеї*. Харків, 2015. Вип. 1.

Olesk: *Olesk, S.* ENSV Kirjanike Liit ja EK(b)P KK kaheksas plenum // *Looming*. 2002. Nr 10.

Ollson: *Ollson, T.* СТИЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПИСЕМ В РОМАНЕ «ПЕТР ПЕРВЫЙ» А. Н. ТОЛСТОГО ПО ОРГИНАЛЬНЫМ АКТАМ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ: БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА. Stockholm, 2014.

Pild: *Pild, L.* Küsimus “vene mõjust” Friedebert Tuglase artiklis “Valeri Brjussov” // *Methis*. 2008. Nr 1–2.

Puškin: *Puškin, A.* Valik luulet. Lüürika — eepika — draama. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1936.

Semper: *Semper, J.* Romantika hing // *Näokatted: Esseede kogu*. I. Tartu, 1919.

Sütiste: *Sütiste, E.* Märksõnu eesti tõlkeloost 1906–1940: tõlkediskursust organiseerivad kujundid // *Keel ja Kirjandus*. 2009. Nr 12.

Tolstoi: *Tolstoi, A.* Peeter Esimene <I> / Tõlk. Fr. Tuglas. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst, 1948.

Tolstoi 1936: *Tolstoi, L.* Ülestõusmine I–II. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1936.

Tolstoi 1939: *Tolstoi, L.* Anna Karenina I. Tartu: Noor-Eesti, 1939.

Torop 1999: *Torop, P.* Tuglase tõlkeloomingu eripärast // *Kultuurimärgid*. Tartu, 1999.

Torop 2002: *Torop, P.* Tõlkesund // *Kohandumise märgid*. Tallinn, 2002.

Torop 2011: *Torop, P.* Tõlge ja kultuur. Tartu, 2011.

Tšehhov: *Tšehhov, A.* Valik novelle / Tõlk. Fr. Tuglas. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1939.

Tuglas 1966: *Tuglas, F.* Marginaalia: Mõtteid ja meeleolusid. Tallinn, 1966.

Tuglas 1996: *Tuglas, F.* Kogutud teosed. 7. Kriitika I. Kriitika II. Tallinn, 1996.

Tuglas Elo: *Tuglas, E.* Tartu päevik: 1928–1941. Tallinn, 2017.

Viires I: *Viires, P.* Fr. Tuglas' e ilukirjanduslik stiil. I // Eesti Kirjandus. 1931. Nr 8.

Viires II: *Viires, P.* Fr. Tuglas' e ilukirjanduslik stiil. II // Eesti Kirjandus. 1931. Nr 9.

## EDITING IN THE CONDITIONS OF STATE CONTROL IN ESTONIA: THE CASE OF LOOMINGU RAAMATUKOGU IN 1957–1972

ANNE LANGE

When we look at the theoretical reflection on and/or the empirical description of the cultural practices within the Soviet Union at any period of its existence [e. g. Raud: 151–171; Yurchak], we are frequently informed of ambiguities which indicate that although structures of political power had been established in the Soviet Union that should have created structures of feeling to support the Soviet social order, the epistemological conflict within many citizens who were to invest into building a new Soviet culture by destroying the historical one was more relevant for them than the promised benefits of the Communist future. People's life-experiences prevented them from believing in the possibility of a fundamentally new social era, and thus the rupture and the break with their past that was officially preached just did not take place.

This is also the premise for the present article that draws on the published and archived records left by *Loomingu Raamatukogu* that was (and still is) the literary supplement of *Looming*, the monthly magazine of the Estonian Writers' Union issuing mostly (but not only) translations. The name of the monthly, *Looming*, can be translated as 'creation', and *Raamatukogu* is the Estonian word for library. The title, thus, literally means *The Library of Creation*.

The literary supplement that succeeded in replacing the didactic and schematic utopias that prevailed in the then text production with more nuanced approaches to fiction is legendary in Estonian culture, as both oral and written history [Olesk] testify. For the present paper it is important to stress that the general appeal of the series was largely due to the socio-political context it grew out of. In her memoirs about editing *The Library* in the 1960s, Lembe Hiedel, one of the key editors of its initial years, has recalled an episode

from her work that is emblematic of the practises of the Soviet period, both in Hiedel's narration as well as what may have happened in May 1968. The memoirs go as follows<sup>1</sup>:

I don't think I can easily and adequately describe the oscillations of mood like those <...> in a morning of May in 1968 when Yuri Lotman and Igor Chernov, on their way to the railway station, popped in the editorial office where I was alone (the editor-in-chief was in the hospital, sharing his ward with the head of the Glavlit). Using the occasion, I wordlessly shoved across my table two recently stamped signal copies which meant that the print-runs of the typeset translations could be launched. These were Václav Havel's *The Memorandum*, and Mikhail Bulgakov's *The Fatal Eggs*, both actually proposed by Yuri Lotman. (A few months ago he had, thinking of our *Library*, taken with him from Prague a typewritten copy of the Havel play, and I, who got it from the Chair of Russian literature, had given it to our Czech translator whom I happened to meet on my way. He probably had the text already but hadn't either had the time or the courage to recommend it for us.) Lotman's reaction to my wordless gesture was an analogous mute rise of his eyebrows, his moustache bristling with horror, after which my amused guests departed. This gorgeous dumb scene by way of a salute was my reward for the past anxious days, and for those that would come in autumn [Hiedel: 177].

### The Context of the Publication

The episode recorded above comes from the last period of the first staff of the editorial board of *The Library* from the time when the local branch of the all-Union Glavlit<sup>2</sup> in its annual reports to the Moscow headquarters<sup>3</sup> was showing increasing discontent with the political loyalty of the mouthpiece of the Writers' Union and its literary supplement to the ideology of the Communist Party. Indeed, from its very beginning *The Library* had been a calculated attempt to widen the horizons of the reading public so that these would not coincide with the state borders of the USSR, to paraphrase Lembe Hiedel [Ibid.: 159].

<sup>1</sup> All translations from Estonian into English by the present autor.

<sup>2</sup> Glavlit (ГЛАВЛИТ) is the abbreviation for the Moscow censorship agency established in 1922; its subordinate body in Estonia was established in 1940.

<sup>3</sup> See the records of the local Glavlit office under its then name *Eesti NSV Ministrite Nõukogu Juures Asuv Trükistes Riiklike Saladuste Kaitse Peavalitus* (The Main Administration of the Preservation of State Secrets in Print under the Soviet of Ministers of the Estonian SSR) that are preserved in *Eesti Rahvusarhiiv* (Estonian National Archives), especially [ERA.R-17.3.69] (report for 1967), [ERA.R-17.3.72] (report for 1968), and [ERA.R-17.3.84] (report for 1971)].

The gradual introduction of post-Stalinist liberalization in Soviet Estonia followed the trends across the whole of the Soviet Union. Texts on the changing cultural policy were translated into Estonian within a very short time span, and these encouraged Estonian authors to use the changing climate: in November 1953, the literary monthly of the Writers' Union had published the translation of "On the Work of the Writer" by Ilya Ehrenburg who had defended the artists' right to create according to their conscience. Ehrenburg had argued that a writer could not be accused of not having written a novel about the Volga-Don Channel or textile industry while she/he could be blamed if it had been done without any personal involvement. The translation came out simultaneously with the Plenum of the Central Committee of the Estonian Communist Party that also discussed the tasks of Soviet Estonian literature. The chairman of the Writers' Union questioned there literature written purely following the party line, denounced "parading and hollow" poetry as "cheap bread", and criticized literary critics and administrators of culture for having "scared off" poets from writing non-declamatory poetry [Schmuul: 1435].

The polemics initiated by Vladimir Pomerantsev's article on the sincerity of literature that was published in *Новый мир*<sup>4</sup> 1953/12 was also influential in Estonia. Alexey Surkov's critical response to him in *Правда* of May 25, 1954 was translated for the Estonian cultural weekly *Sirp ja Vasar* (Sickle and Hammer) by May 28, 1954. The translation led to a local discussion about the expectations of people for literature in which some critics proclaimed, others denounced the vulgar Socialist approach. In the lively literary polemics of 1954 there emerged a generation of literary scholars and critics who were competent in the Estonian cultural heritage but also eloquent in defending it in terms of the ideological keywords of the period, and as the emphases of the party changed, the rhetoric of the spokesmen of Estonian literature was also modified. Olaf Kuuli [Kuuli: 48–9] has pointed out that when Aleksandr Tvardovsky, the editor-in-chief of *Новый мир*, had been replaced by Konstantin Simonov, the then partorg<sup>5</sup> of the Estonian Writers' Union, Lembit Rimmelgas, made a speech (published in *Sirp ja Vasar* on June 4, 1954) where he expressed his solidarity with accusations against *Новый мир* and Vladimir Pomerantsev; but a few months later, in December, in his presentation at the

---

<sup>4</sup> *Новый мир* (New World) was the highly influential official organ of the Writers' Union of the USSR published monthly. Its pages carried the work of the leading Soviet writers, and many of them expressed impermissible political views.

<sup>5</sup> Partorg (party organizer) was a person appointed by the Central Committee of the Communist Party whose official duty was to supervise the execution of the Party guidelines.

Second All-Union Writers' Congress in Moscow (translated and published in *Sirp ja Vasar* on December 31, 1954), he spoke already about “national nihilism” as an extremist position that had done much damage to contemporary Soviet Estonian literature. This is not an exceptional but a typical case: while reading the periodicals of the early and mid-1950s, we are confronting conflicting and confusing statements that try to find a middle way between the political/administrative jargon of the day and the intellectual interests of the reading audience.

Throughout the years Otto Samma, the first editor-in-chief and one of the initiators of the series, in his regular accounts to the Administration of Book Trade (*Raamatukaubanduse valitsus*) at the Ministry of Culture of the Estonian SSR and to the Department of Ideology of the Central Committee of the Estonian Communist Party, repeats that the primary aim of the supplement is “to introduce mostly contemporary literature on as wide a scope as possible both geographically and thematically” [KM EKLA f. 283:846, p. 293]<sup>6</sup>. Given the censorial regulations and the obligatory quota that dictated the proportions of translations from Russian and other languages<sup>7</sup>, it was possible because, as a supplement to a magazine, *The Library* was treated as a magazine, and so it did not have to obtain preventive authorization of its yearly and 5-year plans from Moscow as was the case with the only state publishing house (*Eesti Riiklik Kirjastus*/Estonian State Press) that remained in Estonia at that time. Thus, in the 1960s *The Library* could publish translations that had been banned a decade ago, or would be banned later, in the 1970s. (The routine all-Union Glavlit procedures before and after typesetting<sup>8</sup> on spot, of course, remained in place and a signal copy had to be sent to a clerk in the Glavlit headquarters in Moscow who was responsible for Estonian literature<sup>9</sup>.) In the official

---

<sup>6</sup> The correspondence of the editorial board and manuscripts of their publications — unlike the archives of the next staff that have not been preserved — are in *Eesti Kirjandusmuuseum* (Estonian Literary Museum) in Tartu.

<sup>7</sup> Here the statistics of book publication are revealing indeed and clearly show the dependence of cultural endeavors on the general party policy: in 1945–55, translations constituted 59% of all published fiction, 49% of which was translated from Russian and other Soviet literatures, and 10% from all other languages. In the 1960s, the proportion was 59.9%, that is 28.9% for Soviet and 31% for all other literature; in the 1970s, the figure was 51%, divided into 29% and 22%; and in the 1980s, 45.4%, split into 25% and 20.4%, respectively [Möldre: 100, 180].

<sup>8</sup> A good survey of these procedures can be found in [Sherry]. There was still an important difference in Estonia: the officials of Glavlit in a republic of roughly one million population were not totally anonymous as they could be in Moscow [Hiedel: 181].

<sup>9</sup> He could ban the marketing of the print-run and in 1957–73 he tried to do it twice — in the case of the translations of Elizaveta Drabkina's *Winter Pass* (1970, 10/12) and Arthur Miller's *After the Fall* (1971, 5/7) — but his decisions reached Tallinn too late when the print-runs had been sold

statistics of the day, thus, William Golding's *The Lord of the Flies* or Kafka's *The Trial* that were published in *The Library* (in 1964 and 1966, respectively) were not books' but 'magazine issues' until in the early 1970s the authorities, recognizing the undermining potential of the fictional texts, subjected the publication plans to authorization in Moscow. Here, however, we focus on the work of only the first staff of the supplement until its editor-in-chief had to resign.

When looking at the format of *The Library* in its first year, one can say that the pattern had been borrowed from the Russian Библиотека "Огонька" (The Library of Ogoniok), one of the oldest weekly magazines in Russia. The next year the form was changed so that it conformed to the height and length of other books published in Estonia and the issues "could be placed on the shelf next to them", as a reader in her letter [KM EKLA f. 283:845, p. 171] to the editor-in-chief had wished. Pocket-books, of course, cannot be reduced to Библиотека "Огонька" only, as both the editors and the readers knew well. In pre-war Estonia an analogous series was the *Universaalbiblioteek* of the publishing-house *Loodus* that since 1927 had issued 52 numbers per year — like *The Library* since 1959. (Initially there were 24 numbers, two each month, but as the profits of the supplement were considerable, and the huge print-runs — these oscillated between fifteen and twenty thousand copies [KM EKLA f. 283:848, p. 283] — were always sold out, in 1958 the number was increased to 36, i. e. three, and next year already to 52, i. e. four numbers per month.) In 1959 Harald Rajamets (1924–2007), the future prolific translator of poetry from Ukrainian, Polish, Russian, German, English, Danish, Swedish, Lithuanian, and Italian, including Dante and Shakespeare, wrote his first letter to Otto Samma saying: "[t]he idea of "the library" or a series is so right and good, and so simple that one has just to wonder why it wasn't put into practice earlier <...> Every issue is like a birthday present: you know it will come but cannot guess what exactly it will be" [KM EKLA f. 283:845, p. 90]. As the incoming letters in the archives testify, the readers welcomed *The Library* for its "versatile selection of texts of high artistic value" [Ibid., p. 197], regretting only that it was difficult to obtain a copy, especially outside the capital city.

---

out already. Lembe Hiedel [Hiedel: 184–185] has guessed that with Drabkina the reason could have been her references to Lenin's syphilis in his final years, and with Miller his mention of the venality the US Communist Party that had worked for the interests of the Soviet Union.



### The Content of the Publication

The geographical scope of *The Library* was indeed wide: the share of Russian literature in 1957–72 is about 20%, including 97 titles (from among the 526 titles representing 59 different literatures). In statistics Russian literature, grouped under the umbrella of Soviet literatures, was complemented by 73 Estonian titles — throughout the 15 years there were annually a few Estonian originals — as well as by examples of Latvian (10), Ukrainian (6), Lithuanian (4), Belorussian (1), Armenian (1 title, translated from Russian), Georgian (1), Moldavian (1), and Uzbek (1 title via Russian) literatures. Much of what could be presented as “Soviet literature” is still difficult to label as such: the second issue of the 1958 *Library* reprinted the short stories of Anton Hansen Tammsaare (1878–1940), the major Estonian prose author of the first half of the 20<sup>th</sup> century, that in 1958 were available only in pre-war periodicals kept in special departments of libraries that were inaccessible to the general public. Otto Samma, in his letter to Erik Teder, the compiler of the Tammsaare collection, advised the latter “not to look for the social bases” [KM EKLA f. 283:846, p. 231] of these stories in his introduction but limit himself to the bibliographical data (where the stories had been published first); he also suggested the inclusion of a 1934 short story entitled “Christmas Tree” [Ibid., p. 224] which was a feat in itself in the context that denied the presence of Christmas and tolerated the celebration of New Year’s Eve only.

The only representative of Uzbek literature in the series of the period is another good example of what made the supplement a performative site that managed to downplay the concept of Soviet literature as having any monolithic content at all: on the occasion of the Uzbekistan Decade<sup>10</sup> in Estonia in 1968 the poems of Ali-Shir Nava’i (1441–1501), a Central Asian poet, politician, linguist, mystic, and painter, the greatest author of Chagatai literature, were translated. So what could be and was presented as Soviet literature in the reports need not necessarily represent it in its expected sense.

While radio broadcasts celebrated the special difference of the Soviet people and its arts from that of the rest of the world, that sentiment does not come across while reading *The Library*. Even stronger than the historical instance of Ali-Shir Nava’i is perhaps the case of the 1967 issue that celebrated the 50<sup>th</sup> anniversary of the Great October Socialist Revolution. It was a collecti-

---

<sup>10</sup> In the Soviet Union a decade was understood as lasting ten days, not ten years; these decades for every republic in every republic were a regular thing.

on *How the Kurgans<sup>11</sup> Are Born*, described in the subtitle as “short stories from early Soviet literature”. The collection includes texts written immediately after the October Revolution and during the following Civil War, and most of them are set on the backdrop of the atrocities of these years. The title-story, the *Kurgan* one by Vsevolod Ivanov, written in 1923, is about how a remote Siberian village tries to get rid of the corpses of the soldiers of the Kolchak army after they melt in spring when the villagers heap them into an open-pit mine and cover them with soil. Before that there is a long discussion on whose task it is to bury the enemies of the revolution, if at all. Reading the collection now it is easy not to realize that the issue (№ 44) came out in November but at the time of its publication it was impossible to forget the anniversary of the revolution, and imagining a person walking in streets decorated with red banners and portraits of Lenin, going to a kiosk, and buying a copy of *Loomingu Raamatukogu* helps us see how the established meaning of the Soviet symbols is complicated by this issue.

The manuscript of the scandalous collection initially had 50 more pages. Glavlit banned the inclusion of seven stories by Alexander Arosev (1890–1938) because his work was still banned in the Soviet Union. Otto Samma wrote to Anti Kidron, the translator of the short stories, that although Valeri Bezzubov, the compiler of the collection, had had a book published in the German Democratic Republic, the censors found Arosev still in the list of banned authors within the Soviet Union. So his stories had to be removed from the collection (and the translator was paid only fifty per cent of his royalties) [KM EKLA f. 283:852, p. 103]. The logic for excluding only Arosev is difficult to guess<sup>12</sup> as he was not the only author in the selection who had been executed in the years of the Great Purge of the Stalinist regime: the publication of Isaac Babel and Boris Pilnyak was authorized. Samma informed Arosev’s translator that steps had been made to remove Arosev from the list of *personae non grata* and his translations would be published later. It never happened, however.

A translation that brought many letters to the editor-in-chief was *One Day in the Life of Ivan Denisovich* by Aleksandr Solzhenitsyn that came out in

---

<sup>11</sup> Kurgan — a circular burial mound constructed over a pit grave and often containing grave vessels, weapons, and the bodies of horses as well as a single human body; originally in use in the Russian steppes but later spreading into eastern, central, and northern Europe in the 3rd millennium B. C.

<sup>12</sup> Lembe Hiedel in her memoirs evocatively describes the sporadic and inconsistent character of the censorial practices: everything depended on individual persons and interpersonal relations, ideological zeal was a rare phenomenon and most of the censors were just administrators earning their daily bread in as decent a way as possible.

April 1963 after its publication in *Новый мир* in November 1962. Readers expressed their gratitude [KM EKLA f. 283:849, p. 244] and trusted to Samma their own experiences in forced labour camps. The initial translation was by Lennart Meri (the future president of Estonia after it regained its independence). Samma must have had doubts about the quality of the translation as he wrote a letter to Enn Sarv (1921–2008), his schoolmate in the Tallinn Jakob Westholm Secondary School in the 1930s who in 1947–53 had served his sentence in Vorkuta for having been a member of the National Committee of the Republic of Estonia that in 1944 had made desperate attempts to avoid Estonia’s occupation. Eight years older than Meri (who had also been deported with his parents), Sarv’s feel of the jargon of the labour camps was assumed to be better than that of his younger colleague who, before Solzhenitsyn, had translated John Osborne’s *Look Back in Anger* (1959), Graham Greene’s *Our Man in Havana* (1961), and Marcel Aymé’s *La tête des autres* (1962) for *The Library*. (Sarv had translated Paul Guimard’s *Rue du Havre*, 1959, and Pierre Gamarra’s short stories, 1961 for *The Library*). For some reason Samma calls Lennart Meri “an unknown translator” [KM EKLA f. 283:848, p. 3] and asks Sarv to review his work. The edited and commented manuscript of the translation [KM EKLA f. 283:858] is an informative document about the high literary standards of the editorial board: Sarv has not only suggested alternative translational solutions but also added twenty pages of his comments, his major concern being that the register differences of the characters and the colloquial lexicon of the narrator (not a part of the active vocabulary of Solzhenitsyn but a representation of what he had observed and heard in the labour camp) were not reflected in the Estonian version. Sarv suggests that a few Russisms (calques like *davai* but also less familiar and specifically Gulag ones like *santšast* — from *санчасть* — that was explained in the footnotes) could be left in the translation; he also thought that the Estonian swear word *kurat* (devil/damn) has to be introduced in the text even if it is absent in the original because “the nickname of Estonians in the camps was *күраты*” [Ibid., p. 306]; and he advises the use of a dialect version of Estonian to differentiate the Ukrainians of the eastern and western part of the country that has been highlighted in the story. On Sarv’s request the publication of *Ivan Denisovich* was postponed in order to achieve an oral quality that would conform with the wish expressed in Solzhenitsyn’s letter [KM EKLA f. 283:849, p. 273] to Samma that “the translation has to convey first and foremost the rhythm of the text”. When *One Day in the Life of Ivan Denisovich* was published in numbers 11/12 of 1963, there were two translators on the title page — Lennart Meri and Enn Sarv —

and from the correspondence between Samma and Sarv it can be deduced that a third person identified as M. K. from Tõravere (in southern Estonia where language use considerably deviates from the literary standard) had edited the semi-dialectal parts of the dialogue.

As it has been stated above, the first staff of *The Library* published 526 titles, 101 of them from Russian (direct and indirect translations). The next most frequent source language was English with 85 titles representing American (40), English (33), Irish (4), Australian (2), Indian (2), Canadian (1), Scottish (1), Jamaican (1), and Welsh (1) literatures. English is followed by translations from German (51), French (37), Finnish (25), Czech (18), Swedish (16), Polish (15), Hungarian (12), Norwegian (11), Spanish (8), Italian (7), Danish (6), Icelandic (5), Slovak (4), Serbo-Croatian (4), Dutch (3), Rumanian (2), Hindi (2), Indonesian (2), and Turkish (2) languages; Japanese, Persian, Yiddish, New Greek, and even Esperanto are represented once.

The plurality of languages and cultures was the initial guideline in the work of *The Library*. As a regular reader of literary magazines from the Soviet Union and the German Democratic Republic (*Orientalische Literaturzeitung*)<sup>13</sup>, Samma was familiar with the available titles and as soon as the series had been launched, he contacted people who were competent in languages rare in Estonia. He wrote to Uku Masing (1909–85), a theologian and poet, who had distanced himself from any active participation in the public life, and asked him to translate from Arabic; he contacted Ülo Sirk (1935–2011), a geologist and later a researcher at the Institute of Oriental Studies in Moscow for a possible translation from the Indonesian language; he wrote to Leo Leesment (1902–86), a former Professor of Law at the University of Tartu, working now in the university library, who had some knowledge of Chinese; and he looked for translators for the Persian and the Hindi languages. These appeals to well-known polyglots were not welcomed enthusiastically as many of Samma's letters remained unanswered. Thus Lembe Hiedel was sent on a business trip to Tartu where most of them lived: Masing turned out to mistrust the newly launched official publication, Leesment confessed that he could translate from Chinese only with the help of a translation into Russian, and polyglots in general found themselves unqualified for literary translation [Hiedel: 164]. The formal principle of “covering the world geographically” was thus

---

<sup>13</sup> In early 1968, realizing the opportunities of the Khrushchevian Thaw, Ivo Iliste, an Estonian expatriate living in Finland, also gets *The Library* a subscription for *The Times Literary Supplement*, *La Quinzaine littéraire*, *The New York Review of Books*, and *Die Welt der Literatur* [KM EKLA f. 283:851, p. 45].

abandoned in favour of texts that would be meaningful in terms of content. It was *The Library* that first translated François Mauriac<sup>14</sup> (*Le Nœud de vipères*, 1959), Bertolt Brecht (*Kalendergeschichten*, 1959), William Faulkner (a selection of short stories, 1965), Albert Camus (*La Peste*, 1963; *L'Étranger*, 1966; *Le Mythe de Sisyphe*, 1972), and other writers widely discussed in international literary periodicals but unavailable at the time in Estonian. In addition *The Library* took to publishing translations like those of Mahatma Gandhi's *The World Is Tired of Hate* (1969), James D. Watson's *The Double Helix* (1970), Laurence J. Peter's and Raymond Hull's *The Peter Principle* (1972), or Hans Jürgen Eysenck's *Know Your Own I. Q.* (1972), i. e. non-fiction that served as a means of general education.

In the initial years *The Library* translated many texts about the Second World War, the trauma all its readers shared, ensuring that the selected translations did not only reflect the Soviet perspective. In 1958 Valeria Villandi translated twelve profoundly bitter short stories of Heinrich Böll from his collection *Wanderer, kommst du nach Spa...* the material of which stems from Böll's wartime experience in the German army and takes the readers to Eastern Europe with his protagonists. The 1966 volume included *The Manila Rope*, a novel by the Finnish author Veijo Meri (translated by Harald Lepik) that is set in the Winter War between Finland and the Soviet Union. Meri's *Rope* is basically a dark comedy à la Jaroslav Hašek's *The Good Soldier Švejk* that heaps absurd episodes that highlight the pointlessness of military service for the recruits. In Estonia, however, recalling the possibility of resistance to the Soviets was a strong statement. Indeed, the local Glavlit office had initially suspended the publication on the pretext that the 20<sup>th</sup> anniversary of the end of the Second World War cannot be recalled with a text that looks at the war from the opposite side (the edited translation had been ready for publication in 1965 already). The editorial board was asked to convene its panel to evaluate the decision. The panel met on April 9, 1965 finding no fault in the political orientation of the novel that ridicules the follies of military service irrespective of the side. Some members of the panel, though, raised questions about the artistic quality of Meri's novel [KM EKLA f. 283:850, p. 76]. From Lembe Hiedel's memoirs we learn that Samma had negotiated the issue in Moscow [Hiedel: 194] and as the Russian translation had been scheduled there, he returned

---

<sup>14</sup> Mauriac was recommended to the Administration of Book Trade (*Raamatukaubanduse valitsus*) as "one of the greatest critical realists of contemporary literature who unmasks the avariciousness of the bourgeoisie" [KM EKLA f. 283:846, p. 103].

with an oral message that made the local Glavlit wardens of ideology withdraw their initial verdict.

The correspondences of the period as well as the minutes of the meetings of the editorial board are often much more outspoken than the published paratexts of translations. A typical example comes from 1964. In August Jaan Kaplinski (born in 1941), a poet and a translator, sent Otto Samma a letter, recommending Andrzej Szczypiorski's novel *Czas przeszły* (The Past, 1961) that he had read. The action there takes place in Poland and in Western Germany of 1944 and 1959. Having described the basics of the plot and characterized the style, Kaplinski concludes:

The idea one is left with is that you have to get rid of your past and live in the present. Both the winners and the losers are equally unhappy and dissatisfied. They can be atoned only by forgetting their past, by giving up the idea of one's heroic history. The whole of Europe is guilty, and the whole of Europe is suffering and waiting for redemption. There is a slight Christian (Catholic) undercurrent there. At least for me. Anyhow, the book is definitely good, meaningful for Estonians and perhaps also necessary because we cannot discuss our history like that and write about it freely [KM EKLA f. 283:849, p. 115].

The introduction to the translation published as numbers 19/21 in 1965 is somewhat different: it is short, less than a dozen lines, and specifies Andrzej Szczypiorski's subject matter as "Nazi crimes during the previous war and the beautiful life of the criminals in contemporary Western Germany where the public opinion more or less openly tries to whitewash Gestapo and dreams of an "iron hand" that could be "even wooden as long as it is strong"". On the one hand, the introduction is liturgical and bolstered by the official Soviet verbiage, on the other hand, it seems that more is meant than has been stated explicitly (like in the episode in Lembe Hiedel's memoirs). Kaplinski's letter does make a point, while the metaphor of an iron hand that is actually wooden is an example of the veiled hints that was so characteristic of the Soviet public discourse.

The prefaces to both originals and translations were dominantly laconic and minimal. In his letter to Leo Metsar (1924–2010), a novelist and translator of Czech and Slovak literatures who had written a longer introduction to the collection of the legendary Estonian poet Artur Alliksaar (1923–66), Samma says:

The manuscript is now in Glavlit but without any preface — or rather the preface was replaced by dry biographical facts. We liked your preface as a text and we had no objections to your ideas but — these ideas and your elation would not have fa-

voured the publication of the collection, on the contrary. Our counsellors (members of the panel) also advised us to leave it out [KM EKLA f. 283:852, p. 74].

When reading the issues as they were published one can easily develop the impression that censorship was functioning perfectly as the writers had nothing to say apart from what they were authorized to say, to paraphrase Pierre Bourdieu [Bourdieu: 38]. But when reading the correspondence in the archives, it is evident that the censorial practices had not been internalized as a part of the identity of the writers. In many cases the writer of a preface has asked his editor directly about the possible options: in October 1971 Jaak Rähesoo (born 1941) was writing the afterword to his translation of William Faulkner's *As I Lay Dying*, relying on the books received from Hellar Grabbi (an Estonian journalist, literary critic, and publisher born in 1929 in Tallinn, living in the United States) and Vootele Vaska (an Estonian expatriate born in 1930 in Tallinn, teaching philosophy at Waynesburg University, Pennsylvania), and he would have wanted to acknowledge their contribution. "I owe my Faulkner library to Hellar Grabbi and Vootele Vaska," he wrote to Edvin Hiedel, his editor, "but my tiny civil courage has been squinting for some time worrying that perhaps it would be resented. If you find my doubts exaggerated (you know more about these things), please add the sentence" [KM EKLA f. 283:538, p. 536]. On the margin of the letter Otto Samma has advised Edvin Hiedel: "Better not". Analogous questions/answers are numerous in the archived correspondence, and they must have been much more numerous in oral communications.

The skills of the editors in manipulating the censorial regulations improved over years<sup>15</sup> as the bibliography of *The Library* reveals. In 1958, the second year of its history, eight of the 36 issues were translated from Russian (two collections of recent short stories, Aleksei Tolstoi, Ilf and Petrov, Anatoli Kuznetsov in two volumes, Mihhail Koltsov, and a translation of the Bulgarian author Svetoslav Minkov from Russian), four were Estonian originals, four were translations from German (Leonhard Frank, Gottfried Keller, Bernhard Seeger, Heinrich Böll), three from English (Graham Greene, John Galsworthy, G. K. Chesterton), two from French (Jean Bruller/Vercors, Antoine de Saint-Exupéry), two from Czech (Jaroslav Hašek and Pavel Kohout), and one from

---

<sup>15</sup> Lembe Hiedel [Hiedel: 198–199] lists several tactical manoeuvres used to get the Glavlit permission. One of them was to submit most risky texts in summer when most of the officials were on vacation and those working were not so keen to be there; another was to hand in problematic manuscripts in bunches so that the censors who had underlined undesirable places in the first manuscript and found even stronger deviations in the next text returned to the first one and rubbed out their initial deletions as relatively mild; the periodical had to be regular and several numbers could not be banned at the same time.

Spanish (Vicente Blasco Ibáñez), Italian (Domenico Rea), Indonesian (a collection of short-stories), Latvian (Miervald Birze), Swedish (Artur Lundkvist), Hungarian (Zsigmond Móricz), Norwegian (Øivind Bolstad), Danish (Martin Andersen Nexø), Finnish (Heikki Lounaja), and Polish (Jerzy Andrzejewski) literatures. Ten years later, in 1968, there were four translations from Russian (Arkady and Boris Strugatsky, Mikhail Bulgakov, Nikolai Evdokimov, and Ali-Shir Nava'i), six Estonian authors, many of them problematic from the perspective of their ideological loyalty: Arvo Valton (born 1935, had been deported with his parents and returned Estonian in 1954), Artur Alliksaar (spent several years in Siberian prison camps and remained blacklisted for the rest of his life), Marie Under (an Estonian poet living in Sweden who celebrated her 85<sup>th</sup> birthday in 1968), Karl August Hindrey (1875–1947; an author notorious for his anti-Soviet mentality), etc. Four texts were translated from English (Saul Bellow, Truman Capote, Agatha Christie, and Bel Kaufman), three from French (Jean Anouilh, Georges Perec, and Maurice Druon), three from Swedish (Elmer Diktonius, Willy Kyrklund, and Pär Lagerkvist), two from German (Friedrich Dürrenmatt, Hans Erich Nossack), and one from Finnish (Volter Kilpi), Czech (Václav Havel), Hungarian (Sándor Somogyi Tóth), Latvian (Jānis Ezeriņš), Slovak (Jaroslava Blažková), Esperanto (Jean Ribillard), and Turkish (Aziz Nesin) literatures. In a letter to Agatha Christie it has been said that “we did not publish detective stories here from 1940 to 1967. But we took the first step in 1967 and published an Estonian translation of Rex Stout’s *The Doorbell Rang*” [KM EKLA f. 283:852, p. 35]; however, we find Gilbert Keith Chesterton’s Father Brown stories in the 1958 selection already, presented then to the Administration of Book Trade as “short stories that ridicule the practices of British aristocracy and bourgeoisie” [KM EKLA f. 283:864, p. 133].

### The Agents of the Publication

Who was the editor-in-chief who was by and large responsible for the content of the library? Otto Samma (1912–78) had studied law at the University of Tartu in 1931–37 and worked after that as a solicitor in a law office in Tallinn. After the Soviet coup in 1940 he was invited to work for the Foreign Ministry of the Estonian SSR by Nigol Andresen (1899–1985), the newly appointed Minister of Foreign Affairs, who had been Samma’s teacher of literature in the Jakob Westholm Secondary School and remembered his brilliant pupil who had shared his Socialist ideals. In July 1940 Samma joined the Communist



Party. He was, however, expelled from it in November of the same year by the Moscow headquarters because in his application he had not mentioned his Socialist history, had not stated that in his university years he had been a member of the voluntary Estonian Defence League, dismissed in June 1940, and a member of the Estonian Students' Society, dismissed likewise<sup>16</sup>. As the war broke out, Samma was mobilized into the Red Army and his service there also included translating and editing for the Estonian Radio in Moscow. After the war he worked as a translator for the Estonian News Agency, then as an editor of the Estonian cultural weekly *Sirp ja Vasar*, until the Writers' Union appointed him the editor-in-chief of *The Library* in 1957.

So, he had impressive ideological capital in various social fields, including personal acquaintance with Johannes Käbin, the then and long-term first Secretary of the Estonian CP who had been Samma's colleague in Moscow broadcasting Estonian radio programmes. Samma, with his large and sophisticated network of relations and contacts, was in a position to deliver everything needed for publication, including signatures on applications and manuscripts, and so he could manipulate the publicly endorsed procedures and institutions.

A key concept in the then administration was 'responsibility' that Lembe Hiedel [Hiedel: 178] has described as meaning the opposite of its traditional sense: all the editors and censorial officers were first and foremost answerable to someone higher in the power hierarchy but not responsible for the quality of their work and the independence of their judgements. Instead of accountability, the procedures of publication were irresponsible. This does not seem to be the case with Samma and Lembe and Edvin Hiedel, his two major editors, who primarily paid lip service to the ritual newspeak of the Glavlit recommendations. Hiedel in her memoirs [Ibid.: 160] has suggested that Samma was partly burdened by a sense of guilt characteristic to some left-wing intellectuals who had initially welcomed the Sovietization of Estonia. Whatever his motives, it is evident that *The Library* avoided publishing hollow literature, and therefore the series was perceived as a means of intellectual independence under any political circumstances. Hiedel [Ibid.: 168] has compared their work in *The Library* with a scene from Bulat Okudzhava's *The Diletantte's Progress*

---

<sup>16</sup> Initially, in 1940, there were people in Estonia who thought that the political turn that promised to cultivate a culture that is socialist in content and national in form was not a bad thing at all. Leo Metsar, the classmate of Artur Alliksaar, who in 1968 wrote the above-mentioned unpublished introduction to Alliksaar's posthumous collection of poetry has said there "Calls to create a culture socialist in content and national in form impressed us as reasonable" [KM EKLA f. 390:30:23, p. 7]. It was only after the mass deportations of 1941 that the Estonian left-wing intellectuals started to abhor the situation.

she had translated: it was like a hectic fleeing over a wasteland towards a wider horizon, spurred by a vague goal somewhere, and by the clear awareness that somewhere in the red dust cloud, keeping its reasonable distance, was a sharp eye following them, sure of its aims, handcuffs in hand, but for some reason keeping its distance, delaying their detention. “Wasn’t it because their progress after their prey was also a progress towards a wider horizon that can never leave anyone unaffected,” she asks, answering “I want to hope so”.

Samma had been expelled from the Communist Party and he never joined it again. Neither were Lembe and Edvin Hiedel party members. Lembe Hiedel (1926–2004) had joined the editorial board in May 1958 [KM EKLA f. 283:846, p. 175]. The daughter of Julius Oengo, the poet and editor of a children’s magazine in the 1920s–1930s who had been arrested by the Soviets in August 1941 and probably murdered a few days later, she had studied Estonian language and literature at the University of Tartu in 1946–49, was expelled for political reasons, and continued her studies a few years later, graduating in 1953. Before *The Library* she had worked as a teacher of Estonian and as a librarian. Edvin Hiedel (1930–2012), her husband, who had also studied Estonian philology at Tartu and was a translator from the Hungarian language, was working as an editor in the only publishing house of fiction in Estonia when invited to join the editorial board in April 1964 [KM EKLA f. 283:850, p. 218]. The personal engagement of these people in matters different from those of the ruling ideology is self-evident like their determination to keep open wider horizons for their readers deprived of the possibility to travel abroad or read literature published outside the Soviet Union.

### The Partiality of Records

So far the narration has basically been a heroic history, the perspective prevalent in both oral and written records. This also misled me for days from the solid facts of the past. As I was entering the bibliography of *The Library* into Excel to get the statistics of the publication profile, I stopped at the name of the translator of Alexander Grin’s *Red Sails* (Алые паруса), a fairy tale from 1922, published in *The Library* in 1959/22. The translator has been identified as O. Mamers. By now one recognizes O. Mamers as the pen-name of Oskar Öpik (1895–1974), an Estonian diplomat and ambassador to various countries during the Republic of Estonia who, however, has not been known as a translator. Fluent in several languages, he could have translated, in principle: Öpik was educated in early 20<sup>th</sup>-century Tallinn in the years of imperial Russification

when the only possible language of instruction was Russian; also, he had attended the Alexander Military Law Academy in Moscow, so Russian must have been available to him at an advanced level. He came from a family with literary interests: his brother had run a publishing house, *Varrak*, in the 1920s and his sister, Anna Öpik, was the translator of *The Odyssey* from Greek into Estonian in 1938. Could it be that Oskar Öpik had translated Grin, it was not published, Samma got hold of the manuscript, and decided to use it? But Oskar Öpik/O. Mamers, the last Estonian ambassador to France in 1940, had returned to Estonia in 1942, and was the Minister of Justice under the German occupation. He definitely was a person whose services were unwelcome in the Soviet Union. How did Samma dare to use his name? Was it another case of “baiting the system”, taking a conscious risk to test “the loopholes” of Glavlit that — if it passed — would provide its own peculiar satisfaction as Enn Soosaar (1937–2010), a translator from those years, has described the motives of the endeavours then [Soosaar: 155]? How could I possibly know? There was no correspondence about the translation in the archives. Of course not. But neither has Oskar Öpik referred to his translation(s) in his memoirs published under the pseudonym of O(skar) Mamers<sup>17</sup>.

In 1983 *Red Sails*, the same translation in a slightly edited form was reissued by *Eesti Raamat* (Estonian Book), as the Estonian State Press had been renamed by then, and this time the translation was attributed to Kyra Sipyaghina. According to the national bibliography, she is the author of 40 translations from Russian, many of them romantic fairy-tales like that of Grin (Konstantin Ushinsky, Fyodor Knorre, Samuil Marshak, Nikolay Dubov, Sergey Aksakov), but also a translator of bulky volumes of essays by Vissarion Belinsky and Maxim Gorky in cooperation with Otto Samma in 1948–63. Yet, Kyra Sipyaghina is unknown among the writers or public figures in Estonia. Why? And why such a provocative a pen-name if she was the translator?

Rein Pöder, the editor of the 1983 edition, had no doubts that Kyra Sipyaghina had been the translator of *Red Sails* because he had worked with her while reissuing the book. O. Mamers, he said, never existed, it was just a pen-name for Sipyaghina; for him it had no associations with Oskar Öpik.

I took out the type of records I seldom use from the archives of the Literary Museum, namely the clean copy sent to the printing house. There, on its final page, was the name and the address of the translator who got the royalties:

---

<sup>17</sup> Two volumes were published in Stockholm — *Kahe sõja vahel* (Between the Two Wars) 1957 and *Häda võidetuule* (Distress to the Beaten) 1958 — and the third one posthumously in Estonia — *Teekond, mis algas Kundas* (The Progress that Began in Kunda) 1997.

Otto Alexandrovich<sup>18</sup> Mamers, born in 1929, living in Tehnika Street 14–10, Tallinn.

At the genealogical website Geni I found that indeed such a person has existed and contacted his son Tarmo Mamers. He had never heard of his deceased father's translation activities, but knew that he had lived in Tehnika Street and worked for some time in the printing house that *The Library* used.

I returned to Geni to have a look at the family tree of Otto Samma and contacted his grandson from his first marriage who knew that Kyra Sipyaghina had been Samma's second wife (in Geni her identity has been classified as private and Samma's public biographies relate him only to (his third wife) Olga Samma (1912–85), a translator from Russian into Estonian, who Samma had married in 1970). Kyra Sipyaghina, the long-term director of the Estonian Telegraph Agency (a branch of the all-Union TASS) where Samma worked in 1944–52, has not been included in any primary reference book of Estonian cultural history.

The name of O. Mamers must have been without any awareness of its pen-name counterpart. This time Samma was definitely not attempting to include persons from the Estonian diaspora among his translators (as he had done on other occasions). These were just my expectations that made me, for a few days, to consider the option of a bragging feat from Samma who has been portrayed as a man enjoying his reputation as a smart counterforce to the Glavlit restrictions [Hiedel: 176, 199] not only in Tallinn but also in Moscow. Why he needed a pseudonym for the translation of Kyra Sipyaghina cannot be guessed: her previous translations had come out in 1958/1 where she had been one of the translators of recent Soviet short stories, and in 1958/17, 1958/18 where she was the sole translator of Anatoly Kuznetsov's *Sequel to a Legend* (her next translations were published in 1963 (Fyodor Knorre) and 1974 (Vladimir Lidin; and that is all she translated for the series). There seems to have been no need to hide paying royalties to a narrow circle of friends of the editor-in-chief because there was almost a year between Sipyaghina's previous translation and that of *Red Sails*. Sirje Olesk [Olesk: 15] — without thematizing the identity of O. Mamers — has explained the publication of *Red Sails* (that was not in the initial plan of the year that Samma regularly sent to the Administration of Book Trade) by the fact that Uku Masing did not present the translation of a selection of short-stories by Mahmud Teimur that had been commissioned from him and so the editorial board had to find a replacement outside the initial titles.

---

<sup>18</sup> The Soviet administration introduced the Russian habit of including patronymic names in legal and identity documents in Estonia.

This blundering research episode recalls what Gideon Toury [Toury: 65] has reminded us of the empirical research in the history of translation: extra-textual sources are “partial and biased, and should therefore be treated with every possible circumspection; all the more so since — emanating as they do from interested parties — they are likely to lean toward propaganda and persuasion”.

## Conclusion

Personal relations as a part of a wider social capital are a vital source of making sense of history. Rein Raud in his *Meaning in Action* distinguishes between “ideological and symbolic capitals that the artists and art officials needed, and, of course, money”, and “the relational capital”, “which may sometimes have been of the most decisive importance” [Raud: 153]. He writes:

Each successful Eastern-bloc citizen had to be involved in a large and sophisticated net of relations, acquaintances, schoolmates, neighbours, etc., who were in a position to deliver to each other everything needed in life, from signatures on applications or theatre tickets to scarce consumer good or introductions to competent dentists. One could also acquire relational capital by marital ties and sexual relations. It differs from ‘social capital’, defined by Robert Putnam as ‘features of social organization, such as trust, norms, and networks, that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated action’ in that relational capital substitutes and bypasses publicly endorsed procedures and institutions and produces corruption, or at least what would count as corruption in a democratic society [Ibid.:154].

The borderline between the ‘social’ and the ‘relational’ is fuzzy, and not only in the historical Eastern bloc but in the practices of any society. The reasons and motives for bypassing the administrative standards are numerous, and while reading the archival material, or published translations, one cannot always reach them easily. In order to produce a chapter in the history of translation one does not have to work in the Register Office to find out the family histories of all agents of translation. Depending on the circumstances, this could almost be interpreted as an indiscretion. I have recorded my confusion only because it also made me realize that when we attempt to integrate archived documents into a chain of cause and effect, there is a danger that the result can be a larger-than-life myth that leaves us with the impression that everything that is too extensive, complicated, or vague for research can be comfortably synthesized into a coherent discourse. However, not all values present in a culture are

thematized in its discursive regimes; archives are seldom transparent; they are full of mute gestures that are difficult to comprehend in retrospect.

## References

ERA = Eesti Rahvusarhiiv (Estonian National Archives)

KMEKLA = Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv (Estonian Literary Museum)

Bourdieu: *Bourdieu, P.* Language and Symbolic Power /Transl. by G. Raymond, M. Adamson. Harvard University Press, 1991.

Hiedel: *Hiedel, L.* “Loomingu Raamatukogu” alaeast. Märkmeid ja meenutusi aastaist 1957–1973 // “Loomingu Raamatukogu” viiskümmend aastat. SA Kultuurileht, 2006 [1995].

Kuuli: *Kuuli, O.* Sula ja hallad Eesti NSV-s. Kultuuripoliitikast aastail 1953–1969. Tallinn, 2002.

Möldre: *Möldre, A.* Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis aastail 1940–2000. TLÜ Kirjastus, 2005.

Olesk: *Olesk, S.* “Loomingu Raamatukogu” algusaegadest järelejäänud paberite valgusel // Palat nr. 6. Kaks artiklit “Loomingu Raamatukogu” ajaloost. SA Kultuurileht, 2017.

Raud: *Raud, R.* Meaning in Action. Outline of an Integral Theory of Culture. Polity, 2016.

Schmuul: *Schmuul, J.* Eesti nõukogude kirjanduse olukorrast // Looming. 1953. Nr 12.

Sherry: *Sherry, S.* Discourses of Regulation and Resistance. Censoring Translation in the Stalin and Khrushchev Era Soviet Union. Edinburgh University Press, 2015.

Soosaar: *Soosaar, E.* Nuripidine aastasada: ajast, isast ja teistest. Eesti Keele Sihtasutus, 2008.

Toury: *Toury, G.* Descriptive Translation Studies and Beyond. John Benjamins, 1995.

Yurchak: *Yurchak, A.* Everything Was Forever, Until It Was No More. The Last Soviet Generation. Princeton University Press, 2006.

## BETWEEN ACCURACY AND FREEDOM: ON COMPENSATION STRATEGIES IN ESTONIAN LITERARY TRANSLATION OF THE 1960s

MARIA-KRISTIINA LOTMAN, ELIN SÜTISTE

### Introduction

The Second World War and the ensuing Soviet occupation marked a dramatic rupture in the Estonian translation culture: there occurred an abrupt change in the overall cultural orientation, and the situation was aggravated by the fact that a significant number of our elite translators had emigrated. The first years of occupation saw translations being made mostly from the Russian language, with some translations being made also from other literatures of the Soviet Union. With the onset of the 1950s, translation norms started growing stricter, translation quality improved. This was partly due to the fact that those acknowledged writers who were still left in Estonia took to translating: in the conditions where the freedom of creation had been suffocated, translating remained the main possibility to continue with literary activity. Taking advantage of Khrushchevian thaw, the development of literary translation was fast and by the 1960s the translation scene was looking already fairly rich, even flourishing considering the overall context. In the year 1964 alone Molière's *Don Juan*, Pushkin's *Eugene Onegin*, Golding's *Lord of the Flies*, Steinbeck's *Grapes of Wrath*, Hugo's *The Man Who Laughs*, Dostoevsky's *Poor Folk*, Dickens's *Oliver Twist*, Feuchtwanger's *Simone*, Harper Lee's *To Kill a Mockingbird* and many other important texts were published, among others also *The Anthology of Greek Literature*. In this paper, our aim is to observe whether any and if so, which forms of compensation have been used by Estonian translators in some of the translations published in 1964.

### Concept of compensation in the West

In the West, among the first ones to include the notion of compensation in their discussion of translation procedures were Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet in their *Stylistique comparée du français et de l'anglais* [1958, amended ed. 1975; English translation by Juan C. Sager and M.-J. Harmel, John Benjamins 1995]. In the glossary of that book, the authors explain the term “compensation” as follows:

Compensation can <...> be defined as the technique which maintains the tonality of the whole text by introducing, as a stylistic variant in another place of the text, the element which could not be rendered at the same place by the same means. This technique permits the conservation of the integrity of the text while leaving the translator complete freedom in producing the translation [Vinay, Darbelnet: 199]<sup>1</sup>.

Although Vinay and Darbelnet do not go much into further detail with their explanation of compensation, their definition contains several points that are elaborated further in later definitions. Apparent in their definition is the idea that the locations of a translation loss and its compensation do not have to coincide, and they also emphasize the integral, holistic dimension of the whole text as the “playground” for compensation.

In the 1960s and the 1970s, according to *Routledge Encyclopedia of Translation Studies* [Harvey: 38], the notions “*compensation*, *compensatory* and *compensate for* were used loosely as semi-technical terms in the literature” and it was not until the late 1980s that translation scholars began to define compensation “more rigorously”. In 1990, Basil Hatim and Ian Mason describe the technique of compensation still in rather general terms as “signalling an equivalent value but at a different juncture in the text” [Hatim, Mason: 202]. Later on in the 1990s, the main authors to write on the topic of compensation are Sándor Hervej, Ian Higgins and Keith Harvey, who propose already more elaborate views on the phenomenon.

Hervej and Higgins define compensation as

a technique of mitigating translation loss: where any conventional translation (however literal or free) would entail an unacceptable translation loss, this loss is mitigated by deliberately introducing a less unacceptable one, important

---

<sup>1</sup> “Nous pouvons donc définir la compensation comme un procédé stylistique qui vise à garder la tonalité de l'ensemble en introduisant, par un détour stylistique, la note qui n'a pu être rendue par les mêmes moyens et au même endroit. Ce procédé permet de conserver la tonalité tout en laissant au traducteur une certaine liberté de manœuvre, essentielle, croyons-nous, à une élaboration parfaite de la traduction” [Vinay, Darbelnet: 189].



ST [= source text] features being approximated in the TT [= target text] through means other than those used in the ST [Hervey, Higgins: 268].

For methodological reasons, four aspects of compensation have been distinguished: **compensation in kind**, where one type of textual effect in the ST is made up for by another type in the TT; **compensation in place**, where the loss of a particular effect found at a given place in the ST is compensated for by creating a corresponding effect at an earlier or later place in the TT; **compensation by merging**, where ST features are condensed in the TT; and **compensation by splitting**, where the meaning of a ST element is expanded into a longer stretch of the TT [Hervey, Higgins, Loughridge: 23–26].

Most scholars agree that in relation to the location of loss in the ST, compensation can occur in different parts of the TT. For instance, Hatim and Mason posit that “It matters less where exactly the impression is conveyed than that it is conveyed to an equivalent extent” [Hatim, Mason: 202]. Keith Harvey, attempting to combine different possibilities of compensation location, proposes “a descriptive framework which identifies three points on a spectrum of possibilities. Thus compensation can be **parallel, contiguous** or **displaced** in relation to a given instance of loss” [Harvey: 39].

Since in displaced compensation a lost ST element or effect can be “dispersed or displaced to a different part” of the TT [Ibid.: 40], it can be problematic to distinguish displaced compensation from ‘generalized’ or ‘global compensation’. Generalized compensation is an overall strategy to naturalize the text as a whole for the target readers, with the stylistic devices used to shape the TT not being tied to specific instances of ST loss [Ibid.: 39]. For instance, Edoardo Crisafulli distinguishes between “generalized compensation” as an example of “generalized features of the target text” and “displaced and contiguous compensation” as examples of “interventions located at specific parts of the target text” [Crisafulli: 39]. Crisafulli defines generalized compensation as “a form of patterned behaviour in the target text (does the translator consistently make intensifying lexical additions throughout the target text, e. g. in order to compensate for the loss of the original rhetorical strength?)” [Ibid.: 38]. In a similar vein, Kinga Klauďy distinguishes between ‘local compensation’ and ‘global compensation’. Local compensation “involves the rendering of individual, vernacular or class speech patterns with means available in the target language, e. g., regional expressions, slang words or distorted grammar” [Klauďy: 163]. Global compensation strategies, which “operate at a more general level and pertain to broad questions of textual style and the choice between suppressing or emphasizing specific aspects of the source text” strive to com-

pensate for the secondary nature of the TT in general: “the translator takes advantage of the opportunities offered by the target language and uses striking and idiomatic expressions thus compensating the reader for having had to use less than ideal solutions in other areas” [Klaudy: 163].

It is quite generally agreed today that compensation is a “question of choice versus constraint” [Hervey, Higgins: 44]. In other words, the scope of compensation does not extend to “unavoidable, conventional grammatical transposition” or other more or less standard renderings of ST items: “compensation is not forced on the translator by the constraints of TL structures — it is a conscious, careful, free, one-off choice” [Ibid.: 268]. According to Harvey, few writers today “would include paraphrasing or explanatory translation as compensatory techniques. They would also be less likely to include mismatches between source and target cultures within the range of translation problems that compensation is able to deal with” [Harvey: 38]. The aspect of choice (vs. constraint) in compensation is emphasized as the manifestation of the translator’s creativity and expertise in decision-making: “while compensation exercises the translator’s ingenuity, the effort it requires should not be wasted on textually unimportant features” [Hervey, Higgins, Loughridge: 26] but should be reserved for the most warranted transfers.

### Compensation method in the Soviet theory

The notion of compensation entered the Estonian translational discourse through the **writings of Soviet translation theoreticians**. That the Estonian translators, writers, editors and critics were in general familiar with the developments of translation theory beyond the borders of Estonia, foremost with theory developed in the Soviet Union but also in other, mostly so-called Soviet bloc countries, can be evidenced by writings such as Aleksander Kurtna’s 1960 review of the first volume of *Мастерство перевода* (Mastery of Translation) published in 1959 [Kurtna: 120–122]. Kurtna’s attitude expressed in his review (and shared, presumably, also by his colleagues) is clear: he notes that the volume’s authors share a similar view on artistic translation, according to which “the theory of artistic translation has to be built foremost as a theory of literary creation which has the same rights as the other fields and genres of Soviet literature” [Ibid.: 121].

In Russian, the topic of compensation is already present in Andrei Fedorov’s 1941 book *О художественном переводе* (On Artistic Translation), in which the author discusses the syntactical means of compensating —

in translation — for dialectal and other lexical forms that in the source text convey the impression of unliterary and ungrammatical speech [Федоров 1941: 134 ff.]. The first scholar to provide a definition of compensation appears to have been Yakov Retsker. In his article *О закономерных соответствиях при переводе на родной язык* (On regular correspondences in translation into native tongue) published in 1950 Retsker dedicates a small subchapter to compensation, explaining it as follows:

The essence of compensation consists in replacing the stylistic devices of the original with other stylistic devices in translation or in using the same kind of devices but in a different sentence. Compensation is most often needed in order to convey wordplay and punning, common language and *skaz*, contaminated speech of literary personae and other similar devices of language stylisation [Рецкер: 180]<sup>2</sup>.

As we can see from Retsker's quote, he allows for both local and displaced compensation as well as for compensation either with similar or different stylistic devices. The main focus of his explanation as well as examples that follow the definition is on listing the possible areas of application for compensation method.

After Retsker, many leading Soviet translation scholars, among them Andrei Fedorov in his following books, Leonid Barkhudarov, Aleksandr Schweizer, Vilen Komissarov and others have written on the issue of compensation.

In his 1953 book *Введение в теорию перевода* (Introduction to the Theory of Translation), Andrei Fedorov foregrounds the holistic dimension of text that provides the general framework and point of reference in the usage of compensation method:

In the practice of translation there occur many cases where one or another element of the original is either not recreated at all or is substituted with a formally distant element, or where one or another word or sequence of words etc. is omitted altogether; however, the impossibility of transferring an isolated element, an isolated feature of the original by no means contradicts the principle of translatability, which applies to the entire text as a whole. <...> From here follows the possibility of substitutions and compensation in the system of the whole <...>; this way, the loss of an isolated element without an organizing role, may not be perceived on the background of the complete whole; it as if dissolves in this whole

---

<sup>2</sup> «Сущность компенсации состоит в замене стилистических средств подлинника другими стилистическими средствами в переводе или же в применении тех же средств, только в другом предложении. К компенсации чаще всего приходится прибегать для передачи игры слов и каламбуров, просторечия и сказа, загрязненной речи персонажей литературного произведения и тому подобных приемов стилизации языка».

or else it is substituted with other elements which sometimes are not provided in the original [Федоров 1953: 108–109].

Fedorov's approach implies the possibility of compensation on various levels and in different places within a text, provided that the whole of the text is kept in view by the translator.

According to the scholars Retsker, Komissarov and Tarkhov,

the device of compensation is one of several kinds of contextual substitutions. The main differentiating characteristic of such contextual substitutions <...> lies in the fact that here substitution often takes place in a completely different location than in the source text. In such case substitution is employed not only or foremost for transferring some particular figure or stylistic device but rather to retain the general stylistic colouring of the original. If this goal is achieved in the translation, then concrete losses of figurative means or devices will be unessential from the viewpoint of the adequacy of translation as a whole [Комиссаров, Рецкер, Тархов: 150–151].

Also these theorists emphasize that the translator should not lose sight of the whole text when tackling the problem of untranslatability with the help of compensation. One additional aspect that they address is the transfer of ungrammatical speech, employed as a distinguishing trait of a literary character: it is particularly this sphere of translation that benefits from the strategy of compensation most often [Ibid.: 149].

The holistic dimension of text, but with special attention to poetic text is foregrounded also in Isaak Revzin's treatment of compensation in relation to the notion of poetic model:

Transfer of poetic model is related to the most important principle of translation theory, that is, the principle of compensation: what due to factual difference between languages is lost in one place, must be made up for by amplification in another place, related to the former within the framework of one poetic model. It is also necessary to clearly understand that the poetic meaning of a fragment cannot be mechanically reproduced because, firstly, it depends on the language <...>, and secondly, appears as latent in the language and becomes activated only in a poetic text<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> «С передачей поэтической модели связан важнейший принцип теории перевода, а именно принцип компенсации: то, что по условиям фактической разницы языков теряется в одном месте, должно восполняться усилением в другом месте, связанном с данным в пределах одной поэтической модели. Необходимо также отчетливо понимать, что поэтический смысл отрывка не поддается механическому воспроизведению потому, что, во-первых, он зависит от языка <...>, а во-вторых, в самом языке является латентным и активируется лишь в поэтическом произведении» [Ревзин: 244].

Vilen Komissarov is one of the scholars who has returned to the problem of compensation repeatedly. In his 1990 book he gives a fairly general yet comprehensive definition of compensation: according to this definition, compensation is “a way of translating where the content elements that are lost in translating a SL unit in the original, are transferred in the target text by some other means and not necessarily in the same place of the text as the original” [Комиссаров: 247].

### Contemporary Russian approach to compensation

Among the latest most elaborated typologies of compensation we bring out one proposed by the Russian scholar Maria Yakovleva that is also the basis for our own classification of compensation types in the present paper. Building on Vilen Komissarov’s definition of compensation, Yakovleva regards compensation

as a way of translating where the content elements, pragmatic meanings as well as stylistic nuances whose identic transfer is impossible and that can consequently become lost in translation, are transferred in the target text by elements of a different order and not necessarily in the same place of the text as the original [Яковлева: 10]<sup>4</sup>.

Yakovleva offers her own classification of kinds of compensation. She makes use of two pairs of parameters the first of which could be termed “topological” and the latter “stratificational”, coming up with the following kind of classification:

- I “topological” compensation: compensation is
- a) “contact” compensation when it takes place at the same place in the TT as the untranslatable element in the ST<sup>5</sup>
  - b) “distance” compensation when it occurs at a distance from the place of the untranslatable element in the ST
- II “stratificational” compensation: compensation is
- a) horizontal when ST elements are compensated for with elements of the same level, e. g. phonetics are compensated for with phonetics, lexis with lexis etc.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> «Компенсация — это способ перевода, при котором элементы смысла, прагматические значения, а также стилистические нюансы, тождественная передача которых невозможна, а, следовательно, утрачиваемые при переводе, передаются в тексте перевода элементами другого порядка, причем необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале» [Яковлева: 10].

<sup>5</sup> Контактная компенсация — «когда потери компенсируются в том же самом месте текста ПЯ, что и в тексте ИЯ»; дистантная компенсация — «когда потери компенсируются в ином месте текста ПЯ, чем в тексте ИЯ» [Яковлева: 11].

- b) vertical when ST elements are compensated for with elements of another level, e. g. lexis with syntax, phonetics with lexis, syntax with lexis etc.<sup>7</sup>

Both contact and distance compensation can occur both on the horizontal and vertical level.

### Views on compensation method in Estonia in the 1960s

In Estonian translation reviews, we encounter the notion of “compensation method” foremost in the 1960s. Compensation is usually explained in fairly general terms, with the main principle of compensation — making up for a translation loss — being explained with the help of examples. Otto Samma, chairman of the translators’ section of the Estonian Union of Writers and one of the main Estonian ideologues of translation in the 1950s–1960s, writes in 1962:

Each literary translator has to make use of [compensation] method in one way or another, or otherwise the translation will remain much poorer than the original. <...> In order to retain the vividness of the original manner of expression, words have to be varied and rarer expressions used — bearing in mind the spirit of the original as a whole — often not at all where the author has done that in his own language, but in a different place. Perhaps this is where the mastery of the translator appears most explicitly, as it is exactly here that the danger of one’s own creation, falling out of style and ruining the original rhythm is the greatest [Samma: 391–392].

Here, Samma seems to have mostly “generalized compensation” in mind, as he speaks about recreating the overall impression created by a text. The means to reach the desired outcome include what we can call “distance compensation” as Samma explicitly mentions that compensation can occur at a place different from where the untranslatable element is found in the source text.

---

<sup>6</sup> Cf.: «Горизонтальная компенсация — это такая компенсация, при которой элементы смысла, прагматические значения, а также стилистические нюансы, выражающиеся в тексте оригинала единицами одного уровня и утрачиваемые при переводе, воссоздаются в тексте перевода единицами того же уровня: то есть фонетика передается фонетикой (на письме это делается графически), лексика — лексикой и т. д.» [Яковлева: 10].

<sup>7</sup> Cf.: «Вертикальная компенсация — это такая компенсация, при которой элементы смысла, прагматические значения, а также стилистические нюансы, выражающиеся в тексте оригинала единицами одного уровня и утрачиваемые при переводе, воссоздаются в тексте перевода единицами другого уровня: то есть лексика передается синтаксисом, фонетика — лексикой, синтаксис — лексикой и т. д.» [Ibid.: 10–11].

An article “A glance at the problems of literary translation” written by a prolific translator Henrik Sepamaa includes a subchapter titled “What is compensation method?” [Sepamaa: 69–72]. Sepamaa explains the method, saying that where it is impossible to use a stylistically marked word at the same place as in the original, the translator can compensate for the loss by introducing another stylistically charged word at a different place. Sepamaa adds that compensation is certainly not limited only to synonyms, but is applicable to the entire lexicon and every other aspect of artistic translation (syntax, figures of speech, phraseologisms, proverbs, stylistic devices etc.) [Ibid.: 70]. He concludes that “This way, prose translation becomes significantly closer to poetry translation and, in the right hands, can yield very good results. If compensation method is not used, many a translation — some more, some less — will inevitably be duller and poorer than the original” [Ibid.: 70–71].

In comparison with Samma’s account, Sepamaa concretizes the scope of compensation method by listing aspects of literary translation where compensation can be used. On the other hand, he does not explicitly point to the possibility of using compensation across different textual strata, that is, the possibility of compensating for, e. g., syntax with stylistic devices or proverbs with figures of speech etc. (vertical compensation). Both Sepamaa and Samma underline the translator’s creativity as well as responsibility in the process of compensation. Sepamaa notes that the use of compensation method makes the translation of prose quite similar to poetry translation. Samma, on the other hand, mentions also the risks accompanying the creativity and freedom of the compensation method: if the translator goes overboard with compensating, it may not produce the outcome desired.

### Methods and material

Our study is based on the typology proposed by Yakovleva and we distinguish between horizontal and vertical compensation, where, in turn, the cases of contact and distance compensations can be identified.

For our analysis, we selected some texts from different genres and epochs:

- tragedy in verse *Oedipus the King* by Sophocles (translated by Ain Kaalep and Ülo Torpats [Sophocles 1964: 169–221]),
- comedy in verse *Knights* by Aristophanes (translated by Uku Masing [Aristophanes 1964: 294–351]),
- comedy in verse *Plutus* or *Wealth* by Aristophanes (translated by Ain Kaalep and Ülo Torpats [Aristophanes 1964a: 417–423]),

- a speech by Demosthenes, titled *On the Crown* (translated by Richard Kleis [Demosthenes 1964: 451–452]),
- the first book of Herodotus's *Historiae* (translated by Richard Kleis [Herodotus 1964: 424–427]),
- novel in verse *Eugene Onegin* by Alexander Pushkin (translated by Betti Alver [Puškin]),
- novel *To Kill a Mockingbird* by Harper Lee (translated by Valda Raud [Lee 1964]),
- novel *Lord of the Flies* by William Golding (translated by Henno Rajandi [Golding 1964]).

## Horizontal compensation in Estonian literary translation

### Horizontal contact compensation

Horizontal contact compensation, where elements of one level are substituted with elements of the same level, is fairly frequent in the material analysed. It can take place on phonological, morphological, lexical as well as syntactical level. For instance, we can observe compensation of sound repetitions in the following excerpt from Aristophanes' comedy *Plutus* [Aristophanes (490–492)]:

ὅτι **τοὺς** χρηστοὺς τῶν ἀνθρώπων εὖ πράττειν ἐστὶ δίκαιον,  
**τοὺς** δὲ πονηροὺς καὶ **τοὺς** ἀθέους τούτων τάναντία δῆπου.  
 τοῦτ' **οὖν** ἡμεῖς ἐπιθυμοῦντες μόλις ἤβρομεν, ὥστε γενέσθαι

et õiglane on, kui laitmatu mees saab küllust maitsta ja õnne,  
 aga see, kel on õel ning **nurjatu** hing, peab tundma ka saatuse **kurjust**.  
 Kui ihkame nüüd seda sihti me kõik, siis saada kätte ta võime.

The rich instrumentation achieved with the homeoteleuton (in the majority of cases, of accusative case endings) of the original is lost. Yet, in a way, it is compensated with the sound repetition 'nurjatu-kurjust', which here functions as horizontal compensation.

Another example from the beginning of *Oedipus the King* [Sophocles (4–7)]:

πόλις δ' ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει,  
 ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων:  
 ἀγῶ δικαιῶν μὴ παρ' ἀγγέλων, τέκνα,  
 ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ' ἐλήλυθα,

Ka linn on ümberringi ohvrisuitsu täis  
 ning **kuulen kaebelaule**, rasket ohkamist.



Ei pea ma õigeks **saada saadikute** käest  
ses asjas **selgust, lapsed, sestap** siin te nüüd

For translators, the main focus has been on conveying the quantitative verse meter, which has been rendered in translation in detail: both the metrical scheme and the system of distribution of heavy and light syllables are conveyed, since the Estonian prosodic system makes it possible to follow these rules. Neither assonance nor homeoteleuton are conveyed in translation, but nevertheless we cannot say that there is no instrumentation in translation: the assonance is replaced with (a bit weaker) k-alliteration, but also with s-alliteration, and an effect of its own is created with *figura etymologica* ‘saada saadikute’.

Compensations also take place on the morphological level. For example, we can observe how Uku Masing has found different linguistic means in Estonian for rendering the untranslatable morphological repetitions in Aristophanes’ *Knights* [157]:

ὦ μακάρι’ ὦ πλούσιε,                      Oh **väärikas**, oh **noosikas**

In Estonian, vocative case does not have special morphological forms, but Uku Masing has nevertheless found a way to emphasize the parallel structures of the source text also in Estonian by choosing adjectives with the same ending: ‘väärikas’ and ‘noosikas’.

Compensation on the lexical level can be seen in the next example [Aristophanes, *Knights* (111–112)]:

ταῦτ’. ἀτὰρ τοῦ **δαίμονος**                      Just nii! Ma kardan siiski, et  
δέδοιχ’ ὅπως μὴ τεύξομαι **κακοδαίμονος**.    see **haldjas** seekord mulle üsna **halbjas** on.

The source text’s wordplay based on rhyming words with the same root (‘δαίμων’, god, spirit — ‘κακοδαίμων’, evil spirit) has been rendered in Estonian with a wordplay based on rhyming words of different roots (‘haldjas’, elf — ‘halbjas’, evilish). In other words, it is still a device of the lexical level, but in translation the rhyme has been construed differently than in the source text.

In drama translations we can observe several cases of compensation of stylistic devices related to lexis. Thus, in Sophocles’ *Oedipus the King* [5–7] an essentially superfluous lexical element ἄλλων has been left out in the translation, but is compensated for with a slightly pleonastic ‘mind ennast’ (“me myself”):

οἰμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων:  
ἀγῶ δικαιῶν μὴ παρ’ ἀγγέλων, τέκνα,  
**ἄλλων** ἀκούειν αὐτὸς ὧδ’ ἐλήλυθα,                      Ei pea ma õigeks saada saadikute käest  
ses asjas selgust, lapsed, sestap siin te nüüd  
mind näete **ennast**, teie kuulsat Oidipust

Lexical means are compensated also in prose. For example, in Henno Rajandi's translation of William Golding's novel *The Lord of the Flies* [Golding] the boy Piggy's ungrammatical vernacular speech characterized by contractions, idiomatic expressions, double negatives etc. is conveyed in Estonian by equally lexical means, but mostly by using conversational adjectives:

You **can't half swim**.

Sa oled **kõva** ujuja.

You **can't half swim well**.

Sa ujud **hiiglama** hästi.

Also in the translation of Harper Lee's novel *To Kill a Mockingbird* [Lee], the translator has compensated for the substandard lexis of vernacular dialogue using lexical means. For instance, the speech of the character Walter, featuring among other things incorrect grammar and contractions, has been rendered in Estonian by the translator Valda Raud by using dialectal and archaic word forms as well as idioms:

'Reckon I have,' said Walter. 'Almost died first year I come to school and **et them** pecans — folks say he **pizened 'em** and put **'em** over on the school side of the fence.'

"Või veel," vastas Walter. "Pidin **mineva**-aasta peaaegu **vedru välja viskama**, kui tulin kooli ja neid **pähklaid** sõin — rahvas räägib, et ta **kihvtitab** nad ära ja viskab siis kooli aeda."

We can also observe compensation of syntactic parallelisms on the syntactic level. For example, two participles of the same form have been compensated with two parallel interrogative sentences. This is simultaneously complemented by compensation of sound effect: end rhyme is compensated with anaphora, e. g. Sophocles *Oedipus the King* [11]:

δείσαντες ἢ στέρξαντες;

**Kas hirm? Kas mingi palve?**

### Horizontal distance compensation

Horizontal distance compensation occurs even more often than contact compensation and especially frequent is the compensation of sound instrumentation. Expectedly, such cases are prevalent in poetry and drama, that is, in genres in which the expression plane is often dominant. The most frequent instances of such compensation are related to alliteration, see, for example, the following verses by Aristophanes [*Plutus* (501–502)]:

τίς ἂν οὐχ ἡγοῖτ' εἶναι μανίαν κακοδαιμονίαν τ' ἔτι μᾶλλον;  
πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν ἀνθρώπων ὄντες πλουτοῦσι πονηροί,

siis kellele küll ei näiks see kõik päris narr ning totrast tottram!  
 Ülirohke ju on nende õelate arv, kes mõnusalt suplevad kullas.

The source text's p-alliteration in the line 502 is compensated in translation with several various alliterations and sound repetitions in the line 501.

The same device is used also in Betti Alver's translation of *Eugene Onegin* where we can observe on numerous occasions how an alliteration in the source text that is not rendered in the translation is compensated for by using distance compensation strategy<sup>8</sup>. See, for example [Пушкин (1.1)]:

Но, Боже мой, какая скука	Kui tüütu aga, minu jumal,
С большим сидеть и день, и ночь,	on päevalgel, küünlakumal,
Не отходя ни шагу прочь!	kui jalagagi toast ei saa,
Какое низкое коварство	vaest kannatajat valvata,
Полуживого забавлять,	Kui alatu on peita pilku
Ему подушки поправлять,	ja lõbustada nagu last
Печально подносить лекарство,	poosurnud vana sugulast,
	tal murelikult anda tilku,

But we can also observe distance compensation of other sound repetitions. For instance, in the following example [Sophocles, *Oedipus the King* (87–88)], the sound effect of endings is lost in translation, however, it is compensated with sound repetitions in verse beginnings (**hea teate ... heaks**). The sound link in the source text is more effective, however, when we take a look at a longer section from the translation, we can see that it is compensated with several sound repetitions in the beginning of other lines as well (not present in the original):

ἔσθλήν: λέγω γὰρ καὶ τὰ δύσφορ', εἰ τύχοι  
 κατ' ὀρθὸν ἐξελθόντα, πάντ' ἂν εὐτυχεῖν.

**Pea teada** saame. Ta on kuuldekaugusel.  
 Oo vürst, Menoikeuse poeg, mu hõimlane,  
 mis **teate** tood siis meile taevavõimu käest?  
**Hea teate.** Ütlen teile: kõik, mis nüüd on ränk,  
**heaks** pöörab, kui me õigel viisil toimime.

The following stanza from *Eugene Onegin* contains several anaphoras as well as a polysyndetic construction.

<b>Он</b> слушал Ленского с улыбкой.	Poeedi hoogne kõnerikkus
Поэта пылкий разговор,	ja pilgus lõkendav ekstaas,

<sup>8</sup> In addition to alliteration, the phonic instrumentation is further amplified by syllable repetitions (e. g. *какая скука*, *päevalgel*).

<b>И</b> ум, еще в сужденьях зыбкой,	liig noore aru ennatlikkus —
<b>И</b> вечно вдохновенный взор, —	Oneginit kõik üllatas.
<b>Онегину</b> всё было ново;	Ta naeratas vaid endamisi:
<b>Он</b> охлаждающее слово	miks pilgata? Eks tasapidi
В устах старался удержать	aeg temale kõik selgeks teeb;
<b>И</b> думал: глупо мне мешать	<b>kord kurvalt kokku variseb</b>
Его минутному блаженству;	ta täiuslik maailmahoone.
<b>И</b> без меня пора придет;	Küll tuleb tund, küll tuleb tund!
Пускай покамест он живет	Las enne aga õnneund
Да верит мира совершенству;	ja imekõrgeid illusioone
Простим горячке юных лет	toob <b>noorusele nooruslik</b>
<b>И</b> юный жар и юный бред.	<b>pateetiline palavik.</b>

In the translation, neither the anaphora nor the polysyndeton have been rendered. These are compensated by alliterations and a polyptoton (noorusele nooruslik), but besides that in several subsequent stanzas we can also observe the attempt to compensate for the source text anaphoras left unrendered. This is especially evident in the stanza 2.19 where the translation introduces an anaphora ('nii') which does not exist in the source text:

В любви считаюсь инвалидом,	Onegin kuulas noort poeti
Онегин слушал с важным видом,	täis väarikust ja graviteeti
Как, сердца исповедь любя,	kui teadlik armuinvalidiid.
Поэт высказывал себя;	<b>Nii</b> tunderikkalt kõlasid
Свою доверчивую совесть	poeedi sõnad ja ta ohe,
Он простодушно обнажал.	<b>nii</b> siiras oli kõnetoon,
Евгений без труда узнал	<b>nii</b> südamlilik ta konfessioon,
Его любви младую повесть,	et kuulajale selgus kohe
Обильный чувствами рассказ,	see noore armu imehell
Давно не новыми для нас.	ja väga tuttavlik novell.

Also syntactic constructions, especially parallelisms can undergo distance compensation. See, for example, verses from *Eugene Onegin* [1.3]:

Служив <b>отлично-благородно</b> ,	Tal isa mundrit ausalt kandis,
Долгами жил его отец,	kuid <b>võlgu sõi</b> ja <b>võlgu jõi</b>

Here, the parallel adverbs in the source text have not been rendered in the target text, but they are compensated in the next line with a different syntactical parallelism that is further enhanced by internal rhyme within the verse. A similar example is offered in Uku Masing's translation of Aristophanes' *Knights* [239]:

ἀπολείσθον ἀποθανείσθον ᾧ μιαιωνάτω.

Surm võt**ku teid**, katk söög**u teid**, **te** lontrused!

The repetition of endings resulting from syntactical parallelism has been rendered also in the translation, but the anaphorical repetition of word beginnings is lost. On the other hand, this has been compensated with repetition placed two lines before: *mis asja läbi viib astja*.

Distance compensation of rhythmic devices is fairly common in poetry and drama translations. This includes rhythmic accelerations and decelerations, enjambements, caesuras and clausulaic effects. For example, in Sophocles' *Oedipus the King* [20] the rhythmic acceleration has not been in the same place in the translation, but it has been moved to the next line, where there is no resolution, that is, two light syllables in heavy positions (see, for example, [West: 20]) in the source text:

ἀγοραῖσι θακεῖ πρόσ τε Παλλάδος      Muu rahvas väljakuil on seismas Pallase  
ναοῖς, ἐπ' Ἴσμηνοῦ τε μαντεῖα σποδῶ.      **kahe** templi ning Paiani ohvrikolde ees.

Such compensations can take place also in the translation of prose texts. For instance, we can observe this in a speech by Demosthenes [Demosthenes], written in accordance with the rules of ancient rhetoric: it contains rhythmic clauses, euphonic effects and figures of speech, which also contribute to the euphonic structure of the text. The cretic clausula which is an element of Athenian prose rhythm with the rhythm  $-U-$  (often doubled; see, for example, [Walton: 75]), can be seen already in the opening sentence of the speech:

πρῶτον μὲν, ὧ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῖς θεοῖς εὐχομαι πᾶσι καὶ πάσαις.

Kõigepealt, Ateena kodanikud, palun ma kõiki jumalaid ja jumalatare.

Yet, if we take a look at the translation by Richard Kleis, we see that the rhythmic clause is not conveyed, there is no cretic rhythm here. However, when we take a look at the next sentences, we can see even two phrases, which according to different prosodic systems can be interpreted as cretic clauses:

'kirja pand/ud ka see' (quantitative cretic)  
'peate mind / kuulama' (accentual cretic).

### Vertical compensation in Estonian literary translation

In the texts discussed in this paper, also vertical compensation is quite common and can be observed on different linguistic levels and in relation to various poetic devices. It must be noted that vertical contact compensation is much more frequent than vertical distance compensation.

## Vertical contact compensation

Our material contains both such cases where purely phonic sound play is compensated with lexical or syntactical repetition as well as cases where syntactic devices are compensated with alliterations and other sound plays.

As an example, let us take a look at the following verses from *Eugene Onegin* [1.2]:

<b>Родился</b> на берегах Невы,	Onegin — <b>kelle kätki</b> kiikund
Где, может быть, <b>родился</b> вы	<b>kord</b> Neeva kaldal teiegi
Или блистали, мой читатель;	ehk olete seal <b>kunagi</b>

The polyptoton occurring in the source text has been compensated with k-alliteration, which connects the same verse lines.

Even more interesting is an example from the translation of *Oedipus the King* [22–24]:

πόλις γάρ, ὥσπερ <b>καὐτὸς</b> εἰσορᾶς, ἄγαν	<b>Su</b> enda <b>silm</b> ju linna näeb, mis <b>nõr</b> kenud
ἤδη σαλεύει <b>κάνα</b> κουφίσαι κάρα	on <b>nõnda</b> , et ta <b>suudab</b> vaevalt tõsta pead
βυθῶν ἔτ' οὐχ οἶα τε φοινίου σάλου,	neist <b>surmalaineist</b> , mis ta verre vaotavad.

Crisis that ties together different words, amalgamating the final and initial vowels (see, for example, [West: 13]) and that are almost impossible to render in Estonian, have been compensated with greater coherence on the syntactic level (i. e., a syntactic device is used instead of a prosodic one): both hypotactic and paratactic clauses have been transferred to the main clause, e. g. the first subordinate clause (ὥσπερ καὐτὸς εἰσορᾶς — as you see yourself) has been transformed into subject of the main clause (su enda silm — your own eye). The coherence is further enhanced by the use of alliterations.

Next we will refer to an example that has been discussed already by Olga Semjonova in her analysis of Betti Alver's translation of *Eugene Onegin* [Semjonova: 653]. See *Eugene Onegin* [7.3]:

Или, не радуясь возврату	Võib-olla <b>keset</b> laanelaotust
Погибших осенью листов,	uut lehestikku nähes puul
Мы помним горькую утрату,	<b>me</b> mäletame <b>kallist</b> kaotust?
Внимая новый шум лесов;	Või <b>masendab</b> <b>meid</b> kevadkuul
Или с природой оживленной	kurb teadmine kesk öiesära,
Сближаем думою смущенной	et aeg, mis lennuli viib ära
Мы увяданье наших лет,	me nooruse ja eluhoo —
Которым возрождения нет?	neid enam tagasi ei too?

Instead of the original structure consisting of two clauses which both contain four verses, the translator has opted for two sentences of three verses and five

verses. In other words, she has changed the initially symmetrical structure into two segments of unequal length. However, the original structural unity has been compensated with alliterations connecting the two segments.

The next example is also from *Eugene Onegin* [6.32] and has also been paid attention to by Olga Semjonova:

Всё в нем <b>и тихо и темно</b> ;	<b>Üht</b> alati on kinni uks.
Замолкло навсегда оно.	<b>Üht</b> ikka jäävad suletuks

Here the original parallelism (и тихо, и темно) has been replaced by anaphoras (üht-, üht-) at the beginning of lines.

Sometimes, untranslatable morphological devices have been compensated with lexical solutions. In the following verse from Aristophanes' *Knights* [304] the repetition of vocatives creates the consonance of endings:

ὦ <b>μ</b> ιαρὲ καὶ βδελυρὲ κρᾶκτα	Huist sa jäle, huist sa rüve
------------------------------------	------------------------------

In Estonian the consonance has been achieved with the repetition of pronoun 'sa' and noun 'huist' that is not present in the source text.

Also rhythmic devices can be compensated with elements of other levels. See, e. g. Aristophanes' *Knights* [68–70]:

εἰ μή μ' **ἀνα**πείσεται, **ἀπο**θανεῖσθε τήμερον.  
 ἡμεῖς δὲ **δίδο**μεν: εἰ δὲ μή, πατούμενοι  
**ὑπὸ** τοῦ γέροντος ὀκταπλάσιον χέζομεν.

kes mulle tõrgub vastu, kõngeb enne ööd!  
**Me** peame andma, **muidu taat taob makku meid**  
 niimoodi, et meil kaheksa korda lendab pask.

While in the source text agitation is expressed by means of rhythmic accelerations, in the translation it is conveyed by alliterating word pairs and the accumulation of occluding consonants.

We can observe vertical contact compensation where elements of one level are compensated with elements of other levels also in translations of prose. See, e. g. *To Kill a Mockingbird*:

' <b>There's some folks</b> who don't eat like us,' she whispered fiercely, 'but <b>you ain't called on</b> to contradict 'em at the table when they don't.'	" <b>Egas</b> kõik meie <b>moodu</b> söö," sosistas ta raevuselt, "ja sinu asi <b>põle</b> seda külalisele nina alla <b>hõeruda</b> ."
--	--

The ST's substandard grammar that syntactically manifests in the incongruence of subject and verb (there's some folks, you ain't called on) is compensated for in the TT by dialectal word forms (egas, moodu, põle, hõeruda).

In the following sentence of the same dialogue we can see a reverse compensation where the ST's vernacular lexis with its contracted forms is compensated for with unusual syntax ('aru said?' instead of 'said aru?') in the translation:

That boy's <b>yo' comp'ny</b> and if he wants to eat up the table-cloth you let him, you hear?	"See poiss on sinul külas, ja kui ta tahab, söögu vôi laudlina ära, sina aga ära sega, <b>aru said?</b> "
--	---

In *Lord of the Flies* we can see an instance of compensating for the ST colloquial idiomatic expression and incorrect grammar syntactically, by splitting the sentence into two in order to avoid a complex (and hence too literary) sentence in Estonian (in addition to using also a colloquial adjective 'hiiglama' which would count as horizontal contact compensation):

<b>"It wasn't half dangerous with all them tree trunks falling."</b>	"See oli hiiglama kardetav. Puud aina murdusid."
--	--

### Vertical distance compensation

Although for a translator, vertical distance compensation may be a practical way of solving translation problems, it is difficult for a researcher to univocally identify vertical distance compensation, since an element that can be marked as a possible vertical distance compensation in the TT could in fact be a compensation of some other ST problem than the one assumed by the researcher. Furthermore, on the grounds that vertical distance compensation by definition appears far from the corresponding ST problem and takes place on a different textual level than the ST element, it is easy to confound vertical distance compensation with generalized compensation.

In our material we could find few examples of vertical distance compensation. One of these can be found in Uku Masing's translation of Aristophanes' *Knights* [51–55]. In this example the source text vocabulary alludes to the behaviour of dogs, but the word 'dog' itself is not mentioned by Aristophanes. In the translation the vocabulary used does not hint at dog behaviour, but Masing has compensated for this by lexically explicating the notion of 'dog' a couple of lines before.

ἐπρίατο δοῦλον, βυρσοδέψην Παφλαγόνα,  
πανουργότατον καὶ διαβολώτατόν τινα.  
οὗτος καταγνοὺς τοῦ γέροντος τοὺς τρόπους,  
ὁ βυρσοπαφλαγών, ὑποπεσῶν τὸν δεσπότην  
ἦκαλλ' ἐθώπευ' ἐκολάκευ' ἐξηπάτα



Ta orja ostnud on, paflagoonist parkali,  
kes koerte koer on, lõuapuu mis lõuapuu.  
Pea taipu saanud taadi viisidest ja moest,  
see pargipaflagoon on maoli härra ees  
ja kallitab ja meelitab ja ohjes peab.

In Aristophanes' *Plutus* [590–592], a line uttered by the character Chremylus contains a phonic-syntactic device (*figura etymologica*) that has not been rendered in the target text. However, in the translation, the second line of Poverty's (Vaesus in Estonian) speech compensates for the untranslated rhetorical figure by introducing a phonic-lexical wordplay, which does not exist in the source text:

Πενία  
πολὸν τῆς Πενίας πρᾶγμα' αἴσχιον ζητεῖς αὐτῶ περιάψαι,  
εἰ πλούσιος ὦν ἀνελεύθερός ἐσθ' οὕτωσι καὶ φιλοκερδῆς.  
Χρεμύλος  
ἀλλὰ σέ γ' ὁ Ζεὺς ἐξολέσειεν κοτίνου **στεφάνῳ στεφανώσας**.

Vaesus  
Tahad väita sa nüüd, et hullemad vead temal veel kui vaesus on küljes —  
kui rikkaks pead teda, siis näib nii, et **ihnur** ja **ahnur** ta ka on!  
Chremylos  
Et sootuks sind ära hukkaks Zeus ning õlipuuoksaga pärgaks!

In prose translations, we can find instances of vertical distance compensation in cases where elements of a language level are not conveyed or compensated in the corresponding part of the TT but elsewhere and with different means. For example, in the translation of *Lord of the Flies* the often ungrammatical syntax characterising the vernacular of Piggy is as a rule not conveyed but is compensated for with the amplification of colloquial lexis elsewhere. See, e. g.:

“They’re all dead,” said Piggy, “**an’** this is an island. **Nobody don’t know** we’re here. **Your dad don’t know, nobody don’t know--**”

“Nad on kõik surnud,” ütles Põssa, “ja see on saar. Keegi ei tea, et me oleme siin. Sinu isa ka ei tea, keegi ei tea...”

In the above example, Piggy’s utterance featuring double negatives and incongruence of subject and verb is translated in Estonian with standard grammar. However, Piggy’s manner of speech in Estonian is characterized foremost by colloquial lexis used in many of his utterances elsewhere. In the dialogue between Piggy and Ralph in the same scene, Piggy’s idiosyncratic speech is conveyed in Estonian by means of lexis (idiomatic expression and

colloquial adjectives) e. g. in utterances about half a page before and ca one page later the above example:

“I used to live with my auntie. She kept a sweet-shop. I used to get ever so many sweets. As many as I liked. When’ll your dad rescue us?”

“S’right. It’s a shell. I seen one like that before. On someone’s back wall. A conch he called it. He used to blow it and then his mum would come. It’s ever so valuable--”

“Ma elasin tädi juures. Tal on maiustustepood. Ma sain alati **hiiglamoel** kommi. Niipalju kui tahtsin. Millal su isa meid päästma tuleb?”

“Õige jah! Merekarp! Ma olen niisugust ennegi näinud. Ühel tuttaval poisil oli tagatoas lilleriüli peal. See pidi olema merekarp. Ta puhus seda vahel, siis oli ta mamba **kohe platsis**. Tead, see on **kole kallis** asi...”

On the other hand, as mentioned before, at times it may be difficult to distinguish distant compensation from generalized compensation (because it cannot be said for certain how far from the untranslatable element its compensation can take place in order to count as distance compensation). Thus it might be argued that the above example from the translation of *Lord of the Flies* is in fact an example of generalized compensation.

### Generalized compensation

But there can be found also other, much more definite examples of generalized compensation. As an illustration, Betti Alver’s translation of Pushkin’s *Eugene Onegin* is mentioned here. Alver, a “form virtuoso” [Annist: 1905], has been praised by many reviewers as being extraordinarily inventive in using also such resources of the Estonian language that are not employed even by the vast majority of those who write originally in Estonian. Without using the notion of ‘generalized compensation’, it is nevertheless evident that August Annist has described the essence of this technique in relation to Alver’s translation:

One of the greatest difficulties of poetry translation that especially tests the creative abilities of the translator, is the question how the often **inevitable** losses and dullness accompanying translation can be made up for with one’s own additions and amplification of vividness in the **same style** [as the original].

It is evident that also Betti Alver has aimed at such enhancement of expression. This is the primary reason for her abundant creation of linguistic neologisms, foremost the purely sonorous effects she cultivates (not necessarily the goal of reaching greater content adequacy) [Annist: 1907].

Alver has made use of forgotten and archaic words; she has also invented her own neologisms (e. g. ‘umbüksindus’), which nevertheless seem very natural and fitting in the context of this poem. In addition, she has applied verse instrumentation to intensify the emotional quality of translation (e. g. ‘*mutumedamal tusatunnil*’; this and the above example have been taken from Adams [Adams: 95]). For all these reasons, Alver has for a long time been regarded as the best Estonian translator of Pushkin and especially his *Eugene Onegin*, with her translation of the latter praised as exceeding in quality much of her contemporary original Estonian poetry.

### Translation losses without compensation

In the analysis we found a number of cases where the elements that were lost in translation had not been compensated for in the target text. In prose texts features such as rhetorical structure, syntactic idiosyncrasies or dialectal peculiarities can be left unrendered. For instance, Richard Kleis’s translation of Herodotus focuses on the content plane, while the most important features of Herodotus’s prose style — his Ionian dialect (which is one of the reasons he is sometimes called the prose Homer), simple paratactic syntax, distinctive polyptoton (one and the same root can occur in a whole passage in different forms and it is together with other devices one of his strategies of creating a coherent narrative) — have remained neither transferred nor compensated for in the translation.

Compare, for example, the next sections of his first book [Herodotus]:

(14)

29. κατεστραμμένων δὲ τούτων καὶ προσεπικτωμένου Κροΐσου Λυδοῖσι, **ἀπικνέονται** ἐς Σάρδις ἀκμαζούσας πλούτῳ ἄλλοι τε οἱ πάντες ἐκ τῆς Ἑλλάδος σοφισταί, οἱ τούτων τὸν χρόνον ἐτύγγανον ἐόντες, ὡς ἕκαστος αὐτῶν **ἀπικνέοιτο**, καὶ δὴ καὶ Σόλων ἀνὴρ Ἀθηναῖος, ὃς Ἀθηναίοισι νόμους κελεύσασι ποιήσας ἀπεδήμησε ἕτεα δέκα κατὰ θεωρίας πρόφασιν ἐκπλώσας, ἵνα δὴ μὴ τινα τῶν νόμων ἀναγκασθῆ, λύσαι τῶν ἔθετο.

[2] αὐτοὶ γὰρ οὐκ οἴοι τε ἦσαν αὐτὸ ποιῆσαι Ἀθηναῖοι: ὀρκίοισι γὰρ μεγάλοισι κατείχοντο δέκα ἕτεα χρῆσασθαι νόμοισι τοὺς ἄν σφι Σόλων θῆται.

30. αὐτῶν δὴ ὧν τούτων καὶ τῆς θεωρίας ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον **ἀπίκετο** παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροΐσον. **ἀπικόμενος** δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιλῆοισι ὑπὸ τοῦ Κροΐσου: μετὰ δὲ ἡμέρη τρίτη ἢ τετάρτη κελεύσαντος Κροΐσου τὸν Σόλωνα θεράποντες περιῆγον κατὰ τοὺς θησαυρούς, καὶ ἐπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὄλβια.

Here the word ‘ἀπικνέομαι’ (arrive at, reach in Ionian dialect) is repeated in different forms. Let us take a look at the translation.

29. Kui siis need rahvad olid alla heidetud ja Kroisos sel viisil Lüüdia riiki oli laien-  
danud, hakkasid Sardeses, mis oli oma võimsuse õitsengul, **käima** kõik tolleaegsed  
Hellase targad, nii kuidas kellelegi neist **sobis**; nende hulgas tuli ka ateenlane Solon,  
kes oli ateenlastele nende ülesandel koostanud seadused ja seejärel viibis kümme  
aastat reisidel, et teisi maid näha, nagu ta ütles, tegelikult aga selleks, et mitte olla  
sunnitud tühistama mõnda tema antud seadustest. Ateenlased ei saanud nimelt  
neid ise muuta, sest nad olid range vandega töötanud kasutada kümne aasta jooksul  
Soloni antud seadusi.

30. Niisiis sel põhjusel, aga ka teaduhimust ajendatuna reisile asunud, **saabus**  
Solon Egiptusse Amasise juurde ja siis ka Sardesesse Kroisose juurde. **Kohale jõud-**  
**nud**, võeti ta kuningalossis lahkesti vastu Kroisose poolt. Seejärel, kolmandal või  
neljandal päeval, juhtisid Kroisose käsul teenrid Solonit ringi mööda aardekamb-  
reid ja näitasid talle kogu rikkust ja toredust.

Hence, differently from the earlier examples, here the translator has focused on  
the content plane. As for the expression, he has conveyed the fluent prose style  
of Herodotus, but several distinctive features of the original have not been  
conveyed. The participle constructions in the original have been replaced with  
subordinate clauses, which results in a far more hypotactic text than the  
original. The translator also avoids the polyptoton which is so characteristic of  
Herodotus: every time the word 'ἀπικνέομαι' is translated, the translator has  
chosen a different word in Estonian; furthermore, he also disregards the  
dialectal flavour of the word.

Although poetry translators pay in general much more attention to the  
transfer of different textual levels and employ different compensation mecha-  
nisms in cases of untranslatability, sometimes their translations also display  
uncompensated losses. For example, see a fragment from *Eugene Onegin* [3.22]  
translated by Betti Alver:

Я знал красавиц недоступных,  
Холодных, чистых, как зима,  
**Неумолимых, неподкупных,**  
**Непостижимых** для ума;  
Дивился я их спеси модной,  
**Их** добродетели природной,  
**И**, признаюсь, от них бежал,  
**И**, мнится, с ужасом читал  
Над их бровями надпись ада:  
Оставь надежду навсегда.  
Внушать любовь для них беда,  
Пугать людей для них отрада.

Ma olen kogenud, kui ranged  
on õrnad armupõlgajad,  
**kes** külmalt nagu lumehanged  
ja jääkristallid säravad.  
Mul aga pole arusaamist  
nii kõrgi hoiakuga daamist,  
kel otsaeses frisuuri all  
on silt kui põrguvärvaval:  
*Sa jäta lootus igavesti!*  
Neil kõigil ainus rõõm ja lust  
on sisendada jahmatust.  
Te võisite ju seda **mesti**

БЫТЬ МОЖЕТ, на берегах Невы  
 ПОДОБНЫХ ДАМ ВИДАЛИ ВЫ.

moedaamised, mu lugeja,  
 vist Neevalinnas kohata.

The source text here contains an asyndeton (list of accusatives, resulting also in homeoteleuton), anaphoras, alliterations a. o. repetitions, but the few alliterations in the target text cannot render this ST instrumentation. Also, there is nothing analogous neither in the previous nor in the following stanzas.

In the translations of the novels we can also observe instances where elements of the ST are left uncompensated in the TT. For instance, in William Golding's *Lord of the Flies* the disease asthma of the boy nicknamed Piggy is constantly pronounced as 'ass-mar' by the other boys (in addition to their probable ignorance of the actual spelling of the disease, the pronunciation 'ass-mar' seems as a fitting if cruel reference to the fat boy Piggy's large bottom). However, in Henno Rajandi's translation asthma remains asthma (astma in Estonian) throughout the novel, without any deviation in its pronunciation by the other boys. Also, the collective name for the group of the little boys, 'littluns' as well as the name for the big boys, 'biguns' have not received marked counterparts in the translation: the littluns are called 'väiksed' (the little [ones]) and the biguns are called 'suured' (the big [ones]) or 'suuremad poisid' (the bigger boys) which are ordinary standard word forms in Estonian.

## Conclusion

To summarize the above discussion, we conclude — on the basis of the material we studied, — first, that for translators, the process of translation is a creative effort, that is, we are dealing not with linguistic translation, but literary/artistic translation. Translators are sensitive to the losses occurring on various structural levels and attempt to compensate for these losses often very creatively, employing different strategies, including also strategies of generalized compensation in addition to local and distance compensation. Second, translators' sensitivity to translation losses appears especially evident in translating texts whose main focus is on the expression plane. In such cases, the lost expression plane elements are compensated for with elements of the same plane (horizontal compensation) as well as of other planes (vertical compensation), both with contact as well as distance compensation. Third, there occur also losses that remain uncompensated. These may include dialectal peculiarities, stylistic devices or peculiar syntactic structure that are marked in the ST but translated simply into fluent prose in the TT, focusing on the content plane in the translation. The question to what extent the outcomes obtained from the

texts studied in this paper apply to the rest of the works of the 1960s and of the entire Soviet period can be addressed in further, comparative studies.

## References

- Adams: *Adams, V.* "Jevgeni Onegin" eesti keeles // Adams, V. Vene kirjandus, mu arm. Kirjandus-teaduslikke artikleid ja esseesid. Tallinn, 1977.
- Annist: *Annist, A.* Eestikeelne "Jevgeni Onegin" // Looming. 1965. Nr 12.
- Aristophanes: *Aristophanes Comoediae* / Ed. F. W. Hall, W. M. Geldart. Vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Aristophanes 1964: *Aristophanes*. Ratsanikud / Tõlk. U. Masing // Kreeka kirjanduse antoloogia. Tallinn: Eesti Raamat, 1964.
- Aristophanes 1964a: *Aristophanes*. Plutos / Tõlk. A. Kaalep, Ü. Torpats // Kreeka kirjanduse antoloogia. Tallinn: Eesti Raamat, 1964.
- Crisafulli: *Crisafulli, E.* The quest for an eclectic methodology / Ed. T. Hermans // Crosscultural Transgressions. Research Models in Translation Studies II. Historical and Ideological Issues. Manchester, UK; Northampton MA: St. Jerome Publishing, 2002.
- Demosthenes: *Demosthenes orationes* / Ed. S. H. Butcher. Oxford: Clarendon, 1903.
- Demosthenes 1964: *Demosthenes*. Kõne pärjast Ktesiphoni kaitseks / Tõlk. R. Kleis // Kreeka kirjanduse antoloogia. Tallinn: Eesti Raamat, 1964.
- Golding: *Golding, W.* Lord of the Flies. London: Faber & Faber, 1973 [1954].
- Golding 1964: *Golding, W.* Kärbeste Jumal / Tõlk. H. Rajandi. Tallinn: Perioodika, 1964.
- Harvey: *Harvey, K.* Compensation // Eds. M. Baker, K. Malmkjær // Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London; New York: Routledge, 1998. 2<sup>nd</sup> edition.
- Hatim, Mason: *Hatim, B.; Mason, I.* Discourse and the Translator. London; New York: Longman, 1990.
- Herodotus: *Herodotus with an English translation by A. D. Godley*. Cambridge: Harvard University Press, 1920.
- Herodotus 1964: *Herodotos*. Esimesest raamatust / Tõlk. R. Kleis // Kreeka kirjanduse antoloogia. Tallinn: Eesti Raamat, 1964.
- Hervey, Higgins: *Hervey, S.; Higgins, I.* Thinking French Translation. A Course in Translation Method: French to English. London; New York: Routledge, 2002. 2<sup>nd</sup> edition.
- Hervey, Higgins, Loughridge: *Hervey, S.; Higgins, I.; Loughridge, M.* Thinking German Translation. A Course in Translation Method: German to English. London; New York: Routledge, 1995. 1<sup>st</sup> edition.
- Klaudy: *Klaudy, K.* Compensation in Translation // P. Szatmári, D. Takács (Hrsg.). "... mit den beiden Lungenflügeln atmen". Zu Ehren von János Kohn. München, 2008.

- Kurtina: *Kurtina, A.* Uus koguteos tõlkekunstist // Keel ja Kirjandus. 1960. Nr 2.
- Lee: *Lee, H.* To Kill a Mockingbird. London: Arrow Books, 2010 [1960].
- Lee 1964: *Lee, H.* Tappa laulurästast / Tõlk. V. Raud. Tallinn: Eesti Raamat, 1964.
- Puškin: *Puškin, A.* Jevgeni Onegin: [värssromaan] / Tõlk. B. Alver. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1964.
- Samma: *Samma, O.* Üht-teist tõlkimisest ja tõlkijatest // Keel ja Kirjandus. 1962. Nr 7.
- Semjonova: *Semjonova, O.* "Jevgeni Onegin" Betti Alveri tõlkes // Keel ja Kirjandus. 1966. Nr 11.
- Sepamaa: *Sepamaa, H.* Pilk ilukirjanduse tõlkimise küsimustesse // Keel ja Kirjandus. 1967. Nr 2.
- Sophocles: *Sophocles.* Oedipus the king. Oedipus at Colonus. Antigone / With an English transl. by F. Storr // The Loeb classical library, 20. London; New York: William Heinemann Ltd.; The Macmillan Company, 1912.
- Sophocles 1964: *Sophokles.* Kuningas Oidipus / Tõlk. A. Kaalep, Ü. Torpats // Kreeka kirjanduse antoloogia. Tallinn: Eesti Raamat, 1964.
- Vinay, Darbelnet: *Vinay, J.-P.; Darbelnet, J.* Comparative Stylistics of French and English, a Methodology for Translation / Transl. and ed. by J. C. Sager, M.-J. Hamel // Benjamins Translation Library. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1995. Vol. 11.
- Walton: *Walton, E. W.* Prose Rhythm in the Letters of Euripides: A Computer-Assisted Study of Style // Pacific Coast Philology. 1977. 12.
- West: *West, M. L.* Greek Metre. Oxford: Clarendon, 1982.
- Комиссаров: *Комиссаров В.* Теория перевода (лингвистические аспекты). М., 1990.
- Комиссаров, Рецкер, Тархов: *Комиссаров В., Рецкер Я., Тархов В.* Пособие по переводу с английского языка на русский. Ч. II: Грамматические и жанрово-стилистические основы перевода. М., 1965.
- Пушкин: *Пушкин А.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1964. Т. 4 / <http://rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm> (Дата обращения: 04.12.2017).
- Ревзин: *Ревзин И.* Современная структурная лингвистика. Проблемы и методы. М., 1977.
- Рецкер: *Рецкер Я.* О закономерных соответствиях при переводе на родной язык // Вопросы теории и методики учебного перевода: сб. статей / Под ред. К Ганшиной, И. Карпова. М., 1950.
- Федоров 1941: *Федоров А.* О художественном переводе. Л., 1941.
- Федоров 1953: *Федоров А.* Введение в теорию перевода. М., 1953.
- Яковлева: *Яковлева М.* Компенсация при передаче стилистически сниженных высказываний на разных уровнях текста / Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 2008.

## «ЛИРИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ» Ф. И. ТЮТЧЕВА НА ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ: О СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДЧИКА<sup>1</sup>

ТАТЬЯНА СТЕПАНИЩЕВА

В исследовании переводов русской литературы, появившихся между 1920-ми и 1990-ми годами, вопрос о критериях отбора текстов (и их авторов) является принципиальным, а ответ на него скрывается не в эстетических воззрениях переводчика — особенно, если речь идет о переводах на языки «народов СССР». Советская культурная политика предполагала планомерное освоение гражданами независимо от их национальности русского литературного канона, который сложился в пореволюционные годы, дополнялся новыми авторами, уже советскими, и видоизменялся в соответствии с колебаниями политического курса. Трансляция этого канона являлась одним из инструментов советской колонизации, идеологического воспитания и нивелирования национальных различий (т. е. одним из инструментов формирования «советского человека»)<sup>2</sup>. Важность поставленных задач предполагала официальный контроль над деятельностью переводчиков и качеством их продукции, вообще — ведение «политики в области перевода». Однако, с другой стороны, художественный перевод открывал возможности профессиональной реализации, а также, что немало-

---

<sup>1</sup> Статья написана в рамках институционального гранта IUT34-30 Tõlkeideoloogia ja ideoloogia tõlkimine: kultuuridünaamika mehhanismid Eestis vene ja nõukogude võimu tingimustes 19.–20. sajandil / Ideology of Translation and Translation of Ideology: Mechanisms of Cultural Dynamics under the Russian Empire and Soviet Power in Estonia in the 19th – 20th Centuries.

<sup>2</sup> Характерны заглавия книг Е. Добренко, посвященных исследованию стратегий власти по отношению к литературе и чтению в 1920-х гг. — «Формовка советского читателя» и «Формовка советского писателя» [Добренко 1997; Добренко 1999].

В связи с интересующей нас темой укажем, кроме названных выше базовых монографий, на некоторые важные исследования по истории художественного перевода и политике в области перевода в СССР и в советской Эстонии [Азов; Витт; Lange, Monticelli; Witt].



важно, заработка для писателей, вынужденно или в соответствии с убеждениями не печатавшихся. Высокий культурный статус и качество произведений (прежде всего, русской классики, которую в национальных республиках переводили массированно, собраниями сочинений) не зависели от официальной апроприации, что позволяло переводчикам ставить и решать творческие задачи, а переводам, в конечном итоге, становиться частью воспринимающей национальной культуры. Подвижность границы между официальным заказом и индивидуальным творчеством позволяет рассматривать литературные переводы советской эпохи не только как продукт культурной политики властей, но и как результат игры с ней или ухода от нее. Один из таких переводческих опытов будет рассмотрен в настоящей статье.

В 1977 г. в главном издательстве ЭССР “Eesti Raamat” вышла поэтическая антология “Ilmsi ja ulmsi” («Наяву и во сне»), в которую были включены переводы на эстонский язык стихотворений И. С. Никитина, Ф. И. Тютчева и А. А. Фета [IU]. Составил антологию Андрес Эхин, ему же — в соавторстве с Ли Сеппель — принадлежит значительная часть переводов. Ли Сеппель — поэтесса, переводчик с турецкого, финского и других языков, — неоднократно выступала соавтором Эхина. Третьим участником проекта стал Пеэтер Илус, который перевел 29 стихотворений из подборки Фета. Дуэту Эхина и Сеппель принадлежат остальные вошедшие в антологию тексты — 32 стихотворения Никитина, 67 стихотворений Тютчева и 48 стихотворений Фета. Современных рецензий на антологию в местной прессе нам обнаружить не удалось, хотя “Ilmsi ja ulmsi” до сих пор является самой большой публикацией эстонских переводов из названных русских поэтов.

Главный вопрос, который определяет направление дальнейшей интерпретации — почему в конце 1970-х гг. в планах издательства “Eesti Raamat” появилась такая книга; следующий вопрос — какое место она заняла или занимает в культурном ландшафте Эстонии. Насколько нам известно, ответы на эти вопросы даны не были; мало того, они даже не были поставлены. Следов рецепции сборника удалось найти немного, что отчасти является ответом на второй вопрос. В газете “Sirp ja Vasar”, официальном органе Министерства культуры и творческих союзов ЭССР, в августе 1977 г. появилась рецензия Нигола Андресена, под заглавием “Kolme vene luuletaja tulek Eestisse” («Приход трех русских поэтов в Эстонию») [Andresen]. Андресен, в то время авторитетный литературовед, редактор и перевод-

чик<sup>3</sup>, выделил в сборнике работы двух переводчиков: “Andres Ehin ja Ly Sempel on ennast luules näidanud väga heade vormivalitsejana” (пер.: «Андрес Эхин и Ли Сеппель показали хорошее владение стиховой формой»). Рецензент дал информативный обзор книги, вписав ее в контекст эстонской переводной литературы того времени. Он отметил как успехи эстонских переводчиков (переводы русской классической лирики), так и недочеты:

Veel ootavad ulatuslikumat tõlkimist V. Brjussov, K. Balmont, V. Ivanov ja F. Sologub ning mõned muud XX sajandi alguse luuletajad <...> Lermontovist ja Nekrasovist kuni Blokini valitseb aga tühjus [Andresen].

Пер.: Еще ждут более масштабных переводов В. Брюсов, К. Бальмонт, В. Иванов и Ф. Сологуб, а также некоторые другие поэты начала XX века <...> От Лермонтова и Некрасова до Блока царит пустота.

Появление сборника переводов “Ilmsi ja ulmsi” Андресен признает шагом в преодолении этой пустоты. Уже заглавие сборника является в его глазах большим достижением: лексическая новация в нем удачна сама по себе и достойна войти в общий словарь (ниже мы остановимся на ней подробнее), заглавие обозначает смысловое единство переводимых русских поэтов, а также связывает их с эстонской поэзией, с принимающей литературой. Для рецензента превосходство Тютчева и Фета над Никитиным было очевидно, и он отметил это, указав, в частности, на соотношение числа переводимых текстов: список стихотворений Никитина короче других примерно на две трети. При оценке качества переводов Андресен также оставляет никитинские далеко позади переводов Тютчева и Фета. Возможно, дело здесь было не только в личных предпочтениях: в советском литературном каноне Никитин занимал более высокое место, ближе к «певцу горя народного» Некрасову, Тютчев же и особенно Фет были скомпрометированы пристрастием к ним «теоретиков чистого искусства». Оценка Андресена, таким образом, приобрела — осознанно или не вполне — оттенок вольнодумства.

Заглавная формула “Ilmsi ja ulmsi”<sup>4</sup>, придуманная составителем, прижилась и до сих пор связывается с именами поэтов-переводчиков Эхина

<sup>3</sup> Политическая карьера Андресена закончилась в 1950 г., когда он был осужден как «буржуазный националист» на мартовском пленуме ВКП(б)Э. В 1940 г. он вошел в «правительство писателей», возглавленное Й. Варесом. Литературная и культурная репутация Андресена сложилась еще в независимой Эстонии; после амнистии в 1955 г. (в рамках «эстонского дела») он был осужден на 25 лет) он вернулся к литературно-критической и научной работе.

<sup>4</sup> Второе слово в заглавии, “ulmsi” до сих пор не входит в эстонские словари, хотя однокоренные с ним представлены (см., напр., новейший “Eesti keele seletav sõnaraamat”, вышедший

и Сеппель. Она стала названием радиопередачи с их участием, где речь шла о путешествиях, реальных и воображаемых: “Reisid ilmsi ja ulmsi: Ly Seppel ja Andres Ehini räägivad reisimisest praegu ja minevikus” («Путешествия наяву и во сне: Ли Сеппель и Андрес Эхин рассказывают о путешествиях в настоящем и в прошлом» [Arhiiv ERR]). Эхин и Сеппель говорили, в частности, о способности художников и писателей путешествовать в воображении, о том, как эта способность расширяет представления о мире, позволяет перемещаться в «чужое» пространство и т. д.

Достоин упоминания, что в вышедшем в 1981 г. сборнике переводов малой прозы Ю. Нагибина “Armastuse saar” («Остров любви») [Nagibin] один из рассказов был озаглавлен переводчиком “Tjuttšev ulmsi” («Тютчев во сне»), хотя в оригинале рассказ имеет название «Сон о Тютчеве». Появление цитаты из перевода объяснялось тем, что в подготовке участвовал составитель сборника 1977 г. — Андрес Эхин, который переводил стихи русских поэтов, использованные в рассказах Нагибина.

Недавно, в 2015 г., Рейн Вейдемманн, писатель, литературовед и литературный критик, вспомнил формулу “ilmsi ja ulmsi” в рецензии на роман Каура Рийсмаа “Pimedada mehe aiald”. Хотя рецензент упомянул о содержании сборника, это, в сущности, было необходимо лишь для введения заглавного образа:

Pealkirja olen arvustusele laenanud Andres Ehini koostatud 19. sajandi vene luule antoloogialt, mis ilmus 1977, sest “ilmsi ja ulmsi” on ka Riismaa debüütromaani kammertoon, helihargilt kuulduv põiheli. Riismaa sünnini jäi tolle raamatu ilmudes veel üksteist aastat [Veidemann].

Пер.: Для рецензии я заимствовал заглавие вышедшей в 1977 г. антологии русской поэзии XIX в., составленной Андресом Эхином, потому что «наяву и во сне» — это камертон дебютного романа Рийсмаа, заданный камертоном главный мотив. В момент выхода книги до рождения Рийсмаа оставалось еще одиннадцать лет.

Некоторые переводческие решения А. Эхина лингвист Тийу Эрельт привела в своем исследовании о нормативной морфологии и ее поэтических нарушениях [Erelt: 14–15]. Наконец, самый поздний пример рецепции — с показательными искажениями — можно найти в интервью Кристинны Эхин, дочери Андреса Эхина и Ли Сеппель, которое она дала журналистке газеты “Sirp” в мае 2017 г. К. Эхин, поэтесса, прозаик и певица, отвечая на вопрос, какие книги она перечитывает, назвала интересующий нас сборник:

---

в 2009 г. [EKSS]). Слово *ulm* было создано Йоханнесом Аавиком и освоено в эстонском языке наряду с другими авторскими лексическими новациями.

Viimati sain suure luuleelamuse oma ema ja isa ning Peeter Ilusa tõlgitud teosest, vene klassikute kogust: Afanassi Feti, Fjodor Tjuttševi ja Ivan Nikitini “Ilmsi ja ulmsi” ... Vene aristokraadid ja nende imeline luule [K. Ehin].

Пер.: Большим поэтическим впечатлением последнего времени стали произведения, которые перевели мои мама с папой и Пеэтер Илус, из сборника русских классиков: Афанасия Фета, Федора Тютчева и Ивана Никитина — “Ilmsi ja ulmsi” ... Русские аристократы и их чудесные стихи.

Определение перечисленных русских поэтов как классиков неоспоримо, но причисление всех их к аристократам — аберрация, обусловленная стереотипным представлением о русском культурном пространстве XIX века как целиком принадлежащем дворянскому сословию. Аристократом из этих троих можно считать только Тютчева, Фет добивался дворянства долгие годы, а Никитин происходил из мещанского сословия. Видимо, К. Эхин не читала послесловия составителя, которое содержит краткий очерк жизни и творчества поэтов. Мы не претендуем на исчерпание вопроса о рецепции “Ilmsi ja ulmsi” в Эстонии, однако описанные выше случаи, как нам представляется, указывают на незначительный резонанс именно переводов русской поэзии. Важнее оказалась личность и собственное творчество одного из переводчиков.

Чтобы восстановить последовательную историю сборника “Ilmsi ja ulmsi”, нужны изыскания в архиве издательства “Eesti Raamat”. Специальных документов о его подготовке мы пока не обнаружили, нашлось лишь упоминание в тематическом плане издательства на 1977 г.: публикация была намечена на второй квартал, запланированный объем издания — четыре условных печатных листа, тираж — 5 000 экз. [Eesti Raamat: 61]. Аннотация умещается в одно предложение: “Kolme vene luule suurkuju valitud värssse” («Избранные стихотворения трех великих русских поэтов»). Отсутствие специальных документов, связанных с переводной антологией, и — еще более — отсутствие истории эстонского советского книгоиздательства обосновывают следующие ниже общие соображения.

После 1940 г. советская власть занялась тотальным изменением культурного ландшафта Эстонии. «Братские народы» должны были приобщиться к советской культуре и литературе, чтобы стать частью новой общности, «советского народа». Для этого нужно было, согласно официальной риторике, «очистить» национальные культуры от «пережитков прошлого», от «буржуазных элементов» и заменить их новыми «советскими ценностями». Литературе отводилась в этом процессе важная роль. Общие библиотеки и издательства подверглись жесткой ревизии, полно-

стью изменился состав школьного курса литературы (изменилась система народного образования в целом, принципы его организации и содержание курсов), книгоиздание было поставлено под контроль, введены цензура и плановое хозяйство.

Одной из важнейших мер в деле «формовки советского читателя», согласно определению Е. Добренко [Добренко 1997], стало приобщение к советскому литературному канону. Заказ на переводы «канонических» произведений и авторов определяла Москва, лакуны были значительными, поэтому индустрия литературного перевода в советской Эстонии быстро росла. Как уже было отмечено выше, она стала своего рода «серой зоной», в которой могли существовать писатели, лишённые возможности печататься или избегавшие необходимости мимикрировать.

Особенно интересен ход трансляции классического сектора канона. Советская идеология апроприировала русских классиков, писателей «золотого века» и выборочно — «серебряного», создателей «больших романов» и т. д. Эти авторы, ранее игравшие значительную роль в профессиональном и эстетическом самоопределении эстонских литераторов, в советском пространстве приобрели другой вес и репутацию. Одно дело, когда Чехов, Толстой или Блок были литературными современниками, живыми собеседниками в свободном культурном диалоге, и совсем другое — когда они превращались в часть общеобязательного школьного лектюра, встраивались в машину культурной колонизации, лишались своеобразия, образуя ровные ряды борцов за счастье народное и вестников грядущей революции. В таких условиях культурный диалог проблематизировался, становился внутренне конфликтным.

Сходную ситуацию описала Ю. Пярли, анализируя преподавание русской литературы в эстонской школе при Александре III. Жесткое насаждение русского языка в национальной школе, в том числе принуждение к чтению литературных произведений, вызывало отторжение — особенно часто там, где владение языком было недостаточным. Однако в целом ряде мемуарных текстов авторы вспоминают, что чтение русской литературы в школе развивало интерес не только к ней, но и к литературе и культуре в целом, стремление к авторству и т. п., а образованные и умные учителя умели сделать русский язык и словесность интересными (см. об этом: [Pärli: 163–177]).

Сходство советской ситуации с александровской заметно, но все-таки довольно условно, так как имперской власти не удалось достигнуть такого уровня идеологического контроля в сфере культуры. Поэтому советская практика ведения «культурного диалога» в ситуации заведомого неравен-

ства сторон особенно сложна и интересна для анализа. На наш взгляд, принципиально важным для оценки разных эпизодов культурного взаимодействия будет определение «внутренних» и «внешних» импульсов. Сборник представляет собой интересный объект с этой точки зрения. Обратимся сначала к действующим лицам, русским поэтам и их эстонским переводчикам, чтобы понять, кого и кто переводил.

Поэт и отчасти прозаик Иван Саввич Никитин (1824–1861) происходил из мещанского сословия, проживал в провинции. Бросив семинарию, был вынужден торговать свечами в лавке. Прославился Никитин после публикации стихотворения «Русь», в ранних стихах подражал Лермонтову, потом Кольцову, затем подпал под влияние Некрасова, писал стихи о социально-униженных, несчастных и обездоленных. Самые зрелые его творения относятся к пейзажной лирике. Стихотворения Никитина, умершего от чахотки в молодые еще годы, почти сразу попали в школьные сборники и хрестоматии. Согласно базе данных по русским школьным хрестоматиям XIX в., составленной А. Вдовиным, Никитин высоко стоит в иерархии читаемых в школе авторов — на двенадцатом месте, между Л. Н. Толстым и Н. М. Карамзиным. С 1862 по 1912 г. его стихотворения включались в школьные книги 200 раз (для сравнения: пушкинские тексты за тот же период — 1577 раз, лермонтовские — 563, стихотворения Кольцова — 307; правда, они попали в хрестоматии раньше) [Вдовин: 312]. То есть русская школа успешно осваивала Никитина с его тематикой («горе народное», близко к Некрасову, и пейзажная лирика<sup>5</sup>), что способствовало — наряду с подходящим «социальным происхождением» и биографией — канонизации поэта в пореволюционный период. В основных своих темах (вопросы социальной морали и природа) Никитин оказался удобен для школьного чтения. Самым же известным его текстом вне школы стало стихотворение «Ехал из ярмарки ухарь-купец...» (1858), которое было положено на музыку и вошло в массовый репертуар.

Два других поэта в антологии противостояли некрасовскому направлению, к которому относили Никитина. Это отмечает в послесловии и составитель:

Fjodor Tjuttšev, Afanassi Fet, Ivan Nikitin — need nimed on viimase aja eesti trüki-sõnas küllalt harva viiksatanud. Ometi on nende näol tegemist 19. sajandi vene luule tähelepanuväärsete esindajatega, kelle loominguga tutvumine aitab avardada

<sup>5</sup> Характерен набор наиболее частотных в хрестоматиях текстов Никитина: «Утро» — 14, «Зимняя ночь в деревне» — 13, «Молитва дитяти» — 12, «Вырыта заступом яма глубокая» — 8, столько же — «Русь», и «Дедушка» — 7 [Вдовин: 312].

eesti lugeja pilti Puškini ja Nekrassovi ajastust. Laias laastus täiendab Nikitin sotsiaalset liini; Tjuttšev ja Fet, kelle loomingu hindamisel on piike murdnud vene kirjanduse suurkujud, paistavad silma inimese hingeelu lüürilise lahtimõtestamise poolest. Huvi kõige kolme luuletaja, eriti aga Tjuttševi ja Feti vastu, näib tänapäeval pidevalt suurenevalt [IU: 214].

Пер.: Федор Тютчев, Афанасий Фет, Иван Никитин — эти имена в последнее время редко звучали в эстонской печати. Однако речь идет о выдающихся представителях русской поэзии XIX века, знакомство с творчеством которых поможет расширить представления эстонского читателя об эпохе Пушкина и Некрасова. В широкой перспективе Никитин продолжает социальную линию; Тютчев и Фет, вокруг оценки творчества которых ломали копья выдающиеся русские писатели, примечательны своим осмыслением душевной жизни человека. Интерес к трем этим авторам, особенно к Тютчеву и Фету, сегодня постоянно растет.

Тютчев и Фет были заново прочитаны в конце XIX в. русскими модернистами как их предшественники. После «некрасовской» волны и доминирования прозы они вернулись в качестве представителей «чистого искусства» и предвестников символизма. В имперском школьном каноне Тютчев и Фет уступали Никитину (впрочем, ему уступал даже Некрасов). Стихотворения Фета были впервые включены в хрестоматию в 1843 г. и до 1912 г. попадали в школьные книги 95 раз («Печальная береза» — 12 раз, а «Я пришел к тебе с приветом» — только шесть). Тютчев стал хрестоматийным автором в 1860-м, как и Никитин, но у его стихотворений всего 106 вхождений, на первом месте «Весенняя гроза» (14), на втором — «Весенние воды» (12), затем два «осенних» стихотворения: «Есть в осени первоначальной...» (семь вхождений) и «Осенний вечер» (шесть). «Не то, что мните вы, природа...» включалось в хрестоматию только пять раз, остальные стихотворения не одолели этот рубеж. В советскую эпоху Фет и Тютчев получили прописку в цехе «чистых лириков», певцов родной природы и любви (отчасти к родине, но не только).

Таким образом, состав антологии 1977 г. можно объяснить положением авторов внутри канона: они не принадлежали к авторам «первого ряда», но традиционно поставляли тексты для обязательного школьного репертуара (еще с имперских времен) и были в той или иной степени апропрированы советской культурой. Творчество двух из них — Тютчева и Фета — входило в интеллектуальный багаж образованного читателя, преобладание «чистой», а не социальной лирики придавало чтению этих авторов оттенок вольности. А. Эхин в послесловии специально выделил направление Тютчева и Фета, приводя отзывы критиков и исследователей, ссылаясь

на концепцию Д. Д. Благого, и противопоставил их лирику «некрасовскому направлению»: “Mõlemad on eeskätt keeruliste hingeseisundite luulendajad. <...> Nekrassovi luule arendab kodanikutunnet, Feti oma ilumeelt”, пер.: «Оба — прежде всего, певцы сложных душевных состояний. <...> Стихи Некрасова развивают гражданские чувства, стихи Фета — чувство прекрасного» [IU: 221, 223]. И хотя в поэзии Никитина Эхин находил сопряжение двух направлений, заметно, что в антологии этот поэт стоит особняком: стихотворная подборка гораздо меньше по объему, в послесловии ему посвящено всего полторы страницы (двум другим — в общей сложности девять), наконец, Никитин идет первым в сборнике, но в послесловии смещен на последнее место.

В свете сказанного становится понятно, почему заказ на переводы Никитина, Тютчева и Фета появился только во второй половине 1970-х (отдельные их стихотворения переводили и ранее) — до средних ступеней советского литературного канона госзаказ дошел не сразу. И второе, что можно увидеть из приведенных примеров — для составителя и переводчика лирика Тютчева и Фета была интереснее никитинской. Попробуем уточнить его позицию.

Андрес Эхин (1940–2011) закончил отделение финно-угорской филологии Тартуского университета в середине 1960-х гг., работал в газете “Sirp ja Vasar” и журнале “Kultuur ja Elu”, во второй половине 1970-х стал профессиональным писателем. Эхина относят к так называемому «кассетному поколению», *kassetipõlvkond*<sup>6</sup>, «оттепельному» поколению эстонских поэтов. В начале 1960-х гг. литературовед Оскар Круус организовал печатную серию “Noored luuletajad” («Молодые поэты»): ежегодно выходили дебютные сборники молодых стихотворцев, оформленные как тонкие тетради, несколько тетрадей помещались в картонную коробку-кассету. Дебют Эхина, “Hunditamm (Luuletusi 1959–1966)” / «Волчий дуб (Стихотворения 1959–1966)», состоялся в этой серии в 1968 г. Тремя годами ранее, в 1965-м, в серии появился сборник стихов Ли Сеппель, в ту пору учившейся на отделении эстонской филологии Тартуского университета, под заглавием “Igal hommikul avan peo (Luuletusi 1960–1964)” / «Каждое утро начинаю праздник (Стихи 1960–1964)».

Критики и исследователи отмечают склонность А. Эхина к лексическим и фонетическим играм, иронию и абсурд, доминирующую антитезу природы и города (главная его тема), влияния Артура Алликсаара, Имре Лаа-

<sup>6</sup> Отнести поэтов, печатавшихся в этой серии, к одному поколению трудно: самый старший из них, Aleksander Suuman, родился в 1927 г., самая младшая, Leelo Tungal — в 1947.



бана (его Эхин считал своим главным учителем), Яана Каплинского. Творческим методом чаще всего называют сюрреализм, Эхин и Лаабан считаются основными представителями этого направления в эстонской поэзии (М. У. Курм уточняет, что сюрреализм проявляется у Эхина не в методе, а в принципах организации словесного материала; он редко использовал автоматическое письмо [Kurm: 9–11]). Эти тенденции проявились уже в его дебютном сборнике, “Hunditamm”, а полное выражение получили в позднейших книгах, вышедших в 1970–80-е, “Uks legendikul” и “Luba linnukesel väljas jaurata” («Дверь на поляне» и «Позволь птичке горланить»). Последняя вышла в том же году, что и интересующий нас сборник переводов<sup>7</sup>. В 1970-е гг. Эхин особенно увлекался словесной игрой, в его стихи возвратились рифма и ритм, до этого и после он работал преимущественно с верлибром. Параллельно поэт занимался переводами, в то время — большей частью с русского. В 1971 г. почти одновременно вышли его переводы романа Ю. Олеши «Зависть», «Записок из подполья» Достоевского (в соавторстве с Л. Хидель), повести братьев Стругацких «Улитка на склоне»<sup>8</sup>. Таким образом, во второй половине 1970-х Эхин уже имел довольно большой опыт художественного перевода (отметим, что его соавтором по переводу Достоевского была Лембе Хидель, исключительно опытный переводчик и строгий редактор). Подборка переводов в антологии “Imsi ja ulmsi” стала первой крупной работой Андреса Эхина в области стихотворного перевода.

Далее мы попытаемся в первом приближении описать стратегию автора антологии, составителя и переводчика. Мы ограничимся наблюдениями над составом подборки из Тютчева. Ограничивающими наше описание факторами являются отсутствие документов, удостоверяющих историю сборника, а также непроясненный характер совместной работы Эхина и Сеппель над переводами.

В антологии оговорены источники тютчевских текстов. Они печатаются по двухтомнику «Лирика» в серии «Литературные памятники», извест-

<sup>7</sup> В тематическом плане издательства “Eesti Raamat” на 1977 г. было запланировано издание сборника А. Эхина “Hanetaoline maailm” («Гусеподобный мир»), который не успели выпустить в 1976 г. Аннотация к нему гласила: «Сборник стихов известного поэта и переводчика, написанных в юмористическом плане» [Eesti Raamat: 43]. Книга с таким названием, как видно по каталогам эстонских библиотек, никогда не выходила. Вероятно, «птичье» название собственного сборника Эхина 1977 г. указывает на трансформацию замысла и, в итоге, издательских планов.

<sup>8</sup> *Oleša, J. Kadedus / Vene keelest tõlk. [ja järelsõna] A. Ehin. Tallinn, 1971; Strugatski, A.; Strugatski, B. Tigu nõlvakul / Vene keelest tõlk. A. Ehin. Tallinn, 1971; Dostojevski, F. Ülestähendus i põrandalt / Vene keelest tõlk. A. Ehin, L. Hiedel; järelsõna V. Bezzubov. Tallinn, 1971.*

ному специфическим редакторским решением К. В. Пигарева. Он разделил тютчевскую лирику на два тома, объяснив это ее разным достоинством. В первый том Пигарев включил так называемый «золотой фонд», во втором «немало стихотворений узкобиографического интереса, стихотворений “на случай” в прямом смысле этого слова, в том числе политического содержания», которые, согласно убеждению составителя, должны занять «подчиненное место» по отношению к помянутому «золотому фонду» [Тютчев: I, 316].

Эхин, ссылаясь на К. В. Пигарева в послесловии, согласился с ним в оценке тютчевского наследия, но включил в свою подборку шесть стихотворений на французском языке — из второго тома:

“Nous avons pu tous deux, fatigués du voyage...”  
 “Que l’homme est peu réel, qu’aisément, il s’efface...”  
 Un rêve (“Quel don lui faire au déclin de l’année...”)  
 “Un ciel lourd que la nuit bien avant l’heure assiège...”  
 “Comme en aimant le coeur devant pusillanime...”  
 “Des premiers ans de votre vie...”

Во втором томе тютчевской «Лирики» есть их стихотворные переводы на русский (в основном, М. П. Кудинова, по два — С. М. Соловьева и В. Я. Брюсова, один — А. А. Фета [Тютчев: II, 412–415, 416–418]). По некоторым деталям можно предположить, что Эхин и Сеппель не опирались на русские переводы, а переводили с оригинала. Французские стихотворения тематически не выделяются в общем тютчевском корпусе: среди них — три «стихотворения на случай», одно из них обращено к барону Мальтицу и два — к жене; одно любовное, одно «философское». Мы можем предположительно реконструировать причины их включения в антологию, исходя из общих представлений о ее конструкции: Эхин нарушал внешне принятый им «тютчевский канон», при этом довольно безопасным образом. Если бы он ввел в подборку «политические» стихи, это могло быть расценено как попытка ревизии поэта, и без того нуждающегося в оправданиях за свой консерватизм и критику царизма «справа».

Суммарно оценить подборку мы можем в общих чертах, сознавая приблизительность и внешний характер предположений. В антологию вошло почти семь десятков стихотворений — это немалая, но все-таки только часть авторского корпуса. Отметим, какие стихотворения составитель выбрал для перевода, а какие — оставил за пределами подборки, что не менее важно, потому что результатом этих решений явился специфический образ *vene luuletaja Fjodor Tjuttšev*.

Приведем полный список стихотворений Тютчева, выбранных Эхином для перевода. В антологии переводы расположены в хронологическом порядке, как в томах «Лирики»:

Весенняя гроза

Летний вечер

Бессонница

Утро в горах

Вечер

Полдень

«Песок сыпучий по колени...»

Весенние воды

Silentium!

Сон на море

«Я помню время золотое...»

«Поток сгустился и тускнеет...»

«В душном воздуха молчанье...»

«Что ты клонишь над водами...»

«Вечер мглистый и ненастный...»

«Нет, моего к тебе пристрастья...»

«Тени сизые смешались...»

Фонтан

«Еще земли печален вид...»

«Вчера, в мечтах обвороженных...»

29-ое января 1837

“Nous avons pu tous deux, fatigués du voyage...”

“Que l’homme est peu réel, qu’aisément, il s’efface...”

Un rêve (“Quel don lui faire au déclin de l’année...”)

“Un ciel lourd que la nuit bien avant l’heure assiège...”

«Смотри, как запад разгорелся...»

Весна

«Неохотно и несмело солнце смотрит...»

«Когда в кругу убийственных забот...»

«Слезы людские, о слезы людские...»

“Comme en aimant le coeur deviant pusillanime...”

“Des premiers ans de votre vie...”

«Как дымный столп светлеет в вышине...»

Русской женщине

«Святая ночь на небосвод взошла...»

«О, не тревожь меня укорой справедливой...»

Последняя любовь

«Пламя рдеет, пламя пышет...»

«Эти бедные селенья...»

«Не богу ты служил и не России...»  
«Над этой темною толпой...»  
«Есть в осени первоначальной...»  
«Пошли, господь, свою отраду...»  
«Как ни дышит полдень знойный...»  
«Обвеян вещею дремотой...»  
«О, как убийственно мы любим...»  
Первый лист  
«Не остывшая от зною...»  
«В разлуке есть высокое значенье...»  
«Не говори: меня он, как и прежде, любит...»  
«Чему молилась ты с любовью...»  
«Чародейкою Зимою...»  
«Она сидела на полу...»  
Успокоение («Когда, что звали мы своим...»)  
[А. Фету] «Иным достался от природы...»  
«О, этот Юг! О, эта Ницца!...»  
«Весь день она лежала в забытьи...»  
«Как хорошо ты, о море ночное...»  
«Есть и в моем страдальческом застое...»  
«Певучесть есть в морских волнах...»  
«Как неожиданно и ярко...»  
«Ночное небо так утрюмо...»  
«В небе тают облака...»  
«Природа — сфинкс. И тем она верней...»  
«Как нас не угнетай разлука...»  
«От жизни той, что бушевала здесь...»  
«Все отнял у меня казнящий бог...»

Наиболее последовательно, как нам представляется, Эхин исключал стихотворения, приуроченные географически или исторически, т. е. лирику окказиональную, но в более широкой перспективе. В подборку вошли только «О, этот Юг! О, эта Ницца!» и «Не богу ты служил и не России...», написанное на смерть императора Николая Первого. У Пигарева последнее включено в первый том, в «золотой фонд», и можно заключить, что не эстетические аргументы здесь стояли на первом месте (оценку покойного императора в нем можно счесть однозначной, это было явно выгодно для репутации поэта и подтверждало его право на присутствие в каноне). Стихотворение на 14 декабря 1825 г. («Вас развратило самовластье...»), амбивалентное по отношению к адресату, Пигарев вывел во второй том, и переводчик его, соответственно, пропустил. Также за пределами подборки Эхина остались «Цицерон», «Наполеон», три стихотворения с петер-

бургской сюжетной локализацией («На Неве», «Глядел я, стоя над Невой...» и «Опять стою я над Невой...»), «Неман», «1856», «Я лютеран люблю богослуженье...», «Итальянская villa», «Рим ночью», «Венеция». Понятно, почему из адресных стихотворений в антологию вошло то, что было послано А. Фету («Иным достался от природы...») — его присутствие удостоверяло обозначенное в послесловии Эхина «ученичество» Фета у Тютчева. Стихотворение на смерть Жуковского и послание Вяземскому на этот сюжет, заданный составителем антологии, не работали, поэтому в нее не вошли.

Конечно, исключение стихотворений, требующих более или менее глубокого знания контекста, было вызвано не опасениями, что переводчики не справятся или «читатель не поймет». Эхин, как нам представляется, с одной стороны, выполнял издательский заказ — представить эстонской аудитории малоизвестного поэта; а с другой стороны — формировал свой образ Тютчева: это пантеист, превозносящий красоту природы, раскрывающий в лирическом высказывании жизнь души; способный прямо и сильно изобразить сложнейшие душевные состояния. Историческая и биографическая приуроченность стихотворений такой трактовке, скорее, мешала. Поэтому в тютчевской подборке сочетались «школьно-хрестоматийные», или «эмблематические» тексты Тютчева («Весенняя гроза», «Летний вечер», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...») и «философские» “*Silentium!*”, «Фонтан», «Певучесть есть в морских волнах...», «Природа — сфинкс...».

Есть в тютчевской подборке и другие интересные пропуски. Отсутствие стихотворения «Через Ливонские я проезжал поля...» можно объяснить, кроме «географической» приуроченности, тем, что несколькими годами ранее, в 1971 г., появился его перевод в тематическом сборнике “*Postitõllaga läbi Eestimaa: Eestimaa vene kirjanike kujutuses (XVIII sajandi lõpp – XX sajandi algus)*” — “*Ma sõitsin üle Liivi väljade*”, переводчик А. Тулик [Eestimaa: 308]. Найти объяснение другим лакунам труднее: в подборку не вошли, например, «Два голоса», «Море и утес», «Итак, опять увиделся я с вами...», «О чем ты воешь, ветр ночной...», «Не то, что мните вы, природа...», «Душа моя — Элизиум теней...», «О, вещая душа моя...», «Волна и дума», «Близнецы» — стихотворения тоже для автора репрезентативные, входящие в основной корпус (список можно продолжить). Эхин выпустил много любовной лирики, более всего заметно отсутствие стихотворения «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.». При этом подборка завершается четверостишием «Все отнял у меня казнящий бог...», что, на наш взгляд, вносит свой акцент в образ «эстонского

Тютчева». Стихотворение было сочинено во время предсмертной болезни поэта и обращено к жене, Эрнестине Федоровне [Тютчев: I, 435]. Оно завершает первый том «Лирики», но, в отличие от «Бывают роковые дни...», написанного тоже «во время предсмертной болезни» [Там же: II, 433], не отмечено ее воздействием. В эстонской подборке, в которую не попали ключевые стихотворения условного «денисьевского цикла», закрывающий ее катрен 1873 г., как нам кажется, смягчает трагизм тютчевской любовной лирики.

Наконец, бросается в глаза отсутствие в подборке стихотворения, которое стало эмблемой Тютчева в ХХI в., но, насколько известно, еще не было ею в 1970-е гг. (изменение позиции в авторском корпусе обусловлено вне-литературными причинами). А. Эхин не включил в эстонскую антологию перевод «Умом Россию не понять...».

Если наши соображения верны, то составитель сборника “Ilmsi ja ulmsi” представил Тютчева эстонскому читателю как автора более погруженного в лирическую интроспекцию, менее злободневного, даже менее связанного с жизнью, если можно так выразиться, и с актуальной историей (за счет отказа от поэтической локализации и минимизации стихотворений, позволяющих или требующих биографического комментария). Какие трансформации проходят тютчевские стихотворения в переводе, мы покажем далее.

В общем, переводы Тютчева, выполненные Эхином и Сеппель, тяготеют к точности — насколько она вообще возможна для стихотворного перевода. Однако в ряде текстов появляются образы или мотивы, не находящие соответствия в оригинале и даже чуждые тютчевской поэтике в принципе. Так в переводе второй строфы «О, как убийственно мы любим...» финальная строка содержит не только риторический вопрос, как у Тютчева, а вопрос и ответ на него, который своей провербиальной и анатомической конкретностью явно противоречит образной стилистике конкретного стихотворения и тютчевской любовной лирики в целом. Сравнительно с этой вставкой замена «роз ланит» на “palge punamooid” (что можно примерно перевести как «лица маков цвет»<sup>9</sup>) представляется и адекватной, и вполне точной.

Давно ль, гордясь своей победой,  
Ты говорил: она моя...

Veel hiljaaegu pihku püüdsid  
sa saagi, huulil õnnevahk.

<sup>9</sup> Сочетание в одном слове двух корней, от существительного и от прилагательного, обычное для эстонского языка, нельзя передать такой же русской конструкцией, так как этот способ словообразования не распространен. Хотя в последнее время появляются неологизмы вроде «лютоволк».

Год не прошел — спроси и сведай,  
Что уцелело от нея?

“Nüüd on ta minu!” õnnes hüüdsid.  
Mis järele jäi? — Luu ja nahk.

Букв. пер.: Что осталось после нее? —

Кожа да кости.

Куда ланит девались розы,  
Улыбка уст и блеск очей?  
Все опалили, выжгли слезы  
Горючей влагою своей  
[Тютчев: I, 131].

Kus jäid ta palge punamoonid,  
ta silme sära, naerul suu?  
Ta huuli nutuvõru kroonib  
ja piinast kõrbeb hingetuum  
[IU: 104].

При переводе стихотворения «О, этот Юг, о, эта Ницца!» разделенные у Тютчева понятия из первой строки слились и превратились в синонимы (ср.: «их блеск» и “su sära”, т. е. вместо *они* появляется *ты* в качестве условного адресата); вместо *жизни* птице уподоблена — более традиционным образом — *душа* (*hinge*), а сама птица приобрела визуальную фактурность благодаря увеличенному масштабу изображения. В оригинале она дана общим контуром («*вся она... дрожит*»), в переводе же вместо целой птицы — метонимия: «*ее глаза полны боли, бессилия и ужаса*», и в последней строке птица не прижимается к *праху*, а оказывается полна им («*Прах глядит из них*», т. е. из глаз), с учетом коллокаций — птица сама оказывается прахом:

О, этот Юг, о, эта Ницца!..  
О, как их блеск меня тревожит!  
Жизнь, как подстреленная птица,  
Подняться хочет — и не может...  
Нет ни полета, ни размаху —  
Висят поломанные крылья,  
И вся она, прижавшись к праху,  
Дрожит от боли и бессилья...  
[Тютчев: I, 193]

Oo, lõunakaar! Oo, kaunis Nizza!  
Kuis ärevaks mind teeb su sära!  
Siin hinge lennuruum on kitsas,  
lind peksleb maas, ei lenda ära...  
Tal lennuks pole hoogu, jõudu,  
sest tiivad on tal läbi lastud.  
Täis valu, jõuetust ja õudu ta silmad.  
Põrm neist vaatab vastu  
[IU: 115].

Для подборки характерна замена *он / она* на *see tees / see naine* (*этот мужчина / эта женщина*). В эстонском языке категории рода не существует, соответственно, личные местоимения третьего лица не различаются по роду, для мужского и женского есть одно — *tema*. Переводчики отказались от практики, распространенной в эстонской словесности, использовать *temake* (местоимение с уменьшительным суффиксом) для обозначения героини.

Хотя Эхин и Сеппель старались передать в целом упорядоченность оригинала на уровне ритма, они не искали аналогов для тютчевских изоб-

ретений. Так, например, не были введены нарушения ритма в переводе стихотворения «Последняя любовь». Тютчев на эстонском оставался поэтом, работавшим в рамках традиционной силлабо-тонической системы, и лишался некоторых черт авторской индивидуальности, в упомянутом стихотворении переводчики сгладили ритмический рисунок и отказались, таким образом, от передачи авторского приема, уже отмеченного исследователями в его специфической связи с семантикой.

При этом Эхин и Сеппель последовательно усиливали фонетическую выразительность Тютчева: звуковые повторы, часто анафорические (*algriiit*), но не только, массивованно вводятся там, где в оригинале их мало или нет. Как нам представляется, фонетическая упорядоченность иногда заменяет в переводе упорядоченность, пропущенную на других уровнях. Ср. в переводе той же «Последней любви», где анафоры появляются в тех стихах перевода, где могли быть соответствия лексическим повторам или синтаксическому параллелизму:

Сияй, сияй, прощальный свет  
Любви последней, зари вечерней!  
[Тютчев: I, 156]

Oh, *anna aega, armueha lõõm,*  
*veel kesta; viivita veel viimset voogu!*  
[IU: 95]

Не всегда звуковые повторы вводятся с целью замены, иногда этой целью, видимо, является усиление «выразительности», акцентирование тютчевского приема:

Чародейкою Зимою  
Околдован, лес стоит —  
И под снежной бахромою,  
Неподвижною, немою,  
Чудной жизнью он блестит.

*Laaned lausa lummununa —*  
*nõidunud neid talve suu —*  
*seisavad siin tummununa*  
*lumevilla summununa.*  
*Ime küütleb härmas puul.*

И стоит он, околдован, —  
Не мертвец и не живой —  
Сном волшебным очарован,  
Весь опутан, весь окован  
Легкой цепью пуховой...

*Lummununa seisvad laaned*  
*pole surnud ega elus —*  
*unekatted, võlukaaned,*  
*kaunimad ei olla saa need.*  
*Kõik on pehmes ehmelelus.*

Солнце зимнее ли мещет  
На него свой луч косой —  
В нем ничто не затрепещет,  
Он весь вспыхнет и заблещет  
Ослепительной красой  
[Тютчев: I, 153].

*Ülal talvepäike jahe,*  
*kõik ta kiired käivad kiiva*  
*laas on ikka pehmelt tahe,*  
*pimestab meid metsa vahel*  
*puude ilu ergav, siivas*  
[IU: 111].



Как нам представляется, в такой трансформации перевода можно усмотреть отражение представлений о Тютчеве как предшественнике модернистов, авторе эмоциональной, суггестивной и импрессионистичной лирики. В то же время фонетические повторы во множестве обнаруживаются в собственных стихах Эхина, т. е. поэтика собственных сочинений переводчика находит отдаленное соответствие в поэтике оригинала, и при переводе влияет на нее (расстановка акцентов, смена доминанты и т. д.). Образ эстонского Тютчева в сборнике “Ilmsi ja ulmsi” в результате оказывается очищен от «окказиональных» тем, отстранен от контекста эпохи и даже от биографии поэта (любовная тема сужена и отчасти смягчен ее трагизм); мрачность тютчевского взгляда на мир отчасти смягчена, а импрессионизм и лиризм усилены; ср. замечание А. Эхина в послесловии, где он сравнил Фета и Тютчева:

Tjuttšev on terviklikum, monumentaalsem, metafüüsilisem <...> Tjuttševi keelekäsitlus on veidi alalhoidlikum, ta on lähedasem vanale oodilisele kõrgstiilile kui Fet. Suurema väljendusrikkuse saavutamiseks asetab Tjuttšev küll sõnarõhud puhuti ebaõigele kohale... [IU: 221].

Пер.: Тютчев завершнее, монументальнее, метафизичнее <...> Обращение Тютчева с языком немного консервативнее, он ближе к старому одическому высокому стилю, чем Фет. Ради достижения большей выразительности Тютчев порой помещает ударения на неправильные места...

Таким образом эстонский Тютчев приобретал некоторые черты поэтической личности одного из переводчиков<sup>10</sup>. Это наблюдение, если ограничиться им, представляет интерес лишь как подтверждение давно известных закономерностей практики литературного и особенно стихотворного перевода. Но в этом сборнике находится и менее тривиальный пример переводческой трансформации текста-источника, который, по нашему мнению, указывает на скрытый от поверхностного наблюдателя рецепционный сюжет.

В сборнике “Ilmsi ja ulmsi”, конечно, присутствует перевод самого эмблематического, «самого тютчевского» из тютчевских стихотворений — “Silentium!”. Перевод сделан довольно точно, но последняя строфа содержит оборот, который можно считать ошибкой переводчика:

Sa ela iseenda sees.  
On maa ja ilm su hinge lees.  
Ja püsib mõtte salavõim,

Лишь жить в себе самом умей —  
Есть целый мир в душе твоей  
Таинственно-волшебных дум;

<sup>10</sup> Интересно, разумеется, было бы проследить и возможное воздействие поэтики второго, Ли Сепель.

kui varjul hoitud on ta lõim.  
 Sa hooma päevi pirdlevoid,  
 ja nagu ront sa vaiki vaid  
 [IU: 65].

Их оглушит наружный шум,  
 Дневные разгонят лучи, —  
 Внимай их пенью — и молчи!..

В последней строке вместо *пенья дум* появляется сравнительный оборот “nagu ront sa vaiki vaid” («молчи как пень»). Причину его появления можно усмотреть в редкости устаревшего оборота, который переводчикам помешало распознать отсутствие категории рода в их родном языке. Но их большой опыт заставляет усомниться в непреднамеренности такого перевода. Кроме того, соседство *пня* и *молчания* знакомо русской фразеологии, что можно счесть дополнительной мотивировкой переводческого решения в финале “Silentium!”.

Косвенно, но ярко подтверждает его преднамеренность другой перевод тютчевского стихотворения, появившийся в журнале “Vikerkaar” в 1999 г. и подписанный Lion Pilter (псевдоним писателя, литературного критика и переводчика Lauri Pilter).

Jää tasa, sulgu ja varja  
 nii tunde- kui unelmatarja;  
 las sügaval hinge tuumis  
 neid tõuseb ja vaob nagu ruumis,  
 mis tähtede taustal on mustav;  
 neid imetle — vaikides ustav!  
 Kuis süda end teisele avaks?  
 Kuis muuta hing nähtavaks lavaks?  
 Mil selgineks päevade tõte —  
 Kord öelduna valeks saab mõte.  
 Nii kaosele pakkumast lakka  
 Ja talleta võtmeid — jää vakka.  
 Vaid endale elada oska —  
 üks terve ilm sinus ju koska  
 ideid imetabaseid sala,  
 nad kurdistab tundetu hala,  
 nad kõrbevad päikeselõõsas,  
 neid kuula — ja vaiki kui rõõsas!  
 [Pilter: 1]

В последней строке этого перевода появляется уже вовсе неожиданный *куст* («молчи как куст»). Появление *пня* в переводе Эхина и Сеппель можно было счесть очиткой или ошибкой, но ничего, подобного *кусту*, у Тютчева в тексте нет. Откуда же он вырос?

Как видно, куст в переводе Пильтера вырос из стихотворения Андреса Эхина, напечатанного в сборнике 1971 г. “Uks lagendikul”. Стихотворение без названия, первая строфа:

on muhumaal rööktiv rööšas,  
ja auru puhuvad sead  
ma istun päikeselööšas,  
süda on teispool halba ja head;

Пер.:  
на мухумаа рычащий куст,  
и пар выдыхают свиньи  
я сижу на солцепеке,  
сердце по ту сторону зла и добра;

последняя строфа варьирует первую:

see on muhumaal rööktiv rööšas,  
ja auru puhuvad sead  
olen oimetu päikeselööšast,  
süda on teispool halba ja head  
[Ehin: 53].

Пер.:  
это рычащий куст на мухумаа,  
и пар выдыхают свиньи  
я изнемог на солцепеке,  
сердце по ту сторону зла и добра.

Это стихотворение, судя по частоте упоминаний его в критических и научных интерпретациях, стало эмблемой Эхина-сюрреалиста, в нем проявились черты его поэтики, которые опознаются читателями как магистральные.

Лион Пильтер, используя рифму Эхина в своем переложении Тютчева, отсылал к предшествующему переводу — но было бы неверно полагать, что он намеревался «развенчать ошибку» предшественника. Напротив, в последнем стихе второй строфы он как бы повторил шутку переводчиков, сыгравших на паронимическом созвучии: “Nii kaosele rakkumast lakka / Ja talleta võtmeid — jää vakka” (дословно: «Так что прекрати предлагать себя хаосу / И сохраняй ключи — молчи»). Пильтер перевел тютчевские *ключи* как *ключи от дверей*, которые нужно *удержать/сохранить*, — при том, что у Эхина они были переведены верно, как *источники, läte*. Возможно, он помнил о том, что в переводе тютчевской «Бессонницы» Эхин и Сеппель заменили один язык другим: строка «язык для всех равно чужой» была переведена на эстонский как “keele real on võõras maik” («на языке странный привкус») [IU: 59]<sup>11</sup>.

Таким образом, новый перевод “Silentium!” 1999 года становится не только опытом рецепции классической русской поэзии в новых условиях, но и обращением к предше-

<sup>11</sup> Предположим, что смещение обусловлено переводом последней строки: “kuid südamed on mõistvalt hellad”, «но сердца понимающе смягчены» [IU: 59]. *Совесть* в эстонском языке связывается с *сердцем* (*südametunnistus, rahuliku südamega* жп.), и передача абстрактного понятия в переводе анатомической метафорой могла способствовать актуализации соответствующего значения слова *язык* (не средство коммуникации, не сообщение, а анатомический орган).

ственнику-переводчику. Имплицитная полемика — известный жанр в истории переводоведения, но рассмотренный нами случай, пожалуй, имеет свои особенности. Если обычно «ошибки» и «неточности» предшественника так или иначе исправлялись, то эстонские переводчики Тютчева пошли иным путем. Созданный усилиями Эхина и Сеппель образ поэта, «очищенный» от не востребованных культурой-реципиентом черт, приобрел в переводе некоторые особенности поэтики, характерные для переводчика и составителя подборки А.Эхина. Специфика переводческого освоения была, как мы пытались показать на примере перевода Лиона Пильтера, отмечена как минимум частью читателей. Таким образом, история “Ilmsi ja ulmsi”, возникшей в 1970-е антологии переводов из русских поэтов, которую, на первый взгляд, следует рассматривать в контексте трансляции официального литературного канона в национальные культуры народов СССР, приобретает новое измерение. В ней можно проследить, как в ситуации культурного давления и, так сказать, принуждения к рецепции переводчик превращает официальный заказ в повод для авторского высказывания. Мы рассмотрели только одну подборку из этого сборника, который, очевидно, нуждается в дальнейшем изучении.

## Литература

Азов: Азов А. Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы. М., 2013.

Вдовин: Частотность авторов и их текстов в русских хрестоматиях XIX в. (1805–1912) / Сост. А. В. Вдовин // Acta Slavica Estonica IV: Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. Тарту, 2013.

Витт: Витт С. Концепт «советская школа» перевода — дитя позднего сталинизма // Второй всесоюзный съезд советских писателей (1954). Идеология исторического перехода и трансформация советской литературы: Сб. ст. СПб., 2016.

Добренко 1997: Добренко Е. Формовка советского читателя: социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб., 1997.

Добренко 1999: Добренко Е. Формовка советского писателя: социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб., 1999.

Тютчев: Тютчев Ф. И. Лирика: В 2 т. / Изд. подг. К. В. Пигарев. М., 1965.

Andresen: Andresen, N. Kolme vene luuletaja tulek Eestisse. [Rets.:] “Ilmsi ja ulmsi”. Ivan Nikitin. Fjodor Tjuttšev. Afanassi Fet. Luulet. “Eesti raamat”. Tallinn, 1977. 232 lk // Sirp ja Vasar. 1977. Nr 33 (1756). 19. aug.

Arhiiv ERR: Maailmapilt: Reisid ilmsi ja ulmsi // ERR Audioarhiiv / <http://arhiiv.err.ee/vaata/maailmapilt-maailmapilt-reisid-ilmsi-ja-ulmsi> (Дата обращения: 25.09.2017).

Eesti Raamat: Kirjastuse "Eesti Raamat" 1977. aasta temaatiline plaan. Tallinn, 1976.

Eestimaa: Postitõllaga läbi Eestimaa: Eestimaa vene kirjanike kujutuses (XVIII sajandi lõpp – XX sajandi algus) / Koost. S. Issakov; tõlk. J. Toomla jt. Tallinn, 1971.

Ehin: *Ehin, A.* Uks legendikul. Tallinn, 1971.

EKSS: Eesti keele seletav sõnaraamat. 6, U–Y / Toim. M. Langemets jt. / Eesti keele instituut. Tallinn, 2009.

Erelt: *Erelt, T.* Veel kord keelenormist ja luulest // Oma Keel. 2015. Nr 1.

IU: *Nikitin, I.; Tjuttšev, F.; Fet, A.* Ilmsi ja ulmsi: luulet / Koost. ja järelsõna A. Ehin; vene keelest tõlk. P. Ilus, A. Ehin, L. Seppel. Tallinn: Eesti Raamat, 1977.

K. Ehin: *Ehin, K.* Kohtumiseni! Intervjuu (küsis Pille-Riin Larm) // Sirp. 12.05.2017. / <http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/kohtumiseni/> (Дата обращения: 30.09.2017).

Kurm: *Kurm, M.-U.* Andres Ehini sürrealistliku luule kujunemine ja lähtekohad. Bakalaureuse töö. Tartu, 2016.

Lange, Monticelli: *Lange, A.; Monticelli, D.* Tõlkelised ebakõlad totalitarismi monoloogis: Järjepidevused, katkestused ja varjatud konfliktid Nõukogude Eesti tõlkeloos // Keel ja Kirjandus. 2013. Nr 12.

Nagibin: *Nagibin, J.* Armastuse saar: jutustusi / Tõlk. T. Kall, M. Liidja, värsid tõlk. A. Ehin, M. Liidja. Tallinn, 1981.

Pilter: Fjodor Tjuttšev. Silentium! / Vene keelest tõlk. L. Pilter // Vikerraar. 1999. Nr 4.

Pärli: *Pärli, Ü.* Vene kirjandus venestusaja Eesti koolides // Methis: Studia humaniora Estonica / Eesti Kirjandusmuuseum. Tartu, 2008.

Veidemann: *Veidemann, R.* Arvustus: ilmsi ja ulmsi // Postimees. 04.09.2015. / <https://kultuur.postimees.ee/3313253/arvustus-ilmsi-ja-ulmsi> (Дата обращения: 30.09.2017).

Witt: *Witt, S.* Between the Lines: Totalitarianism and Translation in the USSR // Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary Translation in Eastern Europe and Russia. Benjamins Translation Library. 2011. 89 (12).

Памяти Юри Оямаа

## О ДВУХ ПЕРЕВОДАХ РОМАНА М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»: ВОПРОС ЦЕНЗУРЫ

СИРЬЕ КУПП-САЗОНОВ

Цензура рассматривает мир как семантическую систему,  
в которой информация — единственная реальность,  
и то, о чем не написано, того и не существует.

М. Я. Геллер

### Введение

Интерес к цензуре советской эпохи до сих пор не угас. О цензуре художественной литературы писали уже много и продолжают писать (см., например: [Блюм 1994, 2000, 2005, 2011; Жирков; ИСПЦ; Priidel; Ermolaev; Veskimägi; Punatsensuur] и мн. др.). В трудах некоторых исследователей отдельно рассматривается вопрос о взаимоотношениях цензуры и переводческой деятельности (см., напр.: [Lange, Monticelli 2013: 881–899; Lange, Monticelli 2014: 95–111]). Интересный и информативный материал представляют воспоминания людей (писателей, переводчиков, редакторов, книгоиздателей), которые ежедневно могли наблюдать, и часто испытывать на собственном опыте власть советской цензуры (см., напр.: [Tamm 2012; Muravin; Toomla: 129–138; Valton: 139–145]).

В нашей статье делается попытка рассмотреть вопрос цензуры с точки зрения переводчика на примере эстонских переводов романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Для этой цели были проведены два интервью

с обоими эстонскими переводчиками — с Майгой Варик 10 сентября и с Юри Оямаа 23 ноября 2016 г.<sup>1</sup>

Но перед тем как рассмотреть роль цензуры в появлении эстонского перевода романа М. А. Булгакова, следует коротко остановиться на том, кто собственно осуществлял цензуру, и как это происходило в Эстонской Советской Социалистической Республике.

### Главлит и аппарат цензуры в ЭССР

Важнейшим событием в истории советской цензуры, несомненно, является создание Главного управления по делам литературы и издательств (Главлита) 6 июня 1922 г. В том же году были установлены главные принципы, которые дали Главлиту право запрещать издание и распространение произведений, которые:

- 1) агитировали против Советской власти;
- 2) разглашали военную тайну;
- 3) возбуждали общественное мнение с помощью ложных сведений;
- 4) возбуждали националистический и религиозный фанатизм;
- 5) имели порнографический характер [Жирков: 256].

Задачи управления были сформулированы в документе под названием «Краткая справка о деятельности и структуре Главлита» (27 февраля 1947 г.), и они заключались в следующем:

- 1) руководство органами цензуры на территории СССР;
- 2) осуществление предварительного и последующего контроля над издательской деятельностью в целом;
- 3) выдача разрешений на открытие издательств;
- 4) составление общего ориентировочного плана издательской продукции и прослеживание выполнения этого плана;
- 5) осуществление цензуры печатных произведений и выдача разрешения на печатание книг;
- 6) составление списков вредной литературы;
- 7) контроль над ввозом литературы из-за границы и многое другое [ИСПЦ: 345–346].

<sup>1</sup> Необходимо отметить, что тема перевода романа М. А. Булгакова обсуждалась и в некоторых более ранних интервью, как с переводчиками (см., напр.: [Liivamets; Tõlkijad 1989, 1990, 1996; Saluäär: 1290–1301]), так и с главным редактором издательства «Ээсти Раамат» Акселем Таммом [Глушковская: 120–132], однако несмотря на это, в ходе наших интервью выяснились некоторые любопытные факты, о которых не шла речь в предыдущих беседах.

Этим же положением было установлено, что «в каждой союзной (кроме РСФСР) и автономной республике имеется Главное управление по делам литературы и издательств республики» [ИСПЦ: 347]. Эстонский орган цензуры носил в разные времена разные названия. Впервые он был создан в 1940 г. под названием «Главное управление по делам литературы и издательств»<sup>2</sup> (“Kirjandus- ja Kirjastusajade Peavalitsus”), в дальнейшем название менялось несколько раз. В момент ликвидации в 1990 г. управление носило название «Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров ЭССР» (“Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Trükistes Riiklike Saladuste Kaitse Peavalitsus”) [Maimik: 100]. В конце 50-х и в начале 60-х гг. прошлого века политический контроль над издательской деятельностью немного ослаб, однако все же сохранились предварительная и карательная цензуры, и рабочие планы издательств утверждались в московском Главлите [Тамм 2013: 2].

Думается, что на самом деле в советскую эпоху можно было говорить о трехступенчатой системе цензуры. Во-первых, самоцензура автора, так как все писатели и поэты того времени, конечно, хорошо знали, о чем можно и о чем не стоит писать. Второй этап цензуры осуществлялся в издательствах редакторами, этот вид цензурирования кажется более «дружелюбным» по отношению к автору, так как часто редакторы были лично знакомы с писателями, и поэтому такая цензура нередко осуществлялась путем своего рода сотрудничества редактора и автора. Иногда оно было настолько успешным, что настоящему цензору было уже почти не к чему придираться, он ограничивался лишь незначительной правкой. Я. Тоомла (работал редактором в издательстве “Eesti Riiklik Kirjastus” в 1964 г.) вспоминает, как он должен был сообщить известному эстонскому писателю Ф. Тугласу, что в ходе корректуры его сборника «Изменчивая радуга» (“Muutlik vikerkaar”) цензор вычеркнул из текста несколько фрагментов. Ф. Туглас просмотрел правку цензора и спокойно сказал, что от своих мыслей он отказываться не будет. Но так как писатель считал, что любую идею можно выражать несколькими разными способами, то он просто переформулировал фрагменты, которые не понравились цензору, и сказал, что читатель все равно поймет его мысль [Тоомла: 130].

Однако не все авторы были готовы идти на компромиссы и некоторые из них предпочитали не публиковаться вообще, если не имели возможно-

---

<sup>2</sup> Более подробно создание системы цензуры и ее функционирование в ЭССР 40-е и 50-е гг. прошлого века рассматриваются в бакалаврской работе М. Аэсма [Aesma].



сти писать так, как им хотелось<sup>3</sup>. М. А. Булгаков был тоже одним из тех писателей, у которых были чрезвычайно сложные отношения с советской цензурой, но, несмотря на это, он продолжал сочинять. 24 августа 1929 г. М. А. Булгаков писал своему брату: «Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР, и беллетристической ни одной строки моей не напечатают. В 1929 году совершилось мое писательское уничтожение» (цит. по: [Чудакова: 164]). Свое отношение к цензуре М. А. Булгаков выразил в письме Правительству СССР (1930 г.):

Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, — мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода [Там же: 196].

Роман «Мастер и Маргарита», наряду с некоторыми другими произведениями М. А. Булгакова, не увидел свет при жизни автора, и позже, когда его, наконец, опубликовали, он подвергался беспощадной цензуре. Далее перейдем к истории создания и публикации романа.

### История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита»

Считается, что М. А. Булгаков начал писать этот роман в конце 20-х гг. прошлого века, и работа продолжалась вплоть до смерти писателя. В черновиках первой версии романа встречаются возможные названия: «Черный маг», «Великий канцлер» и другие, окончательное название — «Мастер и Маргарита» — оформилось в 1937 г. [Белобровцева, Кульюс: 9, 25].

Роман имеет несколько редакций, первая из них была уничтожена автором в 1930 г., исследователи до сих пор не сходятся во мнениях по поводу точного количества редакций романа, однако мы не будем останавливаться на этом вопросе более подробно, так как это несущественно с точки зрения нашей статьи.

Общеизвестным является факт, что роман не был напечатан при жизни автора. М. А. Булгаков скончался 10 марта 1940 г., а первая публикация произведения в сокращенном виде была осуществлена лишь в 1966–1967 гг.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> В число таких литераторов входила, например, эстонская поэтесса Бетти Альвер, чье вынужденное молчание длилось 20 лет. Альвер активно занималась только переводческой деятельностью («Евгений Онегин» А. С. Пушкина и мн. др.) [Toomla 2003: 132–134].

<sup>4</sup> По словам Г. А. Лескиса, Е. С. Булгакова до 1966 г. шесть раз пыталась опубликовать роман [Лескис: 224].

Роман был опубликован в литературном журнале «Москва» [Булгаков 1966–1967] с предисловием Константина Симонова и послесловием Абрама Вулиса. Многочисленные цензурные и редакторские купюры составляли 12% текста, большинство из них приходилось на вторую часть романа [Там же: 26]. Г. А. Лесскис утверждает, что цензор вычеркнул 14000 слов, полностью были сняты 1600 предложений [Лесскис: 225]. Однако необходимо отметить, что тираж журнала был в эти годы очень велик, например, в 1964 г. он составлял 160 000 экземпляров [Казак: 268], так что первая публикация романа стала доступной для многих.

Первое бесцензурное издание книги на русском языке вышло в 1967 г. в Париже, затем в 1969 г. во Франкфурте-на-Майне. В СССР книжный вариант без купюр увидел свет в 1973 г. в издательстве «Художественная литература» [Белобровцева, Кульюс: 27]. Выход перевода романа на эстонский язык еще в 1968 г. можно считать своего рода чудом, об этом свидетельствует и тот факт, что на многие годы эстонский перевод остался единственным книжным изданием романа М. А. Булгакова в Советском Союзе. В следующем разделе рассмотрим более подробно, как рождался первый эстонский перевод романа «Мастер и Маргарита» [Bulgakov 1968].

### Первый перевод романа на эстонский язык

На сегодняшний день существует два эстонских перевода<sup>5</sup> (1968 г. и 1995 г.) и несколько переизданий романа «Мастер и Маргарита». Первый перевод романа на эстонском языке вышел в 1968 г. Переводчики М. Варик и Ю. Оямаа перевели сокращенный вариант текста, который был опубликован в журнале «Москва» [Булгаков 1966–1967].

---

<sup>5</sup> Мы не будем касаться вопроса о том, является ли перевод 1995-го года повторным переводом или отредактированным вариантом первого перевода (1968 г.). Многие исследователи указывают, что порой бывает довольно трудно провести границу между этими явлениями (см., напр.: [Gambier: 413–417; Кушнина 2015: 25–30; Кушнина 2016: 409–413; Koskinen, Páloroski: 29–49]). «Современные ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, где и когда начинается повторный перевод: начинается ли он с предыдущего перевода или с текста оригинала; нужно ли «забыть» первый перевод и все начинать с нуля, чтобы получить абсолютно новый перевод» [Кушнина, Голубева, Югова: 112]. У обоих эстонских переводов романа М. А. Булгакова одни и те же переводчики и довольно большая часть текста книги была отредактирована переводчиками для издания 1995 г., однако с другой стороны, немалая часть текста была представлена впервые лишь во втором переводе. Кроме того, необходимо учитывать, что между переводами имеется значительный промежуток времени — 27 лет, тем более, что переводы были осуществлены в разное время: в советский период и в эпоху независимой Эстонской Республики.

Читая ранее проведенные интервью и беседуя с переводчиками, мы ясно ощущали, что ключевые моменты в процессе появления эстонского перевода представляют собой своего рода исключение, и они появились иначе, чем было принято в то время.

Все началось с того, что у М. Варик вошло в привычку читать почти все русские литературные журналы, которые в то время были доступны. В первую очередь она делала это именно для того, чтобы найти произведения, которые могли бы заинтересовать эстонского читателя, и которые стоило бы перевести. Именно таким образом в ее руки попала первая часть романа «Мастер и Маргарита». Здесь и наблюдается первое исключение из общих правил того времени, так как тогда было принято не обсуждать возможность перевода какого-либо произведения, пока оно не было опубликовано целиком. В случае с романом Булгакова получилось иначе: прочитав первую часть текста в конце 1966 г., М. Варик сразу обратилась к заведующему издательством «Ээсти Раамат» Юри Оямаа и предложила, что переведет роман. Ю. Оямаа текст также очень понравился, и так как они оба чувствовали, что с переводом следует поторопиться, то было решено переводить роман вдвоем. Кроме самих переводчиков, от произведения М. А. Булгакова был также в восторге главный редактор издательства «Ээсти Раамат» Аксель Тамм. Он приехал в Москву в конце 1966 г., позвонил Диане Варткесовне Тевекелян, работавшей тогда в редакции журнала «Москва», и она прислала ему гранки. Таким образом у Тамма текст романа оказался еще до выхода его второй части в первом номере 1967 г. [Глушковская: 126].

М. Варик вспоминала, что был тревожный момент, когда в последующем номере журнала (т. е. в 12-м номере 1966 г.) не вышла вторая часть романа, и они с Ю. Оямаа тогда всерьез беспокоились, что вся проделанная работа может оказаться бесполезной: опубликовать роман на эстонском языке все-таки не удастся. Следует еще уточнить, что договор с переводчиками заключили только тогда, когда перевод был уже готов. Если бы договор был заключен заранее, то, возможно, что Булгакова запретили бы переводить.

В истории перевода романа был еще один опасный момент. В 1968 г. эстонский переводчик и редактор Отто Самма издал сборник рассказов М. А. Булгакова «Роковые яйца» (“Saatuslikud munad”) и написал в предисловии, что очень скоро в Эстонии выйдет роман «Мастер и Маргарита». К счастью, этот фрагмент предисловия остался незамеченным [Там же], по крайней мере, теми, кто мог бы препятствовать появлению эстонского перевода.

Второе исключение из общих правил, обязательных для всех издательств того времени, как рассказал об этом Ю. Оямаа, заключалось в том,

что перевод романа «Мастер и Маргарита» не отражался в официальных планах издательства «Ээсти Раамат» и, следовательно, не утверждался Главлитом ЭССР.

Процесс перевода и подготовка текста к печати происходили очень быстро. Рукопись перевода была готова 19 апреля 1968 г., текст отправили в печать 31 октября того же года. В декабре 1968 г. Ю. Оямаа оказался в Москве, у него появилась возможность встретиться с вдовой Булгакова и передать ей эстонский перевод романа. На этой короткой встрече Е. С. Булгакова, спешившая на рождественский праздник к М. Ростроповичу, показала ему издания романа и переводы, которые были к этому времени опубликованы в других странах мира. Она показала Оямаа номера журнала «Москва», в которые были вклеены отдельные страницы текста, вычеркнутого цензурой. По словам Ю. Оямаа, эстонский перевод романа очень обрадовал вдову Булгакова, так как это был первый перевод в СССР, опубликованный отдельным изданием [Liivamets: 26]<sup>6</sup>.

В ходе интервью с переводчиками выяснилось и третье обстоятельство, которое главным образом «спасло» эстонский перевод романа и сделало его доступным для эстонских читателей. Оно заключалось в том, что если какое-либо произведение было опубликовано на русском языке (это касалось как оригинальных русских текстов, так и переводов на русский язык, которые могли быть потом переведены еще и на другие языки), то для перевода таких текстов не надо было получать разрешение для печати в Главлите, и такие тексты не подвергались повторной цензуре.

Хотя текст перевода цензуре не подлежал, но подцензурными могли стать предисловие и послесловие. Это могло произойти в том случае, если в издательстве решили бы написать новое предисловие или послесловие на эстонском языке. Однако так как переводчики стремились не привлекать внимания к изданию своего перевода, то было решено использовать предисловие К. М. Симонова (оно было опубликовано в журнале «Москва» № 11), которое в эстонском переводе превратилось в послесловие. Таким образом можно было избежать нежелательного внимания Главлита.

---

<sup>6</sup> История эстонского перевода романа «Мастер и Маргарита» является, несомненно, уникальной. Хотя необходимо отметить, что такое превращение русского газетного или журнального текста в книгу на эстонском языке не было единичным случаем. А. Тамм вспоминает о публикации поэмы А. Т. Твардовского «За далью — даль», которая вышла в начале 1960-х в газете «Правда» или «Известия». Аугуст Санг перевел несколько глав поэмы на эстонский язык, и в издании «Библиотека журнала Лооминг»/“Loomingu Raamatukogu” этот текст был опубликован небольшой книгой. А. Тамм привез книгу в Москву и передал один экземпляр автору поэмы, которого это очень обрадовало [Глушковская: 123–124].

Хотя было приложено немало усилий, чтобы скрыть план издания и сам выход эстонского перевода, М. Варик утверждает, что кто-то все-таки высказал мнение, что «это не украшает ваш план». Но в целом можно утверждать, что эстонский перевод романа был опубликован без ведома Главлита. Зато после выхода перевода начали происходить следующие события. Во-первых, были телефонные звонки в Книготорг<sup>7</sup> с требованием задержать перевод «Мастера и Маргариты». Однако Книготорг был заинтересован в реализации всего тиража (30 000 экземпляров) и поэтому было сказано, что ничего уже нельзя сделать [Глушковская: 126–127].

Во-вторых, в Москву были вызваны сразу три человека: Аксель Тамм (главный редактор издательства «Ээсти Раамат»), Аксель Эрмель (заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Эстонской коммунистической партии) и Лембит Кайк (председатель Комитета государственных издательств, полиграфии и книготорговли ЭССР). По словам Ю. Оямаа, это был уникальный случай, когда из-за одной книги в Москву вызвали сразу трех ответственных сотрудников республики [Liivamets: 26]. Так или иначе, в Москве им пришлось объяснять, почему был опубликован перевод романа Булгакова. Им было сказано, что если Москва в свое время дала разрешение напечатать роман в журнале, то это отнюдь не означает, что все республики имеют право публиковать перевод романа<sup>8</sup> [Там же]. В московском Главлите также потребовали, чтобы все экземпляры «Мастера и Маргариты» были изъяты из магазинов, но на это в издательстве ответили, что все книги уже распроданы (что было неполной правдой). В ходе нашего интервью Ю. Оямаа рассказал, что, когда пришел приказ из Главлита, его не было в Эстонии, но к счастью, он смог передать эту информацию своей матери, которая пошла и купила несколько экземпляров книги, чтобы обеспечить сохранность перевода в том случае, если бы весь тираж действительно был уничтожен.

Несмотря на напряженную ситуацию, никакого наказания издательству и всем причастным к выходу эстонского перевода все же не назначили<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Книготорг в СССР — государственная книготорговая организация (контора, объединение) республики, края, области, города, являющаяся основным оптово-розничным звеном, производящим закупки и осуществляющим в пределах данной республики, края, области, города оптово-розничную торговлю непериодическими печатными изданиями, а также сопутствующими товарами [КЭС].

<sup>8</sup> Следует подчеркнуть, что в Эстонии осуществлялись также рукописные переводы текстов запрещенной литературы, которые передавались из рук в руки. Так поступили, например, с антиутопическими произведениями Дж. Оруэлла [Lange, Monticelli 2013: 885].

<sup>9</sup> С одной стороны, кажется, что периферийное положение Эстонии дало переводчикам и редакторам издательств больше свободы, и, может быть, больше смелости выполнять свою ра-

Но в итоге было запрещено писать о Булгакове и о романе «Мастер и Маргарита» в СМИ, а также переводить статьи, посвященные этим темам. Например, у Ю. Оямаа был уже заключен договор с эстонской газетой «Серп и Молот»/“*Sirp ja Vasar*” о переводе статьи известного критика В. Лакшина, вышедшей в журнале «Новый мир» и посвященной роману «Мастер и Маргарита», но ему запретили переводить статью [Liivamets: 26].

О том, что именно было вычеркнуто цензурой в журнальном варианте романа, переводчики узнали лишь тогда, когда получили полный текст произведения, и было решено издать новый усовершенствованный эстонский перевод.

### Второй перевод романа на эстонский язык

В свете того, что в СССР книжный вариант романа без купюр увидел свет еще в 1973 г., больше всего удивляет то, что первый полный перевод на эстонском языке вышел только в 1995 г. [Bulgakov 1995]. На вопрос, почему это заняло столько времени, заданный обоим переводчикам, мы не получили однозначного ответа. По словам Ю. Оямаа, одной из причин могло стать то обстоятельство, что было сложно найти единый авторитетный вариант текста романа. Поэтому перевод 1995 года основывался на трех разных источниках<sup>10</sup>. Кроме того, в начале 90-х гг. XX в. число переводов с русского языка в Эстонии существенно сократилось, и на первый план выступили другие языки, в первую очередь, английский<sup>11</sup>.

Известно, что в 1990 г. обсуждалась возможность опубликовать новый перевод романа, но еще 1993 г. Майе Калда, эстонский литературовед и критик, писала, что в ближайшее время нет оснований ожидать появления

---

боту. Именно в Эстонии на территории СССР в 1989 г. увидел свет роман А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (об этом подробнее см.: [Лангеметс: 159–162]). Похожих случаев, скорее всего, больше, однако этот вопрос требует отдельного тщательного изучения и не входит в задачи нашей статьи. С другой стороны, история перевода «Мастера и Маргариты» доказывает, что в Москве следили не менее внимательно за деятельностью «Ээсти Раамат», чем за работой российских издательств. Если переводчики и редактор решили идти на риск, переводя или издавая не одобренную правительством литературу, то у них должен быть хотя бы один веский аргумент, которым можно было себя позже защищать. В случае романа М. А. Булгакова этим аргументом было то, что текст был уже опубликован на русском языке и тем самым якобы был одобрен властями.

<sup>10</sup> Речь идет о следующих источниках: [Булгаков 1966–1967; Булгаков 1980; Булгаков 1987].

<sup>11</sup> Более подробно об истории русско-эстонского перевода см.: [Купп-Сазонов: 8–11], о статистике издаваемой литературы (в том числе о соотношении оригинальных текстов и переводов) в советское время см.: [Liivaku, Meriste: 22; Lange, Monticelli 2014: 99–100].

нового перевода романа Булгакова [Kalda: 27]. Несмотря на это, в 1995 г. вышел перевод полного текста романа, который впоследствии многократно переиздавался.

Майга Варик и Юри Оямаа утверждают, что в ходе работы над переводом 1995 г., кроме собственно перевода фрагментов, которые отсутствовали в тексте журнальной публикации, они перечитывали предыдущий перевод и редактировали его. В частности, были исправлены многие иностранные названия, которые в первом переводе передавались на эстонский язык с опорой на русскую традицию (см. Таблицу № 1).

Таблица № 1

В оригинальном тексте	В первом переводе (1968)	Во втором переводе (1995)
<i>Синедрион</i>	<i>Sünedrion</i>	<i>Sanhedriin</i>
<i>Елеонская гора</i>	<i>Iileoni mägi</i>	<i>Õlimägi</i>
<i>Вар-равван</i>	<i>Bar-Raban</i>	<i>Barabas</i>
<i>Иуда из Кириафа</i>	<i>Juudas Kiriafist</i>	<i>Juudas Kariotist</i>

С другой стороны, некоторые элементы текста остались неизменными, например, ругательства:

*Приедет... и или нашпионит, как последний **сукин сын**...* [Булгаков 1980: 82].  
*Sõidavad siia ja hakkavad spioneerima nagu viimased **tõprad** (скотины)...* [Bulgakov 1995: 122].

*Дает какой-то **сукин сын** червонец, я ему сдачи — четыре пятьдесят* [Булгаков 1980: 153].

*Annab üks **närukael** (негодяй) mulle kümnerublalise...* [Bulgakov 1995: 233].

или известные слова Маргариты:

— *Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего **любовника**, мастера,*  
 — *сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой* [Булгаков 1980: 230].

*"Ma tahan, et mulle otsekohe, silmapilk antakse tagasi mu **armastatud** (возлюбленный) meister," ütles Margarita ja ta nägu tõmbles* [Bulgakov 1995: 350].

И. Белобровцева и С. Кульюс отмечают, что аналогичные реплики были изъяты при первой, журнальной публикации романа как «непристойные» [Белобровцева, Кульюс: 275]. Однако в более позднем эстонском переводе они остались неизменными. Мы спросили у переводчиков, чем было обусловлено такое решение, и оказалось, что в этих случаях мы имеем дело просто с личными предпочтениями авторов перевода; например, им казалось, что русское ругательство не столь экспрессивно, как его точное эстонское соответствие (*litapoeg*), и поэтому в переводе встречаются более

«мягкие» слова. А в примере с Маргаритой переводчикам хотелось показать ее в лучшем свете, чем в оригинале. На вопрос, существовали ли ограничения на использование ругательств и т. п. со стороны цензуры в Эстонии, М. Варик ответила, что в ее практике таких случаев, чтобы запрещали использовать в переводе нецензурные слова, если они имелись в оригинальном тексте, не было.

В переводе 1995 г. появляется одна довольно забавная опечатка (в раннем переводе ее нет, и она будет исправлена в последующих переизданиях). После того, как Никанор Иванович берет взятку у Коровьева и прячет деньги в вентиляционном отверстии уборной, он садится за стол обедать. В его квартиру приходят два гражданина и происходит следующий диалог:

— *Где сортир?* — *озабоченно спросил первый, который был в белой косоворотке. На обеденном столе что-то стукнуло (это Никанор Иванович уронил ложку на клеенку).*

— *Здесь, здесь,* — *скороговоркой ответила Пелагея Антоновна* [Булгаков 1980: 84–85].

В эстонском переводе вместо слова *peldik* (т. е. *сортир*), из-за опечатки появляется слово *peidik* (т. е. *тайник*) и создается комический эффект, как будто хозяйка дома на вопрос где у вас тайник, охотно отвечает: *Здесь, здесь.*

*"Kus on peidik?" päris asjalikult esimene mees, too, kellel oli seljas valge särk. Miski kolksatas vastu söögilauda (Nikanor Ivanovitš pillas kulbi vahariidele). "Siin, siin," vastas Pelageja Antonovna kiiresti* [Bulgakov 1995: 126].

В упомянутой нами статье М. Калда 1993 г., автор подробно сравнивает первое издание романа Булгакова с последующими полными публикациями текста и описывает, что именно отсутствовало в журнальном варианте. В некоторых случаях М. Калда пытается объяснить, чем эти опущения были обусловлены, но мы не будем здесь воспроизводить результаты этого анализа. Вместо этого сосредоточимся на том, как сами эстонские переводчики сравнивали свой первый перевод с полной версией романа, и какие мысли у них при этом появлялись.

В ходе интервью мы попросили переводчиков рассказать, как они восприняли полный текст романа, который перевели в середине 90-х гг. прошлого века. М. Варик объяснила, что, сравнивая первый перевод с полным текстом романа, в некоторых случаях было понятно, почему те или иные абзацы, предложения или просто отдельные слова были изъяты цензурой, например, две сцены, посвященные теме валюты (Сон Никанора Ивановича; Коровьев и Бегемот в Торгсине). Между прочим, перевод сна Ни-



канора Ивановича был опубликован в журнале «Библиотека»/“Raamatukogu” в 1993 г., а история в Торгсине была переведена на эстонский язык еще в 1988 г., в № 20 журнала «Пиккер»/“Pikker”; переводчиком был Рейн Круус<sup>12</sup> под псевдонимом Прийт Нью [Bulgakov 1988: 12–13].

Возвращаясь к теме цензуры, можно сказать, что вполне логичными опущениями кажутся, например, такие предложения: *Произошло несколько арестов; Да, были жертвы, и эти жертвы требовали следствия* и т. п. Г. А. Лесскис утверждает, что «семантика сокращений очевидна: более всего изъято мест, относящихся к римской и советской тайной полиции, а также к чертам сходства древнего и современного мира <...>, то есть стиралась связь времен, на которой построена философия истории в произведении Булгакова» [Лесскис: 227]. Однако, по словам М. Варик, в ходе чтения и сравнения попадались и такие изменения или опущения, которые казались переводчикам необъяснимыми, а порой и просто абсурдными.

## Выводы

Подводя итоги, можно утверждать, что, хотя эстонские переводы Булгакова не подвергались цензуре, цензура русского оригинала прямым образом повлияла на окончательную форму эстонского текста. Иными словами, все, чего нет в первом эстонском переводе романа «Мастер и Маргарита» 1968 г., обусловлено особенностями текста, опубликованного в журнале «Москва» в 1966–1967 гг.

Несмотря на все трудности, связанные с публикацией эстонского перевода, переводчики и главный редактор издательства считают это победой над советской цензурой и гордятся тем, что эстонский перевод был первым и на многие годы единственным книжным изданием романа М. А. Булгакова в СССР.

## Литература

Белобровцева, Кульяс: *Белобровцева И., Кульяс С.* Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: опыт комментария. Таллинн, 2004.

Блюм 1994: *Блюм А.* За кулисами «министерства правды»: тайная история советской цензуры, 1917–1929. СПб., 1994.

Блюм 2000: *Блюм А.* Советская цензура в эпоху тотального террора, 1929–1953. СПб., 2000.

<sup>12</sup> Более подробно о научной деятельности Р. Крууса см.: [Ponomarjova: 451–463].

Блюм 2005: *Блюм А.* Как это делалось в Ленинграде: цензура в годы оттепели, застоя и перестройки, 1953–1991. СПб., 2005.

Блюм 2011: *Блюм А.* Русские писатели о цензуре и цензорах: от Радищева до наших дней: 1790–1990: опыт комментированной антологии. СПб., 2011.

Булгаков 1966–1967: *Булгаков М.* Мастер и Маргарита // Москва. 1966–1967. № 11. С. 6–130; № 1. С. 56–144.

Булгаков 1980: *Булгаков М.* Мастер и Маргарита. Избранное. М., 1980.

Булгаков 1987: *Булгаков М.* Мастер и Маргарита. Театральный роман. Воронеж, 1987.

Глушковская: *Глушковская Л.* Аксель Тамм. Дихотомия // Вышгород. 1996. № 5–6.

Жирков: *Жирков Г.* История цензуры в России XIX–XX вв.: учебное пособие для высших учебных заведений. М., 2001.

ИСПЦ: История советской политической цензуры: документы и комментарии / Сост., предисл., коммент. Т. М. Горяева. М., 1997.

Казак: *Казак В.* Лексикон русской литературы XX века = Lexikon der russischen Literatur ab 1917. М., 1996.

Купп-Сазонов: *Купп-Сазонов С.* О роли грамматики в переводе (на материале временных форм глагола в русском и эстонском языках). *Dissertationes Philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis.* Tartu, 2015.

Кушни́на 2015: *Кушни́на Л.* Повторный перевод как функция переводческого хронотопа // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. 2015. № 3 (13).

Кушни́на 2016: *Кушни́на Л., Аркееева А.* Динамика пространства перевода: от повторного перевода к переводческому хронотопу. Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах: материалы VIII Международной научной конференции (г. Челябинск, 20–22 апреля 2016 г.). Т. 1 / Отв. ред. А. Нефедова. Челябинск, 2016.

Кушни́на, Голубева, Югова: *Кушни́на Л., Голубева Г., Югова Е.* Повторный перевод в системе переводческого дискурса // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 9(63): В 3 ч. Тамбов, 2016. Ч. 1.

КЭС: Книговедение: энциклопедический словарь / Гл. ред. Н. Сикорский. М., 1982.

Лангеметс: *Лангеметс А.* Впервые в империи: «Архипелаг ГУЛАГ» на страницах журнала «Лооминг» // Вышгород. 1995. № 4.

Лескис: *Лескис Г.* Триптих М. А. Булгакова о русской революции: «Белая гвардия», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита»: комментарии. М., 1999.

Чудакова: *Чудакова М.* Неоконченное сочинение Михаила Булгакова // Новый мир. 1987. № 8.

- Aesma: *Aesma, M.* Nõukogude tsensuurisüsteemi loomine ja organisatsiooniline väljakujunemine Eesti NSV-s 1940–41 ja 1944–53. Bakalaureusetöö. Tartu, 2005.
- Bulgakov 1968: *Bulgakov, M.* Meister ja Margarita / Tõlk. M. Varik, J. Ojamaa. Tallinn: Eesti Raamat, 1968.
- Bulgakov 1988: *Bulgakov, M.* Korovjevi ja Peemoti viimased seiklused / Tõlk. P. Nõu // *Pikker*. 1988. Nr 20.
- Bulgakov 1995: *Bulgakov, M.* Meister ja Margarita / Tõlk. M. Varik, J. Ojamaa. Tallinn: Varrak, 1995.
- Ermolaev: *Ermolaev, H.* Censorship in Soviet Literature, 1917–1991. Lanham, 1997.
- Gambier: *Gambier, Y.* La retraduction, retour et detour // *Meta*. 1994. 39 (3).
- Kalda: *Kalda, M.* Tühjale saarele kaasavõtmise raamat. “Meistri ja Margarita” trükiredaktsioonide võrdlus // *Raamatukogu*. 1993. Nr 2.
- Koskinen, Paloposki: *Koskinen, K.; Paloposki, O.* Reprocessing texts. The fine line between retranslating and revising. Across Languages and Cultures. Budapest, 2010. Vol. 11.1.
- Lange, Monticelli 2013: *Lange, A.; Monticelli, D.* Tõkelised ebakõlad totalitarismi monoloogis // *Keel ja Kirjandus*. 2013. Nr 12.
- Lange, Monticelli 2014: *Lange, A.; Monticelli, D.* Translation and totalitarianism: the case of Soviet Estonia // *Translator*. 2014. Vol. 20.1.
- Liivaku, Meriste: *Liivaku, U.; Meriste, H.* Kuidas seda tõlkida. Järeltormatusest eestinduseni. Tallinn, 1975.
- Liivamets: *Liivamets, M.* M. Bulgakovi “Meister ja Margarita” tõkelugu // *Raamatukogu*. 1993. Nr 2.
- Maimik: *Maimik, P.* Eesti ajakirjandus nõukogude tsensuuri all. Eesti ajakirjanduse ajaloost IX. Tartu, 1994.
- Muravin: *Muravin, G.* Ebatsensuursed juhtumid: sekeldused Eesti raamatutega Nõukogude ajal: kirjanduslikud meenutused. Tallinn, 2016.
- Ponomarjova: *Ponomarjova, G.* Vene kirjanduse uurimisest Nõukogude Eestis Rein Kruusi näitel // *Võim ja Kultuur*. Tartu, 2003.
- Priidel: *Priidel, E.* Vägikaikavedu, ehk, Vaim ja Võim: 1940–1990. Tallinn, 2010.
- Punatsensuur: *Punatsensuur: mälestustes, tegelikkuses, reeglites / Koost. E. Tammer.* Tallinn, 2014.
- Saluäär: *Saluäär, A.* Kuidas inimest ära tunda (ja tõlkida) // *Looming*. 2014. Nr 9.
- Tamm 2012: *Tamm, A.* Ütle, tsensor, milleks sulle käärid: keelamise lood. Tallinn, 2012.
- Tamm 2013: *Tamm, T.* Valgustuse postihobused tõlkijad ja toimetajad enne ja nüüd // *Keel ja Kirjandus*. 2013. Nr 1.

Toomla: *Toomla, J.* Meenutusi kirjastuse ja tsensuuri vahekorrast. Raamat on...III / Koost. E. Teder. Tallinn, 2003.

Tõlkijad 1989: Tõlkijad (радиопередача) 01.01.1989 — интервью с Майгой Варик / <http://arhiiv.err.ee/guid/201005110557303010010002081001517C41A040000005020B00000D0F030972> (Дата обращения: 26.05.2017).

Tõlkijad 1990: Tõlkijad (радиопередача) 16.11.1990 — интервью с Майгой Варик / <http://arhiiv.err.ee/guid/81987> (Дата обращения: 26.05.2017).

Tõlkijad 1996: Tõlkijad (радиопередача) 16.02.1996 — интервью с Юри Оямаа / <http://arhiiv.err.ee/guid/77001> (Дата обращения: 26.05.2017).

Valton: *Valton, A.* Tsensuurist. Raamat on ...III / Koost. E. Teder. Tallinn, 2003.

Veskimägi: *Veskimägi, K.* Nõukogude unelaadne elu: tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed. Tallinn, 1996.

## ЭСТОНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ БАЛТИЙСКО-НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ И ИХ ВОСПРИЯТИЕ<sup>1</sup>

РЕЭТ БЕНДЕР

### Введение. Специфика балтийской литературы

История перевода, восприятия и толкования балтийско-немецких текстов в Эстонии тесно связана с общим представлением о балтийских немцах. В данной статье рассматривается история эстонских переводов этих текстов. Понятие «текст» охватывает здесь письменную и литературную продукцию в широком смысле — как литературные, так и (авто)биографические, эпистолярные, научные, публицистические и подобные им тексты. Такое понимание опирается на мнение Яана Ундуска, который усматривает специфику балтийско-немецкой литературы не в художественных текстах, а в том, что он называет *mõtteproosa*, «интеллектуальная проза» [Undusk 2011: 565]. Так, по мнению Ундуска, те, кто осуждает балтийско-немецкую литературу, в их числе Геро фон Вильперт, «должны быть в восторге от немецкой литературы, от объема этой большой литературы» [Undusk 1993: 28], т. к. «ядро балтийско-немецкой литературы составляют прежде всего исторические трактаты, политическая, юридическая и экономическая публицистика, а также эссеистика по темам культуры, природы и в меньшей степени философии» [Undusk 2011: 565].

Исторически балтийское литературное поле было многоязычным. До середины XIX в. эстонская и латышская литература не были самостоятельны,

---

<sup>1</sup> Статья написана в рамках институционального гранта IUT34-30 Tõlkeideoloogia ja ideoloogia tõlkimine: kultuuridünaamika mehhanismid Eestis vene ja nõukogude võimu tingimustes 19.–20. sajandil / Ideology of Translation and Translation of Ideology: Mechanisms of Cultural Dynamics under the Russian Empire and Soviet Power in Estonia in the 19th – 20th Centuries.

они существовали на периферии большой немецкоязычной литературы, и это замечание справедливо как в отношении авторов и жанров, так и господствующей идеологии. В то время не было чисто эстоноязычных авторов, язык был маркирован функционально и стилистически, но не связывался с национальной характеристикой. С середины XIX в. на основе многоязычной балтийской литературы образовались немецкая, эстонская и латышская литературы [Undusk 2008: 94–95]. Лийна Лукас считает, что в словосочетании «балтийская литература» прилагательное следует понимать в его исходном смысле, т. е. как географический термин [Lukas: 26–27].

Часто повторяемый упрек в посредственности немецкой литературы в Прибалтике может быть значительно смягчен благодаря так называемой «теории поступка и текста» Ундуска. Согласно ей, в случае балтийско-немецкой литературы речь всегда идет о соединении поступка и текста. В основе мысли Ундуска лежал анекдот о графе Гуго фон Кейзерлинге. На вопрос внука, что такое история, он якобы ответил: «История — это то, что мы делаем и о чем обыватели пишут свои книги» [Undusk 1993: 26; Undusk 2008: 98]. Эти две группы балтийского высшего общества — дворяне и литераторы — встретились в Дерптском университете, который служил плавильным котлом для балтийского общества и представлял симбиоз сословий. Итак, согласно Ундуску, «поступок» создает содержание, форму которому придает «текст». Однако иногда появлялись такие тексты, которые не были фиксацией «поступка» и не представляли его форму, но являлись «самим поступком» [Undusk 1993: 27]. Таким образом, создание текстов не было долгом, так же, как не было долгом создание первоклассных текстов. Переживание природы, например, могло иметь большую ценность, чем стихотворение, в котором это переживание отразилось [Там же: 28].

То, что при создании текстов их качество «не принимали всерьез», можно объяснить, согласно Лукас [Lukas: 193–194], тем, что среди писателей в Балтийских губерниях было относительно много женщин по сравнению с Германией: из 191 автора литературных текстов, опубликовавших что-либо с 1890 по 1918 г., 68 были женщины. Из 233 прозаических произведений, которые были напечатаны за тот же период, 117 вышли из-под пера женщин [Там же: 193]. В провинциях Балтийской губернии сочинительство, как и игра на рояле, рисование или рукоделие, являлись, в определенной степени, постоянным занятием девушек из высшего сословия, т. к. профессиональные перспективы женщин были весьма ограничены. Так как занятия словесностью не принадлежали к числу значимых общественных и светских занятий (к ним относились государственная служба,

общественная и общепользная деятельность во всевозможных объединениях и союзах, а также простое общение), они рассматривались как дамское развлечение. Это не было «подчинением тексту», автор не позволяя тексту владеть собой, но подчинял его себе [Undusk 1993: 28].

Тезис о вторичности и практической ориентированности литературных занятий в Балтийских губерниях можно перенести на структуру эстонских переводов балтийско-немецких текстов начиная с послевоенного времени по сегодняшний день. Среди более чем 275 переводов, выполненных с 1945 по 2015 г., было удивительно мало художественных произведений (около 15%), в основном мемуары, а также историческая, политическая и научная литература (сведения взяты из базы данных, составленной автором).

До Первой мировой войны, однако, на эстонский язык было переведено очень много балтийско-немецкой литературы. Согласно исследованию Л. Лукас, всего между 1890 и 1918 гг. было переведено 102 художественных текста, прозаических 61 и поэтических 41 [Lukas: 593–599]. Эту тенденцию можно объяснить большим количеством публикаций в газетах и журналах (только 19 текстов из 102 вышли в формате книги). Число переводных литературных произведений было велико, потому что для наполнения периодических изданий не хватало текстов собственного, т. е. эстонского производства.

### История рецепции

Как было сказано выше, восприятие балтийско-немецкой, т. е. немецкоязычной балтийской литературы нужно рассматривать в рамках общего толкования немецкой культуры в Балтийских губерниях, т. е. через призму существующего в коллективной памяти представления о ней.

Если анализировать эстонские переводы балтийско-немецкой литературы в контексте меняющихся балтийско-немецко-эстонских отношений в XX в., можно выделить три стадии в трактовке немецкой культуры и истории в Балтийских губерниях, обусловленные историческими, политическими и общественными переменами. Во-первых, переводы межвоенного периода, к которым в лингво-социологическом аспекте причисляются и переводы, появившиеся до Первой мировой; во-вторых, переводы послевоенного времени, точнее сказать, советского периода; и, в-третьих, переводы, появившиеся в эпоху обретения Эстонией независимости и в позднейшие годы. При этом можно отметить положительную динамику в отношении переводчиков к балтийским немцам. Среди переводов второго периода —

послевоенного, т. е. советского, — необходимо выделить две подгруппы в зависимости от того, появляются ли они по ту или другую сторону железного занавеса, а также в официальном или неофициальном культурном пространстве. Для общей картины переводов с послевоенного времени и до окончания советской оккупации характерны следующие признаки: 1) разделение переводческой деятельности — в советской Эстонии и в эмиграции; 2) малое количество художественных текстов; 3) академизм и идеологизация переводов в советской Эстонии; 4) личный интерес — в обеих подгруппах; 5) перевод текстов в обход цензуры.

С этой точки зрения рецептивную историю балтийской литературной культуры можно сравнить с пазлом, в котором не хватает некоторых частей, но о них ничего не известно, поэтому картина представляется завершенной. В ходе изучения этой истории с начала XX в. по сегодняшний день об интер-, мульти- и транскультуре балтийской литературной деятельности забывали или не хотели помнить — причем по обе стороны «стеклянной стены», той, что, согласно Фегезаку, разделяла балтийских немцев и эстонцев и латышей [Vegesack]<sup>2</sup>. О многом умалчивалось, и в результате многое предано забвению.

Хотя к немецкому меньшинству в Балтийских губерниях после Первой мировой войны относились терпимо, и немцы не превратились, как в военное время, из привилегированного в отверженный народ, тем не менее, сближения между балтийскими немцами и эстонцами и латышами не наблюдалось [Must: 198]. Созданная Зигфридом фон Фегезаком метафора «стеклянной стены» характеризует барьер между народами, который продолжал существовать, и примечательно, что выход романной трилогии Фегезака (ср. прим. 2) вызвал в эстонском обществе живой интерес<sup>3</sup>. Несмотря на идеологические и политические разногласия становилось постепенно ясно<sup>4</sup>, что, развивая национальную государственную систему образования, нельзя выбросить за борт всю прежнюю историю (и историю культуры) только потому, что ее несли немцы. Август Аннист в своем ис-

---

<sup>2</sup> Публикация частей его трилогии "Baltische Tragödie" («Балтийская трагедия»): "Blumberghof. Geschichte einer Kindheit" (1933), "Herren ohne Heer" (1934), "Totentanz in Livland" (1935).

<sup>3</sup> В тартуской ежедневной газете "Postimees" летом 1935 г. из номера в номер печатались анонимные рассказы "Was hat das baltische Deutschtum gedacht. Der Totentanz in Livland", в которых было представлено содержание вышедшей в Германии романной трилогии Фегезака.

<sup>4</sup> Ср. рецензию Густава Суйтса на "Grundriss einer Geschichte der baltischen Dichtung" Артура Берзинга [Behrsing 1928: 1–132]. Г. Суйтс соглашается с тем, что «балтийская история литературы была бы полной, если бы она охватывала все пункты соприкосновения и взаимного влияния всех местных народов» [Suits: 208].



следовании 1938 г. о литературе эпохи просвещения в Эстонии писал, что «время сглаживает противоречия прошлого и <...> сегодня национал-социалистская концепция 700-летнего подчинения [*‘seitsmesaja-aastane orjatöö’*] эстонских крестьян немецкой власти выглядит экстремистской и потому не должна приниматься всерьез»; при этом «социально-экономических разногласий становится все меньше, и немцы превращаются скорее в единомышленников и почти товарищей по несчастью, разделяющих общую судьбу в общем жизненном пространстве» [Annist: 987]. Аннист приводит в качестве примера финнов, которые не третировали шведов как «чужих», а считали их своими в финском историческом и культурном пространстве. Аннист отмечал, что «не задумываясь» включил бы в историю эстонской литературы «прежнюю литературу, вне зависимости от того, на каком языке она написана, если только она была важна для страны и ее граждан», так как «зачем добровольно отгораживаться друг от друга колючей проволокой “национальности”? Только потому, что авторы по крови, убеждениям или языку не эстонцы?» [Там же: 987–988].

Это аккуратное сглаживание «национальных и социальных антипатий» [Там же: 988] было насильственно прервано событиями 1939–1945 гг. Одно за другим последовали: репатриация балтийских немцев (1939)<sup>5</sup>, первая советская оккупация (1940–1941), новая репатриация — немцев, которые поняли, что не могут и не хотят жить при советской власти (1941), немецкая оккупация (1941–1944) и вторая советская оккупация, которая длилась с 1944 по 1991 г. Если в межвоенный период стремившаяся к самоопределению молодая эстонская нация смотрела на немцев, их бывших господ и на их литературу, презрительно морщась и пытаясь сочинить новую, более воодушевляющую историю, более скандинавски-ориентированную [Laanes, Kaljundi: 561–578], то уже после первого года советской оккупации отношение эстонцев к немцам принципиально улучшилось, и немецкие войска были встречены цветами как освободители (ср. [Laar: 7; Rauch 1977: 215]). Сходным образом развивались события и в Латвии, где Россия превратилась в главного врага (см. об этом, напр.: [Undusk 2007: 11]). «Ненависть к немцам» превратилась в течение короткого времени в «ненависть к русским» [Kivimäe 2005: 8; Kivimäe 2001: 8]<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Согласно пакту Молотова-Риббентропа (окт. 1939 г.) все немцы из Эстонии и Латвии, около 65 000 человек, репатрировались — “Heim ins Reich”. На самом деле они были переселены на оккупированную территорию Польши.

<sup>6</sup> Ю. Кивимяэ указывает на недостаточное внимание исследователей к изучению этого феномена, приводя в качестве единственного исключения статью О. Мертельсманна [Mertelsmann: 43–58].

Незадолго до новой советской оккупации в сентябре 1944 г. около 70 000 эстонцев бежали на Запад: в Швецию, Германию, позже за океан, в Канаду и Австралию — это было так называемое «большое бегство» (“Suur põgenemine”) (см. об этом, напр.: [Suur põgenemine; The Formation]). С того момента разделилось и эстонское восприятие балтийских немцев. В кругу эмигрантов, которые чаще находили контакт друг с другом, эстонцев и балтийских немцев связывала общая потерянная родина. Относительно большое число личных контактов сделало возможным амбивалентное отношение к балтийским немцам, что позволило развиваться отмеченным Аннистом тенденциям к сближению. Площадкой для дискуссий служила в то время эстонская эмигрантская пресса, в которой обсуждались и балтийско-немецкие авторы и темы.

В советской Эстонии за железным занавесом миф о 700-летнем подчинении был интегрирован в социалистическую концепцию истории (подлежала перетолкованию только роль русских), в соответствии с ним была принята официальная трактовка немецкоязычной культуры и литературы: «Долгая антинемецкая традиция, которая служила основой эстонской историографии, вновь была взята на вооружение — с тем большим удовлетворением, что речь шла о, так сказать, свободном наследии» [Undusk 2007: 13]. Это означало, что немецкое участие в литературе, особенно в сталинское время, почти обязательно представлялось в негативном ключе или замалчивалось, и в результате забывалось. Таким образом, все, что ранее находилось за «стеклянной стеной» или за колючей проволокой, превращалось в «белое пятно» за железным занавесом. Следует отметить, что восприятие и толкование немецкой культуры в Эстонии оставалось, тем не менее, амбивалентным — если принять во внимание и неофициальную рецепцию. Наряду с официальным, идеологическим всегда существовало и человеческое, личное понимание, которое могло не совпадать с ним. Об этом рассказывает среди прочих историков Герт фон Пистолькорс в своих воспоминаниях, опубликованных также и на эстонском языке [Pistohlkors 2008: 69–72; Pistohlkors 2009: 45–67].

После восстановления независимости Эстонии в общественных настроениях наблюдались те же тенденции к сближению немцев и эстонцев, которые с 1950-х гг. имели место в эмиграции. Необходимо отметить, что уже в ранних исследованиях балтийско-немецкой проблематики в Эстонии важное место занимала интеграция балтийских немцев в ранее исключительно эстоноцентричный мир — исходя из принципов общей географии и общей культурной истории страны. Итак, мнение Августа Анниста, что по другую сторону проволочного забора «национальности» есть много

интересного, подтверждается и реализуется, по меньшей мере, на уровне исследований.

### Обзор переводов

В промежутке с 1945 по 1987 г. (т. е. до фактической ликвидации цензуры, которая полностью контролировала содержание текстов и возможности их публикации) на эстонский язык текстов был переведен 41 балтийско-немецкий текст. Девять из них вышли в эмиграции, 32 было опубликовано в Эстонии (из них 16 — в составе одного сборника). Государственная издательская система в Эстонии была подвержена строгому идеологическому контролю. Цензура печати существовала формально до октября 1990 г. [Riigi Teataja: 132], фактически она начала исчезать с осени 1988 (ср.: [Veskimägi]). Во время хрущевской оттепели, в 1957 г., было создано литературное приложение к журналу “Looming” под названием “Loomingu Raamatukogu” (далее в тексте — LR). Как издательству приходилось обходить цензуру, контролировавшую LR, описала в своих мемуарах известная переводчица и бывший редактор этой серии (1958–1973) Лембе Хидель [Hiedel 1995; Hiedel 2006: 159–204]. Единственный в советской Эстонии художественный балтийско-немецкий текст вышел в LR в 1966 г. Это был сокращенный перевод “Der Tod von Reval”, гусарской пьесы Вернера Бергенгруна [Bergengruen 1966; Bergengruen 1999]. Главным местом действия в ней является Ziegelskoppel (эст. Kopli), бывшее кладбище в Ревеле, которое к тому времени было почти 20 лет как уничтожено советской властью. Подобный курьез произошел в 1979 г.: в республиканском специальном журнале “Keel ja Kirjandus”/«Язык и Литература» вышла короткая статья под названием “Kuidas minust sai eesti kirjanduse tõlkija” («Как я стал переводчиком эстонской литературы»), в которой получил слово один балтийский автор [Behrsing 1979: 35–36]. Ее автором является Зигфрид Берзинг (1903–1994), сын балтийского педагога, писателя и переводчика Артура Берзинга (1873–1929); (см. прим. 4). Зигфрид Берзинг уже закончил академическую карьеру в ГДР, когда в 1973 г. прочитал в советской пропагандистской газете “Kodumaa”, ориентированной на эстонских эмигрантов, что статья посвящена столетию его отца. В 1979 г. он приехал в Таллинн на встречу переводчиков и в своем коротком выступлении поблагодарил власть за эту возможность [Там же: 36].

Среди переводов, появившихся в эстонской эмигрантской печати, только один текст был художественным [Scharer], а доминировали историче-

ские и научные статьи [Johansen; Rauch 1983; Rauch 1985; Zur Mühlen]. Здесь нужно отметить эмигрантский эстонский журнал “Tulimuld”<sup>7</sup>. Сочинение Эджарда Шапера перевел на эстонский язык Виктор Лепик. Оно вышло в издательстве “Maarjamaa” в Риме, где трудился единственный человек — эстонский католический священник Велло Сало, издавая эстонскую литературу в карманном формате для отправки на родину (см.: [Salo]).

Среди текстов, которые были выбраны для дальнейшего перевода, значительное место занимали ранние хроники, которые использовали, в частности, в учебных целях, что обосновывало их перевод в Эстонии. В эмиграции исторические хроники служили скорее дополнением к литературному и историческому канону. Следует отметить выход двух отдельно опубликованных переводов «Хроники Генриха»: сначала в Риме в 1962 г. [Henricus Lettus 1962], затем в Таллинне в 1982 г. [Henricus Lettus 1982]. В эмиграции вышла хроника Балтазара Руссова [Russow], в Эстонии она не могла быть опубликована из-за «антимосковской позиции» автора [Undusk 2007: 25]. Позволительны были другие ранние хроники (напр., [Hoenecke; Renner, Hoenecke]), или перевод анонимно вышедшего в Берлине в 1861 г. и позднее приписанного Василию Благовещенскому<sup>8</sup> политического памфлета «Эстонец и его господин» (“Der Ehste und sein Herr”), в котором в стилистике Гарлиба Меркеля «разоблачались недостатки и жестокость балтийского дворянства» [Blagoweschtschenski].

Во многих случаях важную роль мог играть личный интерес (и личная позиция), что подтверждается исследованиями тартуского профессора русской литературы С. Г. Исакова [Issakov], который издал в 1986 г. сборник статей об истории университета. В него вошли воспоминания 25 бывших студентов о времени их учебы в Тарту, из них 16 были по происхождению балтийскими немцами. Их мемуары читаются как балтийско-немецкая история университета. Отрывок из «Писем балтийского идеалиста» (“Briefe eines baltischen Idealisten” [Schultz-Bertram 1934]) Георга Юлиуса фон Шульца (известного под псевдонимами Dr. Bertram или Schultz-Bertram, см.: [Dr. Bertram; Dr. Bertram 1987: 76–79]) появился в 1984 г. и был републикован в 1987 г. Некоторые немногочисленные переводы, явившиеся позднее [Parrot; Vaer], проходили под рубрикой «академических исследований» и прилагались к публикациям об известных дерптских ученых, прежде всего, естествоиспытателях XIX в. В советский период естествен-

<sup>7</sup> Выходил в 1950–1993 гг. в Лунде (Швеция) под редакцией Бернарда Кангро (1904–1994).

<sup>8</sup> Василий Благовещенский (1802–1864), русский публицист и педагог, в 1846–1864 гг. — цензор зарубежной литературы в Риге и Ревеле.

ные науки менее других вызывали подозрения в неблагонадежности. Соответственно, балтийский немец Карл Эрнст фон Бэр, член Петербургской Академии, считался прогрессивным *русским* исследователем. Памятник, поставленный ему в XIX в. на Домберге, сохранился там и в сталинские времена. Латинская диссертация Бэра об эндемичных заболеваниях эстонцев, которая представляла этот народ в относительно нелицеприятном виде, была переведена на эстонский в 1976 г. и вышла в серии LR [Baer].

Предпочтение, оказываемое естественным наукам, объединяет путевые заметки Александра Теодора фон Миддендорфа [Middendorf] и Отто фон Коцебу [Kotzebue], которые можно было, с одной стороны, интерпретировать как ученые заметки, с другой — помещать в контекст советской а(нта)рктической колонизации. Итак, наличие на заднем плане таких политических притязаний давало возможность мотивировать перевод этих текстов (ср.: [Tammiksaar 2014; Tammiksaar 2017]). Книжечка путевых заметок фон Миддендорфа “Reis Taimõrile” («Путешествие на Таймыр») вышла в 1987 г. В 1978 г. вышли воспоминания Отто фон Коцебу, сына Августа фон Коцебу (“Reise um die Welt in den Jahren 1823–1826”/«Кругосветное плавание в 1823–1826 годах»). В этом же ряду находится обзор (1970 г.) деятельности ряда полярных исследователей родом из Эстонии, среди которых были балтийские немцы, например, Беллинсгаузен, Врангель и др., однако называли их «русско-советскими» полярными исследователями [Passetski].

Наряду с переводами существенную роль в культурной памяти играл еще один жанр — публицистические и научно-исторические статьи, а также короткие заметки о балтийско-немецких ученых, которые начали чаще выходить в 1950-е гг. Эти публикации, особенно поначалу, естественно получали характерную для того времени идеологическую тональность. Например, разрешалось называть такие имена, как Паррот, Эверс и Краузе, при этом восхваляя их «достижения в борьбе против крепостного права» [Traat]. Советско-балтийско-немецкое созвездие в эстонских юбилейных публикациях образовали имена Бэра, Паррота и Моргенштерна.

## Литература

Annist: Annist, A. Meie valgustusajastu kirjandus ja krahv Manteuffel // Looming. 1938. Nr 9–10.

Baer: Baer, K. E. von. Eestlaste endeemilistest haigustest [Dem orbis inter esthonos endemicis] / Tõlk. Ü. Torpats / Loomingu Raamatukogu 33. Tallinn, 1976.

Behrsing 1928: *Grundrisse einer Geschichte der baltischen Dichtung* / Hrsg. von A. Behrsing unter Mitwirkung von A. Favre, O. Greiffenhagen und A. Knüppfer. Leipzig: Institut für Auslandkunde, Grenz- und Auslandsdeutschum, 1928.

Behrsing 1979: *Behrsing, H. S.* Kuidas minust sai eesti kirjanduse tõlkija // Keel ja Kirjandus. 1979. Nr 1.

Bergengruen 1966: *Bergengruen, W.* Surm Tallinnas. Kurioosetid lugusid ühest vanast linnas [Der Tod in Reval. Kuriose Geschichten aus einer alten Stadt] / Tõlk. R. Sepp // Loomingu Raamatukogu 35. Tallinn, 1966.

Bergengruen 1999: *Bergengruen, W.* Surm Tallinnas [Der Tod in Reval]. Tallinn, 1999.

Blagoweschtschenski: *Blagoweschtschenski, W.* Eestlane ja tema isand: talupoegade majandusliku olukorra ja nende seisundi valgustamiseks Eestimaal. Kirjutanud keegi, kes pole eestlane ega tema isand [Der Ehste und sein Herr: zur Beleuchtung der ökonomischen Lage und des Zustandes der Bauern in Ehstland. Von Einem, der weder ein Ehste noch dessen Herr ist]. Tallinn, 1959.

Dr. Bertram: *Dr. Bertram* (= Schultz-Bertram = Schulz, Georg Julius von). Õine juhtum anatoomikumis [Nächtliches Abenteuer im Anatomikum] / Tõlk. E. Tallmeister // Edasi. 1984. 29. dets.

Dr. Bertram 1987: *Dr. Bertram* (= Schultz-Bertram = Schulz, G. J. von). Õine juhtum anatoomikumis. [Nächtliches Abenteuer im Anatomikum] // Meie Tartu / Koost. T. Matsulevitš. Tallinn, 1987.

Henricus Lettus 1962: *Henricus Lettus.* Henriku Liivimaa kroonika = Heinrici Chronicon Livoniae / Tõlk. J. Mägiste. Rooma: Maarjamaa, 1962.

Henricus Lettus 1982: *Henricus Lettus.* Henriku Liivimaa kroonika = Heinrici Chronicon Livoniae / Tõlk. R. Kleis, comment. E. Tarvel. Tallinn: 1982.

Hiedel 1995: *Hiedel, L.* Loomingu Raamatukogu alaeast. Märkmeid ja meenutusi aastaist 1957–1973 // Vikerkaar. 1995. Nr 5/6. Lk 138–149; Nr 7. Lk 80–85; Nr 8. Lk 67–75.

Hiedel 2006: *Hiedel, L.* Loomingu Raamatukogu viiskümmend aastat // Loomingu Raamatukogu. Bibliograafia / Loomingu Raamatukogu 37–40. 2006.

Hoeneke: *Hoeneke, B.* Liivimaa noorem riimkroonika [Jüngere Livländische Reimchronik] / Tõlk. ja komment. S. Vahre. Tallinn, 1960.

Issakov: *Issakov, S.* (koost.). Mälestusi Tartu ülikoolist. 17.–19. saj. Tallinn, 1986.

Johansen: *Johansen, P.* Kronist Balthasar Rüssowi päritolu ja miljöö / Tõlk. E. Blumfelt // Tulumuld. Eesti kirjanduse ja kultuuri ajakiri. Aastakäik 15. Lund, 1964. Nr 4.

Kivimäe 2001: *Kivimäe, J.* Märkmeid teiselt kaldalt. Ajaloo talumatu kergus // Tuna: Ajaloo-kultuuri ajakiri. 2001. Nr 5.

Kivimäe 2005: *Kivimäe, J.* Ajaloo üle ei tohiks kohut mõista // Eesti Kirik. 2005. 9. nov. / <http://www.eestikirik.ee/prof-juri-kivimae-ajaloo-ule-ei-tohiks-kohut-moista/> (Дата обращения: 22.09.2017).

Kotzebue: *Kotzebue, O. von*: Reis ümber maailma aastail 1823–1826 [Neue Reise um die Welt in den Jahren 1823–1826] / Tõlk. Ü. Kurvits. Tallinn, 1978. (=Maailm ja mõnda)

Laanes, Kaljundi: *Laanes, E.; Kaljundi, L.* Eesti ajalooromaani poeetika ja poliitika. Sissejuhatuses // Keel ja Kirjandus. 2013. Nr 8–9: Ajalooromaani ja kultuurimälu erinumber.

Laar: *Laar, M.* Emajõgi 1944. II maailmasõja lahingud Lõuna-Eestis. Tallinn, 2005.

Lukas: *Lukas, L.* Baltisaksa kirjandusväli 1890–1918. (= Collegium litterarum 20). Tartu–Tallinn Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus; Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakond, 2006.

Mertelsmann: *Mertelsmann, O.* How the Russians Turned into the Image of the “National Enemy” of the Estonians // Pro Ethnologia. 2005. № 19.

Middendorf: *Middendorf, A. T. von.* Reis Taimõrile [Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens während der Jahre 1843 und 1844] / Tõlk. O. Kurs, A. Kurs. Tallinn, 1987.

Must: *Must, A.* Von Privilegierten zu Geächteten. Die Repressalien gegenüber deutschbaltischen Honoratioren während des Ersten Weltkrieges. Tartu, 2014.

Parrot: *Parrot, G. F.* Kõne Aleksander I-le [Rede auf Kaiser Alexander I] / Tõlk. E. Kudu // G. F. Parroti 200. sünniaastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi materjale. Tartu, 1967.

Passetski: *Passetski, V.* Eestist pärit Arktika-uurijad. Tallinn, 1970. (=Maailm ja mõnda)

Pistohlkors 2008: *Pistohlkors, G. von.* Eestist noores eas ümber asunud baltisakslase tagasivaateid // Sõna jõul. Diaspora roll Eesti iseseisvuse taastamisel / Koost. K. Anniste, K. Kumer-Haukanõmm, T. Tammaru. Tartu: Tartu Ülikooli Välis-Eesti uuringute keskus, 2008.

Pistohlkors 2009: *Pistohlkors, G. von.* Ein jugendlicher Deutschbalte aus Estland // Kriegskindheit und Nachkriegsjugend in zwei Welten / Hrsg. von B. Bonwetsch. Essen, 2009.

Rauch 1977: *Rauch, G. von.* Geschichte der baltischen Staaten. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1977.

Rauch 1983: *Rauch, G. von.* Vivat, crescat, floreat Universitatis Tartuensis! // Tulumuld. Eesti kirjanduse ja kultuuri ajakiri. Aastakäik 34. Lund, 1983. Nr 1.

Rauch 1985: *Rauch, G. von.* Üks eesti rahvalaul ladinakeelses tõlkes [Ein estnisches Volkslied in lateinischer Übersetzung] // Tulumuld. Eesti kirjanduse ja kultuuri ajakiri. Aastakäik 36. Lund, 1985. Nr 4.

Renner, Hoenecke: *Renner, J.; Hoenecke, B.* Eestlaste vabadusvõitlus, mis algas Jüriööal aastal 1343, nii jutustab Bartholomäus Hoenecke järgi kirjutatud riimkroonika, mis on edasi antud Johann Renneri kroonika järgi [Der Bauernaufstand in Oesel im Jahre 1343] / Tõlk. H. Kruus. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst, 1945.

Riigi Teataja: Riigi Teataja. 1990. Nr 12.

Russow: *Russow, B.* Liivimaa kroonika [Chronica der Provintz Lyfflandt] / Tõlk. H. ja D. Stock. Stockholm: Vaba Eesti, 1967.

Salo: *Salo, V.* Siin Vatikani Raadio! Vello Salo lugu. Tallinn, 2015.

Schaper: *Schaper, E.* Täht piiri kohal. Jõululegend. Rooma: Maarjamaa, 1964.

Schultz-Bertram 1934: *Schultz-Bertram, G. J. von* (= Dr. Bertram). Briefe eines baltischen Idealisten an seine Mutter 1833–1875. Leipzig: Koehler & Amelang, 1934.

Suits: *Suits, G.* Balti kirjandusajaloo katse: “Grundrisse einer Geschichte der baltischen Dichtung”, Arthur Behrsing (1928) // Eesti Kirjandus. 1929. Nr 5.

Suur põgenemine: *Kumer-Haukanõmm, K.; Rosenberg, T.; Tammaru, T.* (koost.). Suur põgenemine 1944. Eestlaste lahkumine läände ja selle mõjud (= Tartu Ülikooli Välis-Eesti uuringute keskuse toimetised 2). Tartu, 2006.

Zur Mühlen: *Zur Mühlen, O. von.* Balti-sakslastest ja nende keelest. Tähelepanekuid vabariigieegsest Eestist [Einfluss des Estnischen und andere Besonderheiten im Baltendeutsch. In Estland der Zwischenkriegszeit gemachte Beobachtungen] // Tulimuld. Eesti kirjanduse ja kultuuri ajakiri. Aastakäik 36. Lund, 1985. Nr 1. Lk 42–47; Nr 2. Lk 101–104.

Tammiksaar 2014: *Tammiksaar, E.* Vene Lõunapooluseekspeditsioon poliitilistes tõmbetuultes // Akadeemia. 2014. Nr 1. Lk 72–95; Nr 2. Lk 286–312.

Tammiksaar 2017: *Tammiksaar, E.* Russian South Pole Expedition in the Context of Political Interests of the Russian Empire and the Soviet Union // Cold in Russia: Ice, Snow and Frost in Russian History (= The Environment in History: International Perspectives) / Ed. J. Herzberg. New York, 2017. [in print]

The Formation: *Kumer-Haukanõmm, K.; Tammaru, T.; Anniste, K.* (ed.). The Formation and Development of the Estonian Diaspora // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2010. Vol. 36. № 7.

Traat: *Traat, A.* Pärisorjusevastase mõtte kandjaid Tartu ülikoolis tema algusaastail // Edasi. 1953. 11. sept.

Undusk 1993: *Undusk, J.* Baltisaksa kirjandus, tekst ja tegu // Vikerkaar. 1993. Nr 10.

Undusk 2007: *Undusk, J.* Ajalookirjutusest Eestis ja eksiilis Teise maailmasõja järel. Võhiku mõtted // Tuna: Ajalookultuuri ajakiri. 2007. Nr 1.

Undusk 2008: *Undusk, J.* Baltisaksa kirjanduse breviaar, Põhilaad, erijooned, esindajad // Rahvuskultuur ja tema teised. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2008. (= Collegium litterarum 22)

Undusk 2011: *Undusk, J.* Baltisaksa kirjakuultuuri struktuurist. Ärgituseks erinumbri lugejale // Keel ja Kirjandus. 2011. Nr 8–9: Baltisaksa kirjakuultuuri erinumber.

Vegesack: *Vegesack, S. von.* Baltische Tragödie. Berlin: Universitas, 1935.

Veskimägi: *Veskimägi, K-O.* Nõukogude unelaadne elu. Tsensuur Eesti NSV-s ja tema pereinemed. Tallinn, 1996.



## ШАРЛЬ БОДЛЕР В ПЕРЕВОДЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

МАРИЯ БОРОВИКОВА

В биографии Марины Цветаевой есть несколько ключевых дат, неоспоримых поворотных вех, делящих ее творчество на важнейшие периоды: например, выход дебютного сборника или отъезда за границу. К таким переломным событиям бесспорно относится и ее возвращение на родину — август 1939 года, с которого начался последний, совсем недолгий, период ее жизни. Однако насколько этот период привлекает биографов, настолько же он — в целом — оказывается неинтересен для исследователей творчества Цветаевой. Этому есть вполне понятное объяснение: за два года, прошедших с момента ее возвращения в СССР, Цветаева написала всего 10 текстов, два из которых остались неоконченными. Тяжесть быта, углублявшаяся постоянной тревогой за судьбу родных и отсутствием необходимой поддержки со стороны окружения, не оставляла пространства для творчества. Впрочем, сама Цветаева интерпретировала свое молчание по-разному. С одной стороны, до нас дошло несколько свидетельств того, что Цветаеву в эти годы настигает трагическое ощущение своего поэтического бессилия: «я свое написала»; «я раньше умела писать стихи, а потом разучилась» (именно эти высказывания побуждают исследователей выносить финальный период жизни Цветаевой за рамки ее *творческой* биографии). Однако нельзя не отметить, что всплески отчаяния перемежаются в письмах и записных книжках вполне рациональными соображениями, в которых Цветаева перечисляет внешние, а не внутренние причины, не пускающие ее к собственному черновику. В них сквозь досаду явственно прочитывается *желание* писать. К тому же Цветаева, несмотря на все обстоятельства, отнюдь не перестает мыслить себя как человека творческого: так, она с большим увлечением берется за составление сборника своей лирики, который обещают издать в Гослитиздате в 1940 г., охотно читает свои стихи друзьям и не без зависти говорит о вечерах, которые устраивают совет-

ским поэтам, что косвенно свидетельствует о ее потенциальной готовности выступить со стихами не только в кругу друзей, но и перед большой аудиторией. Тем не менее, из-под ее пера в последние два года жизни выходят преимущественно переводы: отсутствие денег буквально приковывает ее к единственному доступному источнику средств — «переводческому станку», и заставляет постоянно пересчитывать часы работы в готовые строки, а их, в свою очередь, — в рубли, которых ни на что не хватает.

До возвращения в СССР Цветаева несколько раз бралась за переводы, хотя в целом в эмигрантский период они всегда оставались для нее на периферии деятельности<sup>1</sup>. Однако само понятие перевода и переводимости, напротив, занимало одно из ключевых мест в ее концепции художественного творчества, включая в себя не только ситуацию двуязычия (в таком традиционном ключе эта тема разрабатывается, например, в эссе «Два “Лесных царя”»<sup>2</sup>), но и более широкую общепоэтическую тему «невыразимого». Своеобразным катализатором этой концепции стал эпистолярный диалог Цветаевой с Р. М. Рильке, письма к которому Цветаева писала по-немецки — на «трудном» для себя языке, время от времени рефлексировав по поводу адекватности своей немецкой речи. В одном из писем к Рильке (от 6 июля 1926 г.) она сформулирует свою позицию следующим образом: «Поэзия — уже перевод, с родного языка на чужой, будь то русский или французский — не важно. Для поэта нет родного языка. Писать стихи и значит перелагать»<sup>2</sup> [Небесная арка: 92].

Однако после возвращения в СССР Цветаева оказывается перед суровой необходимостью взяться за переводы уже вне всякого соотнесения языка оригинального текста с собственными творческими установками. Исключительно ради заработка она переводит из чешской, болгарской, грузинской, польской, еврейской поэзии. Важно отметить, что, несмотря на отсутствие иллюзий относительно качества переводимых ею текстов, эту работу она делает крайне тщательно, о чем настойчиво сообщает своим

---

<sup>1</sup> Вопрос о самых ранних переводческих опытах Цветаевой должен рассматриваться особо — очевидно, что они были подчинены совсем другим задачам, чем более поздние. Принимаясь за переводы «Орленка» Ростана Цветаева отчасти находилась в русле общей тенденции эпохи — переводы, как известно, занимали особое место в творчестве символистов (см., об этом, напр.: [Багно], а также отдельные работы о переводах В. Брюсова [Гаспаров: 29–62], А. Блока [Лавров, Топоров: 658–665], Вяч. Иванова [Завьялов] и др.), но в то же время это было для нее и одним из способов поиска собственного поэтического языка.

<sup>2</sup> Понятая таким расширительным образом, тема перевода и переводимости у Цветаевой находит известные параллели с идеями Вальтера Бенямина о поиске «чистого языка» и освобождающей деятельности переводчика, что было отмечено в статье Марии Хотимской, посвященной советским переводам Цветаевой [Khotimsky: 565–590].

корреспондентам — с пренебрежением пересказывая в письмах советы «бывалых» переводчиков не отдаваться этой деятельности целиком, и неустанно твердя о том, сколько ею было написано отброшенных вариантов к самым незначительным стихам безвестного поэта. Трудная, долгая работа над переводом — как работа над собственным текстом — становится лейтмотивом ее писем («я часами ищу одно слово»). Очевидно, что переводческую деятельность, несмотря на ее вынужденность, Цветаева воспринимает как продолжение своего творчества («я под этим должна поставить свое имя»), а сами переводы — вне зависимости от оценки оригинала — включаются в рамки собственного поэтического наследия. Об этом свидетельствует, например, письмо Цветаевой Н. Я. Москвину, без цитаты из которого обычно не обходится разговор о ее переводческой деятельности советского периода: «Я убеждена, что если бы я плохо работала и хорошо зарабатывала, люди бы меня бесконечно больше уважали, но — мне из людского уважения — не шубу шить: мне не из людского уважения шубу шить, а из своих рукописных страниц» [Цветаева: VII, 694].

При этом Цветаева педалирует медленность и трудность этой работы. Крайне характерна ее реакция на случайно услышанное по радио выступление Сергея Прокофьева, в котором он говорил о работе над новой оперой и своих обязательствах написать ее «очень быстро», так как она уже запланирована к постановке. Цветаева в дневнике записывает: «С<ергей> С<ергеевич>! А как Вы делаете — чтобы писать быстро? Написать — быстро? Разве это от Вас (нас) зависит? Разве Вы — списываете?» [Там же: IV, 615]. В этой цитате «списывание» — не просто обидное слово, вырвавшееся в раздражении, как могло бы показаться, но точное определение творческой мифологии, которую Цветаева все больше ощущает чуждой себе. Творчество как *списывание* или — как у Ахматовой — *диктовка* предполагает не только быстроту и легкость<sup>3</sup>, но и то, что вещь приходит к творцу уже готовой, минуя стадию долгой работы с черновиками. Со всей определенностью это выражено в стихотворении Ахматовой 1936 г. «Творчество»:

<...> И просто продиктованные строчки  
Ложатся в белоснежную тетрадь  
[Ахматова: I, 434].

<sup>3</sup> Позднее, в 1959 г., Ахматова напишет: «Х. спросил меня, трудно или легко писать стихи. Я ответила: их или кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует — просто невозможно» [Ахматова: VI, 215].

Такому типу письма Цветаева противопоставляет совсем иной — именно трудность и медленность работы становятся не только лейтмотивом ее эпистолярия, но и темой творчества<sup>4</sup>. Мало того, Цветаева превращает мучительный рабочий процесс перевода в отдельное произведение искусства, устраивая определенного рода перформанс: своим знакомым она читает не только собственные стихи, но и, вперемежку с ними, переводы: вначале подстрочник, а потом свой текст. Мемуарист отмечал, что преобразование хаоса в поэзию под воздействием творческой силы, совершившиеся здесь и сейчас, поражало слушателей. К такого же рода экспериментам, видимо, можно отнести и чтение ею своих переводов вместе с вариантами (а она делает по четыре, семь или даже двенадцать (!) вариантов, пока не найдет нужный): это чтение должно было показывать, в каких муках рождается единственно верное слово. Характерные для ее поэзии градации, ранее помещавшиеся в один текст, теперь, благодаря работе над переводами, реализовывались как действие, нацеленное на преодоление границ текста.

В этом контексте совершенно закономерно и то, что сами переводы в той или иной степени приобретают черты собственной поэтики Цветаевой, что было отмечено многими исследователями, которые занимались проблемой поздних цветаевских переводов. Это подтверждают и высказывания самой Цветаевой, описывающие ее переводческую стратегию. Приведем одно из них: «Моя беда, что я, переводя любое, хочу дать художественное произведение, которым, часто, не является подлинник, что я не могу повторять авторских ошибок и случайностей, что я, прежде всего, выправляю смысл, т. е. довожу вещь до поэзии, перевожу ее — из царства случайности в царство необходимости» [Неизданное: 428]. Итак, продолжая говорить языком Цветаевой, она дает поэтическому замыслу соответствующее ему — идеальное — воплощение, которого он, быть может, не получил в руках первого автора, а все отступления от оригинала, таким образом, заранее оправданы. В этом смысле поэтика Цветаевой-переводчика оказывается максимально близка ее авторской поэтике. На это в свое время указывал Михаил Мейкин в монографии «Марина Цветаева: Поэтика усвоения» [Мейкин]: он предлагал рассматривать переводческую деятельность Цветаевой как один из частных случаев «переработки унаследованных текстов» — принципа, который он называл одним из основ-

---

<sup>4</sup> В этом отношении характерны начальные строки последнего стихотворения, написанного Цветаевой: «Все повторяю первый стих // И все переправляю слово» (6 марта 1941) [Цветаева: II, 369–370], которые могут рассматриваться как тематизация собственной творческой стратегии (подробнее об этом см.: [Боровикова: 142–156]).

ных в ее творчестве в целом, и который теперь помогал Цветаевой найти выход для творчества в максимально «нетворческих» условиях.

К сожалению, не все переводы, над которыми работала Цветаева, сохранились (так, например, переводы белорусских еврейских поэтов, о работе над которыми она пишет дочери, обнаружены лишь частично<sup>5</sup>), но судьба ее главного переводческого труда советского периода сложилась вполне удачно. Мы имеем в виду стихотворение Ш. Бодлера «Путешествие» — в цветаевском переводе «Плавание», который она создает с июля по декабрь 1940 г.

Перевод вызвал восторженные отклики уже при первом чтении, и первый же советский сборник избранной лирики Бодлера, вышедший после смерти Цветаевой, воспроизводит именно этот перевод «Путешествия» (правда, только в 1965 г.: [Бодлер 1965]). Вслед за ним и вышедшее через пять лет академическое издание «Цветов зла»<sup>6</sup> (изд-во «Наука», серия «Литературные памятники»: [Бодлер 1970]) включает цветаевский перевод уже как канонический русский перевод бодлеровского текста (некоторые тексты представлены в этом издании одновременно в нескольких переводах, «Путешествие» же только в одном, цветаевском).

Этот перевод вызывал повышенный интерес не только читателей, но и исследователей: ему посвящено несколько специальных статей — редкий оригинальный текст Цветаевой удостоивался такого внимания (см., напр.: [Косматова; Маркиш: 431–435; Соколова: 204–217; Smith: 179–199]; о нем в числе прочего пишет также [Khotimsky]). Тем не менее, история ее работы над переводом остается по-прежнему не до конца ясной. В первую очередь, не вполне очевидно, что же все-таки побудило Цветаеву взяться за него. Биограф Цветаевой и свидетель последних лет ее жизни М. И. Белкина утверждает, что этот перевод не был заказан издательством [Белкина], Цветаева берется за него по собственной инициативе. Но в то же время о его публикации сама Цветаева пишет как о деле совершенно решенном и включает его в общий подсчет количества строк, за которые ей заплатили (хотя, как мы сказали выше, при жизни переводчика он напечатан не был). Исследовавшая «Плавание» А. Смит не просто считает эту работу не связанной с официальным заказом, но исходит из предположе-

<sup>5</sup> В то же время часть опубликованных в семитомнике переводов, вероятно, неверно атрибутирована. Так, израильскому исследователю Эли Фурману не удалось обнаружить оригинал цветаевского перевода, опубликованного под названием «Санки» и приписанного в этом издании Ицхоку Перецу. За помощь в разысканиях выражаем искреннюю благодарность Р. Д. Тименчику.

<sup>6</sup> История первых публикаций Бодлера в России прослежена, напр., в работе [Луков, Трыков].

ния о том, что цветаевский перевод резко противопоставлен политическому и культурному контексту [Smith]. Исследовательница трактует его как, в первую очередь, политический акт — и видит в пересказанных цветаевскими словами бодлеровских строках попытку дать острую зарисовку советской действительности (так, например, образ Цирцеи в цветаевском варианте трактуется в статье как метафора тирании [Там же: 193]).

При всей соблазнительности этой концепции трудно признать ее верной. Как кажется, в 1940 г. Цветаева меньше всего была склонна к фронде, в том числе, и потому, что эмоциональную основу ее жизни в то время составляли постоянный страх за мужа и дочь, находящихся под арестом, и понимание того, что ее «репутация» — в самом широком смысле слова — может непосредственно повлиять и на их судьбу. Характерно, что свое письмо к Берии «по делу моего мужа и моей дочери» (от 23 декабря 1939 г.) она начинает с характеристики собственной творческой деятельности в эмиграции:

В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно <...>. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные записки», одно время печаталась в газете «Последние новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского <...>. В 1936 году я всю зиму переводила для французского революционного хора русские революционные песни, старые и новые, между ними — Похоронный марш («Вы жертвою пали в борьбе роковой»), а из советских — песню из «Веселых ребят», «Полюшко — широко поле» и многие другие [Цветаева: VII, 660].

Такой зачин, безусловно, говорит о том, что связь своей писательской стратегии и судьбы близких ей людей Цветаева осознавала в полной мере.

На том, что за выбором Цветаевой для перевода «Путешествия» Бодлера стоит ее личный, а не заказной интерес, настаивает и Т. В. Соколова в статье, посвященной сравнению цветаевского перевода с оригиналом: «Она <Цветаева> обращается к переводу Бодлера не по заказу, а по внутреннему побуждению, в поисках духовной опоры» [Соколова: 207]. Однако в качестве мотивировки, побудившей Цветаеву обратиться к этому тексту, исследовательница приводит цитату из письма Цветаевой: «Я год примеряю смерть», продолжая: «Этим душевным смятением, возможно, и объясняется, то, что в “Цветах зла” она выбирает прежде всего поэму из цикла “Смерть”, поэму, в которой жизненные странствия ведут к пугающему и в то же время желанному итогу — смерти» [Там же: 209]. Этот контекст, при всей его очевидности, кажется все же слишком общим. При желании к нему можно добавить немало обстоятельств, объединяющих

биографии поэтов, каждый из которых был по-своему «проклят»: постоянное отсутствие собственного угла, необходимость все время менять адреса и ютиться у кого-то, вечное отсутствие средств. Эти несомненные биографические параллели с обстоятельствами жизни Бодлера, в сущности, мало что объясняют и могут «сработать» только в случае уже существующего повышенного интереса к автору. Попытаемся ответить на вопрос, что же могло повисить этот интерес.

Один из первых исследователей, писавших о цветаевском переводе «Путешествия» Бодлера, Ш. Маркиш, отмечал вызывающую неточность в самой первой строке перевода Цветаевой [Маркиш]:

Для отрока, в ночи глядящего эстампы...

По его мнению, передавая французское “enfant” как «отрок», Цветаева вводит ненужный архаизм и тем самым искажает первоначальный замысел Бодлера. Однако последующие исследователи вступились за Цветаеву, указав на то, что французское слово “enfant” имеет более широкие возрастные границы, чем, например, русское «дитя» (так это место переводит Эллис: «Дитя, влюбленное и в карты и в эстампы»). Выбранное же Цветаевой «отрок» как раз обозначает молодого человека от 7 до 14–15 лет — возраст возможного интереса к «картам и эстампам». Однако неочевидность решения Цветаевой в том месте, где, казалось бы, выбор лексики совершенно ясен, говорит о важности для нее этого места, и о том, что оно содержит ключевые дополнительные смыслы, которые ей нужно было вложить в перевод. Кроме этого, такой перевод — конкретизирующий возраст персонажа — соотносит героя поэмы Бодлера с сыном Георгием (Муром), который в феврале 1940 г. справляет свое 15-летие. В связи с этим нельзя не отметить, что интерес к Бодлеру отражает скорее круг юношеских увлечений самого Мура, чем его матери, которая, кажется, со времен дружбы с переводчиком Бодлера Эллисом публично не выказывала особого интереса к творчеству французского поэта.

Еще в мае 1940 г. (то есть до начала работы Цветаевой над переводом) Мур записывает в дневнике: «Читаю “Цветы Зла” Шарля Бодлера — замечательные стихи» [Эфрон: 134]. О любви к Малларме и «компании (Бодлер, Верлен, Валери, Готье)» Эфрон впоследствии будет часто писать в своем дневнике. Можно предположить, что эта любовь вывезена им еще из Франции. Интерес Мура, по-видимому, отражал внимание парижской эмигрантской молодежи к французской поэзии этого направления. Это внимание нашло отражение и в их творчестве — от Георгия Адамовича и Бориса Поплавского до Юрия Одарченко, который писал свои стихи уже

после войны, но сформирован был еще довоенным поколением поэтов; интерес к Бодлеру в эмиграции — в отличие от метрополии — не затухает: в 1929 г. в Париже выходит полный перевод «Цветов зла» на русский язык, выполненный Адрианом Ламбле, а годом раньше Владислав Ходасевич издает свои переводы «Парижского сплина»).

Мы не ставим перед собой цели подробно сравнить два текста, также в нашу задачу не входит и рассмотрение перевода Цветаевой в контексте рецепции творчества Бодлера в России (об этом см., напр.: [Фонова; Wapner]). В настоящей статье нам бы хотелось остановиться на нескольких фрагментах перевода, имеющих, на наш взгляд, ключевое значение для понимания концепции Цветаевой.

Среди немалого количества «вольностей» в этом переводе есть несколько таких, которые привлекают к себе особенное внимание. Помимо уже отмеченного архаизирующего слова «отрок» в первой строке, одно из самых заметных мест перевода, заставляющих вспомнить о собственной цветаевской поэзии — предпоследняя строфа первой части:

Но истые пловцы — те, что плывут без цели:  
Плывущие — чтоб плыть! Глотатели широт,  
Что каждую зарю справляют новоселье  
И даже в смертный час ещё твердят: вперёд!  
[Цветаева: II, 396]

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent  
Pour partir; coeurs légers, semblables aux ballons,  
De leur fatalité jamais ils ne s'écartent,  
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons!  
[Baudelaire: 307]

Неоднократно было отмечено, что образ «глотателей широт» в этом фрагменте отсылает к стихотворению Цветаевой «Читатели газет» (1935 г.):

Глотатели пустот,  
Читатели газет!  
Газет — читай: клевет,  
Газет — читай: растрат.  
Что ни столбец — навет,  
Что ни абзац — отврат ...  
[Цветаева: II, 335]

Впрочем, цветаевская «вольность» отчасти мотивирована текстом Бодлера: существительное, связанное с приемом пищи («глотатели»), возникает



вслед за пропущенным в переводе первой строфы этой же части «аппетитом»:

Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,  
L'univers est égal à son vaste appétit.

(Подстрочный пер.: «Для ребенка, любящего карты и эстампы, / Вселенная равна его обширному аппетиту», что Цветаева переводит как «Для отрока, в ночи глядящего эстампы / За каждым валом — даль, за каждой далью — вал», опуская гастрономическую метафору).

Кроме того, в той строке оригинала, в которую Цветаева вставляет автоцитату, упоминаются «воздушные шары» (“coeurs légers, semblables aux ballons”). Они — как средоточие пустоты — могли вызвать в памяти тот контекст, в котором Цветаева впервые использовала лексику «глотатели» — «глотатели пустот».

Эту автоцитату отмечают, кажется, все, кто так или иначе касался этого перевода, и, кажется, всеми, несмотря на очевидный и сильный отход от оригинала, это место воспринимается как несомненная удача переводчика. Так, Е. Э. Косматова пишет: «Цветаевские пловцы, “глотатели широт” <...> несмотря на то, что плывут они “без цели”, вызывают у нас ощущение какой-то непонятной радостной одержимости» [Косматова: 89], а Т. В. Соколова отмечает, что «по смыслу оно образно и ярко выражает идею Бодлера о неутомимых путешественниках, ненасытных в своей жажде познания мира» [Соколова: 207]. На наш взгляд, такое прочтение возможно только при полной изоляции этого текста от собственного художественного мира Марины Цветаевой, поскольку образ «глотателей пустот» в стихотворении «Читатели газет» настолько тесно связан с общим негативным смыслом стихотворения, что трудно представить его в поэтическом мире Цветаевой, несущим иной эмоциональный заряд:

Кача — «живёт с сестрой» —  
ются — «убил отца!» —  
Качаются — тщевой  
Накачиваются.

Что́ для таких господ —  
Закат или рассвет?  
Глотатели пустот,  
Читатели газет!  
[Цветаева: II, 335]

Рассмотрение перевода Цветаевой в едином семантическом поле с ее оригинальными произведениями (а ранее мы говорили, что переводы Цветаева воспринимала как часть своего творческого наследия и читала вместе с собственными текстами) сильно корректирует бодлеровскую концепцию Цветаевой, вводя прямо в текст заметную полемическую ноту.

Необходимо отметить, что модель, по которой образована ставшая знаменитой формула из «Читателей газет» ранее уже была использована Цветаевой в цикле «Стихи к сыну» (1932 г.):

Не быть тебе нулем  
Из молодых — да вредным!  
Ни медным королем,  
Ни попросту — спортсмедным  
Лбом, ни слепцом путей,  
Коптителем кают,  
Ни парой челюстей,  
Которые жуют, — <...>  
[Цветаева: II, 300–301].

Образованное по тому же принципу отглагольное существительное («коптители») поставлено здесь в параллельную позицию к глаголу, связанному с поглощением пищи («жуют»). Это третье стихотворение цикла, развивающее тему того, кем точно *не* станет сын, представляет собой описание «чуждого» Цветаевой мира не только на уровне образов, но и на уровне языка описания. В числе прочего приметой «чуждой речи» становятся здесь именные словосочетания («слепцом путей», «коптителем кают»), которые, как мы постараемся показать в дальнейшем, не раз будут использоваться Цветаевой для речевой характеристики того современного поколения, от которого она пытается последовательно дистанцироваться.

Важно также отметить, что этот цикл не просто обращен к сыну, но посвящен предполагаемому возвращению на родину и — что в данном контексте не менее важно — вводит тему «путешествия». Начало первого стихотворения цикла:

Ни к городу и ни к селу —  
Езжай, мой сын, в свою страну, —  
В край — всем краям наоборот! —  
Куда *назад* идти — *вперед*  
Идти <...>  
[Там же: 299].

Во втором тексте этого цикла возникает и мотив безрезультатного поиска рая (заметим, это один из магистральных мотивов и для бодлеровского текста, который цветаевский перевод дополнительно усиливает), который это поколение сыновей надеется обрести на исторической родине и который на деле оборачивается Содомом:

Соляное семейство Лота —  
 Вот семейственный ваш альбом!  
 Дети! Сами сводите счета  
 С выдаваемым за Содом —  
 Градом.  
 <... >  
 В сиротские пелеринки  
 Облаченные отродясь —  
 Перестаньте справлять поминки  
 По Эдему, в котором вас  
 Не было! по плодам — и видом  
 Не видали!  
 [Цветаева: II, 300]

В связи с этим нельзя не отметить и финал цветаевского перевода первой части поэмы Бодлера (то есть строфу, следующую сразу за той, которая содержит упомянутую выше автоцитату — «глотатели широт»). Сдвиг относительно оригинала в ней не так заметен, поэтому она меньше привлекала внимание исследователей, однако в контексте процитированного цикла «Стихи к сыну» цветаевские переакцентировки здесь приобретают совершенно определенный исторический смысл:

На облако взгляни: вот облик их желаний!  
 Как отроку — любовь, как рекруту — картечь,  
 Так край желанен им, которому названья  
 Доселе не нашла еще людская речь  
 [Там же: 397].

Вводя в перевод конкретное, в советском дискурсе почти терминологическое «край» (которому, заметим, не находится соответствия в тексте оригинала<sup>7</sup>), Цветаева не только еще раз вводит в текст анаграмму «рая», но

<sup>7</sup> В тексте Бодлера нет соответствия лексеме «край», его пловцы стремятся «к неге»:

Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues,  
 Et qui rêvent, ainsi qu'un conscrit le canon,  
 De vastes voluptés, changeantes, inconnues,  
 Et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom!

в каком-то смысле сближает текст Бодлера с проблематикой «Стихов к сыну». В них, в числе прочего, Цветаева рефлексировала над бессмысленностью нового названия страны — СССР, которое оборачивается вначале отсутствием названия (SOS — призыв о помощи, а не имя; сравни в «Плавании»: «край, которому нет названия»), а потом и самой страны («на-Марс страна»):

Русь — прадедам, Россия — нам,  
 Вам — просветители пещер<sup>8</sup> —  
 Призывное: СССР, —  
 Не менее во тьме небес  
 Призывное, чем: SOS.  
 Нас родина не позовет!

Езжай, мой сын, домой — вперед —  
 В свой край, в свой век, в свой час, — от нас —  
 В Россию — вас, в Россию — масс,  
 В *наш*-час — страну! в *сей*-час — страну!  
 В на-Марс — страну! в без-нас — страну!  
 [Цветаева: II, 299]

Тема противостояния поколений, являющаяся семантическим ядром всего цикла «Стихи к сыну», по-новому позволяет взглянуть и на цветаевскую концепцию «Путешествия» Бодлера в целом. Все стихотворение разворачивается в напряжении между двумя крайними (в поэтическом мире поэмы) возрастными точками, обозначенными словом «ребенок», с которого начинается поэма («Pour l'enfant»), и словом «старый», открывающим ее последнюю строфу («Ô Mort, vieux capitaine, il est temps»; у Цветаевой эта строка переведена как «Смерть, старый капитан»). О возможных биографических проекциях «отрока» на сына Цветаевой мы уже сказали выше. Однако подключение к анализу «Стихов к сыну» позволяет говорить и об автобиографических проекциях в переводе, связанных, в первую очередь, с противоположным «отроку» возрастным полюсом<sup>9</sup>.

Впервые слово «старый» появляется в поэме в финале второй части, в составе сравнения одного из матросов со «старым пешеходом»:

<sup>8</sup> Нельзя не отметить и в этом тексте именное словосочетание с отглагольным существительным: «просветители пещер». Такого типа конструкции, по всей видимости, ассоциировались у Цветаевой с «казенным» языком советской эпохи.

<sup>9</sup> Ср. мотив «старости» в ее собственной поэзии этого времени: «Пора! Для этого огня — / Стара!» ([Цветаева: II, 366], стихотворение датировано 23 января 1940 г.).

Так старый пешеход, ночующий в канаве,  
 Вперяется в Мечту всей силою зрачка.  
 Достаточно ему, чтоб Рай увидеть въяве,  
 Мигающей свечи на вышке чердака.  
 [Цветаева: II, 397]

Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue,  
 Rêve, le nez en l'air, de brillants paradis;  
 Son oeil ensorcelé découvre une Capoue  
 Partout où la chandelle illumine un taudis  
 [Baudelaire: 307].

(подстрочный пер.:  
 Так старый бродяга, топчущийся в грязи,  
 Мечтает, задрав нос кверху, о блистательном рае;  
 Его зачарованный взгляд находит  
 Капую везде, где сальная свеча освещает лачугу)

Эта строфа замыкает ту часть поэмы, которая открывается образом всемирного хаотического движения<sup>10</sup>. Она претерпевает в переводе значительные трансформации: в первую очередь, Цветаева по возможности убирает из нее движение (заменяет “piétinant”/«топчущийся» на «ночующий», “vagabond”/«бродяга» на «пешехода», а также отказывается от слова “partout”/«везде, повсеместно» (которое указывает как на повторяемость того, что делает бродяга, так и на его перемещения в пространстве, так как «везде» может означать и «в разных местах»). Эффект, которого достигает Цветаева в переводе, отсутствует в оригинале: это хаотическое, дьявольское («Нас Лихорадка бьет — как тот Архангел злобный») движение в последней строфе внезапно останавливается. Особого комментария в этой строфе заслуживает «пешеход»<sup>11</sup>, которым Цветаева заменяет «бродягу». Пешеход уже становился объектом поэтической рефлексии Цветаевой — в цикле «Ода пешему ходу» (1931–1933):

<sup>10</sup> «О, ужас! Мы шарам катящимся подобны, / Крутящимся волчкам! И в снах ночной поры / Нас Лихорадка бьет — как тот Архангел злобный, / Невидимым мечом стегающий миры» [Цветаева: II, 397].

<sup>11</sup> Здесь, конечно, не может не вспомниться «Пешеход» О. Мандельштама, в котором исследователи, в том числе, усматривают и бодлеровский пласт. Это стихотворение Мандельштама Цветаева прекрасно знала, и ее строки «Старый пешеход, ночующий в канаве» звучат почти точным повторением мандельштамовских «<...> старинный пешеход // Над пропастью <...>». Не собираясь здесь углубляться в этот сюжет, отметим лишь принципиальную разницу — главным органом восприятия для мандельштамовского пешехода является слух («Я слушаю, как снежный ком растет // И вечность бьет на каменных часах»), тогда как для цветаевского — зрение.

В век сплошных скоропадских,  
 Роковых скоростей —  
 Слава стойкому братству  
 Пешехожих ступней!  
 [Цветаева: II, 291]

и противопоставлялся быстрому, «опьяняющему» движению (цитируемые ниже строки описывают автомобилистов):

Поглядите на чванством  
 Распираемый торс!  
 Паразиты пространства,  
 Алкоголики вёрст<sup>12</sup>.  
 Что сквозь пыльную тучу  
 Рукоплещущих толп  
 Расшибаются.  
 — Случай?  
 — Дури собственной — столб  
 [Там же: 292].

Неподвижность, противостоящая ненасытному, одуряющему движению связана у Цветаевой с еще одним символическим образом, который в «Оде пешему ходу» дан лишь метонимически («столб»). Впервые как антитеза быстрому механическому движению он появился в стихотворении 1923 г. «Рельсы», наполненном аллюзиями на ряд текстов русской литературы о «быстром и губительном движении»: от сюжета, взятого из стихотворения А. Блока «На железной дороге» (с сохраненной памятью о его некраповских источниках) до прямой цитаты из «Бесов» Пушкина:

В некой разлинованности нотной  
 Нежась наподобие простынь —  
 Железнодорожные полотна,  
 Рельсовая режущая синь!  
 Пушкинское: сколько их, куда их  
 Гонит! (Миновало — не поют!)  
 Это уезжают-покидают,  
 Это остывают-отстают.  
 Это — остаются. Боль как нота  
 Высящаяся... Поверх любви

<sup>12</sup> Здесь вновь встречаются словосочетания, образованные по той же модели, что и «глотатели широт», и в данном случае, как и в «Путешествии» Бодлера, в контексте быстрого, к тому же опьяняющего, движения.

Высящаяся... Женою Лота  
 Насыплю застывшие столбы...  
 Час, когда отчаянем как свахой  
 Простыни разостланы. — Твоя! —  
 И обезголосившая Сафо  
 Плачет как последняя швея.  
 Плач безропотности! Плач болотной  
 Цапли, знающей уже... Глубок  
 Железнодорожные полотна  
 Ножницами режущий гудок.  
 Растекись напрасною зарею  
 Красное напрасное пятно!<sup>13</sup>  
 ... Молодые женщины порою  
 Льстятся на такое полотно  
 [Цветаева: II, 208].

Для нас важно то, что рамочная железнодорожная тема, связанная с движением, разрывается здесь образом, воплощающим собой статику: железнодорожные столбы сравниваются с женой Лота, превратившейся в соля-

<sup>13</sup> В последней строфе этого стихотворения («Растекись напрасною зарею / Красное, напрасное пятно...»), видимо, отзывается еще один важный для традиции поэтический текст о «губительных русских пространствах» и о передвижении в них: «На поле Куликовом» А. Блока, входящий в тот же цикл «Родина», что и стихотворение «На железной дороге». Мы имеем в виду финал первого стихотворения из цикла, в котором дан образ безумного и губительного движения:

И нет конца! Мелькают версты, кручи...  
 Останови!  
 Идут, идут испуганные тучи,  
 Закат в крови!  
 Закат в крови! Из сердца кровь струится!  
 Плачь, сердце, плачь...  
 Покоя нет! Степная кобылица  
 Несется вскачь!  
 [Блок: 170]

Также здесь нельзя не отметить, что еще до Блока эту тему разрабатывал Андрей Белый в сборнике «Пепел». Ср. стихотворение «Шоссе» (1904) из цикла «Россия»: открытое пространство, в которое уходит дорога (правда, не *железная*, а обычное шоссе), противопоставлено остановившемуся путнику, вокруг которого сумрак сплетает «роковое кольцо». Символом невозможности движения здесь также является верстовой столб:

Сплетается сумрак крылатый  
 В одно роковое кольцо.  
 Уставился столб полосатый  
 Мне цифрой упорной в лицо  
 [Белый: 124].

ной столб. Образ Лотовой жены возникает и в стихотворении «Стихи к сыну», которое мы цитировали выше, и, повторимся, метонимически — в «Оде пешему ходу». Как кажется, отголосок этой темы можно усмотреть и в «Плавании» Цветаевой, в котором мы встречаем трудно объяснимое формальными нуждами переводчика утроение лексемы «лотос». У Бодлера лексема «лотос» встречается один раз, в нейтральном сочетании «запах лотоса» (“Le Lotus parfume”), который Эллис переводит как «<...> здесь Лотоса цветок благоуханный». У Цветаевой в соответствующем месте поэмы читаем следующие строки:

<...> О, каждый, кто взалкал  
 Лотосова плода! Сюда! В любую пору  
 Здесь собирают плод и отжимают сок.  
 Сюда, где круглый год — день лотосова сбора,  
 Где лотосову сну вовек не минет срок  
 [Цветаева: II, 400].

Утроение лексемы свидетельствует о том, что лотос, который погружает в вечный сон и, наконец, обездвигивает того, кто гонится за мечтой, оказывается на удивление близким цветаевскому поэтическому миру образом (а его наркотические коннотации отходят в сторону, так как опьянение для Цветаевой связано как раз с быстрым движением, а не с покоем). Заметим, что Цветаева также дважды использует здесь краткую форму прилагательного — явно призванную остановить на себе читательское внимание. Учитывая приведенный выше контекст, можно предположить, что в настойчивом повторении лексемы «лотос»/«лотосова» переводчица слышала и анаграмму «Лотовой жены» как трагического образа, который в ее творческом сознании противостоял «содому» современности<sup>14</sup>.

Это предположение позволяет по-новому взглянуть на перевод уже разбиравшейся выше последней строфы второй части поэмы («Так старый пешеход, ночующий в канаве <...>»). Мы отмечали, что трансформации в переводе направлены на освобождение этой строфы от лексем, так или иначе связанных с семантикой движения, однако теперь становится возможным объяснить и то, почему акцент в ней переносится на зрение: в переводе этой строфы содержатся четыре лексемы, так или иначе связанных с глазом (*впериться, зрачок, увидеть, мигающий*), тогда как в тексте

<sup>14</sup> Здесь уместно вспомнить, что после возвращения в СССР Цветаева письменно высказалась лишь об одном стихотворении Ахматовой — «Лотова жена»: «Испорчено стихотворение о жене Лота. Нужно было дать либо себя — ею, либо ее — собой, но не двух (тогда была бы одна: она)» [Цветаева: IV, 611].



оригинала всего одна (“oeil”/«глаз»). Образ Лотовой жены, на глубинном уровне организующий мотивную структуру цветаевского перевода, связывает статику со зрением, диктуя выбор переводческой стратегии и оправдывая введение в текст автобиографических мотивов.

Наши наблюдения, безусловно, не отменяют высокой ценности цветаевского перевода как опыта адаптации русской культурой классического текста французской литературы. Созданное Цветаевой произведение оказывается способным существовать в двух рецепционных системах одновременно: вне авторского корпуса — как посредник между двумя культурами, и как полноправная часть художественного мира Цветаевой. В первую очередь нам хотелось показать, как глубоко поздние переводы Цветаевой встроены в ее поэтическую систему в целом. Анализ этих текстов не должен ограничиваться каталогизацией расхождений с оригиналом и фиксированием автоцитат. Ее переводы могут рассматриваться как своего рода субститут оригинального творчества, что делает их, в числе прочего, важнейшим источником наших представлений о ее мировоззрении последних лет.

## Литература

Ахматова: *Ахматова А.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1998.

Багно: *Багно В.* «Дар особенный»: Художественный перевод в истории русской культуры. М., 2016.

Белкина: *Белкина М.* Скрещение судеб. М., 2005.

Белый: *Белый А.* Собр. стихотворений. 1914. М., 1997.

Блок: *Блок А.* Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1997. Т. 3.

Бодлер 1965: *Бодлер Ш.* Лирика. М., 1965.

Бодлер 1970: *Бодлер Ш.* Цветы зла. М., 1970. (Сер. Литературные памятники).

Боровикова: *Боровикова М.* Цветаева и Ахматова: Вокруг последнего стихотворения Марины Цветаевой // Блоковский сборник XVI: Александр Блок и русская литература первой половины XX века. Тарту, 2003.

Гаспаров: *Гаспаров М.* Брюсов и буквализм // Поэтика перевода. М., 1988.

Завьялов: *Завьялов С.* Вячеслав Иванов — переводчик греческой лирики // Новое литературное обозрение. М., 2009. № 95.

Косматова: *Косматова Е.* “Le Voyage” Бодлера и «Плавание» Цветаевой // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2000. Вып. 4.

Лавров, Топоров: *Лавров А., Топоров В.* Блок переводит прозу Гейне // Лит. наследство. М., 1987. Т. 92. Кн. 4: Александр Блок: Новые материалы и исследования.

Луков, Трыков: *Луков В., Трыков В.* «Русский Бодлер»: Судьба творческого наследия Бодлера в России // Вестник международной академии наук (русская секция). М., 2010. № 1.

Маркиш: *Маркиш Ш.* “Le Voyage” Бодлера в переводе Марины Цветаевой // *Slavica Helvetica*. Vol. 26: Marina Tsvetaeva — Марина Цветаева: Труды I-го международного симпозиума (Лозанна, 1982). 1991.

Мейкин: *Мейкин М.* Марина Цветаева: Поэтика усвоения. М., 1997.

Небесная арка: Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. СПб., 1992.

Неизданное: *Цветаева М.* Неизданное. Семья: История в письмах. М., 1999.

Соколова: *Соколова Т.* Поэма Ш. Бодлера “Le Voyage” и ее перевод М. Цветаевой // Литература в контексте культуры. СПб., 1998.

Фонова: *Фонова Е.* Восприятие Ш. Бодлера во Франции, Бельгии и России в эпоху символизма / Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 2009.

Цветаева: *Цветаева М.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1994–1995.

Эфрон: *Эфрон Г.* Дневники: В 2 т. М., 2004. Т. 1.

Baudelaire: *Baudelaire, Ch.* Les fleurs du mal. Paris, 2008.

Khotimsky: *Khotimsky, M.* “I am — for the free”: Marina Cvetaeva as a Translator in the Soviet Cultural Context // *Russian Literature*. Vol. 73. Issue 4.

Smith: *Smith, A.* Toward the Poetics of Exile: Marina Tsvetaeva’s Translation of Baudelaire’s “Le Voyage” // *Ars Interpres*. 2004. № 2.

Wanner: *Wanner, A.* Baudelaire in Russia. Florida, 1996.



## «ОКНО В ЕВРОПУ» В ПЕРЕВОДЕ НА ЯЗЫК ГИМНАЗИЧЕСКИХ УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ<sup>1</sup>

ЛЮБОВЬ КИСЕЛЕВА

Речь в статье, как явствует из названия, пойдет об интерпретации судьбоносной для России эпохи Петра I в дореволюционных гимназических учебниках по истории и о переводе государственной идеологии на язык школьной истории.

Школа — это государственный институт, выполняющий государственный заказ, поэтому программы и учебники гуманитарных предметов во все времена проходили и проходят серьезный отбор с точки зрения соответствия государственной идеологии и политике. Государственный миф о Петре как строителе новой России начал формироваться еще при его жизни и при его активном участии [Погосян], и придется признать, что, несмотря на все видоизменения, этот миф остается актуальным вплоть до настоящего времени; тем более актуальным он был в имперскую эпоху [Осват, Рогинский]. Одновременно складывался и противоположный миф о Петре — как о правителе, разрушившем национальное бытие, в крайнем выражении — о царе-антихристе, погубившем Святую Русь<sup>2</sup>. Как справлялась школа с этой сложной коллизией? Имела ли возможность школьная история в имперскую эпоху не только следовать одному из цен-

---

<sup>1</sup> Статья написана в рамках проекта IUT34-30 Tõlkeideoloogia ja ideoloogia tõlkimine: kultuuri-dünaamika mehhanismid Eestis vene ja nõukogude võimu tingimustes 19.–20. sajandil / Ideology of Translation and Translation of Ideology: Mechanisms of Cultural Dynamics under the Russian Empire and Soviet Power in Estonia in the 19th – 20th Centuries.

<sup>2</sup> В антологии «Петр Великий: pro et contra» [Петр] дается достаточно представительная подборка как положительных, так и отрицательных высказываний о Петре деятелей русской науки и культуры XVIII–XX вв. См. также перепечатанную там аналитическую статью А. А. Кизеветтера «Реформа Петра Великого в сознании русского общества», где изложена полемика о Петре и его эпохе в ее динамике (в частности, спор между западниками и славянофилами).

тральных национальных мифов, но и «демифологизировать» эпоху и личность царя-преобразователя? Могла ли показывать не только достижения этой крайне противоречивой эпохи, но и провалы, не только достоинства, но и недостатки личности самого Петра и страшную жестокость его методов? Для русской школы проблема «демифологизации» особенно важна, поскольку школьный литературный канон был направлен в большей мере как раз на мифологизацию, хотя включал не только пушкинскую «Полтаву» с ее знаменитыми строками:

Была та смутная пора,  
Когда Россия молодая,  
В бореньях силы напрягая,  
Мужала с гением Петра, —

но и «Медный всадник», начинающийся панегирическим «Вступлением» и завершающийся деканонизирующим финалом. Поэтому существенно будет проследить, как вел себя в этом плане исторический курс.

Напомним, что в программу российских гимназий истории и, в частности, «отечественная», была введена по «Уставу учебных заведений» 1804 г., но самостоятельное значение русская история как предмет получила в конце 1820-х – в 1830-е гг., после создания первых соответствующих учебников<sup>3</sup>. К этому времени официальный миф о Петре получил мощную поддержку со стороны императора Николая I, стремившегося ориентировать свое личное поведение и методы руководства на «патриархальные» методы своего предка<sup>4</sup>. Продемонстрировать, как взаимодействовала в этих условиях школьная история с государственным культом Петра — одна из центральных задач настоящей работы. Однако петровская эпоха позволяет «тестировать» школьный курс и по другим важным параметрам, свойственным школьному подходу к историческому процессу (не только в имперскую эпоху):

<sup>3</sup> По-видимому, первым было четырежды переизданное (1829–1834) «Начертание истории государства Российского» И. К. Кайданова [Кайданов], лицейского профессора, обучавшего Пушкина истории, автора нескольких учебных пособий как по русской, так и по всемирной истории. Пособие профессора Московского университета и известного историка М. П. Погодина «для училищ» [Погодин 1835] во втором издании [Погодин 1837] уже прямо предназначалось для гимназий. К сожалению, мы вынуждены опустить анализ этих и ряда других пособий. Пользуемся возможностью поблагодарить А. Л. Осповата за ценные указания.

<sup>4</sup> Николай I был гораздо более склонен вспоминать «дубинку» основателя империи, чем его умение выслушивать оппонентов. Из адресованного ему в 1826 г. пушкинского завета в «Стансах»: «Во всем будь пращурю подобен: / Как он неумоим и тверд, / И памятью, как он, незлобен», Николай следовал лишь первой части.

- а) «милитаризация» и героизация истории, когда войны и военные победы оказываются в центре внимания;
- б) создание благополучной, непротиворечивой картины национально-го прошлого — «от победы к победе»;
- в) оправдание любых действий своей страны во взаимоотношениях с другими странами;
- г) «царцентричность», т. е. показ эпохи через личность монарха и его деятельность, стремление изображать монарха как великую личность и делать основной акцент на положительных качествах;
- д) трактовка социальной жизни и истории повседневности.

Будем, однако, иметь в виду, что школьная педагогика должна учитывать не только государственный заказ, но и особенности детской и юношеской психологии, для которой характерно и стремление к героическому, и черно-белое восприятие информации, и тяготение к ясным, однозначным оценкам. В этой связи баланс между «положительной» и «негативной» (критической) информацией, касающейся истории родной страны, требует особого внимания.

Мы постарались аргументировать выбор эпохи, теперь постараемся объяснить, в чем состоит смысл обращения к учебникам более чем столетней давности. Для нас выбор диктуется не столько интересом к истории педагогики, сколько возможностью включить эти книги в изучение социальной истории и истории сознания. В частности, важно хотя бы поставить вопрос о том, как школьный учебник как транслятор идеологии влиял, среди множества прочих факторов, на становление мировоззрения тех, кто потом участвовал в русских революциях 1905 и 1917 гг. или же боролся с ними. Ведь гимназию в конце XIX – начале XX вв. заканчивали и будущие революционеры, и контрреволюционеры. Кроме того — и это особенно важно в контексте эстонской истории — среди гимназистов, изучавших историю России по интересующим нас учебникам, были и деятели культуры периода «Ноор-Ээсти», и будущие создатели первой Эстонской Республики, и т. д. К сожалению, вопрос о роли гимназических учебников для становления личностей их читателей — скорее полуриторический, и ясного ответа на него мы не получим из-за отсутствия достаточных данных о рецепции учебников. Но постановка другого вопроса имеет более отчетливые перспективы: мы имеем в виду роль гимназических учебников имперского периода в становлении советских учебников истории, а, следовательно, и постсоветских, которые до сих пор не отошли от советского дискурса. Таким образом, от царской гимназии ниточка тянется к современной российской.

Напомним, что в послереволюционной советской школе курс истории был фактически ликвидирован (изучалась лишь история революционного движения). Как показал А. М. Дубровский в главе «От проблем исторического образования к новому облику исторической науки» своей книги «Историк и власть» [Дубровский], в конце 1920-х гг. именно учителя-практики подняли вопрос о восстановлении школьного исторического курса. Против этого резко возражал известный историк М. Н. Покровский:

Я боюсь, что если создадим такой курс истории, якобы новый, он будет очень похож на старый курс, и в конце концов будет та же книжная штука, святыцы, но с другими святыми. Прежде были святыи цари, министры, благодетели человечества, а теперь великие бунтовщики революционеры, социалисты (цит. по: [Там же: 172]).

Однако закоренелый марксист не учел, что старая модель «государственности», «государствоцентричности», где персонификацией государства является монарх, окажется востребованна сталинской эпохой. В диалектике «имперское» / «национальное» вскоре также перешли к дореволюционной трактовке российского / советского государства как *русского*. Жаркие дискуссии завершились личным вмешательством Сталина и его негласным распоряжением историю в школе изучать и создать советские учебники, взяв за образец старые гимназические пособия [Там же: 180–184; Бранденбергер: 39–86].

Именно Петр стал первым царем, «реабилитированным» советской властью в начале 1930-х гг. в рамках нового имперского канона — «сталинского ампира». Сталин, подыскивая себе исторические прототипы, начал с проецирования себя как раз на Петра, хотя и отрицал это в беседе с немецким писателем Эмилом Людвигом 13 декабря 1931 г. [Сарнов: 17], и только позднее к Петру добавился Иван Грозный. И если Грозный был в послесталинское время из советского канона удален, то Петр навсегда остался культовым монархом<sup>5</sup>. Все это только добавляет аргументы в пользу изучения трактовки петровской эпохи в дореволюционных учебниках.

В царской России авторами основных гимназических учебников были университетские профессора, так что школьная история была непосредственно связана с академической, и по этим пособиям можно проследить, в том числе, этапы трактовки эпохи Петра в историографии.

<sup>5</sup> Любопытно, что теперь в России возрождается и культ Грозного — как это повлияет на школьный канон, покажет будущее.

Обратимся к гимназическому учебнику «Начертание русской истории», автором которого стал профессор Петербургского университета Н. Г. Устрялов (1805–1870), уже заслуживший к тому времени известность своими публикациями важных исторических документов. На основании этого учебника, впервые изданного в 1839 г. и переизданного десятым изданием в 1857-м [Устрялов]<sup>6</sup>, не следует выносить приговора автору как историку. Как заметил Н. Я. Эйдельман, «пока царствовал Николай I, Устрялов издавал, по сути, не историю Петра, а документальный панегирик прапрадеду своего императора» [Эйдельман: 109], однако затем именно консервативный Устрялов издал розыскное дело царевича Алексея. Но в школьном каноне долго царил его панегирический образ Петра, и с этим пришлось считаться авторам гимназических пособий следующего поколения.

Концепция в устряловском учебнике проста: в отсталой полуазиатской Руси является *вдруг* великий преобразователь: «Он был для России незапным лучезарным светилом, которое все грело, оплодотворяло, живило; он расторг оковы нашего невежества, воззвал нас к лучшей жизни гражданской, указал нам наши силы, наши средства, путь, которым должны мы идти неуклонно» [Устрялов: 191]. Под пером автора Петр лишен каких бы то ни было недостатков: «Для блага России он пожертвовал даже родным сыном своим Алексеем Петровичем, отрешив его от престола» [Там же: 217] (то, каким образом это произошло, никак не уточняется). Вопреки очевидности, у Устрялова «Церковь имела в Петре крепкого хранителя и поборника» [Там же]. Автор утверждает, что основы русского государства при Петре остались неизменными<sup>7</sup>, несмотря на европеизацию (которую историк оценивает как меру неизбежную и благодетельную), а источником всех дел являлась личная инициатива царя. Немецкая слобода не упоминается вообще, о роли иностранцев говорится скупо (хотя заграничная поездка Петра в качестве ученика «всего полезного для России» излагается достаточно подробно), вопрос о цене, которую пришлось заплатить за реформы и военные победы, даже не ставится. При такой одно-

<sup>6</sup> С издания 1855 г. было осуществлено современное переиздание: Устрялов Н. Г. Русская история до 1855 г.: В 2 ч. / Вступ. ст. и примеч. В. Г. Баданова. Петрозаводск, 1997. Вообщее большинство учебников, о которых пойдет речь, были переизданы в 1990–2000-е гг.

<sup>7</sup> Характерно, как Устрялов умело включает в свое повествование триаду Уварова, составляющую основу государственной идеологии: «С наступлением XVIII века Россия и изнутри, и извне принимает новый вид: основные начала народности остаются неприкосновенными: та же чистая вера, наследованная от православного востока; то же понятие о власти единой, самодержавной, те же звуки русского языка господствуют в нашем отечестве» [Устрялов: 190].



значной установке на панегирик часто применяемая фигура умолчания оказывается неизбежной.

Начавшееся царствование Александра II ввело в школьную практику новые учебники; первым стала «Учебная книга русской истории» профессора Московского университета С. М. Соловьева, написанная в 1859–1860 гг. [Соловьев]<sup>8</sup>. Хотя сам ученый в своей университетской «Истории России с древнейших времен» еще не дошел тогда до петровской эпохи, однако выраженная в учебнике концепция в главных чертах и далее осталась у него неизменной. Учебник Соловьева значительно больше по объему Устряловского, соответственно, и степень подробности в изложении материала — иная. Общая концепция — создание новой России из полуазиатской Руси — как будто та же, что и у Устрялова. Однако при этом подчеркивается связь дела Петра с предшествующими царствованиями. Это вообще главная идея Соловьева, заключающаяся в том, что реформы Петра явились органической частью русского исторического процесса<sup>9</sup>. Именно поэтому вопрос о методах проведения реформ выходит на первый план. Прямо говорится об их высокой цене, вызвавшей народные восстания:

Время Петра, которое нам теперь издали представляется таким блестящим, было одним из самых тяжелых времен для русского народа: для ведения продолжительной и трудной войны и вместе для новых учреждений требовались большие пожертвования, а средства страны были скудны; тяжки были рекрутские наборы, налоги денежные... [Там же: 412].

Соловьев уже не избегает ни прямого разговора о положительной роли иностранцев [Там же: 399], ни критики в адрес личности царя. Он рассказывает об испуге и бегстве Петра в Троицкий монастырь в 1689 г. во время стрельцкого бунта [Там же: 400]; о личной ошибке в организации Прутского похода [Там же: 418], о жестокости в ведении Северной войны [Там же: 410 и др.], о деле «несчастливого» царевича Алексея [Там же: 437–439]. Правда, автор всегда стремится объяснить причины тех или иных действий Петра, ибо общая трактовка остается панегирической. Соловьев однозначно трактует европеизацию как положительное явление. Знаменательна его прямая полемика с позицией славянофилов по вопросу о бритье бород и о национальной самобытности:

<sup>8</sup> Всего до революции вышло 14 изданий этого учебника, последнее — в 1915 г.

<sup>9</sup> Концепция об органическом характере развития русской истории была высказана С. М. Соловьевым еще в его диссертации «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» (1847).

Сбритием бород наносился сильный удар той узкой, мелкой народности, которая состоит в одном внешнем отличии <...>, которая, отдаляя народ от других народов, препятствует его просвещению, препятствует, следовательно, основывать свою народность на внутренних духовных началах, проявлять свою народность в великих произведениях духа [Там же: 407].

Итак, в канун великих реформ Александра II, в том числе, и гимназической реформы 1864 года, учащиеся получили более разносторонний взгляд на ключевую эпоху русской истории.

Следующим и самым распространенным до революции гимназическим учебником стало пособие другого преподавателя Московского университета, историка Д. И. Иловайского<sup>10</sup>, созданное практически в одно время с соловьевским в 1860 г. И сам ход повествования, и концепции учебников во многом близки. Подчеркнуто, что европеизация и многие реформы были начаты предшественниками Петра, но недостаточно энергично и не могли преодолеть отсталости Руси. Роль иностранцев, ученичество у Запада преподносятся в положительном контексте, но по сравнению с Соловьевым Иловайский более акцентирует конфликт Петра с народом: «... царь за свои нововведения и крутые меры должен был выдерживать почти постоянную борьбу с народным неудовольствием» [Иловайский]. Пожалуй, более ярко обрисована и жестокость Петра:

... недовольный розыском Шеина Петр приказал снова допрашивать стрельцов под страшными пытками. <...> Трупы казненных стрельцов оставались небуранными целые пять месяцев к ужасу народа. Красная площадь была покрыта обезглавленными, а стены Белого и Земляного города унижены повешенными. На Девичьем поле некоторые стрельцы висели против самых окон царевны Софьи с челобитными грамотами в руках [Там же].

Однако Иловайский стремился уравновесить негативные и позитивные подробности. Так, он приводит отсутствовавшие у Соловьева легендарные слова Петра перед Полтавским сражением: «А о Петре <...> ведайте, что ему жизнь не дорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии» [Там же].

Давая общую характеристику петровским реформам, Иловайский критичен и не склонен оправдывать наступления царя на национальную самобытность:

---

<sup>10</sup> Характерно, что вскоре Иловайский полностью переключился на создание школьных пособий, покинул университетскую кафедру и зарабатывал изданием учебников большие деньги.

Преобразования Петра были направлены на усвоение европейских обычаев и учреждений. Иноземные обычаи и учреждения, переносимые на русскую почву, не всегда, впрочем, сообразовались с естественными условиями государства и с характером народа. Многие благие по своей цели указы, не опираясь на известный уровень образованности или на привычки народа, скоро теряли свою силу и подвергались злоупотреблениям. Наконец, излишнее поклонение всему иностранному и пренебрежение народным чувством принесли немалый вред русскому национальному самосознанию [Иловайский].

И все же итог и в этом учебнике оказывается положительным: «... беспримерная в истории деятельность Петра сообщила Русскому государству новую жизнь и новые силы, и едва ли какой-либо государь нового мира имеет большие права на наименование Великого» [Там же]. Именно учебник Иловайского (особенно его краткий вариант)<sup>11</sup> считался до революции наиболее «лояльным». Характерно, что первый учебник русской истории на эстонском языке был переводом-переделкой именно с Иловайского [Повайскй]. Но самое знаменательное, что именно гимназический Иловайский был любимым учебником товарища Сталина, который признавался: «Мне нравится больше всего как писал Дмитрий Иванович Иловайский» (цит. по: [Дубровский: 304]), что не помешало вождю оставить на принадлежавшем ему экземпляре учебника выразительную запись: «Дурак Иловайский!» [Илизаров: 81]<sup>12</sup>.

Гимназический учебник ученика Соловьева, профессора Московского университета В. О. Ключевского был издан в 1899 г. (в 1917 г. появилось восьмое издание), хотя его конспекты по отдельным темам выходили в свет еще в 1870-е гг. Учебник краток, почти конспективен, лишен ярких подробностей и прямых оценок. Повествование в нем строится не биографически-тематически, а проблемно и призвано вызвать ученика к размышлению. Уже начало параграфа «Реформы Петра Великого» звучит неожиданно: «При первом взгляде на преобразовательную деятельность Петра она представляется лишенной всякого плана и последовательности. <...> Видны цели реформы, но не всегда уловим ее план» [Ключевский: 131]. И далее автор предлагает рассмотреть реформы в связи с «гнетом обстоя-

<sup>11</sup> Учебники Иловайского существовали в дореволюционной школе во многих вариантах, см., в частности, «Руководство к русской истории. Средний курс, (изложенный по преимуществу в биографических чертах)». Этот учебник был предназначен для третьего класса гимназии. В 1916 г. вышло 44-е изд. По сути, это была вариация «Кратких очерков», отличавшаяся от своего прототипа в деталях, но не общей концепцией.

<sup>12</sup> К какому времени принадлежит эта запись, сделанная на последней странице пятого издания «Руководства к русской истории...» (1874), не ясно.

тельств», разворачивая перед учениками петровские преобразования не в хронологической, а в реконструируемой логической последовательности. Совершенно очевидно, что Ключевский подразумевает достаточно высокий уровень предварительной подготовки учащихся — такой сжатый учебник не может быть основным, но может служить прекрасным дополнительным пособием, например, для подготовки к экзамену. Автор не останавливается на личности преобразователя, зато побуждает разносторонне анализировать его дело. Общая концепция остается и у Ключевского неизменной: петровские реформы были неизбежны и в целом конструктивны.

Учебник профессора Петербургского университета академика С. Ф. Платонова создавался в конце 1900-х гг. и сразу приобрел большую популярность<sup>13</sup>, несмотря на свой солидный объем. Никакой «смены вех» в нем не происходит: еще с большими подробностями автор разворачивает концепцию Соловьева-Ключевского, даже усиливая линию преемственности в политике европеизации и учения у иностранцев:

Близость этих «немцев» к Петру не должна нам казаться удивительною и необычною. Московский двор в то время широко пользовался услугами западноевропейцев. Маленького Петра лечили доктора-немцы; в вычурных садах царя Алексея он видел немцев-садовников; всякия техническия поделки во дворцах исполнялись мастерами-немцами <...>. Немецкая слобода <...> была расположена очень близко от села Преображенского; было очень просто и легко послать туда за всяким делом... [Платонов: 269–270].

Ср. также: «В своем стремлении овладеть берегами Балтийского моря Петр явился продолжателем политики всех предшествовавших ему московских царей». Платонов отрицает «революционность» реформ: «Петр не совершил никакого государственного переворота» [Там же: 293]. Автор прямо говорит о гениальности Петра, но не избегает и разговора о его нетерпении, жестокости, о спонтанности реформ, даже о хаосе, возникавшем при таком в управлении. Неоднократно упоминается и о попойках, разгуле царя:

Петр охотно устраивал разного рода публичныя церемонии и праздники, показывая народу образчики общественных торжеств на европейский лад. В особенности любил он уличные маскарады, состоявшие из мифологических и этнографических шествий и картин <...> по грубости нравов той эпохи подобныя торжества иногда переходили в мало назидательный разгул [Там же: 308].

---

<sup>13</sup> Он вышел десятым изданием уже после революции, в 1918 г., был переиздан в Праге — в 1924 г.

Более подробно говорится о процессе закрепощения крестьян, даны более детальные сведения о тяготах преобразований, о вызванных ими восстаниях, о неудачах, о прозвании Петра антихристом. Однако эти негативные факты соседствуют с доказательствами благотельности для России европеизации и выхода к Балтийскому морю. Военные победы однозначно трактуются всеми авторами как достижения. «Победный» дискурс вообще оказывается в гимназических учебниках основным при изложении военных конфликтов<sup>14</sup>.

Хотелось бы подчеркнуть, что центральным оставался именно вопрос об отношении к европеизации. С точки зрения официальной идеологии, он долгое время не подвергался сомнению. Славянофилы со своей апологией бороды и допетровской «русскости» не вызывали симпатии Николая I, да и Александра II (его бакенбарды были данью европейской моде, а не «русским» обычаям)<sup>15</sup>. Общественное мнение, однако, уже не было столь единодушно: формировался русский национализм, что могло привести (и отчасти привело) к разочарованию в европейском пути для России. Но историки-авторы учебников истории твердо ориентировали своих читателей на восприятие европеизации как блага. Подчеркивая наступление петровского государства на частную жизнь граждан (что вызывало осуждение еще у Карамзина в записке «О древней и новой России»), жестокость его методов, конфликт с народом, авторы ставили своих читателей-учеников перед этими проблемами, но давали понять, что достигнутые результаты оправдывали жертвы. Академическим историком, являвшимся одновременно и авторами гимназических учебников, трудно отказать в ясно выраженной позиции, которую нельзя свести к механической трансляции официальной идеологии.

Начиная с 1870-х гг. выросло число гимназических учебников, создававшихся учителями-практиками<sup>16</sup>. Хотя историк Н. И. Кареев и отзывался скептически о появившихся тогда учебниках С. Е. Рождественского (см. ниже) и И. И. Белярминова [Белярминов], но все же признал, что после Иловайского, «столько десятилетий безраздельно царившего в средней

<sup>14</sup> Интересно отметить, что Платонов первым из авторов учебников упоминает о том, что Россия, кроме военной победы, заплатила Швеции два ман. ефимков за владение Балтийскими провинциями.

<sup>15</sup> Начиная с Александра III ситуация и в правительственных кругах начала осложняться (не будем сейчас углубляться в детали, чтобы не отклоняться от темы).

<sup>16</sup> Об истории гимназического образования см. классическую работу [Алешинцев], более подробно о ситуации в гимназическом образовании после реформы 1864 г. и в последующий период см. исследования [Понакрова; Шапарина].

школе» [Кареев: 2], наличие множества разных пособий и, следовательно, расширение возможности выбора оказало положительное влияние на преподавание истории. Правда, Кареев был озабочен не столько концептуальными различиями, сколько стилем изложения, дозировкой материала и методами преподавания.

Из всего разнообразия учебников, которые мы не имеем возможности охватить во всей полноте<sup>17</sup>, выберем один из самых стабильных и популярных, выдержавший после первого в 1869 г. около 20 изданий. Это курс Сергея Егоровича Рождественского (1832–1891)<sup>18</sup>, преподавателя ряда петербургских военно-учебных заведений и гимназии, директора народных училищ Санкт-Петербургской губернии [Рождественский]<sup>19</sup>. Книга богата по материалу и ставит историю петровской Руси / России в контекст истории соседей — Турции, Польши, Швеции. Общая направленность по сравнению с предшествующими авторами учебников не меняется: европеизация и петровские реформы в целом подаются как необходимые и неизбежные<sup>20</sup>. Большая «благонамеренность» таится в деталях: автор не подчер-

---

<sup>17</sup> Из-за недостатка места оставим в стороне учебник директора Нарвской, а затем ряда петербургских гимназий, преподававшего историю и географию детям Николая II, Константина Алексеевича Иванова (1858–1919) [Иванов]. После первого издания в 1906 г. учебник выдержал до революции пять переизданий. Многие из пособий представляют любопытное культурное явление — например, учебник этнографа и историка, фактически — самоучки, Александры Яковлевны Ефименко (1848–1918), первой женщины, получившей степень доктора *honoris causa* по истории (от Харьковского университета) и в 1911 г. ставшей профессором Высших женских курсов в Петербурге. Ее памяти посвятил прочувственный некролог С. Ф. Платонов. Учебник [Ефименко] выдержал в 1911–1918 г. семь изданий и был переиздан в 2012 г.

Вообще дать даже выборочный обзор гимназических пособий не представляется возможным, с одной стороны, из-за отсутствия соответствующей библиографии и, с другой, из-за воистину огромного их количества. Приходится учитывать и то обстоятельство, что почти идентичные пособия одного автора переиздавались под разными заглавиями для разных классов (что происходило из-за перемен в программах). Например, А. Я. Ефименко сначала написала «Учебник русской истории: для старших классов средне-учебных заведений» (СПб., 1909) и потом создала его более популярный вариант для более разнообразной аудитории [Там же]. Варианты учебных пособий Иловойского, Рождественского, Белярминова и др. могли бы стать предметом специального исследования.

<sup>18</sup> Происходил из священнической семьи и учился в Главном педагогическом институте одновременно с Н. А. Добролюбовым.

<sup>19</sup> В 1997 г. учебник был переиздан тиражом 40 тыс. экз. в серии «Учебники дореволюционной России по истории». У Рождественского имелась и книга для народного чтения «О Петре Великом», изданная Постоянной комиссией для народных чтений (СПб., 1872), к 200-летию со дня рождения Петра. Комиссия была учреждена по высочайшему повелению министром народного просвещения.

<sup>20</sup> Ср.: «Познакомившись с жизнью западных европейцев, убедившись лично, как далеко отстал от них умный и смывленный русский народ на пути образования и промышленности,

кивает противоречий личности Петра, избегает компрометирующих его эпизодов (например, панического бегства в Троицкую лавру в 1689 г., «мало назидательного» разгула и пр.). Однако Рождественский не избегает разговора о жестоких методах, в частности, примененных в расследовании стрелецкого бунта, и о последовавших казнях: «Более тысячи человек было повешено, обезглавлено, колесовано. Около двухсот стрельцов было повешено под Новодевичьем монастырем, перед кельями Софьи <...>» [Рождественский: 270], даже упоминает о безуспешном заступничестве патриарха за казнимых. Однако автор неизменно подчеркивает вынужденный характер этой жестокости<sup>21</sup>. Так, он цитирует Нартова, который раскрывает другое — милостивое — лицо Петра: «Сколько снисходил он <Петр. — Л. К.> слабостям человеческим, прощал преступлений, не заслуживающих милосердия» [Там же]. Кратко останавливаясь на деле царевича Алексея, Рождественский переходит на почти устряловские интонации и способ изложения: «... великий преобразователь, не останавливавшийся ни перед какими препятствиями для возвышения России, не пощадил ни жены, ни сына: Евдокия была заключена в монастырь; сына <...> предал суду и заключил в крепость, где царевич скоро и кончил жизнь» [Там же: 289].

Рождественский старается акцентировать внимание на тех «человеческих» свойствах Петра, которые могли возбудить к нему симпатии старших подростков, например: «На 16 году Петр с трудом выводил буквы и писал с самыми грубыми ошибками, как это видно из его учебных тетрадок, дошедших до нас» [Там же: 264]. Однако далее автор с явным удовольствием рассказывает о том, как «потешные» игры юного царя положили основу будущим армии и флоту. Удачным с этой точки зрения представляется сопоставление с Карлом XII, который, якобы:

... ничем серьезным не занимался, не хотел ничему учиться, все время проводил на охоте, да в разных школьных проделках и безрассудном удалстве. Так, напр., во дворце устраивал охоту за зайцами; гуляя вечером по городу, бил стекла в домах обывателей, отрубал головы баранам и телятам; однажды с другом своим <...> переломал в придворной церкви лавки и заставил всех молиться стоя [Там же: 271].

---

Петр энергично взялся за преобразование России на манер европейский. <...> Петр воспретил носить бороду и длинные одежды, которые, между прочим, мешали сближению наших предков с иноземцами» [Рождественский: 281].

<sup>21</sup> Рождественский трактует жестокость не как черту личности Петра, а как черту эпохи, причем проявляющуюся в борьбе против врагов власти, приводя примеры жестокости со стороны современников царя — Софьи [Рождественский: 261] и Карла XII: «Шведский король велел колесовать Паткуля, как изменника» [Там же: 272].

Не будем сейчас обсуждать, насколько справедлива такая характеристика<sup>22</sup>, но автор не стремится сделать из Карла карикатурную фигуру, он тут же оговаривает: «Но в душе юного короля таились громадные силы и нападение врагов вызвало их к деятельности» [Рождественский: 271].

Рождественский говорит и о народных тяготах, но оправдывает их: «Вследствие тяжких налогов и податей, *необходимых для ведения трудной и продолжительной войны*, народ при Петре страшно страдал и беднел. Многие, не видя конца страданиям, убежали» [Там же: 274] (выделено нами; см. также: [Там же: 272–273]); «Крестьяне при Петре сделались полными рабами помещиков, на землях которых они жили» [Там же: 284]; число раскольников увеличилось. Автор не скрывает, что народ не понимал причин и сути преобразований; имеется намек и на культурный раскол нации при Петре [Там же: 285].

Таким образом, автор широко распространенного «учительского» учебника С. Е. Рождественский в целом следует руслу, проложенному академическими авторами, и его позиция — не исключение среди многочисленных пособий, созданных школьными педагогами. Для контраста обратимся теперь к альтернативным пособиям, которые были созданы оппозиционерами и предназначались для специальной аудитории.

Леонид Эммануилович Шишко (1852–1910), революционер-народник из кружка «чайковцев», четыре года проведенный в одиночном заключении<sup>23</sup>, написал и издал в Лондоне в 1900 г. книгу для взрослых «Рассказы из русской истории» — общедоступные рассказы для чтения в рабочих кружках и для самообразования. Она была переправлена в Россию, после 1905 г. переиздавалась на родине под разными заглавиями [Шишко 1906; Шишко 1917] и была популярна; ее издания выходили и после революции 1917 года. Эпиграф «В борьбе обрешь ты право свое!» определяет авторскую установку: повествование призвано освободить потенциального народного читателя от царистских иллюзий, показать, как несправедлив самодержавный строй, который специально держит народ в рабстве, бедности и невежестве, а также призвать к борьбе за свободу. И о Петре сказано просто и ясно:

---

<sup>22</sup> Такая характеристика отчасти справедлива, но односторонняя. Известно, что, несмотря на пристрастие к охоте, грубые забавы [Григорьев: 50–52], Карл был человеком разносторонне образованным [Там же: 20–26], религиозным, с повышенным чувством долга.

<sup>23</sup> В 1889 г. Шишко бежал с поселения за границу, основал «Фонд вольной русской прессы», одним из изданий которого и были его собственные книги, направленные на просвещение рабочей аудитории.



Петр был от природы человек большого ума. Когда он понял, чего не доставало русскому государству, он не щадил ни себя, ни других, чтобы все перестроить по-новому. Но Петр прежде всего был царь, поэтому думал лишь о своей, **царской** пользе. Ему надо было сделать сильным свое государство и иметь много денег в казне, а до народа ему было мало дела [Шишко 1906: 56], —

и далее эта нехитрая мысль варьировалась на разные лады.

В 1909 г. была опубликована общедоступная хрестоматия с картинками «Рассказы по русской истории», одним из редакторов которой был С. П. Мельгунов, преподаватель истории в частных гимназиях Москвы и известный политический деятель<sup>24</sup>. Пособие, по мысли авторов, предназначалось для взрослых слушателей воскресных школ, но также и для «младших классов средних учебных заведений», для городских школ и домашнего чтения. Таким образом, составители рассматривали свою книгу и как альтернативное школьное пособие. В «Рассказах» [Мельгунов и др.] выбран совершенно иной, по сравнению с тогдашними гимназическими учебниками, аспект — жизнь не государства, а его обитателей. В результате в главе «Петровское время» мы встречаем живой, расцвеченный яркими цитатами *рассказ* об изменениях в образе жизни разных слоев российского населения, но он почти сразу превращается в повествование о народных тяготах. Крутой нрав, торопливость, нетерпение, жестокость Петра — обо всем этом упоминали и официальные учебники, но здесь это становится главной темой. Делается акцент на страшных пытках, которым подвергали заключенных [Там же: 298–299]; прямо сказано, что царевич Алексей умер под пытками [Там же: 320]. Ужасы строительства Петербурга [Там же: 300–303], тяжкие поборы и налоги, бесконечные жертвы и ненависть народа к царю — антихристу и мироеду [Там же: 323–325], неуважение царя к православной вере, безобразия всепьянейшего собора<sup>25</sup>, гонения на старообрядцев — другими словами, все, что может вызвать негативную реакцию в адрес Петра, — дано со всевозможными подробностями.

В подробной характеристике личности Петра говорится и о его любознательности, уме, редком трудолюбии, демократизме [Там же: 309–310], но всем ходом повествования его действия подвергнуты недвусмысленно-

<sup>24</sup> С. П. Мельгунов был членом партии кадетов, а затем состоял в народно-социалистической партии, в будущем активно боролся с большевизмом. Был выслан из Советской России в 1922 г. и написал в эмиграции известную книгу «Красный террор».

<sup>25</sup> «Бывало, на первой неделе поста, когда богобоязненные москвичи посвящали все свое время постам и молитвам, «всепьянейший собор» Петра в назидание верующим устраивал шуточную покаянную процессию <...>. Такое подражание церковному богослужению в глазах народа было богохульством и поруганием веры» [Мельгунов и др.: 320].

му осуждению. При этом сама реформа оценивается как безусловно необходимая, и ярко описаны преимущества европейской жизни перед русским варварством. Однако и здесь не обошлось без замечания: «Петр слепо поклонялся Европе, стремился уничтожить все национальное, русское переделать по западному образцу. Это сказывалось даже в мелочах — в ненависти к тем платьям и к тем длинным бородам, которые привыкли носить русские» [Мельгунов и др.: 320]. Полностью отсутствует и победный военный дискурс: нет ни взятия Азова, ни Полтавы, ни морских побед, что в других учебниках являлось противовесом негативной информации, объяснением и оправданием народных тягот.

Таким образом, в альтернативных пособиях мы имеем дело с отчетливой оппозицией официально принятой точке зрения. Сдвиг особенно заметен при сопоставлении этих книг с учебником Платонова, также создававшимся после революции 1905 г.: факты те же, акценты совершенно иные и отчетливо «агитационные», антимонархические. Тем интереснее и характернее, что когда в 1930-е гг. под руководством Сталина в советской школе был восстановлен курс истории, то ориентировались вовсе не на эти альтернативные книжки. Уже говорилось выше со ссылкой на исследование А. М. Дубровского, что по личному указанию вождя за основу новых учебников были взяты старые гимназические пособия. В результате в первом учебнике для средней школы 1940 г. под редакцией А. М. Панкратовой, где периодизация Новой истории дается по царствованиям (см. оглавление [Панкратова: 271–272]) и приводится родословная таблица династии Романовых [Там же: 270], многие страницы, касающиеся петровской эпохи, трудно отличить от соответствующих мест у Иловайского: то же биографическо-тематическое повествование, с большим количеством разнообразных подробностей и победным военным дискурсом. При описании победы под Полтавой воспроизведены легендарные слова Петра: «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу отечества. Итак не должны вымышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество»<sup>26</sup> и т. д. [Там же: 19]. Победа в Северной войне характеризуется как огромное достижение с опорой на цитаты из Маркса [Там же: 22–23], даже статус империи вызывает удовлетворение: «Это новое название свидетельствовало о росте могущества и силы русского го-

---

<sup>26</sup> Эти же слова выкрикивает, мчась на коне, под гром выстрелов Николай Симонов, исполнявший роль Петра в фильме В. Петрова «Петр I» (1937–1938). Понятно, что эти апокрифические слова как нельзя лучше соответствовали сталинскому пафосу государства, руководимого сильным вождем.

сударства» [Там же: 23]. Реформы Петра также вызывают одобрение в советском учебнике, и в этом авторы опираются на цитаты из Сталина [Там же: 23–24]. Вообще, если не считать такого рода ссылок и фраз типа: «В результате произведенной реформы Петр создал крепкий государственный аппарат для обслуживания нужд господствующих классов» [Там же: 30], никакой особой «советскости» не наблюдается. Более того, к врагам петровского дела авторы относятся даже более сурово, чем их дореволюционные коллеги. Конечно, этими противниками оказываются теперь «остатки прежней знати и части духовенства», «крупные землевладельцы из родовитых фамилий», презиравшие «худородных» выдвигенцев Петра, именно они распространяли слухи, что он «антихрист» [Панкратова: 31]. Алексей прямо объявлен «изменником родины», по словам авторов, он «мечтал поднять бунт» против отца [Там же: 32]. О его конце сказано примерно так, как у Рождественского: «Царевич умер в тюрьме вскоре после приговора» [Там же]. Петровский миф как нельзя лучше пришелся ко двору в сталинской школе. Опасения М. Н. Покровского оправдались: новый курс был очень похож на старый, а в случае Петра даже больших оговорок делать не потребовалось. Личность Петра удостоилась высокой характеристики, хотя была подчеркнута и его грубость и жестокость [Там же: 35–36].

Таким образом, авторы дореволюционных гимназических учебников, а вслед за ними и авторы первого советского учебника для средней школы, различаясь в акцентах и деталях, говорили о Петре как о великом монархе, стремились показать его дело как исторически прогрессивное и полезное. Он не был представлен «земным божеством» (по слову Ломоносова): авторы не скрывали ни отрицательных личных качеств преобразователя, ни неудач, ни слишком высокой цены его реформ, но государственный миф о Петре — создателе новой России в учебниках закрепился.

Однако обратим внимание на то, что рассмотренные нами гимназические учебники предлагали ученикам далеко не однородный материал о Петре и его царствовании, и далее восприятие конкретного ученика зависело уже от установок школы, учителя, а также культурной среды, в которой он воспитывался. Совершенно очевидно, что результат в каждом отдельном случае мог быть неоднозначным. Подчеркнем также, что дореволюционная школа в целом двигалась по пути развития у учеников критического мышления на материале исторического курса, отказа от идеологизации, которой потом неуклонно требовала советская школа. Последняя гимназическая программа, составленная в 1915 г. и, по условиям военного и революционного времени, так и оставшаяся на бумаге, ясно демонстрирует новые

установки. В ней предметы делились на «образовательные» и «воспитательные», причем история была причислена к образовательным, наряду с Законом Божиим, русским языком, математикой, географией и естествоведением. К «воспитательным» были причислены предметы практические — рисование с черчением, пение (и музыка), физические упражнения (гимнастика, танцы, ручной труд) [Программа: 4]. Принятое деление не исключало, однако, постановки перед курсом истории морально-воспитательных задач, в том числе, патриотических. Это, впрочем, относилось только к младшей ступени, и следует обратить внимание на то, сколь осторожно и мудро формулируются эти задачи:

Преподавание истории на младшей ступени имеет своей воспитательной целью вызвать в детях живой интерес к прошлой жизни родного народа, развить этот интерес до возможной сознательности и тем самым упрочить детскую любовь к родине. <...> Необходимо, однако, помнить, что высокая воспитательная цель исторического преподавания не должна и не может достигаться иначе, как путем правдивого ознакомления детей с событиями и образами прошлого <...>. Отрешенные от исторической действительности назидательные речи преподавателя с нравоучениями на патриотические моральные темы, внося в учебное дело нежелательную и вредную фальшь, извратили бы доброе воспитательное средство и повели бы к прямому педагогическому злу [Там же: 83].

На старшей ступени обучения ставилась задача «вызвать в учащихся историческое отношение к жизни, развить в них историческое понимание» [Там же: 86]. Авторы программы отмечали, что «не только лучшие, но даже и средние ученики и ученицы выпускного класса знакомятся с трудами известных ученых, как Соловьев, Ключевский<sup>27</sup> и др.» [Там же: 87], и делали выводы, что нужно подробнее знакомить гимназистов с достижениями исторической науки, а также, например, с борьбой «западников и славянофилов по отношению к древней русской истории и к реформе Петра Великого» [Там же]. Другими словами, русская школа двигалась в направлении проблематизации курса истории, столкновения различных точек зрения. Ученикам предлагалось читать сборники документов, делать самостоятельные доклады на обобщающие темы — «рост территории, развитие верховной власти, крестьянский вопрос и т. п.» [Там же]. Понятно, что эти темы выделены не случайно — это актуальнейшие вопросы российской жизни и политики конца империи, которые могли бы вызвать самые разные по характеру рассуждения, что и входило в задачу тех, кто эти

---

<sup>27</sup> Подразумевались, конечно, не гимназические учебники этих авторов, а их академические труды.

темы предлагал. Учеников хотели научить думать и самостоятельно анализировать окружающую действительность.

Подробное изучение программы 1915 года, как и постановлений Всероссийского съезда учителей 1916 г. (где в частности, была поставлена задача введения в России обязательного обучения грамоте, а затем и введения обязательного среднего образования), показывает, что российское образование ожидали коренные изменения. Можно только сожалеть о том, что это развитие было прервано революцией и установлением советской власти, закрепостившей школу и надолго отбросившей назад развитие школьной истории, как и исторической науки в целом. Можно также сказать, что задачи, поставленные перед школьным курсом истории в программе 1915 г., не устарели и по сей день.

## Литература

Алешинцев: *Алешинцев И.* История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). СПб., 1912.

Беллярминов: *Беллярминов И.* Элементарный курс всеобщей и русской истории / Сост. И. Беллярминов. СПб., 1914. Изд. 42-е.

Бранденбергер: *Бранденбергер Д.* Сталинский руссоцентризм: Советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956 гг.). М., 2017. Изд. 2-е, перереб. и доп.

Григорьев: *Григорьев Б.* Карл XII, или пять пуль для короля. М., 2006.

Дубровский: *Дубровский А.* Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск, 2005.

Ефименко: *Ефименко А.* Элементарный учебник русской истории: Курс эпизодический для средне-учебных заведений и высших начальных училищ. Пг., 1914. Изд. 4-е.

Иванов: *Иванов К.* Учебник русской истории (систематический курс для старших классов средних учебных заведений и для самообразования) / Сост. К. Иванов. СПб., 1906.

Илизаров: *Илизаров Б.* Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого. М., 2015.

Иловайский: *Иловайский Д.* Краткие очерки русской истории. Приспособленные к курсу средних учебных заведений. М., 1860 / [http://az.lib.ru/i/ilowajskij\\_d\\_i/text\\_1860\\_kratkie\\_ocherki\\_russkoj\\_istorii.shtml](http://az.lib.ru/i/ilowajskij_d_i/text_1860_kratkie_ocherki_russkoj_istorii.shtml) (Дата обращения: 16.12.2017).

Кайданов: *Кайданов И.* Начертание истории государства Российского. СПб., 1829.

Кареев: *Кареев Н.* О школьном преподавании истории. Пг., 1917.

Ключевский: *Ключевский В.* Краткое пособие по русской истории. М., 1906. Изд. 5-е.

Мельгунов и др.: Рассказы по русской истории: Общеизвестная хрестоматия с рисунками / Сост. кружком преподавательниц под ред. С. Мельгунова и В. Петрушевского. М., 1909.

Осповат, Рогинский: *Осповат А., Рогинский А.* Историческая проза и государственный миф // Старые годы: Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века. М., 1989.

Панкратова: *Базилевич К., Бахрушин С., Панкратова А., Фохт А.* История СССР: Учебник для IX класса средней школы / Под ред. проф. А. Панкратовой. Утв. Наркомпросом РСФСР. М., 1940.

Петр: Петр Великий: pro et contra: Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 2001.

Платонов: *Платонов С.* Учебник русской истории для средней школы. Курс систематический: В 2 ч. СПб., 1910. Изд. 2-е.

Погодин 1835: *Погодин М.* Начертание русской истории для училищ. М., 1835.

Погодин 1837: *Погодин М.* Начертание русской истории: Для гимназий. М., 1837. Изд. 2-е, испр. и умнож.

Погосян: *Погосян Е.* Петр I — архитектор российской истории. СПб., 2001.

Поникарова: *Поникарова Н.* Министерство народного просвещения и школьное образование по русской истории (1864–1917) / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. М., 2005.

Программа: Примерные программы и объяснительные записки, изданные по распоряжению Г. Министра Народного Просвещения. Пг., 1915 (приложение к ЖМНП. Ноябрь и декабрь).

Рождественский: Отечественная история в связи со всеобщей (среднею и новою): Курс средних учебных заведений / Сост. С. Рождественский. СПб., 1878. Изд. 5-е.

Сарнов: *Сарнов Б.* Сталин и писатели. Книга вторая. М., 2008.

Соловьев: *Соловьев С.* Учебная книга русской истории // Соловьев С. Сочинения: В 18 кн. М., 1999. Кн. 18.

Устрялов: *Устрялов Н.* Начертание русской истории для средних учебных заведений. СПб., 1857. Изд. 10-е.

Шапарина: *Шапарина О.* Историческое образование в русских гимназиях в начале XX века. 1901 – февраль 1917 гг. (На материалах Московского Учебного округа) / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. М., 2004.

Шишко 1906: *Шишко Л.* Популярная история России: В 3 ч. СПб., 1906. Ч. II.

Шишко 1917: *Шишко Л.* Рассказы из истории России: В 3 ч. Одесса, 1917. Изд. 2-е.

Эйдельман: *Эйдельман Н.* Розыскное дело // Наука и жизнь. 1971. № 9.

Повайскис: *Wene riigi ajalugu. Wene riigi alustusest kuni Aleksander III: Koolile ja kodule* Повайскис järele / *Wene keelest P. Koit, kihelkonna kooliõpetaja Wäike-Maarjast. Rakweres, 1890.*

## КОНСТРУИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЬНОЙ ИСТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ НАЧАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ В ЭСТОНСКИХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ 1920–1930-х гг.)<sup>1</sup>

ТИМУР ГУЗАИРОВ

Великая Северная война является важным событием и в русской, и в эстонской истории: для одной стороны она входит в национальный пантеон славы и символизирует рождение Российской империи; для другой это было временем тяжелейших народных испытаний и страданий (чума, голод, разрушения, принесенные войной).

Начало войны, как известно, было неудачным, и, тем не менее, поражение под Нарвой неизменно трактовалось в русской историографии как великий урок, благодаря которому, используя слова С. М. Соловьева о первом поражении Петра под Азовом, и «произошло явление великого человека». В этом же ключе события под Нарвой освещались и в российских дореволюционных школьных учебниках. Как же трактовалось это событие в учебниках молодой Эстонской Республики, столь недавно получившей возможность формировать свой исторический канон, независимый от имперского?<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Статья написана в рамках проекта IUT34-30 Tõlkeideoloogia ja ideoloogia tõlkimine: kultuuri-dünaamika mehhanismid Eestis vene ja nõukogude võimu tingimustes 19.–20. sajandil / Ideology of Translation and Translation of Ideology: Mechanisms of Cultural Dynamics under the Russian Empire and Soviet Power in Estonia in the 19th – 20th Centuries.

<sup>2</sup> Мы разделяем представления о том, что школьный учебник по истории формирует «воображаемое сообщество», исторически обосновывает его национальную, социальную и политическую идентичность, стремится к идеологическому управлению его «коммуникативной памятью». Как средство трансляции государственной политики в сфере исторического знания школьное пособие может стать инструментом ведения «исторических войн» и быть ориентированным на аргументацию и репрезентацию приоритета ценностей, целей, интересов, идей «своего» коллектива перед «другим(и)». При написании статьи мы ориентировались

До революции (т. е. в период русификации, когда школа была переведена на русский язык преподавания) эстонские школьники изучали историю на русском языке по программам и учебникам, принятым в школах Российской империи. В начале XX в. самыми популярными, рекомендуемыми и переиздававшимися большими тиражами учебниками оставались книги С. Е. Рождественского и Д. И. Иловайского. В «Краткой отечественной истории в рассказах для народных и вообще начальных училищ, с портретами замечательных лиц» Рождественский, говоря о поражении под Нарвой, не называет ни одной причины поражения русской армии и описывает его как результат случайности: Карл XII неожиданно «обратился против русских, которые осаждали в это время город Нарву, и тоже разбил их» [Рождественский 1874: 125]. В книге для народа автор конструирует героический образ Петра и стремится опустить, завуалировать, смягчить «неславные» исторические факты. В гимназическом учебнике «Отечественная история в связи с всеобщей (средней и новой)»<sup>3</sup> Рождественский, однако, упомянул о численном превосходстве русской армии и о том, что она сражалась «под предводительством иноземного полководца, герцога Кроа» [Рождественский 1876: 269] — здесь важно подчеркнуть нейтральный характер изложения, отсутствие оценки действий иностранных офицеров в целом.

Для Иловайского характерен более строгий, ясный и критичный стиль изложения. В «Русской истории. Книге для всех» он уточняет количество русских войск («от 35 до 40 000 человек, большею частью новобранцев»), подчеркивает, что основной причиной поражения являлось отсутствие военного опыта: «Быстрым, неожиданным нападением шведы разбили русских под Нарвой и захватили артиллерию» [Иловайский 1998: 172]. В пособии «Руководство к русской истории. Средний курс» Иловайский указывает еще на одну причину поражения при Нарве — это отсутствие общего, национального чувства и взаимонепонимание между русскими солдатами и иностранными офицерами, «которых Русские не любили и плохо понимали. Главнокомандующим назначен также иностранец, граф

---

на следующие работы: [Ассман; Андерсон; Гудков; Историки; Историческая политика; Ферро; Neumann]. В статье эстонские учебники 1920–1930-х гг. рассматриваются в контексте пособий, изданных в период Российской империи и в первые годы после окончания Второй мировой войны, когда в Эстонии утвердилась советская власть. Избранный подход позволяет, по нашему мнению, отчетливее описать концепцию школьных учебников по истории первой Эстонской Республики.

<sup>3</sup> Первое издание этого учебника Рождественского вышло в 1872 г., двумя годами ранее «Краткой отечественной истории...».



де-Кроа, только что прибывший в Россию и совсем незнакомый с русскими солдатами» [Иловайский 1916: 112].

Важно отметить, что при описании войны Рождественский и Иловайский намекают и на бедственное положение коренных жителей Эстляндии и Лифляндии. В параграфе «Завоевания в Прибалтийском крае» Рождественский сообщает: «За основанием Петербурга последовали завоевания в Прибалтийском крае под предводительством Шереметева, сопровождавшиеся страшным опустошением страны» [Рождественский 1876: 270]. В своем учебнике Иловайский отмечает, что в рассматриваемую эпоху разорение завоеванной территории являлось традиционной тактикой русской армии: «... русские, по старому обычаю, сильно опустошили неприятельские земли» [Иловайский 1998: 174]. Хотя благонамеренные авторы учебников развивают идеи патернализма и консолидации нации вокруг монарха, пишут историю *государства*, а в конкретном случае повествуют о становлении Российской империи, но все же они пытаются кратко и как бы мимоходом сообщить отдельные «негероические» факты и создать более объективную историческую картину. Однако приводимые в тексте «неславные» эпизоды всегда уравниваются и не противоречат общему про-имперскому изложению<sup>4</sup>.

С обретением государственной независимости в Эстонии изменилось отношение к историческому прошлому и, в частности, трактовка петровского сюжета. В Таллинне Петровская площадь была переименована в площадь Свободы, 1 мая 1922 г. был демонтирован памятник Петру I. Отпиленный от памятника бюст царя был установлен перед Домиком Петра<sup>5</sup> в Кадриорге. Оставшаяся бронза была использована для выплавки медалей школьникам, которые участвовали в Освободительной войне.

Началась и ревизия исторического канона, но она касалась, в основном, роли исторических событий в судьбе эстонского народа, чему имперский канон внимания, как правило, не уделял. В 1920–1939 гг. в Эстонии в пособиях по истории интерпретация Северной войны строилась на перекрестке двух противоположных точек зрения. С одной стороны, авторы подчер-

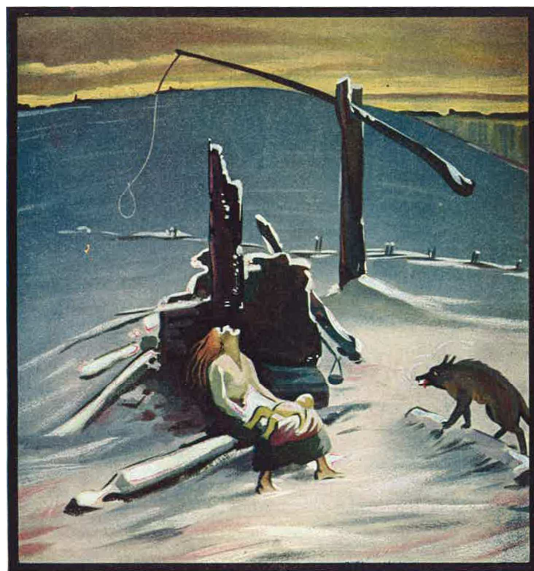
---

<sup>4</sup> Так, Иловайский уделяет особое внимание описанию последующего взятия Нарвы Петром I и представляет царя как защитника местного коренного населения: «В следующем 1704 году русские взяли приступом и Нарву, под которой потерпели поражение. Разгоряченные храбрым сопротивлением, солдаты предались грабежу и убийствам в завоеванном городе. Царь и его генералы с трудом остановили их. Вошед после того в дом бургомистра, Петр бросил на стол свою окровавленную шпагу и сказал: “Не бойтесь, это не шведская, а русская кровь, пролитая для вашей защиты”» [Иловайский 1998: 173–174].

<sup>5</sup> Этот бюст был утрачен во время Второй мировой войны.

кивали общепризнанный в историографии факт, что для России военная победа и выход к Балтийскому морю были важным геополитическим и историко-культурным прорывом. С другой стороны, русско-шведская война изображалась как национальная катастрофа для эстонского народа (см.: [Kampmann: 134–136; Kruus: 7–10; Макаровский: 213–217; Adamson 1936: 3–5; Asson: 185–189; Adamson 1938: 87; Adamson 1939b: 3–8; Konks: 135–136]).

В гимназическом учебнике Й. Адамсона 1936 г. “Eesti ajalugu III. Gümnaasiumi IV klassi kursus (10. õppeaasta)” рассказ о Северной войне сопровождался рисунками. Одна из иллюстраций называлась “Orjaks Venesse. Vene rüüstesalgad viivad inimesi kaasa Põhjasõja ajal” («Рабом в Россию. Отряды русских грабителей уводят с собой людей во время Северной войны») [Adamson 1936: 4]. В 1939 г. вышло новое издание учебника Адамсона для шестых классов начальной школы “Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga. Kodanikuõpetus”. На титульном листе была напечатана репродукция картины эстонского художника А. Каримо «Северная война» (см. иллюстрацию), которая изображает трагические последствия войны для эстонского народа; именно этой темой открывается учебник (см.: [Adamson 1939b: 1–8]). При изображении Северной войны акцент делается на страданиях эстонцев и на их неприязни к врагам<sup>6</sup>.



<sup>6</sup> Заметим, что образ эстонцев как жертвы был вообще основным при рассказе об эстонско-русских взаимоотношениях в школьных учебниках.

Рассмотрим один из эпизодов Северной войны, который может в зависимости от идеологической позиции расцениваться по-разному. В российской историографии битва при Эраствере (Эрестфере) трактовалась как русская победа. Основатель эстонской профессиональной исторической науки профессор Арно Рафаэль Седерберг, который в 1920-е гг. был главным публикатором архивных материалов, освещавших военную и политическую историю балтийских губерний Российской империи в «Историческом журнале» / «Ajalooline Ajakiri», трактовал этот эпизод иначе<sup>7</sup>. По мнению Седерберга (шведа по происхождению), несмотря на то, что шведские войска впервые потерпели поражение, их сильное сопротивление заставило напуганных русских вернуться домой и отказаться от наступления на Тарту (см.: [Cederberg: 66–69]).

Упоминание о сражении при Эраствере (Эрестфере) вошло в эстонские школьные учебники по истории лишь в конце 1930-х гг. В 1939 г. преподаватель Тартуского университета и учитель двух тартуских гимназий Йоханнес Адамсон выпустил очередное издание своего учебника для пятого класса «Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga»<sup>8</sup>, в котором битва при Эраствере описывалась в параграфе «Vene väed tungivad meie maale» («Русские войска вторгаются на нашу землю»):

Eesti talupojad kaitsesid endid Vene röövsalkade vastu kuidas mõistsid. Nad asutasid sissisalku, tungisid öösiti vaenlaste kallale ja vabastasid süütud vangid. Maa kaitsesks siia jäetud Rootsi nõrkadest väesalkadest polnud suurt abi. Nad purustati kahel korral, Erastveres ja Hummuli mõisa all [Adamson 1939a: 186].

Пер.: Эстонские крестьяне защищались от российских разбойничьих отрядов, как только могли. Они образовывали партизанские отряды, нападали по ночам на врагов и освобождали невинных пленных. От оставленных для защиты страны слабых шведских военных отрядов не было большой помощи. Они были разбиты дважды, при Эраствере и при поместье Хуммули.

В отличие от профессора Седерберга, Адамсон не интересуется вопросом об «истинном» исходе битвы при Эраствере. Автор учебника выдвигает на

<sup>7</sup> Академическое Историческое общество (Akadeemiline Ajalooselts) начало издавать этот журнал в Тарту в 1922 г., третий раздел в нем был посвящен публикации документов. Во втором номере «Исторического журнала» за 1922 г. была опубликована статья Седерберга «Vene vangide jutustus Erastvere lahingust 30. detsembril 1701» («Рассказ русских пленных о сражении при Эраствере 30 декабря 1701 г.»).

<sup>8</sup> Первое издание этого учебника Адамсона вышло в 1929 г., и тогда он заканчивался на теме «Vene-Liivi sõda ja orduvalitsuse lõpp» («Русско-Ливонская война и конец владычества ордена»). В 1938 г. в 4 классе начальной школы использовался учебник «Jutustusi kodumaajaloost» / «Рассказы об истории родины», в котором битва при Эраствере еще не упоминалась.

первый план героизм и патриотизм эстонского народа, подчеркнув слабость шведов и изобразив русские войска как разбойников и врагов эстонцев.

В изданном в 1939 г. учебнике школьного учителя, впоследствии профессора Тартуского университета Яана Конкса “Eesti ajalugu I” для первого прогимназического класса в повествовании о битве при Эраствере подвиги эстонских партизан не упоминались. Автор рассказывал о подготовке Петром I русских войск к наступлению, констатировал победу фельдмаршала Б. П. Шереметева над шведами. Изложение Конкса лишено оценочных эпитетов и суждений по отношению к двум «чужим» армиям. Вместе с тем, русские войска предстают как завоеватели — “Tunginud meie maale...” («Вторгшиеся на нашу землю...») [Konks: 133]. И все же импульс профессора Седерберга пересмотреть итоги сражения при Эраствере в пользу шведов не получил развития у авторов школьных учебников.

Одновременно авторы эстонских учебников развивали на материале Нарвского сражения 1700 г. и — отчасти — битвы при Эраствере концепцию национальной истории, основанную на акцентировании роли народных героев — эстонских крестьян. Описанию Нарвского сражения 1700 г. в учебниках предшествует упоминание о столкновении армии Карла XII с шеститысячным русским войском. Впервые в учебнике Рейманна, изданном в 1920 г., затем и в пособиях других авторов (Кампманна, Конкса, Адамсона) решающая роль в победе шведов над войском Шереметева приписывалась полубогатырному эстонскому крестьянину Тэхвану Раабэ, который провел шведские войска в русский тыл (ср.: [Reimann: 99; Kampmann: 128; Adamson 1938: 84; Adamson 1939a: 184; Konks: 131]). В учебниках Адамсона был даже опубликован портрет Тэхвана Раабэ.

Для сравнения обратимся к учебникам по истории, изданным в период Эстонской Республики для русских школ. В 1926 г. под редакцией А. Пэрка был опубликован учебник А. Николаева «История эстонского народа в рассказах и очерках для школ с русским языком преподавания». Глава, посвященная противостоянию Карла XII и Петра I, называется «Великая Северная война и ее виновники». Особенностью нарратива является стремление русского автора смягчить присутствовавший в эстонских учебниках негативный образ русской армии, найти аргументы в оправдание ее действий: «Опустошение вражеской страны было в обычае того времени, так как ослабляло силы противника. Вот почему до Полтавской победы (27 июня 1709 г.) царь Петр довольствовался только разорением ливонского края» [Николаев: 65]. Николаев не характеризует русскую армию как врагов, не упоминает о нападениях эстонских крестьян на отдельные мародерствующие русские отряды. Автор не упоминает Тэхвана Раабэ

и рассказывает о войне, не акцентируя оппозицию «мы» – «они», избегает конфликта «эстонцы – русские».

В 1934 г. русский учитель А. И. Макаровский написал «Учебник истории для IV класса начальных школ Эстии с русским языком обучения». Повествуя о Северной войне, в параграфе «Поражение русских под Нарвой» автор вслед за эстонскими авторами отметил поступок Тэхвана Раабэ, но не разместил его портрета и не упомянул его имени:

На берегу речки Pühajõgi дорогу Карлу преградил передовой отряд русских войск. Победить окопавшихся русских было трудно. Шведам помог один эст: он провел шведский отряд тайными болотными тропинками в тыл русских, и шведы разбили русских. Путь к Нарве был свободен <... > Карл приказал начать приступ и сам пошел во главе солдат. Шведам помогла погода: поднялась снежная метель, причем ветер дул на русских, и снег слепил им глаза. Плохо обученные, недавно взятые на войну, русские солдаты растерялись, смешались и побежали. <... > Повсюду в Европе удивлялись блестящим победам молодого шведского короля [Макаровский: 209].

Если Конкс остановился на отъезде Петра I из армии после поражения при Пюхайыги/Pühajõgi [Konks: 131], то Макаровский опустил этот факт. Стечение случайных неблагоприятных обстоятельств и поступок эстонского крестьянина признаются главными причинами, предопределившими Нарвское поражение, а слабая воинская подготовка русских войск занимает последнее по значимости место среди факторов поражения. При описании начала сражения автор опускает приводившиеся в эстонских учебниках слова шведского короля “Jumal on meiega!” («С нами Бог!») [Adamson 1939a: 185] или “Jumala abiga!” («С Божьей помощью!») [Konks: 131]; и в результате поднявшийся во время сражения ветер, благоприятный для шведов, утрачивает сюжетную функцию символа божественной помощи<sup>9</sup>. Говоря о репутации монархов после Нарвского сражения, Макаровский, в отличие от Адамсона, не упоминает ни о карикатурах на Петра I, ни о том, что “rootslaste võidus nähti Euroopas mitmel pool Jumala enda kätt” («... во многих местах в Европе в победе шведов видели руку Божию») [Adamson 1939a: 186]. В отличие от интерпретации авторов эстонских учебников, Макаровский сохраняет репутацию Петра I и не мифологизирует по-

<sup>9</sup> Ср. с описанием Конкса: “Lahinguüüdega “Jumala abiga!” algas rünnak. Seni oli ilm olnud vaikne ja koguni selge. Siis aga algas tugev lume-, vihma- ja rahesadu, mis oli rootslastele selja tagant, venelastele aga otse vastu” («Боевым кличем “С Божьей помощью!” началась атака. До этого погода была спокойная и даже ясная. Теперь же начался сильный снег, дождь, град, который бил шведам в спину, а русским — в лицо») [Konks: 131].

беду Карла XII, т. е. она не описывается как результат покровительства или отклик божественной силы на молитву шведского короля.

В июне 1940 г. Эстония была аннексирована СССР, но полноценный переход к советской школьной системе в ЭССР начался после окончания Второй мировой войны. Советские методические пособия и учебники, которые использовались в советской русской школе, были быстро переведены и изданы на эстонском языке. Первые сведения об истории Северной войны эстонские ученики получали в 4–5 классах по учебнику «История СССР» под редакцией А. В. Шестакова (в русской школе учебник предназначался для 3–4 классов; первое издание на русском языке вышло в 1937 г.). Это пособие было переведено на эстонский язык и опубликовано в 1946 г. Ученики основной русской и эстонской школ ЭССР также получали сведения о петровском времени в контексте мировой истории по учебнику А. И. Ефимова «Новое время. Первая часть. Учебник для VIII классов». Эстонский перевод этого учебника появился в 1951 г. Углубленно изучали петровскую эпоху в 9 классе по учебнику «История СССР» под редакцией академика А. М. Панкратовой<sup>10</sup>. После XX съезда КПСС историю России по-прежнему изучали по учебникам Панкратовой, но из них были удалены цитаты из Сталина.

Рассмотрим теперь вопрос о месте петровского сюжета в советской образовательной программе для эстонских школ. Согласно двум школьным программам по истории СССР для средней эстонской школы, теме образования Российской империи при Петре I уделялось от 10 (в программе на 1953/1954 гг.) до 12 (в программе на 1956/1957 гг.) часов. В результате сравнения количества часов можно отметить, что в программе 1953/54 гг. петровская тема входила во вторую по идеологической значимости группу, к которой принадлежали такие темы, как Гражданская война и Великая Отечественная война (ср.: [Õрреprogramm 1949; Õрреprogramm 1954; Õрреprogramm 1956]).

Главными особенностями советской трактовки были, во-первых, акцентирование экономической, политической и военно-технической отсталости России и «опасности отставания для независимости государства», во-вторых, подробное изучение народных восстаний и их подавления, в-третьих, изучение высказываний Маркса, Ленина, Сталина и их оценки деятельности Петра I<sup>11</sup> (ср.: [Õрреprogramm 1949: 17; Программа: 11]).

---

<sup>10</sup> Первое издание этого учебника на эстонском языке вышло еще в 1941 г.

<sup>11</sup> См. пособие В. Г. Карцова «Очерки методики обучения истории СССР в VIII–X классах» (1952), которое было издано на эстонском языке в 1953 г. Карцов, ссылаясь на замеча-

Одной из идеологически существенных задач при изображении петровской эпохи было обоснование новой и жесткой политики царя в связи с общей отсталостью России<sup>12</sup>. В школьных учебниках контекст, в котором возникает тема «отсталости», был различный. В учебнике для начальной школы под редакцией Шестакова в качестве причины петровской политики называется культурное отставание России. Неслучайно имя Петра I впервые вводится в параграфе «Культура в России в XVII веке», в разделе «Нравы и обычаи» [Шестаков: 58–59]. Для учеников 9 класса основной школы акцент был смещен уже в сторону внешнеполитических причин. В учебнике под редакцией Панкратовой изображается картина потенциальной внешней опасности со стороны «чужих» европейцев:

...стала сказываться отсталость России <...> крайне неблагоприятными внешне-политическими условиями <...> нападали чужеземцы <...> интервенция <...> Оборона страны не была достаточно обеспечена. <...>. Отсталость <...> представляла большую опасность. <...> Отсталостью России пользовались соседние европейские державы, стремившиеся захватить русские земли [Панкратова: 3–5].

При рассказе об отсталости России, таким образом, конструировалось представление о неизбежности войны с врагами и скрыто вводилась тема

ние Сталина, предупреждал о недопустимости проводить на уроке сравнение между Петром I и Лениным. Согласно учебному плану, в начальной школе петровской теме отводилось два урока: первый посвящался началу Северной войны и основанию Петербурга, второй — Полтавской битве. Ученик должен был выучить наизусть стихотворение «Полтавский бой» (отрывок из поэмы Пушкина «Полтава») и выполнить ряд заданий по тексту. По рекомендации Карцева, «Полтава» должна служить также дополнительным материалом к учебнику по истории и в основной школе. Перед учеником 9 класса ставилась задача сравнить образы Петра I и Карла XII в поэме. Эта работа была направлена на закрепление представления о Петре Великом как герое и о славе русского оружия (см.: [Карцов: 32, 48, 74, 87]. Отметим, что в хрестоматию 1946 г. входило «Вступление» из поэмы «Медный всадник» (в переводе Бетти Альвер), а из хрестоматии 1956 г. этот текст исчез. Вместо него было введено другое пушкинское стихотворение — «Клеветникам России»/«*Venemaa laimajale*» (ср.: [Lugemik 1946; Lugemik 1956]).

<sup>12</sup> Знакомство, преимущественно, русскоязычного населения Эстонии с советской исторической концепцией и героическим образом Петра I началось уже в 1930-е гг. благодаря популярному роману А. Н. Толстого «Петр Первый» (в 1934 г. отдельные главы произведения читались в литературном кружке общества «Святогор», публиковались в газете «Русское слово» и т. д. — см., напр.: [Хроника: 155]). В 1938 г. фильм «Петр I» режиссера В. Петрова шел в эстонских кинотеатрах, хотя киноцензура сначала не хотела допустить его к прокату [Там же: 431, 432]. Отметим, что эстонцы также имели возможность читать роман Толстого: в 1948 г. вышел перевод первой книги, а в 1949 г. — второй и третьей книг романа. Переводчиком романа на эстонский язык был писатель Ф. Туглас (о поэтике перевода этого произведения на эстонский язык см. статью А. Пильд в настоящей сборнике).

«агрессии как защиты». Наряду с традиционной интерпретацией Северной войны как механизма преобразования средневековой и строительства новой России, в советском учебнике необходимость войны и имперского вектора государственного развития оправдывались также угрозой со стороны внешних врагов. В учебнике под редакцией Панкратовой в качестве предпосылок поражения под Нарвой выступали неудовлетворительное обеспечение армии и отсутствие во время сражения Петра I:

Осада Нарвы сразу показала недостатки в организации и снабжении русских. <...> повозки с боевыми припасами отставали от армии. <...> Солдаты голодали и страдали в окопах от холода и дождей. <...> Петр уехал из армии <...> На следующий день после его отъезда шведские войска появились перед русским лагерем. <...> Иностранцы офицеры, командовавшие русскими частями, изменили и перешли к шведам [Там же: 12].

Панкратова подчеркивает тему предательства иностранных офицеров, служивших в русской армии. В пособиях, изданных в Эстонии в 1930-е гг., этот факт не упоминался (ср.: [Kampmann: 129; Макаровский: 209]). Разумеется, в советском школьном рассказе о нарвских событиях 1700 г. отсутствовал сюжет об эстонском крестьянине Тэхване Раабэ и о поражении отряда Шереметева при Пюхайги.

Конструирование героической версии истории не исключает рассказа о поражении, если оно оказывается началом будущей победной истории. В этом случае включение таких «неславных» фактов не демифологизирует государственный нарратив, а, наоборот, развивает национальный миф на новом уровне, поэтому в русских учебниках и рассказывается подробно о Нарвской битве 1700 г.<sup>13</sup>

Авторы эстонских учебников периода независимости были нацелены на создание своего национального исторического нарратива и искали в прошлом своих национальных героев. Символы бывшей метрополии (Петр I, русская армия) изображаются однозначно отрицательно, иногда применительно к ним используется определение “*vaenlased*” — враги (см., например: [Reimann: 99]). Авторы акцентируют разрыв с «чужим» государством, описывают эстонцев как жертв военного насилия, стремятся разглядеть в разных фактах проявление национальной идеи об освободительной

---

<sup>13</sup> Полагаем, что о предшествующем поражении Шереметева при Пюхайги не упоминается из-за недостатка места. Поскольку объем учебника по определению ограничен, внимание уделяется более масштабным событиям.



войне<sup>14</sup>. Поэтому закономерным является появление сведений об организованном нападении эстонских крестьянских отрядов на русских солдат, разорвавших эстонские деревни. Общая нарративная стратегия нацелена на то, чтобы представить эстонский народ как активного участника крупного исторического события XVIII века — войны между Швецией и Россией. В этом контексте авторы не случайно обращают особое внимание на локальные сражения: битва при Пюхайыги оказывается выгодным материалом, чтобы вывести на первый план эстонского крестьянина Тэхвана Раабэ и создать миф о национальном герое. Эти «локальные» факты российская и советская школьные истории игнорировали.

## Литература

Андерсон: *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.

Ассман: *Ассман Я.* Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.

Гудков: *Гудков А.* Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 гг. М., 2004.

Иловайский 1916: *Иловайский Д. И.* Руководство к русской истории. Средний курс. М., 1916. Изд. 44-е.

Иловайский 1998: *Иловайский Д. И.* Русская история для всех. М., 1998.

Историки: *Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова.* М., 2002.

Историческая политика: *Историческая политика в XXI веке / Под ред. А. Миллера, М. Липмана.* М., 2012.

Карцов: *Карцов В. Г.* Очерки методики обучения истории СССР в VIII–X классах. М., 1952.

Макаровский: *Макаровский А.* Учебник истории для IV класса начальных школ Эстии с русским языком обучения. Таллинн, 1934.

Николаев: *Николаев А.* История эстонского народа в рассказах и очерках для школ с русским языком обучения / Под ред. А. Пэрка. Таллинн, 1926.

Панкратова: *История СССР. Учебник для 9 класса средней школы / Под ред. проф. А. М. Панкратовой.* М., 1953. Изд. 12-е.

<sup>14</sup> Термин «Освободительная война» *de jure* относится к событиям 1918–1920 гг., которые закончились подписанием Тартуского мирного договора и ознаменовались утверждением первой Эстонской Республики. В эстонских учебниках по истории, изданных до аннексии Эстонии в июне 1940 г., появляется понятие «Древняя освободительная война», под которой подразумеваются события 1208–1227 гг. В учебнике 1929 г. Й. Адамсон прямо назвал эту эпоху «Eestlaste vabadussõda» («Освободительная война эстонцев») [Adamson 1929: 129].

Программа: Попечитель Рижского учебного округа. Временные программы для испытаний на звание учителя (и учительницы) высшего начального училища. <Рига>, 1913.

Рождественский 1874: *Рождественский С.* Краткая отечественная история в рассказах для народных и вообще начальных училищ, с портретами замечательных лиц. СПб., 1874.

Рождественский 1876: *Рождественский С.* Отечественная история в связи с всеобщей (среднею и новою): Курс средних учебных заведений: С прил. хронолог. табл. СПб., 1876. Изд. 4-е.

Ферро: *Ферро М.* Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 2010.

Хроника: Хроника русской культурной и общественной жизни в Эстонии (1918–1940). Из истории русского зарубежья: В 2 т. / Сост. С. Исаков, Т. Шор, Т. Гузаиров. Таллинн, 2016–2017. Т. II: 1932–1940.

Шестаков: История СССР. Краткий курс. Учебник для 3-го и 4-го классов / Под ред. А. В. Шестакова. М., 1941.

Adamson 1929: *Adamson, J.* Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga. Algkooli V õppeaasta. Tartu, 1929.

Adamson 1936: *Adamson, J.* Eesti ajalugu III. Gümnaasiumi IV klassi kursus (10. õppeaasta). K./Ü. "Loodus". 1936.

Adamson 1938: *Adamson, J.* Jutustusi kodumaa ajaloost. Algkooli IV õppeaasta. Tallinn, 1938. IX trükk.

Adamson 1939a: *Adamson, J.* Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga. Algkooli V õppeaasta. Tartu; Tallinn, 1939.

Adamson 1939b: *Adamson, J.* Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga. Algkooli VI õppeaastale. X trükk. Tartu; Tallinn, 1939.

Asson: *Asson, E.* Üldine ajalugu ühes Eesti ajalooga. Uus aeg. Keskkooli III kl. kursus, VII õppeaasta. Tartu, 1936.

Cederberg: *Cederberg, A. R.* Vene vangide jutustus Erastvere lahingust 30. detsembril 1701 // Ajalooline Ajakiri. 1922. Nr 2.

Kampmann: *Kampmann, P.* Eesti ajalugu. Piltide kujul algkoolidele kokku seadnud. Tallinn, 1927.

Konks: *Konks, J.* Eesti ajalugu I. Ajaloo õpperaamat progümnaasiumi I klassile. Tartu, 1939. Kolmas trükk.

Kruus: *Kruus, H.* Eesti ajaloo lugemik III. Valitud lugemispalad eesti ajaloo alalt XVIII ja XIX sajandil. Tartu, 1929.

Lugemik 1946: *Sööt, B.; Väinaste, J.* Kirjanduslooline lugemik keskkooli VIII klassile. 1. osa: Vene kirjandus. Tallinn: Pedagoogiline Kirjandus, 1946.

Lugemik 1956: *Brodski, N.; Kubikov, I.* Vene kirjandus. Lugemik VIII klassile. Tallinn, 1956.

Neumann: *Neumann, I. B.* Uses of the Other. "The East" in European Identity Formation. Minnesota, 1998.

Reimann: *Reimann, V.* Eesti ajalugu. Tallinn, 1920.

Õppeprogramm 1949: Õppeprogrammid Eesti NSV õpetajate seminaridele. 1. NSV Liidu Ajalugu. 2. Ajaloo metoodika. Tallinn, 1949.

Õppeprogramm 1954: Seitsmeaastaste koolide ja keskkoolide programmid 1953/54 õppeaastaks. NSV Liidu ajalugu ja Uusaeg. Tallinn, 1954.

Õppeprogramm 1956: Keskkooli programmid 1956/57 õppeaastaks. NSV Liidu ajalugu. Uusaeg. Tallinn, 1956.

## К ИСТОРИИ ОДНОГО АНОНИМНОГО ПЕРЕВОДА: РОМАН А. Н. ТОЛСТОГО «ПЕТР ПЕРВЫЙ» В ХРЕСТОМАТИИ ДЛЯ ЭСТОНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ XI КЛАССА<sup>1</sup>

ЛЕА ПИЛЬД

Вслед за территориальной аннексией независимой Эстонии, осуществленной СССР в июне 1940 г., началась, как хорошо известно, серьезная перестройка системы школьного образования, внедрение в преподавание школьных дисциплин официального идеологического канона. Одну из специфических проблем как для Министерства просвещения ЭССР, так и для образованной в 1947 г. Секции переводчиков при Союзе писателей Эстонии представлял перевод учебных пособий с русского на эстонский язык.

В нашей статье пойдет речь о том историческом периоде, который начался в середине 1947 г. и закончился со смертью Сталина в марте 1953 г. В это время усилились репрессии, направленные против людей искусства — композиторов, художников, писателей, которые были объявлены «буржуазными националистами»<sup>2</sup>, «формалистами» или «космополитами». Как показали историки Андрес Касекамп и Тоомас Карьяхярм [Karjahärm: 142–177], в 1944–1947 гг. советизация жизни в Эстонии проходила в относительно умеренных формах; здесь не проводилась пока коллективизация сельского хозяйства, а политические репрессии были направлены, в первую очередь, против движения сопротивления:

---

<sup>1</sup> Статья написана в рамках институционального гранта IUT34-30 Tõlkeideoloogia ja ideoloogia tõlkimine: kultuuridünaamika mehhanismid Eestis vene ja nõukogude võimu tingimustes 19.–20. sajandil / Ideology of Translation and Translation of Ideology: Mechanisms of Cultural Dynamics under the Russian Empire and Soviet Power in Estonia in the 19th – 20th Centuries.

<sup>2</sup> О феномене «местного национализма» и «эстонском деле» 1949–1952 гг. см.: [Зубкова: 300–320].

Несмотря на мощную волну политических арестов, власти непосредственно после войны, в 1944–1947 гг., были еще относительно терпимы к нормам и обычаям Балтийских государств, так как строительство партийного аппарата и органов безопасности, а также подавление лесных братьев требовало времени. Но уже в 1947–1953 гг. репрессии начались с новой силой, так как целью советской власти была не простая военная оккупация, но полная советизация всех аспектов <...> жизни Балтии [Касекамп: 228].

Начиная с 1947 г., партийные функционеры, контролировавшие сферу образования, стали обращать гораздо больше внимания на политическую лояльность эстонских литераторов, на их деятельность как в период эстонской независимости, так и во время Второй мировой войны.

Объектом пристального внимания Министерства просвещения стали и переводы пособий по русской литературе, авторами которых зачастую были известные эстонские поэты и прозаики<sup>3</sup>. Прежде чем попасть в печать, перевод учебника или хрестоматийного текста проходил обязательное рецензирование. Идеологическому надзору подлежал сам способ перевода, приветствовалась, как и можно предположить, близость к русскоязычному оригиналу, а не отдаление от него. Однако как именно понимать близость к тексту-источнику, местные функционеры осознавали не очень хорошо, тем более, что конкретные инструкции из Москвы по этому вопросу в министерство и в секцию переводчиков в конце 1940-х гг., по-видимому, не поступали<sup>4</sup>.

Переводы учебно-педагогической литературы были, как правило, анонимными, поэтому для определения авторства этих работ необходимо обращаться к архивным материалам, либо идентифицировать переводчиков по более ранним публикациям тех же произведений в периодике или отдельными изданиями. Так, например, нам удалось выяснить, что переводы произведений русских символистов В. Брюсова и А. Блока в «Хрестоматии» А. Дубовикова и Е. Северина для XI класса [Dubovikov, Severin], вышедшей в 1949 г., принадлежали Йоханнесу Семперу, комиссару Народного просвещения в июньском правительстве 1940 г., писателю и переводчику, занимавшему с 1946 г. пост председателя правления Союза писателей ЭССР.

Одновременно с двухтомной «Хрестоматией» был издан переводной учебник «Современная литература для XI класса» [Timofejev], автором

<sup>3</sup> О механизмах советизации перевода в советскую эпоху см., напр.: [Witt; Friedberg]. Об особенностях советизации перевода в Эстонии см.: [Lange, Monticelli; Monticelli; Torop].

<sup>4</sup> Процесс конструирования «советской школы перевода» в конце 1940-х гг. лишь начинался (см. об этом статью С. Витт в настоящем издании).

которого был Л. И. Тимофеев, известный теоретик литературы и блоковед, занимавший с 1941 г. должность заведующего отделом советской литературы в ИМЛИ АН СССР. По этим трем учебным пособиям эстонские учащиеся XI класса должны были знакомиться с современной советской литературой.

В «Хрестоматии» был помещен ряд постановлений коммунистической партии и советского правительства, в частности, «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 1946 г.; речи А. Жданова, М. Горького, А. Н. Толстого и др.; художественные произведения А. Блока, В. Брюсова, В. Маяковского, М. Горького, А. Фадеева, М. Шолохова, А. Н. Толстого и целый ряд других текстов, вошедших в советский литературный канон; биографические данные о современных советских писателях, а также сочинения писателей народов СССР. Во вторую часть «Хрестоматии» вошли интересующие нас переводные отрывки из третьей книги романа А. Н. Толстого «Петр Первый», где шла речь о событиях Северной войны, в частности, о взятии русским царем крепости города Нарва. Повествование об Алексее Толстом и его творчестве в переводном учебнике Тимофеева занимало по количеству страниц следующее место после Горького (см.: [Timofejev: 222–285, 372–388]), а один из разделов был прямо посвящен интерпретации романа.

Учебник и оба тома «Хрестоматии» были сданы в набор в январе 1949 г., однако издание второго тома в издательстве «Педагогическая литература»/“Pedagoogiline Kirjandus” было приостановлено, книгу подписали к печати лишь в августе 1949 г. Причины этого промедления обнаруживаются при обращении к «Протоколам собраний Правления секции переводчиков Союза писателей ЭССР» за 1949 г., которые хранятся в Эстонском национальном архиве [ERA].

В архиве находим письмо, датированное 12 января 1949 г. и адресованное Правлению секции переводчиков Союза писателей ЭССР (председателем правления был писатель Рудольф Сирге). Оно было прислано главным редактором издательства «Педагогическая литература» Густавом Рейалом и содержало просьбу рассмотреть переводы фрагментов из романа А. Н. Толстого «Петр Первый»:

Juuresolevalt esitab RK “Pedagoogiline Kirjandus” läbivaatamiseks Tolstoi “Peeter I” III köite katkendeid, mida kirjastus kasutab Dubovikov-Severini “Kaasaegne kirjandus XI kl”. Haridusministeeriumi poolt on esitatud sm. L. Ojamaa tõlge (käsi-kirjana) ja veergudes on F. Tuglase tõlge, mis ilmub RK “Ilukirjandus ja Kunsti” väljaandel. (Veergudes on korrektuur tegemata). Palume Sektsiooni arvamust nimetatud tõlgete kohta [Там же: 7].

Как следует из письма, один из переводов принадлежал начинающей переводчице Л. Оямаа (Lii Ojamaa), другой — талантливому прозаику, народному писателю ЭССР с 1946 г., бывшему председателю Союза эстонских писателей в независимой Эстонии Фридеберту Тугласу<sup>5</sup>.

Первая книга романа Толстого в переводе Тугласа уже была к этому времени опубликована в издательстве «Художественная литература и искусство»/“Ilukirjandus ja Kunst” [Tolstoi 1948], здесь же готовились к печати вторая и третья книги [Tolstoi 1949]<sup>6</sup>. Как следует из приведенного письма, второй, альтернативный, перевод фрагментов романа для «Хрестоматии» был специально заказан Министерством просвещения Эстонии другому переводчику, так как министерские чиновники не были удовлетворены переводом народного писателя. Последовавшее обсуждение двух переводов в Секции переводчиков и в эпистолярном диалоге Правления Союза писателей Эстонии с Министерством просвещения дают возможность проследить, как формировалась переводческая стратегия художественных текстов с русского на эстонский язык в 1940-е гг., какие институции участвовали в этом процессе, и какие из складывающихся установок закрепились в русско-эстонском художественном переводе советского времени. Уточним, что вопросы, обсуждаемые в переписке эстонских писателей и министерских чиновников в конце 1940-х гг., относятся не только к переводу учебно-педагогической литературы, а, несомненно, и к стратегии эстонского художественного перевода советского времени в целом.

В архиве сохранилась рецензия на перевод Фр. Тугласа. Ее автор — известный эстонский педагог и методист Йоханнес Кяйс<sup>7</sup>, редактор журнала «Советская школа»/“Nõukogude Kool”, который будет скоро обвинен в буржуазно-националистических взглядах в связи с републикацией статей, вышедших первым изданием в период независимой Эстонской Республики [ЕЕ].

Рецензент рассматривает только первую страницу перевода Тугласа, делает выписки, комментирует их и приходит к выводу, что перевод является «неполным» и «неверным» (“tõlge on puudulik ja vigane”) [ЕРА: 13]. Кяйс полагает, что перевод должен быть «точным», т. е. буквальным (в терминологии М. А. Гаспарова Кяйс оказался невольным сторонником «дилетантского буквализма» [Гаспаров]). Ряд примеров, которые приводятся в качестве образцов «ошибочного» перевода, дополнены собственными

<sup>5</sup> Фр. Туглас занимал этот пост в 1922–1923-е, 1925–1927-е, 1929–1930-е и 1937–1939-е гг.

<sup>6</sup> О переводе романа см. нашу статью в настоящем издании.

<sup>7</sup> О педагогической деятельности Й. Кяйса см.: [Käis].

переводами рецензента, где он стремится указать талантливому писателю и тонкому стилисту «правильный подход» к тексту-источнику. «Подход» демонстрирует, что рецензент имеет весьма туманные представления о механизмах перевода; он считает необходимым транскрибировать исторические реалии, передавать дословно лексику, а также калькировать без изменения порядка слов синтаксические конструкции и фразеологические формулы:

<...> люди новые, — те, что по указанию царя Петра: — «знатность по годности считать» — одним талантом своим выбились из курной избы....

tõlge hoopis segane: — uued inimesed, — need, kelle seisust tsaar Peetri otsust mööda “siitpeale oskuse järgi arvestatakse” — kes üksnes oma andekuse varal suitsutarest väljusid, ...

Peaks olema: “... uued inimesed, need, kes tsaar Peetri juhtnöõri kohaselt: “siitpeale arvestada aristokraatlikkust kõlvulisuse järgi” — üksnes oma talendi abil rabelesid suitsutarest välja <...>” [ERA: 13];

ср. также:

Negomorski on lk 1 — “ettevõtja”, lk 2 — “varustaja”. Õigem on podrätsik (подрядчик)

Ja need kõik vead esinevad ühelainsal leheküljel. Põgus vaade edasisele tõlkele näitab, et kogu käsikiri on täis vigu ja ebatäpsusi. Seepärast pean käsikirja vastuvõetamatuks [Там же: 14; подчеркивание принадлежит автору рецензии].

Пер.: И все эти ошибки встречаются на одной единственной странице. Беглый взгляд, брошенный на следующие страницы перевода, показывает, что вся рукопись полна ошибок и неточностей<sup>8</sup>.

«Точность» переводов рецензента грубо нарушает стилистическую структуру самого текста-источника. Кяйс или не видит или намеренно не обращает внимания на то, что и в переводе, и в самом повествовании Толстого присутствует просторечная и разговорная лексика, что текст Толстого ритмизован и насыщен лексическими и морфологическими повторами, сложно инструментован с фоностилистической точки зрения, и что Тутлас, хотя и не полностью, но передает и учитывает целый ряд особенностей оригинала. Скорее всего, рецензент просто выполнял заказ министерства, подразумевавший с самого начала вполне однозначный результат.

Возможно, Кяйс транслировал в своей рецензии конкретную прескриптивную установку эстонского министерства — сохранять в переводе

<sup>8</sup> Перевод с эстонского здесь и далее, а также курсивы в цитатах принадлежат мне. — Л. П.



по возможности все особенности оригинального произведения, максимально приближая школьников к тексту-источнику.

28 января 1949 г. состоялось собрание Правления секции переводчиков Союза писателей ЭССР. Члены правления заранее ознакомились с переводами обоих авторов и единогласно постановили, что заказанный министерством перевод является «сухим», «грубым» и далеким от оригинала Алексея Толстого.

Особое внимание на обсуждении было уделено передаче топонимов и антропонимов в переводе Оямаа. В протоколе говорится:

Ei saa õigeks pidada L. Ojamaa mitte-vene kohanimele tarvitamist vene keeles esineval kujul, näit: Revel pro Tallinn, Jurjev pro Tartu, Vesenberg pro Rakvere, Keksholm pro Käkisalmi, Embachi jõgi pro Emajõgi, Tšudskoje järv pro Peipsi järv. Kuid rööbiti sellega leiab L. Ojamaa võimalikuks anda Ust-Narovsk edasi eesti-päraselt Narva Jõesuu. Kurioosne on Ivan Julma asemele kasutada Ivan Groznõi [ERA: 2].

Пер.: Нельзя считать правильным использование в переводе Л. Оямаа нерусских названий географических объектов, употребленных в русском оригинале, напр.: Ревель про Таллинн, Юрьев про Тарту, Везенберг про Раквере, Кексхольм про Кякисальми, река Эмбах про Эмайыги, Чудское озеро про озеро Пейпси <...> Странно заменять эстонское наименование Ивана Грозного транскрипцией.

Вопрос о транскрипции или собственно переводе географических наименований был, конечно, принципиальным для министерских чиновников, с одной стороны, и для эстонских писателей, — с другой. В переведенных фрагментах романа шла речь о завоевании Петром Первым территории Эстонии. Сохраняя эстонские названия географических объектов, переводчик вольно или невольно наводил эстонского школьника на мысль о насильственном присоединении здешних территорий. Ср. в переводе Тулгаса:

“Ja samuti saadan ma traguneid Tallinna teele <...>”; “Meie vabatahtlikud tunginud otse Narva väravate ette, võtsid öösel kinni Tallinna kuberneri saadiku <...>” [Dubovikov, Severin: 43];

Ning oli ilma sõnadetagi selge, et Schlippenbachi korpuse Narva laskmine tähendas loobumist peakindluste Narva ja Tartu omandamisest <...> [Там же: 44].

Ср. у Толстого:

А также посылаю драгун по *ревельской* дороге <...>; Охотники наши, подобравшись к самым воротам Нарвы, ночью захватили посланца от ревельского губернатора к нарвскому коменданту Горну <...> [Толстой: 475];

И без слов было понятно, что пропустить корпус Шлиппенбаха в Нарву — значило отказаться от овладения главными крепостями — Нарвой и Юрьевом <...> [Толстой: 475].

Возможно, именно поэтому министерство настаивало на транскрипции, т. е. приближении перевода к исходному тексту. Наименования географических объектов, как и имена исторических деятелей, с точки зрения министерства, подлежали транскрипции (точному воспроизведению звуковой формы слова), этот принцип требовал унификации и распространялся, по словам министра, также на переводные учебники истории. Министр просвещения Арнольд Рауд в письме от 8 февраля 1949 г. к Правлению Союза писателей Эстонии указывал на конкретные идеологические нюансы «неверного» перевода имен российских исторических деятелей:

Nähtavasti ei ole Teie vaevaks võtnud oma väljendust kontrollida ajalooõpikute (Šestakov, Pankratova)<sup>9</sup> järgi ja ei tea seda, et hüüdnimi “Groznoi” ei ole tõlgitav, samuti kui näiteks Ivan Kalita, Juri Dolgoruki jt. “Groznoi” ebaõiges tõlkimises “Julmana” (julm=жестокий) tuleb näha kodanlusaegsete ajaloolaste ja kirjanike tendentsi halvustada Ivan IV tegevust. See lubamatu viga mõjuks õpilastesse desorienteeruvalt [ERA: 12].

Пер.: Вероятно, Вы не удосужились сверить свое выражение с учебниками истории (Шестаков, Панкратова) и не знаете, что прозвище «Грозный» непереводимо, как, например, Иван Калита, Юрий Долгорукий и др. В ошибочном переводе «Грозный» как «Жестокий» (julm=жестокий) следует усматривать тенденцию, порочащую деятельность Ивана IV и характеризующую историков, а также писателей буржуазного времени. Эта недопустимая ошибка дезориентировала бы учеников.

Из приведенного фрагмента письма министра становится ясно, что переводчика, неугодного министерству, пытались обвинить в буржуазно-националистических взглядах.

Второе принципиальное возражение Правления секции переводчиков министерству касалось общего отношения переводчика к языку и стилю романа Толстого. Перевод Тугласа признавался более профессиональным, чем перевод Оямаа, так как в нем сохранялось своеобразие исходного тек-

---

<sup>9</sup> Подразумеваются переводные учебники по истории СССР, изданные под редакцией А. В. Шестакова (впервые на эстонском языке учебник вышел в 1940 г.: Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu ajalugu / Toim. A. Šestakov. Tallinn. Pedagoogiline Kirjandus) и А. М. Панкратовой (первое издание на эстонском языке вышло в том же году: NSVL ajalugu. A. Pankratova toimetusel. Tallinn. Pedagoogiline Kirjandus, 1940).

ста и, кроме того, перевод характеризовался как удобочитаемый и «более народный»:

Sisuliselt on mõlemad tõlked õiged, kuid sel ajal, kui Tuglase tõlkes on säilitatud kirjanduslik stiil, teose keele arhailisus ja autori omapära, L. Ojamaa tõlkes on teose sisu antud edasi täpselt sõnasõnalt, arvestamata seejuures eesti keele sõnavara, ning autori omapärane mahlakas keel ja väljendusvormid on täiesti kaduma läinud, kõnesolevale teosele omane keele arhailisus on asendatud moodsa sõnavaraga, tõlge on puine ja raskesti loetav [ERA: 1].

Пер.: По содержанию оба перевода верны, но в то время как в переводе Тугласа сохраняются литературный стиль, архаизированность языка и своеобразие манеры автора, то в переводе Л. Оямаа содержание произведения передано буквально, слово в слово, без учета лексического запаса эстонского языка, а сочный, своеобразный язык автора, присущий ему стиль, бесследно исчезли; характеризующая данное произведение архаичность языка заменена современной лексикой, перевод — негибкий, неудобочитаемый.

Оба отмеченных критерия («народность» языка и удобочитаемость переводного текста) свидетельствуют о том, что секция переводчиков считала приоритетным текст перевода. Текст должен быть понятным, в первую очередь, его читателям — эстонским школьникам 11-го класса.

Так, в выступлении председателя секции, прозаика Рудольфа Сирге, вновь вернувшегося к вопросу о переводе эстонских топонимов, особо выделена мысль о языке переводной хрестоматии по современной советской литературе:

Mis puutub kohanimede kirjutamise, siis teose katkendis, mis on määratud eesti keele lugemiku jaoks ja puudutab eesti olusid, ei sobi niisugused nimetused nagu “Tšudskoje järv”, “Embachi jõgi” jne. [Там же: 3]

Пер.: Что касается написания географических наименований, то для отрывка, который предназначен для эстоноязычной хрестоматии, и где идет речь об эстонских местных условиях, не подходят такие <транскрибированные> названия, как «Чудское озеро», «река Эмба» и т. д.

Несмотря на то, что министр просвещения Рауд выразил несогласие с позицией секции переводчиков и правлением Союза эстонских писателей, в «Хрестоматии» 1949 г. был опубликован перевод Фр. Тугласа, а не Л. Оямаа. Как показывает проведенное нами сопоставление текстов отдельного издания романа «Петр Первый» и фрагментов из школьной «Хрестоматии», текст последней почти ничем не отличается от текста книги, в переводе сохранены эстонские названия географических объектов (правда, имя Ивана Грозного все же транскрибировано, а не переведе-

но). В письме председателя секции переводчиков от 12 марта 1949 г., адресованном Министерству просвещения, утверждается, что правление секции остается при своем мнении, считая приоритетной литературную ценность перевода:

Vastuseks Teie kirjale Nr. 150-4, 8.II 49 A. Tolstoi "Peeter Esimese" tõlke asjus teatab ENKL Tõlkijate sektsiooni juhatus, et ta ei ole tõlgete hindamisel silmas pidanud kaalutlust, kas tõlkija kuulub sektsiooni liikmete hulka, või mitte, vaid on lähtunud ainult tõlke kirjanduslikust väärtusest, ses suhtes aga jääb sektsiooni juhatus Teie vastuväidetele vaatamata oma endiste seisukohtade juurde ja peab edaspidiseid vaidlusi ülearuseks. Tõlkijate sektsiooni esimees [ERA: 25];

Пер.: В ответ на Ваше письмо № 150-4 от 8 февраля 1949 г. по вопросам перевода «Петра Первого» А. Толстого Правление секции переводчиков Союза писателей ЭССР сообщает, что при оценке переводов Правление не учитывало, являются ли переводчики членами секции. Правление руководствовалось критерием литературной ценности перевода, и в этом вопросе, несмотря на Ваши возражения, Правление остается при своем прежнем мнении, считая дальнейшие споры излишними.

В архиве находим также связанный с интересующей нас проблематикой ответ Рудольфа Сирге на запрос издательства «Педагогическая литература», как следует переводить на эстонский язык словосочетание «художественная литература», дословно или в соответствии со сложившейся в эстонской литературной культуре традицией.

Особенности перевода формулы «художественная литература» в ответе председателя секции от 12 марта 1949 г. были определены с использованием риторики дискурса о «формализме»<sup>10</sup>, а также известного сталинского высказывания, определяющего социалистическую культуру:

Vastuseks Teie kirjale Nr. 223, 19.II. 49 teatab ENKL Tõlkijate sektsiooni juhatus, et senini tarvitusel olnud sõnal "ilukirjandus" on täiesti väljakujunenud, selge tähendus. Asendada see sõnaga "kunstiline kirjandus" on küsimusele vormalise lähene-mise katse, mis ei vasta nõukogulikule vaimulaadile ega ole ka õigustatud sisult sotsialistliku, vormilt rahvusliku printsiibi kohaselt [Там же: 26].

Пер.: В ответ на Ваше письмо № 223 от 19 февраля 1949 г. правление секции переводчиков Союза писателей ЭССР сообщает, что слово "ilukirjandus"<sup>11</sup>, находившееся до сих пор в употреблении, имеет полностью сформировавшееся,

<sup>10</sup> Дискурс о «формализме» начал складываться в советской официальной и публицистической риторике еще в 1930-е гг. и получил широкое распространение во второй половине 1940-х гг. в связи с кампаниями против «формализма» и «космополитизма» [Витт]. См. об этом также в ее статье, опубликованной в настоящем издании.

<sup>11</sup> Ilukirjandus — изящная литература.

ясное значение. Заменить его словосочетанием *kunstiline kirjandus*<sup>12</sup> — это попытка формального подхода к вопросу, она не соответствует советскому духовному складу и не является оправданной с точки зрения социалистического по содержанию и национального по форме принципа.

Таким образом, дискуссия о «точном» и «вольном» переводе, завязавшаяся между Союзом писателей и Министерством просвещения в конце 1940-х гг., дошла до опасной черты: председатель секции переводчиков прямо намекал, что министерство, настаивающее на дословном переводе не только отдельных выражений, но и всего текста, могло получить со стороны высших партийных властей обвинение в «формализме» и несоответствии основным принципам социалистической по содержанию и национальной по форме культуры сталинской эпохи<sup>13</sup>.

Изложенное выше позволяет прийти к следующим выводам:

Во-первых, позицию Министерства просвещения по вопросам репрезентации эстоноязычной версии романа Толстого «Петр Первый» в школьной хрестоматии можно рассматривать как начало репрессий, направленных против прозаика Фр. Тугласа, которому в 1950 г. на VIII, мартовском пленуме Эстонской компартии будет предъявлено обвинение в «буржуазном национализме»; решением пленума его исключат из Союза писателей и лишат звания народного писателя ЭССР; его оригинальные сочинения будут находиться под запретом до 1954 г., а его фамилия как переводчика будет тщательно закрашиваться в печатных изданиях черной тушью (см.: [Olesk; Karjahärm]).

<sup>12</sup> *Kunstiline kirjandus* — художественная литература.

<sup>13</sup> О том, что мера «точности» в художественном переводе с русского языка стала в конце 1940-х гг. предметом особой (внутренней) дискуссии в секции переводчиков, свидетельствует письмо известной переводчицы художественной литературы с английского и русского языков Марты Силлаотс. Она обратилась в правление секции и предложила «во избежание ненужных споров» обсудить книгу А. В. Федорова «О художественном переводе», вышедшую в Ленинграде в 1941 г. Привожу текст письма от 5 февраля 1949 г.: «Tõlkesektsiooni juhatusele. Et vältida asjatuid vaidlusi puhtkutsealaste küsimuste üle, soovitan korraldada paar loengut A. Fedorovi teose "O hudozhestvennom perevode" tutvustamiseks neile tõlkijatele, kes selle teosega ei ole veel tutvunud. Raamat on saadaval Avalikust Riiklikust Raamatukogust. Lugupidamisega, M. Sillaots» [ERA: 10]. В своей книге Федоров исходит из понятия текста как смыслового целого и отстаивает принцип сочетания «функциональной» и «буквальной» точности в переводе: «Точность функциональная иногда требует отклонения от точности буквальной, формальной. Весь вопрос в условиях, при которых такое отклонение необходимо или же, напротив, должно быть избегнуто. Цель всякого рода приближений к букве и форме оригинала, равно как и отклонений от них, в принципе должна быть одна — соответствие оригиналу как сложному целому, к передаче которого необходим глубоко диалектический подход» [Федоров: 15]. О позиции Федорова — теоретика перевода в переводоведческих дискуссиях конца 1940-х см.: [Витт].

Во-вторых, дискуссия об особенностях перевода хрестоматийного текста — одна из примечательных попыток эстонских писателей и переводчиков воспротивиться властным структурам и отстоять свое мнение о статусе эстонского языка в переводных произведениях с русского. Отметим, что речь идет о переводе современного советского текста, канонизированного в советской литературе и тем самым уже ставшего классическим. Стратегия перевода, реализованная Тугласом в эстоноязычной версии романа Толстого, станет общепринятой и распространится на переводы из русской классики XIX в. у других переводчиков. Во многом благодаря позиции Тугласа-переводчика основным принципом перевода уже в 1940-е гг. становится принцип «функционально-смыслового» подобия оригиналу, а не «точное» соответствие ему. Подчеркнем, что таким способом переводчики пытаются избежать тотальной советизации литературной культуры и сохранить ту традицию художественного перевода классики, которая укоренилась в переводной литературе в эпоху эстонской независимости (1920–1930-е гг.).

В-третьих, внимание к языку перевода учебно-педагогической литературы будет сохраняться у эстонских лингвистов, переводчиков и критиков перевода на протяжении всех последующих десятилетий советского периода. В эпоху «оттепели» в критике перевода речь пойдет уже не просто об удобочитаемости учебно-педагогической литературы, а о высокой культуре переводческого стиля (см., напр.: [Kindlam]), в котором неприемлемым станет не только калькирование или пословный перевод, но отсутствие у переводчика гибкого языкового мышления.

## Литература

ERA: ERA. R-1765. N. 1. S. 38. EN Kirjanike Liidu Tõlkesektsiooni juhatusе koosoleku protokollid. Kirjavahetus kirjastustega, ministeeriumidega ja kirjanikega tõlkesektsiooni puutuvates küsimustes. 28.01.1949–10.10.1949.

Витт: *Витт С.* Концепт «советская школа» перевода — дитя позднего сталинизма // Второй всесоюзный съезд советских писателей (1954). Идеология исторического перехода и трансформация советской литературы: Сб. ст. СПб., 2016.

Гаспаров: *Гаспаров М.* Брюсов и буквализм // Поэтика перевода. М., 1988.

Зубкова: *Зубкова Е.* Прибалтика и Кремль. 1940–1953. М., 2008.

Касекамп: *Касекамп А.* История балтийских государств. Тарту, 2014.

Толстой: *Толстой А.* Петр Первый: Роман в трех книгах. М., 1947.

Федоров: *Федоров А.* О художественном переводе. Л., 1941.

EE: Johannes Käis / [http://entsyklopeedia.ee/artikkel/k%C3%A4is\\_johannes](http://entsyklopeedia.ee/artikkel/k%C3%A4is_johannes) (Дара обращения: 27.11.2017).

Dubovikov, Severin: *Dubovikov, A.; Severin, J.* Kaasaegne kirjandus: Lugemik keskkooli XI klassile. II osa. Tallinn: Pedagoogiline Kirjandus, 1949.

Friedberg: *Friedberg, M.* Literary Translation in Russia. A Cultural History. The Pennsylvania State UP, 1997.

Karjahärm: *Karjahärm, T.* Kultuurigenotsiid Eestis: Kirjanikud (1940–1953) // Acta Historica Tallinnensia. Tallinn, 2006. Nr 10.

Kindlam: *Kindlam, E.* Keelekultuur ja keskkooliõpikute keel // Keel ja Kirjandus. 1961. Nr 12.

Käis: Koolile pühendatud elu. Johannes Käis 1885–1950 / Koost. F. Eisen. Tallinn, 1985.

Lange, Monticelli: *Lange, A.; Monticelli, D.* Tõlkelised ebakõlad totalitarismi monoloogis: Järjepidevused, katkestused ja varjatud konfliktid Nõukogude Eesti tõkeloos // Keel ja Kirjandus. 2013. Nr 12.

Monticelli: *Monticelli, D.* Translation under Totalitarianism. Soviet Estonia, Johannes Semper and Translation History // Новий Протеї. Харків, 2015. Вип. 1.

Olesk: *Olesk, S.* ENSV Kirjanike Liit ja EK(b)P KK kaheksas pleenum // Looming. 2002. Nr 10.

Timofejev: *Timofejev, L.* Kaasaegne kirjandus: Õpik XI klassile. Tallinn: Pedagoogiline Kirjandus, 1949.

Tolstoi 1948: *Tolstoi, A.* Peeter Esimene / Tõlk. Fr. Tuglas. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst, 1948.

Tolstoi 1949: *Tolstoi, A.* Peeter Esimene / Tõlk. Fr. Tuglas. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst, 1949.

Torop: *Torop, P.* Tõlkesund // Kohandumise märgid. Tallinn, 2002.

Witt: *Witt, S.* Between the Lines: Totalitarianism and Translation in the USSR // Contexts, Subtexts and Pretexts: Literary Translation in Eastern Europe and Russia. Benjamins Translation Library. 2011. 89 (12).

## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЭСТОНСКОЙ ШКОЛЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА: ГРАНИЦЫ ИДЕОЛОГИИ

АННА ВЕСЕЛКО

Исследованию механизмов влияния идеологии на жизнь людей в СССР посвящены многочисленные труды (см., например, М. Геллер «Машина и винтики: история формирования советского человека» [Геллер], М. Геллер, А. Некрич «Утопия у власти» [Геллер, Некрич], E. Annus “The conditions of Soviet colonialism” [Annus: 441–450] и др.). Это работы самой разной направленности — от изучения политических процессов до анализа бытовых практик; нас же интересует такая важная для формирования советского человека сфера, как школьное образование и, в частности, курс русской литературы в советской эстонской школе послевоенного времени.

Выходившие в ту пору школьные учебники отражали масштабные политические и общественные процессы в Эстонии, что делает их привлекательным объектом для анализа. В случае со школьным книгоизданием в странах, где образование находится под государственным контролем, справедливо говорить о фиксации в учебных книгах официальных политических и социальных установок. В СССР зависимость образовательной системы от государства стремилась к абсолютной, оно открыто и внимательно контролировало содержание и методы обучения, наполнение школьных курсов и пр. — в том числе в союзных республиках. Инструментами контроля являлись не только школьные программы и многочисленные пособия для учителей, но и ежегодно составлявшиеся лектурные списки, а также перечни книг, подлежащих изъятию.

Не менее важны были и периодические издания для учителей, в которых устраивались дискуссии на те или иные темы, где голоса несогласных терялись в шквале критики. Во многом, конечно, это объясняется своеобразием «дискуссий» в советской периодике — обмен мнениями часто был фиктивным и не влиял на конечные решения. Результаты обсуждений были



известны заранее, поскольку никакой публичной позиции, кроме официальной, существовать не могло. Подписка на специальные периодические издания для учителей была обязательной и регулировалась напрямую через директоров школ и, выше, через приказы Министерства образования<sup>1</sup>, а обязательное знакомство с «дискуссиями» было частью «идейно-воспитательной работы», проводившейся с учителями. Оно держало их в тонусе и позволяло быть в курсе образовательной политики, своевременно знакомиться с изменениями в школьных курсах и методике преподавания. Статьи, ответные письма читателей и их обсуждение на страницах учительской периодики послевоенных лет имитировали демократический механизм, а на деле — транслировали официальные установки, которые впоследствии переносились через учителей в школьные классы.

Первое десятилетие советской власти было временем поиска и экспериментов в сфере образования, которые затронули и сферу учебного книгоиздания. Устойчивую систему советских учебников планировалось создать как можно скорее, но даже к началу 1940-х гг., т. е. ко времени присоединения Эстонии к СССР, она еще не существовала. После аннексии система образования в Эстонии была преобразована в соответствии с советским курсом, что означало полную перестройку, в том числе сферы разработки и издания учебной литературы, которая еще в течение почти десятилетия находилась в постоянном движении.

Планомерная советизация образования в Эстонии началась уже в 1940 г. Из Москвы поступали детальные распоряжения — от общих идеологических директив до правил уборки классных комнат и регламента оформления школьных помещений<sup>2</sup>. Тогда же из Наркомпроса был спущен заказ на новые переводы советской и классической русской литературы на эстонский язык (см.: “Teoste nimestik keskkooli kirjandusõpetuse jaoks” [ERA.R-14.1.310: 124–125]). Этими переводами предполагалось заполнить учебники по русской литературе, составленные по новым программам. Проведение реформ было отложено из-за начала войны, но после ее окончания подготовка и издание учебников возобновились. Однако несмотря на острую необходимость в учебных книгах, еще в 1950-е их

---

<sup>1</sup> В Эстонском государственном архиве сохранилось соответствующее распоряжение от 21 сентября 1940 г., подписанное народным комиссаром образования Ниголом Андресеном, где он уведомляет, что отныне «все учителя школ советской Эстонии должны заказывать и читать новый журнал “Nõukogude kool” <здесь и далее перевод наш. — А. В.>» [ERA.R-14.1.48: 33].

<sup>2</sup> См. еще одно распоряжение Ниголя Андресена, где он дает рекомендации о размещении в школьных классах портретов «Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и других» и уходе за ними [Там же: 34].

не хватало, а в школах за ними стояли очереди<sup>3</sup>. Усугублялась ситуация и тем, что использовать один учебник несколько лет, передавая из класса в класс, было не всегда возможно, так как тексты при переизданиях нередко менялись.

Изменения в учебниках отражали смену по преимуществу идеологических, а не методических установок советской школы, особенно если сравнивать книги, разделенные как минимум десятилетием, хотя иногда такие перемены можно диагностировать и на более коротких дистанциях. Для иллюстрации этого тезиса мы сравним учебники по русской литературе для VIII класса, вышедшие последовательно в 1948 и 1949 гг.

Обычно издания одного учебника с годичным интервалом были стереотипными, отличия между ними сводились к мелким редакторским поправкам, а репертуар изучаемых авторов практически не менялся. Но в рассматриваемом случае произошла замена одного учебника другим, и отличия между ними разительны. Книга 1948 г. “Kirjanduslooline lugemik VIII–IX klassile: vene kirjandus” [Lugemik], написанная Б. Сёэтом и Ю. Вяйнасте, всего через год была заменена переводным учебником “Vene kirjandus VIII klassile” [VK] — он оказался первым в ряду переводных пособий, которые активно использовались вплоть до конца 1950-х гг. Интересно, что за один учебный год было решено перейти от учебника-хрестоматии к учебнику литературы, в котором практически отсутствуют художественные тексты.

Учебники Сёэта и Вяйнасте использовались недолго — с 1949 г. в эстонском школьном книгоиздании начинают преобладать переводные учебники по русской литературе. Тем не менее, первыми авторами учебников стали местные авторы, причем получившие профессиональную известность еще в независимой Эстонии. Бернард Сёэт был известным педагогом, Юхан Вяйнасте составил несколько учебников по эстонской грамматике и также был преподавателем — обучал эстонскому языку курсантов мореходного училища. В советское время Вяйнасте стал членом коммунистической партии и занимался переводами на русский язык, а Сёэт с 1947 г. начал научную карьеру в Институте языка и литературы.

Их общая книга, учебник-хрестоматия, вышедшая первым изданием в 1946 г. под заглавием “Kirjanduslooline lugemik keskkooli VIII klassile.

---

<sup>3</sup> Райли Койт, учившаяся в то время в школе, так вспоминает ситуацию с учебными книгами: “Paar päeva enne 1. septembrit müüdi koolimajas õpikuid. Järjekord oli pikk, sest mitte alati ei jätkunud õpikuid kõigile <...> Kooliaasta lõpul jäid õpikud muidugi endale, hiljem sai neid ka edasi anda, kui polnud tekstis muutusi” [Mälestused: 291].

I osa — vene kirjandus”, стала первым пособием по новому предмету в советской Эстонии и вошла в серию пособий для VIII–X классов средней школы. Как видно из названия, у хрестоматий из этой серии существовала и вторая часть, которая была посвящена эстонской литературе. Авторами этих пособий были Юлия Тедер, Линда Вихалем и Пауль Вийрес — каждый из них написал учебник для отдельного класса. Здесь мы видим меньшую однородность, поскольку все учебники этой серии по русской литературе, с VIII по X класс, писали только Сёэт и Вяйнасте.

Выбор авторов, очевидно, можно объяснить особыми условиями послевоенного времени. Установление режима на новых территориях требовало от властей СССР и времени, и усилий. Страна была разрушена, людские потери были огромны, однако наибольшие потери среди учителей принесла не война, а советская власть, которая уже в 1944 г., то есть одновременно с окончанием военных действий на территории Эстонии, начала массовую чистку учительских кадров. Согласно исследованию Э. Пильве, к 1948 г. из 4406 (см.: [Pilve]) учителей по разным причинам (гибель, эмиграция, ссылка и отлучение от профессии) выбыло более четверти.

Главными причинами «изгнания» из рядов педагогов были нелояльность и неблагонадежность — самого учителя или любого из членов его семьи. Тем не менее, новая система образования требовала участия людей со специальной подготовкой, опытом и, что важно, знанием местных условий. Советская власть балансировала между репрессиями в отношении местной интеллигенции и настоятельной потребностью в образованных служащих и специалистах — новое поколение учителей к 1944 г. успеть вырастить, конечно, не могло. Допуская к работе некоторых «неблагонадежных» специалистов, власти решали проблему с низким уровнем поддержки советского строя в Прибалтийских регионах — точнее, шли на уступки. Привлечение к работе педагогов из «бывших» Сёэта и Вяйнасте вполне может быть названо политическим выбором, так как ранее они историю русской литературы не преподавали.

Вернемся к их учебнику. Заглавия изданий 1946 и 1948 г. разнятся («для VIII класса» и «для VIII–IX класса»), но речь идет о переиздании одного учебника. Содержание и сопроводительные тексты в учебниках очень сходны, отличий мы обнаружили несколько: в более позднем издании добавлены некоторые вопросы, в раздел о Радищеве включена глава из «Путешествия...» «Спаская Полесь», а пушкинское стихотворение «Узник» заменено посланием «К Чаадаеву». При этом книга 1948 г. больше на 64 страницы, в том числе за счет использования более крупного кегля

в отдельных фрагментах. Неизвестно, что именно предполагалось для изучения в IX классе — разделения материала по классам в самом учебнике нет.

Русская словесность в учебнике для VIII класса Сёэта и Вяйнасте начиналась с фольклора и былин. Значительное место было уделено литературе XVIII века, среди изучаемых авторов значатся Ломоносов, Фонвизин, Радищев. Литература начала XIX века была представлена Крыловым, Грибоедовым и др., а заканчивался учебник большой выборкой из А. С. Пушкина.

Учебник соответствовал тогдашней программе, однако композиция первого издания, 1946 года, расходилась с обычной композицией советских учебников — сопроводительные статьи и биографии писателей здесь размещались после художественных текстов. Этот нюанс был исправлен в следующем издании (1948 г.), и его можно было бы признать несущественным, если бы он не противоречил принятой в советское время методической схеме, согласно которой знакомство с автором, его биографией и эпохой обязательно должно было предшествовать изучению произведений.

Первое издание отличается от последующего еще и присутствием имен переводчиков художественных текстов. Это было нетипично, ни в одном из известных нам учебников по литературе, напечатанных в ЭССР, переводы не были атрибутированы. Здесь же мы видим, что подавляющее число переводов в учебнике принадлежало Яану Кярнеру и Аугусту Сангу, встречаются имена Якоба Тамма, Юсты (Аиты) Курфельда, Эдуарда Канса, Марта Рауда, Йоханесса Семпера, Бетти Альвер.

С переводами связан интересный сюжет. В обоих изданиях учебника есть перевод пушкинского стихотворения «Памятник», выполненный Я. Кярнером. Однако в издании 1946 г. это стихотворение имеет заголовок “Ehegi monumentum”, а в издании 1948 г. — “Mälestussammas”. Возможно, использование пушкинского оригинального заглавия в учебнике 1946 г. являлось своеобразным оммажем А. Орасу от составителей. Орас был признанным переводчиком пушкинской лирики на эстонский язык, именно благодаря ему эстонская публика в конце 1930-х гг. получила стихотворный перевод пушкинского «Памятника», и именно под таким заглавием. Но в советской Эстонии Орас стал персоной нон-грата, его переводы, соответственно, тоже утратили «благонадежность», и потому можно предположить, что заглавие в книге 1948 г. было заменено, чтобы избежать упоминания эмигрировавшего переводчика<sup>4</sup>. Поскольку с изданием перво-

---

<sup>4</sup> Впрочем, вероятно и более простое объяснение: латынь в советской школе не изучали, а значит, оригинальное заглавие и/или традицию гораціанского “Ehegi monumentum” в русской литературе нужно было специально толковать.

го послевоенного учебника нужно было торопиться, чтобы скорее возобновить учебную работу, эту деталь в 1945–46 гг. редакторы могли упустить (хотя Орас эмигрировал еще в 1943 г.) и исправить только в последующих изданиях. Тем не менее, в отсутствие документальных подтверждений предположение остается недоказанным.

Возвращаясь к расхождениям учебника Сёэта и Вяйнасте с советской школьной традицией, следует упомянуть основные различия в содержании и сопроводительных текстах. Для риторики советских учебников по литературе характерны типовые мотивные конструкции, некоторым из которых Сёэт и Вяйнасте следуют, другим же — нет. Например, авторы учебников обязательно писали о «столетиях жизни в тяжелых условиях, страданиях простого народа от царя, помещиков и капиталистов»<sup>5</sup> [Lugemik: 7]. Для иллюстрации народных страданий при царизме в школьную программу специально отбирались (и впоследствии становились каноническими) тексты, которые можно было соответствующим образом интерпретировать, выдвигая «барский произвол» на первый план, — например, «Муму» Тургенева, «Дубровский» Пушкина и пр.

В этом плане книга Сёэта и Вяйнасте типична, хотя признаем, что таких характерных для советской риторики мест в ней немного. Так, советская современность упоминается в нем всего единожды — в занимающей одну страницу подглавке “Nõukogude temaatikaga böliinasid”/«Былины на советские темы», где кратко и без примеров рассказывается о Марфе Крюковой, которая сочинила более 150 «новых былин», среди прочих «великолепный “Сказ о Ленине”» (длиной более тысячи стихов) [Там же]. Такая сдержанность отличает книгу Сёэта и Вяйнасте от позднейших советских учебников по литературе в Эстонии. Согласно методическим рекомендациям апелляция к советской действительности была необходима, потому что именно она актуализировала события и деятелей прошлого, приближала их к детскому пониманию, создавала эмоциональную связь с ними. И если для того, чтобы вписать советскую реальность в сопроводительные тексты, например, о древнерусской литературе или в вопросы к оде Ломоносова, требовался определенный навык, которого у Сёэта и Вяйнасте, скорее всего, не было, все же есть более традиционные для корректировки части учебника. Показательной в этом плане является биография Пушкина, которая ни в одном более позднем советском эстонском учебнике не дава-

<sup>5</sup> Ориг. текст: “Kuigi vene talupoeg on pidanud elama sajandeid raskeis tingimustest, kannatades tsaari, mõisnike ja kapitalistide rõhumise all”.

лась без описания в финале значимости поэта и его наследия для народов СССР. В учебнике Сёэта и Вяйнасте ничего подобного нет.

Авторы включили в текст учебника обязательные цитаты из Ленина, Горького и Маркса, но на 258 страниц их всего четыре (и две из них приходятся на главу о «советском фольклоре»), тогда как в более поздних учебниках практически в каждый сопроводительный текст вписываются цитаты или упоминания советских авторитетов. Так же мало и вопросов, уже самой формулировкой задающих направление ответа, таких как один из вопросов к «Недорослю»: “Milles on autori suhtumine pärisorjuse, arvestades komöödiad loodud rumaluse, julmuse ja eksploatatsiooni stseeni?”<sup>6</sup> [Lugemik: 66].

Книга Сёэта и Вяйнасте использовалась в школе всего три года, что, как нам кажется, позволяет признать ее компромиссом первых послевоенных лет. Использование учебников, написанных в независимой Эстонии, было запрещено по идеологическим причинам, замена требовалась срочно, поэтому к написанию пусть не во всем «советского», но все-таки более подходящего учебника были допущены местные специалисты. Компромиссный учебник уже в 1949 г. был заменен новым, переводным. Авторами учебника, пришедшего на замену, были профессор Александр Зерчанинов, соавтор множества учебников по русской литературе<sup>7</sup>, и историк и музейвед Николай Порфиридов, который заведовал секцией древнерусского прикладного искусства в Государственном Русском музее<sup>8</sup>. Предположительно именно ему принадлежат части учебника, посвященные фольклору, былинам, частушкам, песням и прочему народному творчеству. Перевел книгу Зерчанинова и Порфиридова А. Саул. Переиздания учебника выходили как минимум до 1954 г. (именно этой датой обозначен самый поздний экземпляр в эстонских библиотеках).

Курс литературы в эстонской школе не предполагал чтения произведений на русском языке — эта задача была делегирована курсу литературного чтения — но ряд примеров из текстов в учебнике Зерчанинова и Порфиридова приводится в оригинале с параллельным эстонским переводом. И здесь возникает определенная сложность: как было сказано ранее, учебник 1949 г., в отличие от книги Сёэта и Вяйнасте, — не хрестоматия, т. е. в него не были включены тексты произведений, отдельные отрывки дава-

---

<sup>6</sup> «Каково отношение автора к крепостничеству, учитывая показанные им в комедии сцены невежества, жестокости и эксплуатации?».

<sup>7</sup> См., напр.: [Зерчанинов, Райхин, Стражев; Поспелов, Зерчанинов, Шаблювский] и др.

<sup>8</sup> См., напр.: [Порфиридов 1928; Порфиридов 1947] и др.

лись лишь в качестве иллюстраций тех или иных положений о стиле, композиции, идее и пр. Нам не удалось установить, использовалось ли в дополнение к этому учебнику какое-то пособие для чтения. Скорее всего, школьники читали переводные книги, взятые в школьной библиотеке. Как известно, заказы на переводы русской литературы шли регулярно, тиражи были большими, и часть их предназначалась для школьных библиотек. Отказ от подготовки хрестоматий мог способствовать распространению вновь издаваемой в «правильных» переводах русской литературы, что отвечало советской культурной политике в Эстонии.

Возможно, что для этих целей издавался другой учебник. Например, в 1950 г. в Эстонии был издан перевод учебника Н. Л. Бродского и И. Н. Кубикова, но, хотя он и был хрестоматией, вряд ли его можно считать вспомогательным пособием к книге Зерчанинова и Порфиридова. Отметить его появление следует, скорее, потому, что с этих пособий начался период доминирования в советской Эстонии переводных учебников по русской литературе — с 1950 по 1956 г. ежегодно в параллельном обращении находилось как минимум два учебника.

Вернемся к учебнику Зерчанинова и Порфиридова, который заменил собой книгу Сёэта и Вяйнасте. Обе книги были предназначены для VIII класса, т. е. программный материал должен был совпадать, однако в переводном учебнике представлено больше авторов: к писателям XVIII в. добавились Державин и Карамзин, а литература первой половины XIX в. была представлена, помимо Пушкина, Крылова и Грибоедова, Жуковским и Рылеевым.

При значительном сходстве материала содержательное сравнение двух учебников, местных и русских авторов, затруднительно — они слишком разные. Переводная книга занимает 413 страниц и включает биографии авторов, экскурсии в политику и общественную жизнь изучаемой эпохи, в историю культуры и образования. Авторы рассказывали школьникам о толстых журналах, знакомили с полемикой «Арзамасского общества безвестных людей» и «Беседы любителей русского слова», с понятиями классицизма, прогрессивного и пассивного романтизма. Постоянно встречаются имена европейских литераторов и философов: Корнель, Расин, Мольер, Вольтер, Руссо, Дидро и проч. Ученики должны были узнать, что такое критика и теория литературы, в общих чертах познакомиться с философскими идеями, лежавшими в основе тех или иных литературных направлений, а перед началом новой темы они обязательно знакомились с используемой терминологией.

Сюжетно-композиционное сходство сопроводительных текстов в учебниках позволяет предположить, что у них был один источник. Мы пока не выяснили, ориентировались ли Зерчанинов и Порфиридов на свои ранние тексты или на методическую литературу, но Сёэт и Вяйнасте несомненно опирались на те же самые материалы. Поскольку первые издания книг (и местных, и русских авторов) вышли почти одновременно в 1946 г., скорее всего, в распоряжении обеих пар авторов были какие-то «типовые» материалы, возможно, что с уже готовыми формулировками.

Проиллюстрировать генетическую связь двух учебников можно примерами из сопроводительных текстов в разделе о Пушкине, в частности, из главы «Значение Пушкина для русской литературы»:

Зерчанинов А. А., Порфиридов Н. Г. Русская литература (1946 г.)	Sõöt, B.; Väinaste, J. Kirjanduslooline lugemik VIII–IX klassile: vene kirjandus (1948. a.)	Zertšaninov, A.; Porfiridov, N. Vene kirjandus VIII klassile (1949. a.)
Пушкин является <b>гениальным</b> создателем русской народной <b>национальной</b> литературы. Он создал литературу оригинальную, самобытную, чисто русскую по духу и содержанию <Здесь и далее выделено нами. — А. В.> [Литература: 408].	Puškin on vene rahvusliku kirjanduse looja. Ta lõi algu- ja omapärase puht-vene kirjanduse, nii sisult kui ka vaimult [Lugemik: 174].	Puškin on <b>geniaalne</b> vene rahvusliku <b>rahvakirjanduse</b> looja. Ta lõi originaalse, omapärase, sisult ja vaimult puht-vene kirjanduse [VK: 409].
Пушкин создал <b>замечательный</b> литературный русский язык. Об этом прекрасно сказали Гоголь и Тургенев, сами <b>великие мастера</b> русского художественного слова [Литература: 409].	Puškin on loonud vene kirjanduskeele. <...> Seda teenet on tunnustanud sellised vene kirjanduse sõnameistrid kui Gogol ja Turgenev [Lugemik: 174].	Puškin lõi <b>tähelepanuväärse</b> vene kirjakeele. Sellest rääkisid <b>suurepäraselt vene suured</b> stiilimeistrid Gogol ja Turgenev [VK: 409].

Как видно, различия заключаются в деталях перевода и, что более важно, — в тоне формулировок. Русские авторы вводят в статью о Пушкине многочисленные эпитеты: «гениальный», «выразительный», «крупнейший», «великий», «значительный» и др., подчеркивают, что он *народный* поэт. Все это характерно для «идеологически правильного» нарратива



советского учебника, который требует пафоса. Сёэт и Вяйнасте, опираясь на тот же источник, напротив, эпитетов избегают.

Книга Зерчанинова и Порфиридова, таким образом, имела более выраженную идеологическую окраску, в их тексте не было места неопределенности или вопросам, все формулировки и упоминания давались в готовом виде. Регулярно встречаются имена Ленина, Сталина и Маркса, а также Горького и Белинского как литературных законодателей (см.: [VK: 4–6, 7, 9–11, 24]). Отдельная глава учебника посвящена словесному народному творчеству в СССР, вновь с упоминанием Марфы Крюковой, на этот раз с примерами. Советским песням, сказкам и творчеству «братских народов» посвящены отдельные параграфы, рассказано о Сулеймане Стальском и Джамбуле Джабаеве, есть и обязательные портреты изучаемых авторов. Наконец, в последней главе о «мировом значении» Пушкина есть обязательное упоминание о роли творчества поэта, где авторы пишут:

On teada, et “Jevgeni Onegin” oli see raamat, mille järgi Marx ja Engels õppisid vene keelt. Tsitaate Puškinist, eriti “Jevgeni Onegini” esimise peatüki VII stroofist leidub mitmel puhul Marxi ja Engelsi kirjades ja vihikutes<sup>9</sup> [Там же: 411]<sup>10</sup>.

«Идейная выдержанность» учебника Зерчанинова и Порфиридова, видимо, является главной причиной его появления в эстонской школе, поскольку изначально он был предназначен не для национальной средней школы, а для первого класса педагогического училища. Его объем и содержание определено были не по силам эстонским восьмиклассникам, его было заведомо невозможно пройти за год школьной работы, однако, кажется, появление его в Эстонии не казус и не случайность, а дань времени.

Как и в случае с Сёэтом и Вяйнасте, замена одного учебника другим была предопределена не столько особенностями самой книги, сколько политической ситуацией. Если в 1945–1948 гг. советская власть шла на некоторые уступки в прибалтийском регионе, то к 1949 г. время компромиссов прошло — обстановка как внутри ЭССР, так и в Кремле коренным образом изменилась.

В партийных верхах Эстонии начался конфликт между группировками «старых политзаключенных» и партийной интеллигенцией, с одной сто-

<sup>9</sup> «Известно, что «Евгений Онегин» был той книгой, по которой Маркс и Энгельс учили русский язык. Цитаты из Пушкина, особенно VII строфы первой главы «Евгения Онегина», находят в ряде их писем и тетрадей».

<sup>10</sup> Ср. это же место в книге Зерчанинова и Порфиридова 1946 г.: «Известно, что “Евгений Онегин” был книгой, по которой изучали русский язык Маркс и Энгельс. Цитаты из Пушкина, в частности, из VII строфы I главы “Евгения Онегина”, — не раз встречаются в письмах и тетрадях Маркса и Энгельса» [Литература: 411].

роны, и «эмигрантами» — с другой. Тогда же Кремль развернул так называемое «эстонское дело» — самую масштабную чистку региональной партийной элиты за весь послевоенный период. На этом фоне становится понятна замена книги местных авторов, хотя бы минимально, но приспособленной к местным нуждам, учебником переводным и не предназначенным ни для школы, ни для инокультурной аудитории — главным аргументом в пользу учебника Зерчанинова и Порфиридова, очевидно, явилось то, что авторы не являлись местными уроженцами.

Можно предположить, что эстонский перевод их книги предназначался не для школьников, а для учителей. Как мы уже упомянули, в Эстонии конца 1940-х гг. вследствие военных потерь, эмиграции и массовых чисток осталось мало старых квалифицированных учителей, к тому же новая власть требовала от них не просто лояльности, но идеологического соответствия. Чтобы вырастить и обучить новых педагогов, требовалось время, а преподавать литературу в школе нужно было уже сейчас, поэтому учителями русского языка и литературы становились люди, не имевшие серьезных педагогических навыков. Главными требованиями к новым учителям были знание русского языка, лояльность и благонадежность. В такой ситуации педагоги, преподававшие по учебнику для педучилищ, могли повышать собственную квалификацию, а в отборе материала для школьников опираться на действующие программы и тем самым избежать перегрузки.

На перегруженность учеников указывает, например, решение разделить довольно компактный (сравнительно с пособием Зерчанинова и Порфиридова) учебник Сёэта и Вяйнасте во втором издании на две части, вышедшие под новыми заглавиями как учебники для VIII и IX классов. С учебником Зерчанинова и Порфиридова ничего подобного не случилось, при том, что он был больше местного в два раза, а с учетом того, что художественных текстов в нем нет, реальный объем вырос в пять раз (79 страниц авторского текста в эстонском учебнике против 413 страниц, за вычетом немногочисленных цитат, в переводном).

К сожалению, мы не можем сказать точно, сколько часов отводилось на этот предмет в 1949 г. В середине 1950-х курс русской литературы в VIII классе занимал всего 30 часов, и вряд ли в 1949 г. это число было значительно больше. Основная учебная нагрузка в VIII классе приходилась на уроки русского языка и литературного чтения — 165 часов в 1948/49 уч. г. Даже если не учитывать сложность историко-литературных тем, с которыми восьмиклассники в таком объеме, как в учебнике Зерчанинова и Порфиридова, знакомились впервые, объем материала совершенно не соответствовал количеству часов, отведенных на уроки русской литературы.

Очевидно, именно сложностью и неуместностью этой книги в школе объясняется скорое появление нового учебника по русской литературе — переведенного на эстонский учебника Н. А. Бродского и И. Н. Кубикова [Brodski, Kubikov]. Он был написан именно для школы, пусть изначально и русской. Книга Бродского и Кубикова была хрестоматией, а значит, больше соответствовала нуждам учеников. Еще одной причиной для замены можно признать изменения в школьной программе, согласно которой первая половина XIX века теперь заканчивалась не Пушкиным, а Лермонтовым. Тем не менее, «Русская литература для VIII класса» Зерчанинова и Порфиридова переиздавалась в Эстонии как минимум до 1954 г.

Таким образом, слишком объемный и сложный для национальной школы учебник Зерчанинова и Порфиридова, хотя и продержался пять лет, долго существовать в качестве основного в эстонской школе не мог. Причины, по которым всего три года продержался учебник местных авторов, были, как мы думаем, преимущественно политическими.

Государственный план снабдить национальные школы книгами, которые будут написаны национальными авторами, появился еще до войны как следствие закрепленного конституцией 1936 г. равного права народов на образование. Согласно решениям Наркомпроса, а впоследствии Министерства просвещения РСФСР, в национальных республиках должны были разрабатываться учебники с учетом местных особенностей. В Эстонии конца 1940-х годов такой возможности не было. Вследствие военных потерь, эмиграции и массовых чисток в республике почти не осталось квалифицированных педагогов, а новая власть требовала не просто лояльности, но полного идеологического соответствия — таким образом, доверить составление учебника было практически некому. И если подходящий автор учебников по русской литературе для V–VII классов нашелся достаточно скоро (им стал А. Сельмет, см.: [Веселко]), то поиски подобных авторов учебников для старших классов затянулись. Сёэт и Вяйнасте были привлечены, видимо, за неимением других кандидатов, поскольку оба уже имели опыт составления учебных пособий в независимой Эстонии. Но как только политические обстоятельства изменились (был осужден «местный протекционизм» в руководстве ЭССР), для их учебника была найдена более надежная — в идейном отношении — замена.

Можно ли, таким образом, определить причину, по которой один учебник заменил другой? Нам кажется, что однозначного ответа на этот вопрос мы пока не нашли. Однако разобранный исторический эпизод указывает, что конец 1940-х и начало 1950-х гг. для эстонской советской школы были временем поиска «правильных» учебников и самого метода создания

в полной мере «советских» учебных книг. Лишь к концу 1950-х гг. она получила стабильные учебники по литературе, которые оставались неизменными несколько десятилетий.

## Литература

ERA.R-14.1.48: Eesti riigiarhiiv. ENSV Haridusministeerium. Määrused, otsused, eelnõude kavvad, põhimäärused — Kooliosakonna määrused, otsused, ringkirjad, juhendid, korraldamised ja seletused, 1940.

ERA.R-14.1.310: Eesti riigiarhiiv. ENSV Haridusministeerium. Õppekavad, koolide ja lasteasutuste nimekirjad — Keskkoolide õppeainete õppekavad, 1940–1941.

Веселко: *Веселко А.* Кто писал советские учебники по литературе (биография учителя из Эстонии) // Русская филология. Сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 2015. Т. 26.

Зерчанинов, Райхин, Стражев: *Зерчанинов А., Райхин Д., Стражев В.* Русская литература. Учебник для IX класса средней школы. М., 1940.

Геллер: *Геллер М.* Машина и винтики: история формирования советского человека. М., 1994.

Геллер, Некрич: *Геллер М., Некрич А.* Утопия у власти. М., 2000.

Литература: *Зерчанинов А., Порфиридов Н.* Русская литература. Учебник для I класса педагогических училищ. М., 1946.

Порфиридов 1928: *Порфиридов Н.* Новые открытия в области памятников древней живописи в Новгороде (1918–1928). Новгород, 1928.

Порфиридов 1947: *Порфиридов Н.* Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI–XV вв. М.; Л., 1947.

Поспелов, Зерчанинов, Шаблювский: *Поспелов Н., Зерчанинов А., Шаблювский П.* Русская литература. Учебник для VIII класса средней школы. М., 1944. Изд. 4-е.

Annus: *Annus, E.* The conditions of Soviet colonialism // *Interlitteraria*. Tartu, 2011. № 16/2.

Brodski, Kubikov: *Brodski, N.; Kubikov, I.* Vene kirjandus: lugemik VIII. Tallinn, 1950.

Lugemik: *Sööt, B.; Väinaste, J.* Kirjanduslooline lugemik VIII–IX klassile: vene kirjandus. Tallinn, 1948.

Mälestused: *Nõukogude kool ja õpilane. Meie mälestused.* Tallinn, 2006.

Pilve: *Pilve, E.* Ideoloogiline kasvatus nõukogude koolitunnis hilisstalinistlikus Eesti NSVs // *Tuna. Ajalookultuuri ajakiri.* Tallinn, 2010. Nr 4.

VK: *Zertšанинов, А.; Порфиридов, Н.* Vene kirjandus VIII klassile. Tallinn, 1949.

## МЕЖДУ ВСЕОБУЧЕМ И ПОЛИТПРОСВЕТОМ: СОВЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ-УЧЕБНИКИ 1930–1932 гг.

АННА СЕНЬКИНА

Среди многочисленных и, как правило, утопических идей, которыми фонтанировала послереволюционная школьная педагогика вплоть до начала 1930-х гг., было издание журналов-учебников. Это явление, яркое и чрезвычайно показательное в контексте эпохи, до сих пор остается на периферии научного знания<sup>1</sup>. Причины тому кроются, с одной стороны, в краткосрочном и экспериментальном характере этого проекта в истории советской школы и учебных книг, о котором быстро забыли. С другой стороны — в гибридной природе этих изданий: занимая промежуточное положение между учебным пособием и периодическим изданием, журналы-учебники оказались равно маргинальным предметом как для исследователей школьных учебников, так и для историков детской журналистики — в тех редких случаях, когда о них вообще знали. В книге Л. Н. Колесовой «Детские журналы советской России 1917–1977», наиболее полном справочно-энциклопедическом издании о советской периодике для детей, отдельных статей удостоились лишь шесть из 30 вышедших в начале 1930-х гг. изданий с таким подзаголовком<sup>2</sup>. Там же в общей статье «Журналы-учебники» автор сообщает, что их появление было

попыткой заменить стабильный школьный учебник журналом, который должен был давать самый свежий материал по изучаемым предметам. Журналы-учебники издавались в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Симферополе, Хабаровске и многих других городах страны. Каждая редакция делала их по собст-

---

<sup>1</sup> Единственная работа, специально посвященная журналам-учебникам, — небольшая статья, опубликованная автором этих строк несколько лет назад [Сенькина 2012: 60–91].

<sup>2</sup> «Дружная бригада», «Дружно за учебу», «Школьная бригада», «Юные строители», «Юные ударники» и «Юные ударники Крыма» [Колесова: 40, 115, 119, 121].

венному разумению, технический уровень очень низок, выход в свет и доставка часто задерживались, что лихорадило работу школы [Колесова: 50].

Эта характеристика не только практически ничего не сообщает нам о характере и наполнении журналов-учебников, но и содержит серьезные неточности: во-первых, в эти годы никаких стабильных учебников еще не существовало — позже, наоборот, они заменили собою все другие виды школьных учебных изданий, во-вторых, задачи, предписанные журналам-учебникам и их статус в школьной практике определялись неоднозначно, к тому же менялись от года к году, о чем, в частности, пойдет речь в этой статье.

### В поисках формы нового учебника

Разнообразие появляющихся в первое десятилетие советской власти видов изданий школьных учебников было прямым следствием экспериментов, проводившихся в области школьного образования<sup>3</sup>. В 1918 г. вместо дореволюционной системы начальных и средних училищ была провозглашена единая трудовая школа, прежние методы обучения были признаны исключительно «словесными» и потому неправильными, главным средством получения знаний объявлялось трудовое обучение, при котором приобретение знаний и умений должно было осуществляться на практике, в том числе и в процессе непосредственного участия школьников в трудовой деятельности [Основные принципы]. Логика этой радикальной педагогической реформы предопределила тезис о несоответствии школьного учебника в его прежних формах задачам и методам новой школы.

Идея периодического и постоянно обновляемого учебника впервые появилась на страницах педагогической печати [Шульгин: 28–32] после введения в 1924 г. «метода комплексного преподавания», который предполагал изучение со школьниками не отдельных дисциплин, а явлений и процессов окружающей их жизни с точки зрения различных наук, т. е. в «комплексе» (см.: [Чехов: 34–38; Каменев 1925: 66–84]). Это предполагало отмену предметного преподавания, вместо которого вводилось изучение тематических модулей «человек», «природа» и «труд», что, в свою очередь, послужило стимулом к пересмотру не только содержания, но и самого устройства учебников. Клавдия Тимофеевна Свердлова, член научно-

---

<sup>3</sup> Подробнее об учебных книгах для начальной школы в первые послереволюционные десятилетия см.: [Сенькина 2008: 26–47].

педагогической секции ГУСа<sup>4</sup>, активная участница дискуссий о новом советском учебнике и автор-составитель нескольких советских книг для чтения<sup>5</sup>, в докладе «О работе ГИЗ'а над учебником», прозвучавшем в 1926 г. на первой Всероссийской конференции по учебной книге, отмечала: «Характер учебника определяется требованиями новой школы: не только уметь объяснять окружающую жизнь (это делала и старая школа), но и подготовить ребят к работе над переустройством жизни» [Свердлова 1926: 3]. Поскольку учителем и учебником для подрастающего поколения должна была стать сама жизнь, то учебнику-книге отводилась роль помощника в процессе «учебы-работы» (противопоставлявшейся «учебе-чтению»), а также в деле воспитания каждого ребенка активным участником строительства нового государства.

Во второй половине 1920-х гг. на страницах педагогической печати появляется ряд новаторских предложений о форме нового учебника. Например, на смену «книге для чтения» предлагалось издавать «книги для работы» или «рабочие книги». К. Н. Соколов, один из активных сторонников создания нового учебника 1920-х гг., в статье «Какой должна быть книга для чтения при новых программах ГУС'а» писал:

Сопоставляя систему объяснительного чтения с современными методами педагогической работы в школе, ясно видно, что с системой, концентрации школьной работы вокруг книги для чтения мы покончили окончательно. <... > Свободная речь ребенка, непосредственно вытекающая из его жизни и деятельности, запись собственных переживаний и мыслей и свободное чтение ребенком цельных книг из библиотеки — вот что является главным методом, при помощи которого у детей развивается язык, любовь к книге и умение ею пользоваться. <... > Так в настоящее время совершенно очевидно, что в связи с крутым переломом во всей структуре школы и методах педагогической работы старая дореволюционная книга для чтения не может быть пригодной для работы в новой школе. Как таковая, книга для чтения должна умереть вместе со школой ее породившей. И тем не менее все же без книги для чтения или, точнее, без специальной рабочей книги новая школа обойтись не может <... > [Соколов: 33–34].

---

<sup>4</sup> Научно-педагогическая секция ГУСа (Государственного ученого совета) была структурным подразделением Наркомата народного просвещения с 1919–1933 гг., в ее ведении находилась разработка и утверждение учебных планов, программ и учебных пособий для начальной, средней и высшей школы.

<sup>5</sup> «Смена: первая и вторая книги для чтения» (1924–1926) и «Советские ребята: Общекомплексная рабочая книга для I года обучения в городской школе» (1928) [Свердлова 1924; Свердлова 1928].

Наряду с проектом замены учебников рабочими книгами, который был реализован в 1925–1931 гг., получила распространение идея издания «краеведных» или «краевых» книг для школ. Научный сотрудник Института методов школьной работы Ф. Новоселов в сборнике «Советской школе новый учебник» за 1926 г. писал:

... Интересы правильной постановки работы на 3 году требуют создания рабочей книги для 3 года обучения, книги местного характера, книги краеведной. Каковы особенности этой книги? Так как 3 год посвящается изучению местного края, притом в довольно значительной степени путем непосредственного изучения (деревня, город), то основное назначение рабочей книги помочь организовать изучение местного края <...> [Новоселов: 41].

В пользу идеи «местных» учебников высказывался и директор упомянутого института А. Е. Шейнберг:

Одним из самых популярных, но в то же время наименее расшифрованных лозунгов является в настоящее время лозунг о создании местной учебной книги. Называют эту книгу краеведческой, краевой, районной. Дело не в названии. Речь идет, очевидно, о книге, которая в наибольшей мере была бы приспособлена к местным условиям и помогала бы школе соответственно этим местным условиям организовать свою учебную и воспитательную работу [Шейнберг: 51].

Еще одной попыткой заменить старый учебник новым по форме и содержанию стало издание «подвижных хрестоматий». В частности, член научно-педагогической секции ГУСа А. Александров в журнале «Народный учитель» писал в 1926 г., что

за последнее время появляются на книжном рынке подвижные хрестоматии, вернее — ряд мелких брошюр соответственно темам комплексов, вложенных в одну обложку. Начало здоровое, но нельзя возлагать больших надежд на эти сборники, так как, включая в себя определенные статьи, выбранные по желанию составителя, они не могут все равно удовлетворить литературой всех сторон школьной работы [Александров: 35]<sup>6</sup>.

В том же 1926 г. в статьях Семена Алексеевича Каменева<sup>7</sup> «О новом учебнике» [Каменев 1926: 19] и Ивана Ивановича Руфина<sup>8</sup> «Литература для работы школьника» [Руфин: 38–39] впервые прозвучала и идея периоди-

<sup>6</sup> Заметим, что издание «подвижных хрестоматий» идея не новая, во второй половине XIX в. в связи с распространением народных школ издатели уже пытались издавать учебники в виде нескольких дешевых брошюр, которые ученик покупал последовательно в течение года.

<sup>7</sup> Ведущий специалист по теории и истории педагогики начала 1930-х гг. — научный сотрудник ЦНИИ начальной школы, автор первых «рабочих книг» для Северо-Кавказского края.

<sup>8</sup> Преподаватель педагогического факультета Ярославского государственного университета.



ческого учебного издания — «журнала-учебника», «газеты-учебника» или «рабочей библиотеки».

... Чрезвычайно важно давать школьникам свежий материал, —

писал И. И. Руфин, —

и здесь выплывает вопрос о форме книги по содержанию и структуре — давать ли школьнику одну-две-три рабочих книги, включающих весь годовой курс с фиксированным расположением материала, или давать ему рабочую библиотеку, которая представлена более или менее обширной группой книг и отличается подвижностью? Наряду с рабочей книгой и рабочей библиотекой выдвигаются рабочая газета и рабочий журнал. Что лучше, что сильнее, как орудие производства, что экономнее? [Руфин: 39].

Однако тогда это предложение не получило широкой поддержки в педагогическом сообществе<sup>9</sup>.

Предлагая разные варианты изданий, участники дискуссии о том, каким быть новому школьному учебнику, сходились в одном: содержание учебной книги должно в каждый момент соответствовать современности, информировать школьника о значимых событиях, об успехах и проблемах страны, транслировать и разъяснять текущий политический курс. Некоторые из этих предложений тут же подхватывались составителями, и новые учебные книги выходили из печати: так, широкое распространение получили «рабочие» и «краевые» книги; другие — в том числе «журнал-учебник» и «газета-учебник» — на тот момент оставались без движения.

### Периодический учебник для школы реконструктивного периода

В 1928 г. в СССР усиливается централизация власти, начинается радикальная перестройка экономики и объявляется о начале первой пятилетки, в число основных задач которой входили форсированная индустриализация и массовая коллективизация, что имело прямые последствия и в сфере образования. В 1930 г. Наркомпрос объявил курс на «политехнизацию школы». Это означало, что теперь труд как основная форма обучения должен быть обязательно связан с производством, для чего всем школам предписывалось заключать договоры с предприятиями: заводами, колхозами и т. п.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Подробнее о дискуссии вокруг журнала-учебника, продолжавшейся от появления идеи до ее воплощения, см.: [Сенькина 2012: 72–74].

<sup>10</sup> См. подробнее: [Пистрак: 4–5].

В 1929 г. А. В. Луначарский был отправлен в отставку и новым народным комиссаром просвещения назначен бывший заведующий Отделом агитации и пропаганды (1922–1924), начальник Политического управления РККА и ответственный редактор газеты «Красная звезда» А. С. Бубнов [Институты управления: 29, 137]. Назначение нового наркома и реструктуризация Наркомпроса совпали с началом очередного социально-экономического эксперимента — переходом предприятий страны в 1929 г. на непрерывную рабочую неделю. В рамках этой кампании предполагался и переход школ на «непрерывную учебную неделю» и «непрерывный учебный год»<sup>11</sup>, что также требовало от Наркомпроса предоставления новых учебных материалов — программ и учебников. В этих условиях вновь обретает актуальность идея создания динамичного учебного пособия, постоянно обновляемого и дополняемого издания, в каждый момент отражающего актуальное состояние не только народного хозяйства и общества, политическую и идеологическую повестку страны, но и текущие изменения единой трудовой школы: переход к «политехническому обучению» и введение непрерывной учебной недели и непрерывного учебного года.

Инициатором издания такого гибкого периодического учебника выступило Главное управление социального воспитания и политехнического образования детей (Главсоцвос) в лице своего заведующего, заместителя Наркома просвещения РСФСР Моисея Соломоновича Эпштейна. В письме к Госиздату от 10 января 1930 г. он писал:

Новые требования реконструктивного периода ставят перед нами вопрос о радикальном пересмотре ныне действующих программ школы, а, следовательно, и учебников и учебных пособий. <...> Мы поэтому еще месяца два тому назад решили приступить к изданию периодического органа «журнала-учебника», особенно для учащихся пионерского возраста, с тем, чтобы этим журналом-учебником дополнять стабилизированные учебники злободневным материалом. Таким образом мы, по существу, на будущий учебный год будем иметь совершенно обновленный портфель учебников, а на 1931/32 год этот обновленный портфель учебников подвергнется вновь радикальному обновлению. Все это вызывает нарекания со стороны рабочих и батрацко-бедняцкой части деревни, которые этим самым вынуждаются к частой покупке новых учебников. Мы, однако, полагаем, что здесь мы не можем идти на стабилизацию учебника и этим самым на фактическое искажение педагогической работы в школе. Мы здесь должны держаться другой линии: добиваться во что бы то ни стало бес-

---

<sup>11</sup> Подробнее о введении «непрерывки» в школе см. статьи: [Соболева: 7–9; Г. В.: 20; Гинзбург: 21].

платного снабжения учебниками детей рабочих, колхозников, бедняков и батраков [Эпштейн: 28].

Первый журнал-учебник был напечатан посреди учебного года в Ленинграде: в конце марта 1930 г. вышел первый номер «Юных ударников» для 3-х и 4-х групп школ I ступени. С небольшим отставанием в апреле 1930 г. в Новосибирске началось издание журнала-учебника для тех же лет обучения под названием «Юным строителям Сибири».

В августе 1930 г. Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров СССР было принято «Постановление о всеобщем начальном обязательном обучении» (всеобуч), в котором говорилось, что

для успешного социалистического строительства необходимо в кратчайший срок изжить культурную и техническую отсталость широких масс трудящихся. Эта задача не может быть разрешена без введения всеобщего начального обязательного обучения. <...> Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР обращают внимание всех центральных и местных органов власти на то, что всеобщее начальное обучение является важнейшей политической задачей ближайшего времени<sup>12</sup>.

Введение всеобуча не только стало одной из главных тем осенних номеров 1930 г., но и обусловило постоянный рост количества самих журналов-учебников, в частности издаваемых «на местах». К началу нового 1930–1931 учебного года начали регулярно выходить «Маленькие ударники» и «Юные ударники» — в Ленинграде, «Колхозный авангард», «Кузница кадров» и «Школьная бригада» — в Москве, «Юные ударники Крыма» — в Симферополе, «Красный маяк» — в Хабаровске, в течение следующего, 1931/1932, учебного года к ним прибавились «Костер» — в Ростове-на-Дону, «Журнал-учебник» — в Самаре, «Учимся по-новому» и «Юные строители» — в Смоленске и другие новые издания. В общей сложности в период с марта 1930 по июнь 1932 гг., с различной продолжительностью по всему СССР издавалось более 30 ежемесячных журналов-учебников для средней семилетней школы (включая школы колхозной молодежи и фабрично-заводские семилетки).

Судя по реакциям на страницах педагогической периодики, в сборниках и брошюрах, посвященных проблемам советской школы и учебной литературы, проект издания учебников нового типа уже на первом году его существования расценивался как успешный и многообещающий. Объясняя

---

<sup>12</sup> Постановление ЦИК и СНК Союза ССР «О всеобщем обязательном начальном обучении» от 14 августа 1930 г. / [http://www.libussr.ru/doc\\_ussr/ussr\\_3667.htm](http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3667.htm) (Дата обращения: 30.10.2017).

взрывной рост числа подписчиков первого журнала-учебника «Юные ударники», сотрудник Ленинградского отделения Госиздата С. Б. Асиновский писал:

И это потому, что была найдена счастливая форма нового учебника, пока еще далекого от совершенства, но обеспечивающего реальное вовлечение детей-школьников в повседневную борьбу за социализм. Безотносительно к тому, в каком направлении будет развиваться журнал «Юные ударники», уже теперь становится несомненным, что в школу внедряется совершенно новый тип учебного пособия, призванный в значительной мере перевооружить ее новыми средствами воспитания [Асиновский: 22].

### Кем и из чего делались журналы-учебники

Редакция ленинградских журналов-учебников для первых четырех групп школы-семилетки — «Октябрята», «Маленькие ударники», «Юные ударники» и «Большевицкая смена» — была организована при детском отделе Ленгиза. Эти издания, по-видимому, имели статус «центральных»: они были рассчитаны на распространение не только в самом Ленинграде, но и в других регионах страны, и потому не содержали какой-либо выраженной местной специфики. На их страницах в равной мере рассказывалось об успехах и достижениях Путиловского завода и постройке «громдых» тракторных заводов в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Ростове-на-Дону, а для школьников Ленинградской области к этим журналам-учебникам печатались отдельные «краевые» приложения.

В редакцию ленинградских журналов-учебников вошли педагоги и методисты, уже имевшие опыт составления учебных пособий и/или активно участвовавшие в дискуссии о форме советского учебника с середины 1920-х гг.: О. А. Волжина, Б. П. Есипов, П. Н. Жулев, Р. И. Млиник, В. В. Морозов<sup>13</sup>, возглавила ее уже упоминавшаяся К. Т. Свердлова.

Редакционное помещение располагалась на Невском проспекте (тогда — проспект 25-го Октября) в здании Дома книги, где к этому времени разместилась редакция детских журналов «Еж» (1928–1935) и «Чиж» (1930–1941). По-видимому, такое соседство не в последнюю очередь повлияло на состав авторов: в «Октябрятах», «Маленьких ударниках» и «Юных ударниках» были впервые опубликованы — а значит, для них и написаны — многие произведения авторов и членов редакции «Чижа» и «Ежа» А. Вве-

<sup>13</sup> См. их работы: [Волжина; Есипов 1924: 7–10; Есипов 1930: 35–45; Жулев 1928а: 20–25; Жулев 1928б; Млиник 1925; Млиник 1927; Морозов: 15–17].

денского, Д. Хармса, М. Ильина, С. Маршака, Е. Шварца (причем некоторые из этих текстов никогда впоследствии не перепечатывались в других изданиях). К оформлению журналов-учебников привлекались молодые художники-авангардисты, также работавшие и для «Чижа» и «Ежа», — В. Лебедев, Ю. Великанов, Е. Чарушин, Н. Травин, Г. Фитингоф.

Похожая конфигурация сложилась и в редакции московских журналов-учебников «Мальши ударники», «Октябрята на учебе» и «Школьная бригада», где ответственным редактором был бывший заведующий Главсоцвосом, а позднее член ГУСа и заместитель начальника Управления высшей школы Наркомпроса Оттон Людвигович Бем, в состав редакции вошли известные в то время педагоги Е. А. Адамович, В. И. Борисова-Потоцкая, Т. Радуцкая, Е. С. Яблонская<sup>14</sup>, регулярными авторами стали С. Маршак, Л. Кассиль, А. Барто, В. Бианки, С. Михалков, Лина Нейман.

Иными словами, изданием журналов-учебников в столицах занимались весьма заметные сотрудники учреждений Наркомпроса, авторитетные педагоги, опытные авторы учебных книг, а тексты для них сочиняли лучшие детские писатели.

Содержание ленинградских и московских журналов-учебников было по большей части оригинальным, и лишь иногда в них перепечатывались уже известные произведения, например, стихи В. Маяковского<sup>15</sup> или Демьяна Бедного<sup>16</sup>. Содержание региональных изданий в этом отношении заметно отличалось: редакции этих журналов-учебников очевидно испытывали дефицит материала, в особенности художественного, и на их страницы попадало значительно меньше текстов, написанных специально для очередного номера. Составители то и дело перепечатывали рассказы и стихотворения из центральных журналов-учебников, пионерских журналов, школьных «рабочих книг», местных газет и других источников. Например, в февральском выпуске выходившего в Самаре «Журнала-учебника» за 1932 г. было напечатано стихотворение Даниила Хармса «Влас и Мишка»<sup>17</sup>, уже опубликованное в сентябре 1931 г. в «Октябрятах», а в других номерах того же издания встречаются стихи А. С. Пушкина<sup>18</sup> и популярно-

<sup>14</sup> См. работы: [Адамович, Яблонская, Радуцкая: 5–7].

<sup>15</sup> «Мы вас ждем, товарищ птица...» [Мальши ударники. 1932. № 3 (апрель)] и «Урожайный марш» [Колхозный авангард. 1931. № 2–3 (январь–февраль)].

<sup>16</sup> «Красноармеец в колхозе» [Юные ударники. 1930. № 1 (март)] и «Май» [Маленькие ударники. 1932. № 8 (апрель)].

<sup>17</sup> «Журнал-учебник» для 1-го года обучения Средневожского края [1932. № 2 (февраль)].

<sup>18</sup> «Буря» [«Буря мглою небо кроет...»] («Журнал-учебник» для 2-го года обучения Средневожского края [1932. № 1 (январь)]).

го до революции детского поэта И. Белоусова<sup>19</sup>. Заметим, что если редакционная установка столичных журналов-учебников публиковать только «свежие» материалы характерна для периодических изданий, то компилятивная стратегия, которую чаще использовали провинциальные редакции, типична для школьных учебников, в частности для так называемых книг для чтения.

### Журналы-учебники как журналы

По своей структуре и содержанию журналы-учебники 1930–1931 гг. были ориентированы на модель периодического издания. Каждый номер представлял собой небольшой сборник (от 30 до 68 страниц) информационных и агитационных текстов различной формы — от производственных сводок до стихотворений. В основном это заметки, информирующие о последних достижениях пятилетки, о ходе антирелигиозной и антиалкогольной кампаний, об индустриализации и коллективизации. Практически в каждом выпуске публиковались статьи о создании колхозов, строительстве заводов и фабрик, рассказы об октябрятах и пионерах, сообщения о вредителях на производстве и кулаках, новости из-за границы и рассказы о жизни в капиталистических странах. Заметное место среди других материалов в журналах-учебниках занимала свежая информация о выполнении промфинплана: в большом количестве были представлены диаграммы, схемы, таблицы, иллюстрирующие увеличение числа фабрик, заводов и колхозов, рост производства чугуна и стали, добычи нефти, урожая зерна и поголовья скота. Все эти многочисленные цифры снабжались комментариями об успехах страны в текущий год первой пятилетки по сравнению с царским временем, по сравнению с США и с прошлым годом.

На страницах журналов-учебников освещались и текущие решения партийных съездов, политические лозунги, кампании и события. Например, в «Маленьких ударниках» [1931. № 9–10 (май–июнь)] для 1 группы, то есть фактически для 1-го класса, была напечатана статья Е. Капланского «За что их судили?», в которой рассказывалось о только что прошедшем в марте суде над меньшевиками, а в майском номере «Колхозного авангарда» [1931. № 6 (май)] приведены выдержки из постановления ЦК ВКП(б) «Вплотную к хозяйственному укреплению колхозов» и т. д.

---

<sup>19</sup> «Пришла весна, пришла красна...» [«Журнал-учебник» для 1-го года обучения Средневожского края. 1932. № 4 (апрель)], ранее публиковалось в авторском сборнике «Ласточки» (1907).

В целом набор тем и сюжетов, определявших наполнение журналов-учебников, был тем же, что и в большинстве пионерских журналов того времени, которые, как справедливо пишет А. И. Алексеева, «были рассчитаны на активное воспитание читателей», «призваны были объединять детей, руководить их работой, учебой, жизнью, убеждать в правоте и значительности того, что делали взрослые, пробуждать интерес к общественной работе, к участию в жизни страны» [Алексеева: 62].

Подобно другим журналам того времени, журналы-учебники постоянно подталкивали своих читателей к диалогу с редакцией. Как правило, в конце номера печаталось обращение к подписчикам, в котором редакция просила присылать отзывы об материалах журнала-учебника и собственные сочинения:

Школьники! Мы в журнале нарисовали много картинок. Мы напечатали стихи, рассказы, указали, какую работу вам делать. Но мы не знаем, понравились ли вам наши рассказы, стихи и картинки. Напишите нам об этом. Адрес наш такой: **Ленинград, проспект 25 октября, дом 28, редакция «Маленьких ударников»**<sup>20</sup>. Если хотите о чем-нибудь нас спросить, пишите. Мы будем вам отвечать. А теперь слушайте нас хорошенько. **Сочиняйте сами рассказы и стихи** и присылайте нам. **Рисуйте картинки** и присылайте нам. **Пишите отчеты** о вашей работе и посылайте нам. Мы все интересное, что вы пришлете, напечатаем в журнале. Пишите же! Мы ждем<sup>21</sup>.

Кроме того, школьникам настойчиво предлагалось сообщать о ходе политехнизации школы, о проблемах в организации учебного процесса: «Ребята! Связаны ли вы с производством? Заключены ли у вас договоры? Как вы помогаете своему производству бороться за выполнение промфинплана? Пишите в журнал о связи вашей школы с производством»<sup>22</sup>; «Школьники! Сообщите журналу: Как идет у вас политехнизация школы? Как вами принято наше предложение? Как началась учеба, есть ли неполадки и перебои?»<sup>23</sup>.

Помимо призывов писать в редакцию почти каждая статья в учебнике-журнале сопровождалась вопросами для обсуждения в классе, а также заданиями и указаниями, что необходимо сделать, при этом многие из них направляли учеников за пределы школы — в семью, в деревню, на предприятие. Например, в «Юных строителях Сибири» после рассказа о кулаке «Дыбину не удалось» предлагаются вопросы: «Как проходило обоб-

---

<sup>20</sup> Здесь и далее полужирный шрифт — в соответствии с оригиналом.

<sup>21</sup> Маленькие ударники. 1930. № 1 (сентябрь). С. 47.

<sup>22</sup> Красный маяк. 1931. № 3 (январь).

<sup>23</sup> Кузница кадров. 1930. №1 (сентябрь).

ществование скота в Вашем колхозе. Не известны ли Вам случаи, когда крестьяне при вступлении в колхоз уничтожали скот. Боролись Вы с этим или нет?» Далее следует антирелигиозный рассказ «Расскажем матерям», после которого редакция вновь обращается к читателям:

Кулаки, попы распускают клевету о колхозах. В стенгазете, дома, на общем собрании — везде разоблачайте кулацкую и поповскую клевету. Школьники, боритесь с распусканьем слухов и клеветы на ушко. Всякий известный Вам недостаток, всякое вредительское действие или ошибку в организации колхоза или организации труда в нем, смело выносите на общее собрание, пишите в стенгазете, сообщайте сельсовету и ризке, посылайте корреспонденции в окружающую газету<sup>24</sup>.

Подобные агитационные призывы и инструкции встречаются и в пионерских журналах, особенно заметны они начиная с 1930 г. Так, на обложке «Пионера» в 1931 г. появляется распоряжение:

**ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДОМА. САГИТИРОВАТЬ** отца, братьев, родных и знакомых, чтобы они закрепились на своем производстве до конца пятилетки. Борьтсь за культурный быт, за гигиену (проветривать комнаты, следить за чистотой и т. д.). Изжить религиозный дурман, разоблачать поповские басни. Объяснить своим родным решающее значение третьего года пятилетки. Заключать договоры соцсоревнования с родителями или братом, работающим на производстве<sup>25</sup>.

Так с первых номеров журналы-учебники воспитывали из школьников агентов пропаганды, ревизоров и обличителей, и в этом своем качестве тоже шли рука об руку с «Пионером», «Мурзилкой», «Чижом» и другими детскими журналами.

Однако следует учитывать, что детская и подростковая периодика того времени фактически была ориентирована на ограниченную и отчасти выборочную аудиторию, и в первую очередь на сегмент наиболее «сознательных» школьников — пионеров, количество которых росло из года в год, но к началу 1930-х гг. еще далеко не составляло большинства. В то же время журналы-учебники, имевшие статус школьной учебной книги, попадали в разряд общего и почти неизбежного чтения как для школьников, так и для школьных учителей. Если фактически журналы-учебники и не доходили до каждого из них, то со временем должны были охватить всех школь-

---

<sup>24</sup> Юным строителям Сибири. 1930. № 1 (апрель).

<sup>25</sup> Пионер. 1931. № 1 (январь).



ников страны — а это значило, учитывая мощную кампанию всеобуча, всех без исключения советских детей.

Этот масштаб, конечно, несопоставим с тем, на который могла претендовать тогдашняя детская периодика. Напомним, что суммарное количество всех центральных и региональных журналов-учебников, вышедших на территории РСФСР, составило 30 наименований, что в три раза превышало число издававшихся в стране в этот период обычных, не учебных журналов для детей и подростков<sup>26</sup>. Установка на максимально широкий охват советских школьников обязательным чтением журналов-учебников подтверждается и их тиражами, которые значительно превосходили тиражи любого из детских журналов тех лет. К примеру, уже первый номер «Юных ударников» (3–4 гр.) в марте 1930 г. вышел тиражом в 100 000 экземпляров, следующие, апрельский и майский, номера увеличили тираж в три раза — до 300 000 экземпляров, а начиная с октября этот журнал-учебник стал выходить тиражом 500 000 экземпляров. Для сравнения: «Пионер» с 1930 по 1934 г. увеличил число экземпляров от 20 000 до 50 000, «Еж» с 1927 по 1929 гг. издавался в количестве от 100 000 до 125 000, а самый массовый детский журнал «Мурзилка» в 1930 г. печатался в 200 000 экземплярах.

Можно уверенно говорить о том, что издание журналов-учебников в начале 1930-х гг. стало крупнейшим советским проектом в области детской и подростковой журналистики. Посредством журналов-учебников, предназначенных для использования в школе, в стране фактически совершалась тотальная институционализация чтения периодики: всех советских детей школьного возраста приучали к регулярному чтению журналов и иницилируемым ими специфическим форматам социальной активности и интерактивности.

### Журналы-учебники как учебники

Итак, каждый выпуск журнала-учебника представлял собой нечто вроде «блокнота агитатора» — небольшой сборник тематически подобранных публицистических и художественных материалов по всем основным направлениям текущей государственной пропаганды. В них изначально полностью отсутствовали учебные материалы, такие как правила и упражнения по арифметике, чтению и грамматике, общие сведения об окружающем мире, изучение которых входило в курс школ I ступени, равно как не было и

---

<sup>26</sup> Ср. хронологический указатель в кн. А. Колесовой: [Колесова: 130].

данных по биологии, географии, истории или объяснения законов физики или химии в изданиях для школ II ступени. Являясь школьными учебными пособиями, журналы-учебники совершили радикальный сдвиг от образовательного наполнения к информационно-пропагандистскому: фактически они были направлены на решение задач не столько всеобщего обучения, сколько политического просвещения школьников всей советской страны.

Надо сказать, что само по себе внедрение в школьные книги текстов воспитательного, в том числе идеологического и политического характера, разумеется, не было чем-то совершенно новым ни для советских, ни для дореволюционных российских учебников. Исключительное место журналов-учебников в истории российского учебного книгоиздания не в пропаганде как таковой, а в том, что они стали первым — и остались единственным — опытом создания школьных учебников, которые не ориентировались на предшествующие образцы учебных пособий, не воспроизводили их устоявшиеся композиционные модели, тематические блоки, типы текстов и заданий. Даже если говорить о первом десятилетии советской власти со свойственным ему пафосом радикального обновления, то после того как в 1918 г. провалилась идея полного отказа от учебника и он был реабилитирован в школе уже с 1919 г., все последующие попытки создать новый советский учебник шли по пути модификации сперва дореволюционных, а затем и первых советских книг для чтения. Новации в каждом новом поколении учебников касались в основном содержания текстов, но не структурных и прагматических характеристик книги. Даже попытка создания взамен книг для чтения для начальной школы совершенно нового, казалось бы, вида учебного пособия — рабочих книг, предпринятая в рамках борьбы с так называемой «словесной школой» и введения комплексного метода обучения, — даже это привело лишь к увеличению количества вопросов и практических заданий в учебных книгах, но не изменило их традиционной формы.

Если что-то и роднит журналы-учебники с книгами для чтения, то это так называемое «сезонно-календарное» расположение тематического материала, ставшее незабываемым композиционным принципом последних с легкой руки К. Д. Ушинского. Так, весенние номера были в основном посвящены подготовке посевных работ, проведению антипасхальной кампании и празднованию 1 мая, а, соответственно, в осенних выпусках помещались материалы о ходе уборки урожая, предстоящих и прошедших празднованиях годовщины Октябрьской революции, зимние включали в себя рассказы о Кровавом воскресенье, о Ленине и Красной армии. Но и это объясняется ориентацией не на традицию учебников для начальной школы,

а на модель периодического издания, использование которой и было призвано обеспечить максимальную «своевременность» материалов, полную синхронизацию учебника с «жизнью страны».

Создатели журналов-учебников не пытались модифицировать то, что существовало до них в сфере учебного книгоиздания. Они изначально пошли по другому пути, создавая не учебник в форме журнала, но журнал, функционирующий как учебник. Именно это сделало советские журналы-учебники уникальным прецедентом учебного издания, ломавшего все представления о форме, содержании и практиках использования школьного учебника.

Однако уже со второго года своего недолгого существования они начали изменяться и отдаляться от изначально задуманной модели, ориентированной на функцию пропагандистского сопровождения школьного образования. Постановление ЦК ВКП(б) от 5-го сентября 1931 г. возвращало в школу преподавание по предметам и постоянное расписание взамен комплексных лабораторных методов [Директивы: 166–167]. Журналы-учебники еще оставались в ходу и по-прежнему позиционировались как наиболее своевременная форма учебной книги, но их назначение становилось двойственным и в большей степени соответствующим их двойному названию: теперь они должны были стать не только просветительско-пропагандистским, но и образовательным инструментом. В марте 1932 г. А. Гноев в статье «Журналы-учебники — на службу новым программам» писал:

Требования, предъявляемые школе новыми проектами программ Наркомпроса, с бьющей в глаза очевидностью показывают, что учебник, которым пользовалась до сих пор школа, не является более боевым орудием. Он не обеспечивает ни системы знаний, ни новых методов работы. Заменить основной учебник на данный отрезок времени должен журнал-учебник. Мы должны предъявлять к нему те же требования, что и к основному учебнику. Мы требуем от журнала-учебника четкого отражения генеральной линии партии, в достаточной степени насыщенного вопросами соцстроительства, и подачи учебного материала в строгой системе и соответствии с программными требованиями, журнал должен обеспечить усвоение учащимися образовательного минимума [Гноев: 62–63].

В связи с этим новыми требованиями в 1931/1932 учебном году содержание и структура журналов-учебников стали заметно смещаться в сторону учебника: появились предметные рубрики «русский язык», «математика», «естествознание», «география» и т. д., в которых помещался соответствующий учебный материал. Кроме того, в начале 1932 г. с подзаголовком «журнал-учебник» вышло несколько разовых изданий, которые

представляли собой сборники учебных материалов и должны были использоваться в качестве временных учебных пособий в преддверии выхода постоянных учебников к новому 1932/1933 учебному году<sup>27</sup>.

После выхода постановления ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1933 г. «Об учебниках для начальной и средней школы» [Директивы: 168], ознаменовавшего переход к системе единых для всей страны стабильных учебников, журналы-учебники прекратили существование как не обеспечивавшие систематического усвоения основ наук. Так завершился последний и, может быть, самый радикальный советский эксперимент в области формы и назначения школьного учебника.

## Литература

Адамович, Яблонская: *Адамович Е., Яблонская Е., Красильников А.* Колхозные ребята: 2-й год. М., 1931. Вып. 1–2.

Александров: *Александров А.* Об учебниках в школах первой ступени // Народный учитель: ежемесячный общественно-педагогический, научно-популярный и библиографический журнал ЦК союза работников просвещения. 1926. № 3 (март).

Алексеева: *Алексеева М.* Советские детские журналы 20-х годов / Под ред. проф. А. Западава. М., 1982.

Асиновский: *Асиновский С.* За новый учебник. Л., 1930.

Волжина: Итоги всесоюзного соцсоревнования ФЗС: Доклад Цекпроса — О. А. Волжина (Доклад, сделанный на Первом Всерос. съезде по политехн. образ. 13 авг. 1930 г.). [М.], 1930.

Г. В.: *Г. В.* Непрерывка в школе и советы содействия // О наших детях. «Работник просвещения». 1929. № 9–10.

Гинзбург: *Гинзбург З.* Непрерывка и дети // О наших детях. «Работник просвещения». 1929. № 11–12.

Гноев: *Гноев А.* Журналы-учебники — на службу новым программам // За коммунистическое воспитание. М., 1932. № 3 (март).

Директивы: Об учебниках для начальной и средней школы // Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании: Сборник документов за 1917–1947 гг. М.; Л., 1947. Вып. 1.

Есипов 1924: *Есипов Б.* О новом учебнике // На путях к новой школе. 1924. № 3 (март).

---

<sup>27</sup> *Борчев А.* Журнал-учебник для третьего года обучения начальной школы. Горький, 1932; *Плетюхин Н., Дертева О.* и др. Журнал-учебник для четвертого года обучения начальной школы. Горький, 1932; *Кусков П., Покусаев Е.* и др. Естествознание: Журнал-учебник для 3 года обучения начальной школы. Саратов, 1932. № 1 и др.

Есипов 1930: *Есипов Б.* О комплекте печатных учебных пособий для школ I ступени // На путях к новой школе. 1930. № 7 (июль).

Жулев 1928а: *Жулев П.* Это надо бы сделать (О школьной книжке газете) // Просвещение: Ежемесячный общественно-педагогический журнал Ленинградского областного отдела народного образования. 1928. № 11(23) (ноябрь).

Жулев 1928б: Знания и навыки в сельской школе: Программы занятий и фактическое их выполнение в школах / Сост. А. Быстров, И. Грацианский, П. Жулев и др. М.; Л., 1928.

Институты управления: Институты управления культурой в период становления 1917–1930-е гг. Партийное руководство; государственные органы управления: Схемы. М., 2004.

Каменев 1925: *Каменев Т.* Комплексный метод и его значение // Каменев Т. Старая и новая школа (Краткий социологический очерк). Свердловск, 1925.

Каменев 1926: *Каменев С.* О новом учебнике // Вопросы просвещения. Ростов н/Д., 1926. № 2.

Колесова: *Колесова А.* Детские журналы Советской России 1917–1977: учебное пособие. Петрозаводск, 1993.

Млиник 1925: *Млиник Р.* Тезисы доклада «Реорганизация школы II-й ступени и ее место в системе народного образования». Ростов н/Д., 1925.

Млиник 1927: *Млиник Р.* Молодая станица: Рабоче-хрестоматийная книга для 2-го года обучения / Н. Бауман, Р. Млиник, Л. Пасынков. Ростов н/Д., 1927.

Морозов: *Морозов В.* За нового автора // Учебно-педагогическая книга. 1931. № 1 (январь).

Новоселов: *Новоселов Ф.* Краеведная книга для 3-го года обучения // Советской школе новый учебник: Сборник № 6 / Под ред. О. Бема, К. Свердловской и В. Шульгина. М., 1926.

Основные принципы: Основные принципы единой трудовой школы. М., 1918.

Пистрак: *Пистрак М.* Политехнизация школы и требования к учебникам (тезисы доклада в Кабинете научной книги) // Учебно-педагогическая книга. 1931. № 1.

Радуцкая: *Радуцкая Т.* О журналах-учебниках // За большевистский учебник. 1931. № 12 (декабрь).

Руфин: *Руфин И.* Литература для работы школьника // Народный учитель. М., 1926. № 3 (март).

Свердлова 1924: Смена: Первая и вторая книга для чтения / Под ред. К. Свердловской. М., 1924.

Свердлова 1926: *Свердлова К.* О работе ГИЗ'а над учебником // Тезисы докладов на Всероссийской конференции по учебной и детской книге 8–15 мая 1926. М., 1926.

Свердлова 1928: *Малютина А., Теряева М.* Советские ребята: Общекомплексная рабочая книга для I года обучения в городской школе / Под ред. К. Свердловской. М.; Л., 1928.

Сенькина 2008: *Сенькина А.* Книга для чтения в 1920-х годах: старое vs. новое // Учебный текст в советской школе: Сб. ст. / Сост. С. Леонтьева, К. Маслинский. СПб.; М., 2008.

Сенькина 2012: *Сенькина А.* Последний авангардный проект советской школы: журналы-учебники 1930–1932 гг. // Отечественная и зарубежная педагогика. 2012. № 4(7).

Соболева: *Соболева М.* Непрерывка в школе // О наших детях. «Работник просвещения». 1929. № 7–8.

Соколов: *Соколов К.* Какой должна быть книга для чтения при новой программе ГУС'а // Народный учитель. 1925. № 5 (май).

Чехов: *Чехов Н.* К истории метода комплексного преподавания // Народный учитель. 1924. № 3 (март).

Шейнберг: *Шейнберг А.* О местной книге // Советской школе новый учебник: Сборник № 6 / Под ред. О. Бема, К. Свердловой и В. Шульгина. М., 1926.

Шульгин: *Шульгин В.* Какая книга нужна школе (Книга не для чтения, а книга для работы) // На путях к новой школе. 1925. № 2.

Эпштейн: Из письма тов. Эпштейна в Госиздат. 10/ I – 1930 г. // Как перестраивается учебная книга. М., 1930.





ЛАРИСА ИЛЬНИЧНА ВОЛЬПЕРТ

30.03.1926 – 1.10.2017





## ПАМЯТИ ЛАРИСЫ ИЛЬНИЧНЫ ВОЛЬПЕРТ

Лариса Ильинична Вольперт прожила большую и яркую жизнь. Она родилась в Ленинграде, и о своей семье — семье известного в городе врача, о детстве, о военных годах, когда в эвакуации ей приходилось работать трактористкой, о знакомстве со своим будущим мужем Павлом Семеновичем Рейфманом, о своей шахматной карьере и о многом другом она оставила живые воспоминания, которые с интересом читаются и будут читаться еще многими поколениями филологов и шахматистов. Л. И. Вольперт соединяла в своем лице выдающуюся шахматистку (в 1954, 1958, 1959 гг. была чемпионкой СССР, в 1955–1961 гг. участвовала в соревнованиях на первенство мира — отсюда ее многолетняя дружба с Виктором Корчным) и ученого-филолога, пушкиниста, лермонтоведа, автора более 200 статей и нескольких монографий («Пушкин в роли Пушкина», «Пушкинская Франция», «Лермонтов и литература Франции»), мимо которых не пройдет ни один специалист по русско-французским литературным связям. Ее статьи выходили в разных городах России, Франции, США, Эстонии, Италии и др. странах.

Л. И. Вольперт окончила отделение романистики Ленинградского университета в 1949 г., там же защитила в 1955 г. кандидатскую диссертацию «Публицистика Жан-Ришара Блока». На изучение русско-французских культурных контактов и творчества Пушкина она переключилась по совету друга студенческих лет Юрия Михайловича Лотмана. Немало способствовала этому и серьезная научная атмосфера на кафедре Псковского пединститута, которой тогда руководил Е. А. Маймин, и где Лариса Ильинична работала с 1962 по 1977 гг. В те годы ей приходилось постоянно курсировать между Тарту, где жила ее семья, и Псковом, где была ее работа. В бытовом плане это было, конечно, очень неудобно, но в научном оказалось плодотворно. И все же, как только в Тартуском университете освободилась вакансия преподавателя зарубежной (т. е. мировой) литературы, она переехала в Тарту. В 1989 г. она защитила в Ленинградском университете докторскую диссертацию на тему «Пушкин и психологическая традиция во французской литературе конца XVIII – первой трети XIX в.», в 1990 г. стала профессором кафедры мировой литературы Тартуского университета, с 1993 г. — профессором-эмеритусом, но еще долго продолжала препода-

давать. На отделении романистики она читала лекции по французской литературе на французском языке, а многим поколениям тартуских студентов-русистов — по «зарубежке», а еще безвозмездно давала желающим уроки французского. Организованный ею студенческий театр «ТЭСТ» надолго превратился в один из центров тартуской студенческой жизни. Ради своего театра Л. И. Вольперт даже стала драматургом и написала пьесу «Семь дней в Дерпте».

Тартуский университет имел все основания гордиться Л. И. Вольперт как шахматисткой — будучи международным гроссмейстером по шахматам, она ежегодно отстаивала честь мужской сборной университета на разных первенствах. Полученные ею за многие годы медали составляют целую коллекцию.

Л. И. Вольперт обладала счастливым свойством объединять людей на добрые дела. Именно благодаря ее воле и энергии был приобретен и подарен библиотеке Тартуского университета бюст Ю. М. Лотмана работы петербургского скульптора Л. Разумовского, она была инициатором основания в Тартуском университете стипендии имени Лотмана, которая начиная с 2002 г. ежегодно выплачивается двум победителям конкурса научных студенческих работ — по семиотике и по литературоведению. Как член международной конкурсной комиссии она всегда первой присылала пространные отзывы на поданные на конкурс работы.

Лариса Ильинична так долго была неотъемлемой частью кафедры, постоянным организатором и вдохновителем многих дел и добрых начинаний, душой веселых капустников, так заражала всех своей удивительной энергией, что после ее ухода образовалась непривычная пустота.

Светлая ей память!

*Кафедра русской литературы*



ВЯЧЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ ИВАНОВ

21.08.1929 – 7.10.2017



## ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА ВСЕВОЛОДОВИЧА ИВАНОВА

Доктор филологических наук, профессор отдела славянских и восточно-европейских языков и литератур Калифорнийского университета, иностранный член Американского лингвистического общества, Британской академии, Американской академии искусств и наук, Американского философского общества, академик РАН, директор Института мировой культуры МГУ, Русской антропологической школы РГГУ — и это далеко не полный список актуальных должностей и званий Вяч. Вс. Иванова. Неоценим его вклад в создание Московско-Тартуской семиотической школы, в проведение Летних школ по вторичным моделирующим системам, в издание «Трудов по знаковым системам». Перечислить сферы его деятельности и предметы научных занятий просто невозможно — от хеттской клинописи, санскрита, реконструкции индоевропейского праязыка, истории балтийских и славянских языков до машинного перевода, математической лингвистики и семиотики, фольклора, антропологии, от асимметрии мозга, истории и теории кино до поэзии Пастернака, Хлебникова, Ахматовой, современного романа и — список можно продолжать еще и еще. Казалось, что он знает решительно все и может обо всем сказать весомое слово. Он автор около 2000 работ, но также и переводов с 18 языков, а его телевизионные лекции и публичные выступления могут составить отдельную библиотеку.

Для тартуского научного и культурного пространства он означал очень многое. Его последний спецкурс в стенах Тартуского университета прозвучал в 1986 году. Он был посвящен Пастернаку.

Ушел один из отцов-основателей, и с этим трудно смириться. Наследие Вяч. Вс. Иванова и его вклад в развитие науки еще будут осмысливать ученые многих поколений.

*Кафедра русской литературы*



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аавик Й. 138, 2  
Адамович Г. 254  
Адамович Е. 332, 339  
Адамсон Й. (Adamson, J.) 289–292,  
296–297  
Адмони Н. 70  
Азарова Н. 8, 38, 122  
Азов А. 44, 50, 199, 219  
Акимова М. 77, 83  
Александр II 272–273, 276  
Александр III 204, 276  
Александров А. 327, 339  
Алексеев В. 130  
Алексеев М. 40, 50  
Алексеева А. 334, 339  
Алексеева И. (Alekseeva, I.) 112–  
113, 119  
Алексей Петрович, царевич 271–  
272, 278, 280  
Алешинцев И. 276, 284  
Алликсаар А. (Alliksaar, A.) 165,  
167–168, 207  
Альвер Б. (Alver, B.) 183, 186, 189,  
193–195, 198, 224, 294, 315  
Альтман И. 38, 81  
Андерсон Б. 287, 296  
Андресен Н. (Andresen, N.) 167,  
200–201, 220, 312  
Андропов Ю. 71  
Аннист А. (Annist, A.) 239–241,  
244, 246, 247  
Антипин В. 73, 84  
Арекеева А. 233  
Аристофан (Aristophanes) 11, 182–  
185, 187, 190–192, 197  
Асеев Н. 44, 122, 124–125, 129, 130  
Асиновский С. 331, 339  
Ассман Я. 296  
Ахматова А. 249, 263–264, 349  
Аэсма М. (Aesma, M.) 223, 234  
Багно В. 249, 264  
Баданов В. 271  
Бажан М. (Bazhan, M.) 54, 66  
Базилевич К. 285  
Байрон Дж. 42–43, 46, 50, 51  
Баллю К. (Balliu, Ch.) 49, 51  
Бальмонт К. (Balmont, K.) 201  
Барнз К. 152  
Барто А. 332  
Басманов М. 123  
Бауман Н. 340  
Бахрушин С. 285  
Бедный Д. 332  
Белая Г. 77, 84  
Белинский В. (Belinsky, V.) 47, 170,  
320  
Белкина М. 252, 264  
Белинстаузен Ф. 244  
Белярминов И. 276, 284  
Белобровцева И. 224–225, 230, 232  
Белоусов И. 333  
Белый А. 262, 264  
Бем О. 332, 340  
Бендер Р. 8, 236  
Беньямин В. 86, 104, 249  
Бер Б. (Baer, B.) 37, 51–52, 66, 83–84  
Бергенгрюн В. (Bergengruen, W.)  
242, 245  
Березовский Ф. 75  
Березовский Ю. 75  
Берзинг А. (Behrsing, A.) 239, 245,  
247



- Берзинг З. (Behrsing, H. S.) 242, 245  
 Берия Л. 253  
 Берман А. (Berman, A.) 50–51  
 Бехер И. Р. 85  
 Бёльль Г. (Böll, G.) 8, 87–88, 95, 99–101, 105, 164  
 Бианки В. 332  
 Благовещенский В. (Blagoweschtschenski, W.) 243, 245  
 Благой Д. 207  
 Блок А. (Blok, A.) 201, 204, 261–262, 264–265, 300–301  
 Блок Ж.-Р. 345  
 Блюм А. 94, 221, 232–233  
 Бодлер Ш. (Baudelaire, Ch.) 10, 248–265  
 Божич Л. 67  
 Болдырев Ю. 53, 59, 66  
 Борисова-Потоцкая И. 332  
 Боровикова М. 10, 251, 264  
 Борчев А. 339  
 Борщаговский А. 68  
 Бранденбергер Д. (Brandenberger, D.) 11, 270, 284  
 Брежнев Л. 89  
 Брехт Б. 85–86  
 Бродский И. 69–71  
 Бродский Н. (Brodski, N.) 297, 318, 322  
 Брун П. (Bruhn, P.) 87, 105  
 Брюсов В. (Brjussov, V.) 138, 151, 153, 201, 209, 249, 300–301, 309  
 Бубер М. 87  
 Бубнов А. 329  
 Булгаков М. 10, 156, 167, 221–235  
 Булгакова Е. 224, 227  
 Бунин И. 138, 152  
 Бурман Л. (Boorman, H. L.) 132, 134  
 Бутчер П. 152  
 Быстров А. 340  
 Бэр К.-Э. фон (Baer, K. E. von) 243–244  
 Вазар М. (Vasar, M.) 137–138  
 Вайжгантас (Vaižgantas) 61–62, 66, 68  
 Валери П. 254  
 Варес Й. 201  
 Варик М. 10, 222, 225–226, 228, 230–232, 234–235  
 Варламов А. 138, 152  
 Васильев С. 68  
 Вахер Л. (Vaher, L.) 60, 66  
 Введенский А. 331–332  
 Вдовин А. 205, 219  
 Вейдеманн Р. (Veidemann, R.) 34, 202, 220  
 Великанов Ю. 332  
 Венути Л. (Venuti, L.) 40, 50  
 Верлен П. 254  
 Веселко А. 12, 322–323  
 Вигдорова Ф. 69–70, 84  
 Вийрес П. (Viires, P.) 138, 141, 150, 153, 314  
 Вильперт Г. фон 236  
 Вильям-Вильмонт Н. 46–47  
 Виноградов В. (Vinogradov, V.) 111, 116–117, 120  
 Виртанен Я. 81  
 Витт С. (Witt, S.) 11, 36–38, 51–52, 63, 66, 79, 84, 199, 219–220, 300, 307–310  
 Вихалем Л. 314  
 Вишневецкая Г. 89  
 Влахов С. 150, 152  
 Волжина О. 47, 331, 339  
 Вольперт Л. 343, 345–346  
 Вольтер Ф.-М. А. 318  
 Воскресенский Д. 128  
 Врангель Ф. 244

- Вулис А. 225  
Вяземский П. 212  
Вяйнасте Ю. (Väinaste, J.) 297, 313–322  
Галчинский К. И. 70  
Галь Н. 99, 104  
Гальперн О. 77  
Гаспаров М. 249, 264, 302, 309  
Гейне Г. 265  
Геллер М. 221, 311, 323  
Генрих Латвийский (Henricus) 243, 245  
Геродот (Herodotus) 11, 183, 194–195, 197  
Герцен А. 70  
Гете И. В. фон (Goethe, J. W. von) 71, 85, 92, 105  
Гинзбург З. 329, 339  
Гитлер А. 88, 92  
Глейд Х. (Glade, H.) 87, 105  
Глушковская Л. 222, 226–228, 233  
Гноев А. 338–339  
Голдинг У. (Golding, W.) 11, 159, 174, 183, 185, 196–197  
Голубева Г. 225, 233  
Горбачев М. 33  
Горбов Д. 77  
Горький М. (Gorky, M.) 73, 85, 94, 170, 301, 317, 320  
Горяева Т. 233  
Готье Т. 254  
Грацианский И. 340  
Грибоедов А. 315, 318  
Григорьев Б. 279, 284  
Грифцов Б. 79  
Гроссман В. 95  
Грудинина Н. 69  
Гудков Л. 287, 296  
Гузаиров Т. 12, 297  
Гумбольдт В. 39  
Гуревич А. 100, 105  
Гюго В. (Hugo, V.) 71, 174  
Даниэль А. 68  
Дарузес Н. 47  
Девекин В. 105  
Демосфен (Demosthenes) 11, 183, 188, 197  
Державин Г. 318  
Дертева О. 339  
Джабаев Д. 320  
Джафаров М. 147, 152  
Дидро Д. 318  
Диккенс Ч. (Dickens, Ch.) 44–45, 47, 174  
Добренко Е. 199, 204, 219  
Добролюбов Н. 277  
Дорман О. 71, 84  
Достоевский Ф. (Dostojevski, F.) 46, 136, 152, 174, 208  
Дубовиков А. (Dubovikov, A.) 300–301, 304, 310  
Дубровский А. 270, 274, 281, 284  
Дэвис Р. 152  
Дюрренматт Ф. (Dürrenmatt, F.) 8, 94, 97–98, 105, 167  
Евтушенко Е. 94  
Есипов Б. 331, 339–340  
Ефименко А. 277, 284  
Ефимов А. 293  
Жданов А. 39, 49, 301  
Жеребин А. 105  
Жид А. 45  
Жирков Г. 221–222, 233  
Жуковский В. 46, 212, 318  
Жулев П. 331, 340  
Завьялов С. 249, 264  
Западов А. 339  
Зегерс А. 86  
Земскова Е. 8, 69  
Зенкевич Е. 84

- Зенкевич П. 77, 79–81, 83  
 Зерчанинов А. (Zertšaninov, A.)  
     317–321, 323  
 Зубкова Е. 299, 309  
 Зусманович И. 75, 82  
 Иван IV 270, 304–306  
 Иванов Вяч. Вс. (Ivanov, V. V.) 29,  
     34, 201, 249, 264, 347, 349  
 Иванов К. 277, 284  
 Илизаров Б. 274, 284  
 Иловайский Д. (Ilowajskij, D.) 273–  
     274, 281, 284–285, 287–288, 296  
 Илус П. (Ilus, P.) 200, 203, 220  
 Ильин М. 332  
 Ингбер М. Г. 74  
 Исаков С. (Issakov, S.) 220, 243, 245,  
     297  
 Казак В. 225, 233  
 Кайданов И. 268, 284  
 Кайк Л. 228  
 Калашникова Е. 71, 84  
 Калда М. (Kalda, M.) 229–231, 234  
 Каменев С. 327, 340  
 Каменев Т. 325, 340  
 Кампманн, П. (Kampmann, P.) 289,  
     291, 295, 297  
 Камовникова Н. 8  
 Кангро Б. 243  
 Капланский Е. 333  
 Каплинский Я. (Kaplinski, J.) 165,  
     208  
 Карабан П. (Шлейман П.) 80, 83  
 Карамзин Н. 205, 276, 318  
 Кареев Н. 276–277, 284  
 Каримо А. 289  
 Карл XII 278–279, 287, 291, 293–  
     294  
 Карцов В. 293, 296  
 Карьяхярм, Т. (Karjahärm, T.) 136,  
     153, 299, 308, 310  
 Кафка Ф. (Kafka, F.) 159  
 Касаткина Н. 77  
 Касекамп А. (Kasekamp, A.) 136,  
     153, 299–300, 309  
 Кассиль Л. 332  
 Кафка Ф. 86, 105  
 Кашкин И. 41–50  
 Кейзерлинг Г. фон 237  
 Кёппен В. (Koeppen W.) 8, 92, 96,  
     102, 105  
 Кивимяэ Ю. (Kivimäe, J.) 240, 245  
 Кизеветтер А. 267  
 Киселева А. 144  
 Киселева Л. (Kisseljova, L.) 12, 142,  
     153  
 Ключевский В. 274–275, 283–284  
 Кобылинский Л. (Эллис) 254, 263  
 Козлов П. 42, 46  
 Койт Р. 313  
 Колесова Л. 324–325, 336, 340  
 Кольцов А. 205  
 Комиссаров В. (Komissarov, V.) 178–  
     180, 198  
 Кон И. 99, 105  
 Конкс Я. (Konks, J.) 291–292, 297  
 Кононова И. 67  
 Корнеев Ю. 100  
 Корнель П. 318  
 Корчной В. 345  
 Косматова Е. 252, 256, 264  
 Коцебу А. фон 244  
 Коцебу О. фон (Kotze-  
     bue, O. von) 244, 246  
 Красильников А. 339  
 Кривцова А. 44, 47  
 Кроа К.-Е. де 287–288  
 Круус О. 207  
 Круус Р. 232  
 Крылов И. 315, 318  
 Крюкова М. 316, 320

- Кубиков И. (Kubikov, I.) 297, 317, 322  
Куудинов М. 209  
Кудряшев М. 100  
Кузмин М. 139  
Кулиев К. (Kuliev, K.) 62, 67  
Кульюс С. 224–225, 230, 232  
Кунина А. 60–61, 67  
Купш-Сазонов С. 10, 229, 233  
Куприн А. 94  
Курлентс А. 141  
Курм М. У. (Kurm, M. U.) 208, 220  
Курфельд Ю. 315  
Кусков П. 339  
Кушнина Л. 225, 233  
Кяйс Й. (Käis, J.) 302–303, 310  
Кярнер Я. 315  
Лаабан И. 207–208  
Лавров А. 249, 265  
Лакшин В. 229  
Ламбле А. 255  
Ланге А. (Lange, A.) 9, 52, 66, 136, 153, 199, 221, 228–229, 234, 300, 310  
Лангеметс А. (Langemets, A.) 229, 233  
Ланн Е. 44–45, 47–49  
Лауфер И. 58, 67  
Лебедев В. 332  
Леберехт Х. (Leberecht, H.) 60, 67  
Левонтин Э. 42–44  
Левый И. 37, 50  
Лейтон Л. (Leighton, L. G.) 51, 72, 84  
Ленин В. (Lenin, V.) 47, 113–114, 116–117, 161, 293–294, 312, 316–317, 320, 337  
Леонтьева С. 340  
Лепик В. 243  
Лермонтов М. (Lermontov, M.) 46, 201, 205, 322, 345  
Лесков Н. (Leskov, N.) 152–153  
Лесскис Г. 224–225, 232–233  
Ли Х. (Lee, H.) 11, 174, 183, 185  
Линаск В. (Linask, V.) 9  
Липкин С. 72  
Литвинова М. 49  
Лозинский М. 40, 47  
Ломидзе Г. (Lomidze, G.) 61, 67  
Ломоносов М. 282, 315–316  
Ломоносовы 138, 152  
Лопухина Е., царица 278  
Лотман М.-К. 11  
Лотман Ю. 11, 15–35, 135, 151–152, 156, 345–346  
Луйк И. 139  
Луков Вл. 252, 265  
Луначарский А. 329  
Лунгина Л. 70–71, 84  
Лукас Л. (Lukas, L.) 237–238, 246  
Маймин Е. 345  
Майронис (Maironis) 61–62, 67  
Макаровский А. 289, 292, 295–296  
Максименков Л. 75, 86  
Малларме С. 254  
Мальтиц А. фон 209  
Малютина А. 340  
Мамедов Д. 64, 67  
Мандельштам Е. 83–84  
Мандельштам О. 260  
Манн Г. 86  
Манн Т. 86  
Мао Цзэдун 8, 122–134  
Маркиш Ш. 252–254, 265  
Марков Г. (Markov, G.) 53, 67, 88, 105  
Маркс К. (Marx, K.) 73, 110–111, 113–118, 281, 293, 312, 317, 320  
Марр Н. (Marr, N.) 46–47, 49, 106–111, 116–119  
Маршак С. 40–41, 44, 47, 69, 122, 124, 129–131, 332

- Маслинский К. 340  
 Маяковский В. 253, 301, 332  
 Мейкин М. 251, 265  
 Мельгунов С. 280–281, 285  
 Мерещковский Д. 140–141, 152  
 Меркель Г. 243  
 Мертельсманн О. (Mertelsmann, O.) 240, 246  
 Мец А. 84  
 Миддендорф А.-Т. фон (Middendorff, A.-T. von) 244, 246  
 Миллер Г. 45  
 Минц З. 140, 152  
 Михалков С. 332  
 Михелевич Е. 88  
 Михня П. (Mihnea, P.) 65, 67  
 Млиник Р. И. 331, 340  
 Молотов В. 97, 240  
 Мольер (Molière) 174, 318  
 Монтичелли Д. (Monticelli, D.) 11, 15, 17, 19, 22, 28, 34–35, 52, 66, 135–136, 153, 199, 220–221, 228–229, 234, 300, 310  
 Моргенштерн К. 244  
 Морозов В. 331, 340  
 Москвин Н. 250  
 Нагибин Ю. 202, 220  
 Найдич Л. 8, 85  
 Нартов А. 278  
 Нейман Л. 332  
 Некрасов Н. (Nekrassov, N.) 10, 201, 205–207  
 Некрыч А. 311, 323  
 Нелюбин Л. 112, 120  
 Немчинова Н. 47  
 Нешумова Т. 83–84  
 Никитин И. (Nikitin, I.) 10, 200–201, 203, 205–207, 220  
 Николаев А. 291, 296  
 Николай I 211, 268, 272, 276  
 Николай II 277  
 Ниязов С. (Туркменбаши) 133  
 Новоселов Ф. 327, 340  
 Нью П. (Nöu, P.) 232, 234  
 Одарченко Ю. 254  
 Олеша Ю. (Oleša, J.) 208  
 Орас А. 315–316  
 Орбелиани Г. 71  
 Оруэлл Дж. 228  
 Осоват А. 267–268, 285  
 Оямаа Л. (Ojamaa, L.) 301–302, 304, 306  
 Оямаа Ю. (Ojamaa, J.) 10, 221–222, 225–230, 234–235  
 Павленко П. 74–75  
 Павлова А. 8, 85  
 Панкратова А. (Pankratova, A.) 281–282, 285, 293–296, 305  
 Панкуль И. Р. фон 278  
 Паррот Г.-Ф. (Parrot, G.-F.) 243–244, 246  
 Пастернак Б. 76, 138, 349  
 Пастернаки 138, 152  
 Пасынков Л. 340  
 Педаяс М. (см. Вазар М.)  
 Перец И. 252  
 Петр I (Peeter Esimene) 9, 12, 140, 267–268, 270–275, 278–283, 285–286, 288, 291–295  
 Петров В. 281, 294  
 Петрова А. 71  
 Петрушевский В. 285  
 Пигарев К. 209, 211, 219  
 Пиальве Э. (Pilve, E.) 314, 323  
 Пиальд Л. (Pild, L.) 7, 9, 12, 142, 151–153, 294  
 Пильтер Л. (Pilter, L.) 217–219  
 Пильщиков И. (Pilshchikov, I.) 34, 38  
 Пистолькорс Г. фон (Pistohlkors, G. von) 241, 246

- Пистрак М. 328, 340  
Платонов С. 275, 277, 281, 285  
Плетюхин Н. 339  
Плисецкая М. 95  
Погодин М. 268, 285  
Погосян Е. 267, 285  
Покровский М. 270, 282  
Покусаев Е. 339  
Поливанов Е. (Polivanov, Y.) 109  
Помм В. (Pomm, V.) 136, 153  
Поникарова Н. 276, 285  
Поплавский Б. 254  
Порфиридов Н. (Porfiridov, N.) 317–321, 323  
Поспелов Н. 317, 323  
Прокофьев С. 249  
Пушкин А. 11, 15, 37, 46, 131, 136, 153, 174, 183, 186, 193–194, 198, 205–206, 224, 261, 268, 294, 314–316, 318–320, 322, 332, 345  
Пфеффель (Дернберг) Э. фон 212–213  
Пэрк А. 291  
Пярли Ю. (Pärli, Ü.) 204, 220  
Пятигорский А. (Pjatigorskij, A.) 34  
Раабэ Т. 291–292, 295–296  
Радищев А. 314–315  
Радуцкая Т. 332, 340  
Разумовский Л. 346  
Райхин Д. 317, 323  
Расин Ж.-Б. 318  
Рауд А. 305, 306  
Рауд М. 315  
Ревзин И. (Revzin, I.) 179, 198  
Рейал Г. 301  
Рейфман П. 345  
Рецкер Я. (Retsker, Y.) 178–179, 198  
Риббентроп И. фон 97, 240  
Рийсмаа К. (Riismaa, K.) 202  
Рильке Р. М. 249, 265  
Рогинский А. 267, 285  
Рождественский С. 276–279, 282, 285, 287–288, 297  
Ромашко С. 104  
Ромм А. 80  
Россельс В. 37, 50, 63, 67  
Ростан Э. 249  
Ростропович М. 89, 227  
Рот Й. (Roth, J.) 87, 105  
Румер О. 77  
Руммо П. (Rummo, P.) 63–64, 67  
Руссо Ж.-Ж. 318  
Руссов Б. (Russow, B.; Rüssow, B.) 243, 245–246  
Руфин И. 327–328, 340  
Рылеев К. 318  
Саар А. (Saar, A.) 60, 67  
Савицкий С. 83–84  
Сало В. (Salo, V.) 243, 246  
Самма Ольга (Samma, Olga) 53, 171  
Самма, Отто (Samma, Otto) 9, 158–171, 181–182, 198, 226  
Санг А. 227, 315  
Сарнов Б. 270, 285  
Сартр Ж.-П. 45  
Сатыбалдиев А. (Satybaldiev, A.) 54, 64, 68  
Саул А. 317  
Свердлова К. Т. 325–326, 331, 340–341  
Северин Е. (Severin, J.) 300–301, 304, 310  
Севортян Э. (Sevortjan, E.) 111, 120  
Седерберг А. Р. (Cederberg, A. R.) 290, 297  
Седых А. 152  
Сельмет А. 322  
Семпер Й. (Semper, J.) 66, 135, 153, 300, 310, 315

- Сенькина А. 12, 324–325, 328, 340–341
- Сеппель Л. (Seppel, L.) 10, 200–202, 207, 213, 215–220
- Сёэт Б. (Sööt, B.) 297, 313–322
- Сикорский Н. 233
- Силлаотс М. (Sillaots, M.) 308
- Симонов К. (Симонов, К.) 157, 225, 227
- СИМОНОВ Н. 281
- Синеок А. 86, 105
- Синь Цици 133
- Сирге Р. 301, 306–307
- Смит А. (Smith, A.) 252–253, 265
- Соболева М. 329
- Соколов А. 68
- Соколов К. 326, 341
- Соколова Т. 252–253, 256, 265
- Солженицын А. (Solzhenitsyn, A.) 87, 89, 161–162, 229
- Соловьев С. (поэт) 209
- Соловьев С. (историк) 272–275, 283, 285–286
- Сологуб Ф. (Sologub, F.) 138, 201
- Софокл (Sophocles) 11, 182–186, 188, 198
- Софья Алексеевна, вел. княжна 273, 278
- Сталин И. (Stalin, I.) 8, 11, 46, 50, 71–72, 82–83, 86, 88, 92, 106–111, 113–118, 120, 133, 241, 270, 274, 281–282, 293–294, 299, 312, 320
- Стальский С. 320
- Станевич В. 105
- Стаханов А. 81
- Степанищева Т. 10
- Степун Ф. 140, 152
- Стражев В. 317, 323
- Стругацкий А. (Strugatski, A.) 167, 208
- Стругацкий Б. (Strugatski, B.) 167, 208
- Су Ши 133
- Суворов А. 43, 46
- Суйтс Г. (Suits, G.) 239
- Сурков А. (Surkov, A.) 122, 157
- Сухотин В. (Sukhotin, V.) 111, 120
- Сютисте Э. (Sütiste, E.) 11, 135, 153
- Тай Цзу (Тай Цзун) 126, 128
- Тамм А. (Tamm, A.) 221–222, 226–228, 234
- Тамм Я. 315
- Тарковский А. 72
- Тарсис В. 77
- Тархов В. (Tarkhov, V.) 179, 198
- Твардовский А. (Tvardovsky, A.) 157, 227
- Тевекелян Д. 226
- Тедер Ю. 314
- Теряева М. 340
- Тименчик Р. 252
- Тимофеев Л. (Timofejev, L.) 300–301, 310
- Тихонов Н. 76
- Толстой А. Н. (Tolstoi, A. N.) 9, 135–151, 294, 299–310
- Толстой Л. (Tolstoi, L.) 136, 153, 204–205
- Тоом Л. 63
- Тооминг О. (Tooming, O.) 60, 68
- Тоомла Я. (Toomla, J.) 220–221, 223–224, 235
- Топер В. 77
- Топер П. 36–37, 47, 50
- Топоров В. (Торогов, V.) 34, 249, 265
- Тороп П. (Тогор, P.) 25–26, 34–35, 51, 135–136, 138–139, 153, 300
- Травин Н. 332
- Трубников С. 58, 68

- Трунин М. (Trunin, M.) 34, 38  
Трыков В. 265  
Туглас Фр. (Tuglas, Fr.) 9–10, 135–151, 223, 294, 301–306, 308–309  
Туглас Э. (Tuglas, E.) 137, 154  
Тулик А. 212  
Тумас Ю. (Tumas, J.; см. Вайжгантас)  
Тургенев И. 46, 139, 144, 152, 316  
Туркменбаши (см. Ниязов С.)  
Тырков В. 252, 265  
Тютчев Ф. (Tjuttshev, F.) 10, 199–222  
У-ди 126  
Ундуск Я. (Undusk, J.) 236–238, 240–241, 243, 247  
Усов Д. 82, 84  
Успенский Б. (Uspensky, B.) 26, 34–35  
Устрялов Н. 271–272, 285  
Ушинский К. 337  
Уэллс Г. (Wells, H. G.) 141–142  
Фадеев А. 301  
Факторович Е. 105  
Фегезак З. фон (Vege-sack, S. von) 239, 248  
Федоренко Н. 123, 134  
Федоров А. (Fedorov, A.) 39–41, 44, 49, 106–107, 109, 112–115, 118, 120–121, 177–178, 198, 308–309  
Фейхтвангер Л. (Feuchtwan-ger, L.) 86, 105, 174  
Ферро М. 287, 297  
Фет А. (Fet, A.) 10, 200–201, 203, 205–207, 209–210, 212, 216, 220  
Фитингоф Г. 332  
Фицпатрик Ш. 72–73, 75, 84  
Флорин С. 150, 152  
Фолкнер У. 45  
Фонвизин Д. 315, 317  
Фонова Е. 255, 265  
Фохт А. 285  
Фридберг М. (Friedberg, M.) 72, 84, 300, 310  
Фурман Э. 252  
Хармс Д. 332  
Хемингуэй Э. 49  
Хидель Л. (Hiedel, L.) 155–156, 158–159, 161, 163–165, 168–169, 173, 208, 242, 245  
Хинт А. (Hint, A.) 60, 68  
Хлебников В. 349  
Ходасевич В. 255  
Хрущев Н. (Khrushchev, N.) 33, 174  
Хуан 126  
Хухуни Г. 112, 120  
Цао Цао 128  
Цветаева М. 10, 248–265  
Цюй Юань 123  
Чаадаев П. 314  
Чан Кайши 128  
Чарушин Е. 332  
Черная Л. 87, 104  
Чехов А. (Tshehkov, A.) 136, 146, 153, 204  
Чехов Н. 325, 341  
Чижев Е. 133–134  
Чингисхан 126  
Чудакова М. 224, 233  
Чуковский К. (Chukovsky, K.) 44, 69, 112, 121  
Шаблиовский П. 317, 323  
Шалашова З. 67  
Шапарина О. 276, 285  
Шапер Э. 243  
Шапир М. 77, 83  
Шахова А. (Shakhova, A.) 8, 106  
Шварц Е. 332  
Шеин А. 273  
Шейнберг А. 327, 341  
Шекспир У. 71



- Шенгели Г. (Shengeli, G.) 41–46,  
48–49, 51, 77, 83
- Шервинский С. 40
- Шереметев Б. 288, 291, 295
- Шестаков А. (Šestakov, A.) 11, 293–  
294, 297, 305
- Шихуан (см. Хуан)
- Шишко Л. 279–280, 285
- Шлейермахер Ф. 39, 49
- Шлейман П. (см. Карабан П.)
- Шолохов М. 301
- Шор Т. 297
- Шоррокс Л. 152
- Шостакович Д. 82, 94
- Шульгин В. 326, 340–341
- Шульц Г.-Ю. фон (Bertram-Schulz;  
Schulz, G. J. von) 243, 245, 247
- Эверс Г. фон 244
- Эйдельман Н. 271, 285
- Эйдлин Л. 123–129, 131
- Элис (см. Кобылинский Л.)
- Энгельс Ф. (Engels, F.) 113–114, 312
- Эпштейн М. 329–330, 341
- Эралиев С. 61, 65, 68
- Эрельт Т. (Erelt, T.) 202, 220
- Эрмель А. 228
- Эткинд Е. (Etkind, E.) 64, 69–71, 84
- Эфрон Г. 254, 265
- Эхин А. (Ehin, A.) 10, 200–202,  
206–213, 215–220
- Эхин К. (Ehin, K.) 202–203
- Югова Е. 225, 233
- Юрчак А. (Yurchak, A.) 7, 155, 173
- Яблонская Е. 332, 339
- Якобсон Р. 38, 51
- Яковлева М. (Yakovleva, M.) 180–  
182, 198
- Ян Сяобинь 132
- Ярхо Б. 77–78, 83
- Adams, V. 194, 197
- Aksakov, S. 170
- Alecsandri, V. 61
- Alexander I 246
- Alisher Navai (Ali-Shir Nava'i) 62,  
160, 167
- Andreev, V. 65
- Andrzejewski, J. 167
- Annist, A. 193, 197
- Annus, E. 311, 323
- Anouilh, J. 167
- Antokol'skii, P. 63–64
- Arakcheev, A. 111
- Arosev, A. 161
- Aspel, A. 141, 152
- Asson, E. 289, 297
- Avanessov, R. I. 117
- Ayme, M. 162
- Azarov, V. 64
- Babel, I. 161
- Bally, Ch. 35
- Barkhudarov, L. 178
- Barthes, R. 34, 35
- Bassnett, S. 115, 119
- Baudouin de Courtenay, J. N. I. 111
- Becker, E. 116
- Beider, K. 65
- Bellow, S. 167
- Beniuševičiūtė-Žymantienė, J. (Že-  
maitė) 62
- Bezzubov, V. 161, 208
- Birus, H. 105
- Birze, M. 167
- Blažková, J. 167
- Blumfelt, E. 245
- Boklund-Lagopoulou, K. 35
- Bolstad, Ø. 167
- Bonwetsch, B. 246
- Bourdieu, P. 166, 173
- Brecht, B. 164

- Broeck, R. van den 153  
Bruche-Schulz, G. 111, 119  
Bulahovskij, L. 117  
Burnett, L. 37, 51, 84  
Camus, A. 164  
Capote, T. 167  
Chemodanov, V. 109  
Chernov, I. 156  
Chesterton, G. K. 167  
Chevelikhin, A. 64  
Christie, A. 167  
Čikobava, A. S. 106, 109, 116  
Čornyh, P. 117  
Creangă, I. 61  
Crisafulli, E. 176, 197  
Danesi, M. 17–18, 37–38  
Dante Alighieri 159  
Darbelnet, J. 175, 198  
Derrida, J. 34–35  
Derzhavin, V. 64  
Diktonius, E. 167  
Dizdar, D. 110, 119  
Drabkina, E. 158–159  
Druon, M. 167  
Dubov, N. 170  
Efron, A. 64  
Eggeling, W. 110–111, 119  
Ehrenburg, I. 157  
Eisen, F. 310  
Ermolaev, H. 221–234  
Erren, L. 110, 119  
Euripides 198  
Evdokimov, N. 167  
Even-Zohar, I. 115, 119, 135, 153  
Evseeva, S. 64  
Eysenck, H. J. 164  
Ezeriņš, J. 167  
Fairclough, N. 38, 51  
Faulkner, W. 164–165  
Favre, A. 245  
Ferdowski 61  
Gamarra, P. 162  
Gambier, Y. 225, 234  
Gandhi, M. 164  
Gentzler, E. 119  
Godley, A. D. 197  
Gornung, B. V. 117  
Gottdiener, M. 35  
Grabbi, H. 166  
Green, G. 162  
Greiffenhagen, O. 245  
Grin, A. 169–170  
Guimard, P. 162  
Günther, K. 116  
Hagemann, S. 120  
Hamel, M.-J. 198  
Hammer, B. 117  
Harmel, M.-J. 175  
Harris, R. 35  
Hartmann, A. 110–111, 119  
Harvey, K. 175–177, 197  
Hasdeu, B. P. 61  
Hašek, J. 164  
Hatim, B. 175–176, 197  
Havel, V. 156, 167  
Hervey, S. 175–177, 197  
Herzberg, J. 247  
Hiedel, E. 169  
Higgins, I. 175–177, 197  
Hindrey, K. A. 167  
Hoenecke, B. 243, 245–246  
Holmes, J. S. 153  
Homer 194  
Hoopes, J. 35  
Hull, R. 164  
Ibáñez, V. B. 167  
Iliste, I. 163  
Ivanov, Vs. 161  
Jacobs, S. 109, 119  
Janonis, J. 62

- Johansen, P. 243, 245  
 Kaalep, A. 182, 197–198  
 Käbin, J. 167  
 Kaljundi, L. 240, 246  
 Kall, T. 220  
 Kapancjan, Gr. 116  
 Kaufman, B. 167  
 Kezhun, B. 64  
 Khotimsky, M. 249, 252, 265  
 Kidron, A. 161  
 Kilpi, V. 167  
 Kindlam, E. 309–310  
 Kirchner, G. 117  
 Klaudy, K. 176–177, 197  
 Kleis, R. 183, 188, 194, 197, 245  
 Knorre, F. 170–171  
 Knüppfer, A. 245  
 Kochetkov, A. 64  
 Köhler, R. 117  
 Kohn J. 197  
 Kornilov, V. 64  
 Koskinen, K. 225, 234  
 Kruus, H. 246, 289  
 Krysztofiak, M. 119  
 Kuczynski, J. 116, 120  
 Kudu, E. 246  
 Kuhn, Th. S. 107–109, 120  
 Kull, K. 34–35  
 Kumer-Haukanõmm, K. 246–247  
 Kurs, A. 246  
 Kurs, O. 246  
 Kurtna, A. 177, 198  
 Kurvits, Ü. 246  
 Kuuli, O. 157, 173  
 Kuznetsov, A. 171  
 Kyrklund, W. 167  
 Laanes, E. 240, 246  
 Laar, M. 240, 246  
 Lagerkvist, P. 167  
 Lagopoulos, A. Ph. 35  
 Lambert, J. 153  
 Lang, P. 51  
 Langemets, M. 220  
 Lapsui, L. 65  
 Leesment, L. 163  
 Lefevere, A. 110, 115, 119, 120  
 Lenhoff, G. 34  
 Leopardi, G. 35  
 Lepik, H. 164  
 Levonevskii, D. 64  
 Lidin, V. 171  
 Liias, P. 34  
 Liidja, M. 220  
 Liiv, Jakob 63  
 Liiv, Juhan 63  
 Liiv, T. 139, 153  
 Liivaku, U. 229, 234  
 Liivamets, M. 222, 227–229, 234  
 Loughridge, M. 176–177, 197  
 Lounaja, H. 167  
 Lundkvist, A. 167  
 Lygo, E. 37, 51, 84  
 Maffeis, S. 116, 120  
 Mägiste, J. 245  
 Maimik, P. 223, 234  
 Mačiulis, J. (see Майронис)  
 Mamers, O. 169–171  
 Mamers, Otto 171  
 Mamers, T. 171  
 Manteuffel 244  
 Marshak, S. 170  
 Masing, U. 163, 171, 174, 183, 185,  
 198  
 Mason, I. 175–176, 197  
 Matsulevitš, T. 245  
 Mauric, F. 164  
 Menzel, B. 112, 119, 120  
 Meri, L. 162  
 Meri, V. 164  
 Meriste, H. 229, 234

- Meshchaninov, I. 109  
Metsar, L. 165  
Miller, A. 158–159  
Moldo Kylych 61  
Möldre, A. 158, 173  
Móricz, Z. 167  
Mossop, B. 106, 109, 120  
Muravin, G. 221, 234  
Must, A. 239, 246  
Negruzzi, C. 61  
Negruzzi, I. 61  
Nesin, A. 167  
Neumann, B. 112, 120, 287  
Neumann, I. 297  
Nexø, M. A. 167  
Nizami Ganjavi 61  
Nossack, H.-E. 167  
Nünning, A. 112, 120  
Oengo, J. 169  
Okudzhava, B. 168  
Olesk, S. 136, 153, 155, 171, 173,  
308, 310  
Ollson, T. 139, 153  
Omar Khayyam 61  
Öpik, A. 170  
Öpik, O. 169–170  
Osborn, J. 162  
Paloposki, O. 225, 234  
Passetski, V. 244, 246  
Peirce, Ch. S. 16, 35  
Perec, G. 167  
Peter, L. J. 164  
Petrovykh, M. 64  
Pilnyak, B. 161  
Pöder, R. 170  
Pohlan, I. 112, 119, 120  
Pomerantsev, V. 157  
Ponomarjova, G. 232, 234  
Priidel, E. 221, 234  
Putman, R. 172  
Rajamets, H. 159  
Rajandi, H. 183, 185, 196–197  
Ränesoo, J. 166  
Rauch, G. von 240, 243, 246  
Raud, R. 155, 172–173  
Raud, V. 183, 185, 198  
Rea, D. 167  
Reimann, V. 291, 295, 298  
Rommelgas, L. 157  
Renner, J. 243, 246  
Ribillard, J. 167  
Riedlinger, A. 35  
Rosenberg, T. 247  
Rozhdestvenskii, V. 64  
Rudaki 61  
Ružička, R. 117  
Saadi Shirazi 61  
Sager, J.-C. 175, 198  
Said, E. W. 107, 112, 120  
Saluäär, A. 222, 234  
Salupere, S. 34–35  
Samoilov, D. 64  
Sarv, N. 162–163  
Saussure, F. de 18–19, 35  
Schaper, E. 242, 246  
Schippel, L. 37, 51  
Schmuul, J. 157, 173  
Schulz, T. 116, 120  
Schütz, J. 117  
Schweizer, A. 178  
Sebeok, Th. A. 17–18, 38  
Secheyay, A. 35  
Semjonova, O. 189–190, 198  
Sepamaa, H. 182, 198  
Sepp, R. 245  
Serebrennikov, B. 117  
Severianin, I. 64  
Shakespeare, W. 159  
Sherry, S. 158, 173  
Shukman, A. 34

- Shumakov, J. 63–64  
Sipyaghina, K. 170–171  
Sirk, Ü. 163  
Smirnov 114  
Soms, I. 34  
Soosaar, E. 170, 173  
Sridhar, K. K. 54, 66  
Steinbeck, J. 174  
Steinitz, W. 116, 120  
Stock, D. 246  
Stock, H. 246  
Storr F. 198  
Stout, R. 167  
Susam-Sarajeva, S. 107, 115, 120  
Suuman, A. 207  
Svetlov, M. 64  
Szatmári, P. 197  
Szczypiorki, A. 165  
Szegedy-Maszák, M. 57, 65–66  
Takács, D. 197  
Tallmeister, E. 245  
Tamm, T. 223, 234  
Tammaru, T. 246–247  
Tammiksaar, E. 244, 247  
Tammsaare, A. H. 160  
Tarvel, E. 245  
Teder, E. 160  
Teimur, M. 171  
Torpats, Ü. 182, 197–198, 244  
Tóth, S. S. 167  
Toury, G. 172–173  
Traat, A. 244, 247  
Tungal, L. 207  
Under, M. 167  
Ushinsky, K. 170  
Vahtre, S. 245  
Valton, A. 167, 221, 235  
Vaska, V. 166  
Veske, M. 63  
Veskimägi, K.-O. 221, 235, 248  
Villandi, V. 164  
Vinay, J.-P. 175, 198  
Vroon, R. 34  
Walton, E. W. 188, 198  
Wanner, A. 255, 265  
Watson, J. D. 164  
West, M. L. 188–189, 198  
Yasnov, M. 65  
Žemaitė (see Beniuševičiūtė-Žyman-  
tienė, J.)  
Zikmund, H. 116–117  
Zur Mühlen, O. von 243, 247  
Zwischenberger, C. 37, 51

## KOKKUVÕTTED

### Tõlkestrateegiad ja riiklik kontroll

#### Modelleerimisest tõlkimatuseni: tõlkimine ja semiootiline suhe J. Lotmani töödes (1965–1992)

Daniele Monticelli (Tallinn)

Artikkel uurib *tõlke* mõiste kasutamist Juri Lotmani töödes eri etappidel, keskendudes semiootilise suhte mõtestamisele ja olulistele muutustele selle käsitlemises. Lotmani ja Tartu-Moskva koolkonna esimesed semiootikaalased tööd mõtestavad semiootilist suhet kui suhet modelleerivate süsteemide (keelte) ja keelevälise reaalsuse ning erinevate modelleerivate süsteemide vahel. 1960. aastatel mõtestatakse süsteemidevahelisi suhteid peamiselt hierarhilisena — primaarsed ja sekundaarsed süsteemid. Kultuurisemiootika teoreetiliste aluste väljatöötamisega 1970. aastate alguses muutub arusaam süsteemidevahelisest suhtest järjest horisontaalsemaks ja kultuuri mõistetakse kui kõrvuti asuvate *süsteemide süsteemi*. 1980. aastatel jõuab Lotman välja *semiosfääri* mõisteni, mis käsitleb kultuurilist süsteemide süsteemi kui semiootilist kontiinumit, milles toimub inimkommunikatsioon. Semiootilist kontiinumit iseloomustavad heterogeensus ja poliüglotism. Kommunikatsioon võtab seega semiosfääris süsteemidevahelise liikumise ehk tõlke kuju. Lotmani viimastes töödes muutubki tõlge kultuuridünaamika ning mõtlemise universaalseks mehhanismiks. Kultuurikeelte heterogeensus ning sellega seotud pinged tõlke ja tõlkimatus vahel tekitavad uusi ennustamatuid tähendusi, mis tagavad kultuuris muutuse ja uudsuse.

#### „Nõukogude tõlkekoolkond“ ja selle mõiste ajalooga seonduv

Susanna Witt (Stockholm)

Nõukogude tõlkekoolkond oli nõukogude kultuuri ametlik uhkus, peaaegu sümbol, mis olulisel määral säilitas oma prestiiži ka nõukogudejärgsel ajal nii Venemaal kui ka piiri taga. Hoolimata sellest, et mõistel on oluline koht nõukogude tõlkeajaloos, on see küllaltki laialivalgub. Sageli mõistetakse siin

nõukogudeaegse tõlkepraktika ja -teooria saavutusi üldiselt, mõnikord aga teatud osa tõlgetest, mis vastavad teatud kriteeriumitele. Artiklis uuritakse nõukogude tõlkekoolkonna mõiste kujunemist, mis sai alguse tõlkijate ühenduse enesevaatluse kontekstis esimesel sõjajärgsel kümnendil (pärast 1945. aastat). Arhiivi- ja ajakirjandusliku materjali baasil analüüsitakse diskursusi, mille terminite kaudu see üldmõiste konstrueeriti. Seejuures pööratakse tähelepanu protsessi võimalikele tagajärgedele tõlkeloo arengu vaatepunktist.

## Teadlikkus paratamatusest — rahvuskirjanduste tõlkimine Nõukogude Liidus

Natalia Kamovnikova (Peterburi)

Artikkel kirjeldab detailselt tõlkimise olukorda Nõukogude Liidus aastatel 1960–1980. Vene keelde, Nõukogude Liidus domineerivasse keelde tõlkimine oli autori tunnustamise eeltingimus. Hoolimata Nõukogude Liidu konstitutsiooniga ametlikult sätestatud mitmekeelsusest, oli peamine keel riigis vene keel. Näiliselt vaba valik tõlkida oma töö vene keelde oli tuntud nn teadliku paratamatusena — vahendina oma kirjandusliku tuleviku kindlustamiseks. Teadliku paratamatuse alternatiiv oli piirduda oma rahvuskeelse lugejaskonnaga ja — teades lugejate arvu — unustusse vajuda. Joonistamaks selgemat pilti kirjanduse ja tõlkimise olukorrast, sisaldab artikkel andmeid 1959. ja 1970. aasta rahvaloendusest Nõukogude Liidus, nõukogude publikatsioonide ametlikust statistikast, publikatsioonide keelest ja avaldatud tõlgetest. Artiklis vaadeldakse tõlkimiseks ja õpetamiseks mõeldud rahvuskirjanduste soovituslikke nimekirju Nõukogude Liidus. Regulaarselt avaldatuna, toimetajate, tõlkijate ja õpetajate loetuna, panustasid need rahvuskirjanduste üldise pildi kujundamisse ning üksikute rahvusautorite väärtuse määramisse globaalses nõukogude kontekstis. Rahvuskeelele ja -kirjandusele vaadati tihti ülalt alla kui nn sõsarkeelele ja -kirjandusele, mis iseloomustas nende alluvuspositsiooni nõukogude *lingua franca* suhtes. Taoline hoiak muutis tasapisi kirjanduslikku lähenemist rahvuskirjandusele ja tõlkepraktikat. Näiteks reaalse tõlke kasutamine, mida peeti nõukogude aja alguses ajutiseks meetmeks, jätkus aktiivselt ka aastatel 1960–1980: seda edendasid ametlikud institutsioonid ja üksikud rahvusluuletajad, -kriitikud, -antoloogiad ja -tõlkijad, kes hakkasid aktsepteerima reaalseid tõlkeid osana kirjanduslikust reaalsusest, tunnustades neid kui vältimatuid astmelaudu paremasse kirjandustulevikku. Seetõttu oli vene keele püsiv edenemine kirjanduses ja tõlkimises tõsiasi, millega rahvuskirjanikud,

-luuletajad, -kriitikud ja -kirjastajad pidid leppima, et kindlustada oma olemasolu nõukogude kirjanduse ja trükis avaldamise kontekstis.

## Õigus kirjanduslikule kodakondsusele — tõlkijad 1930. aastate kirjandusbürokraatias

Jelena Zemskova (Moskva)

Artikkel on pühendatud Nõukogude Liidu kirjanike liidu tõlkijate sektsiooni loomisele ja tööle 1930. aastatel. Artiklis näidatakse, kuidas ja millistel tingimustel hakkas ilukirjanduse tõlkimine muutuma 1930. aastatel kirjandusliku tegevuse eriliigiks. Laiendades Sheila Fitzpatricki väljapakutud kontseptuaalset mõistesüsteemi nõukogude kirjanduse ajaloole, jõuab autor järeldusele, et Nõukogude Liidu kirjanike liidu bürokraatiamasin muutis võimalikuks tõlkijatele kui mitte kõige usaldusväärsematele ühiskonnaliikmetele nn loominguliste töötajate seisuse omistamise.

## Nõukogude lugeja jaoks keelatud teemad

Larissa Naiditš, Anna Pavlova (Jeruusalemm, Mainz)

Artiklis esitatakse tsensuurikeelu andmed saksakeelsete autorite ilukirjandusteoste tõlkimisel vene keelde nõukogude ajal. Sissejuhatavas osas tuuakse näiteid tõlgitavate tekstide valimise motiivide kohta. Üks nendest on ülemaailmse kirjanduse raamatukogu loomise idee, millele seisid vastu ideoloogilised keelud. Edasi räägitakse aastatel 1920–1930 Nõukogude Liidus viibinud välismaiste autorite Lion Feuchtwangeri, Joseph Rothi ja Walter Benjamini mälestustele toetudes sellest, millised raskused tekkisid nõukogude raamatulugejani jõudmisel. Isegi kui üldkokkuvõttes oli tõlge lubatud, ei tohtinud mõningaid tekstiosid avaldada. Niimoodi tekkisid tekstikärped ja moonutused, mõnikord kõrvaldati terveid süžeeliine. Keelatud teemasid oli mitmeid. Esiteks, ideoloogilistel põhjustel keelatud väljaütlemised, kaasa arvatud ajalooliste sündmuste interpreteerimise elemendid; teiseks, juutluse teema: tihti kustutati tõlgetest holokaustist ja juutidest rääkivad tekstifragmendid (soovimatud ja isegi lubamatud olid need ka nõukogude autorite teostes), mille põhjuseks oli riiklik antisemitism Nõukogude Liidus; kolmandaks, asendused nendes tõlgetes, mis olid seotud kiriku hävitamisega Nõukogude Liidus ja ateismipropagandaga, isegi sõna *kristlus* tuli kasutada nii vähe kui võimalik; neljandaks, seksi,



füüsilist lähedust kirjeldavad stseenid ja seda eriti ebatraditsioonilise seksuaalse orientatsiooni puhul. Silmakirjalikkus, nõue mitte lubada nn sündsusetuid olukordi ja vastavate sõnade kasutamist viis tervete lehekülgede mahatõmbamiseni. Artiklis analüüsitakse Heinrich Bölli, Wolfgang Koeppeni ja Friedrich Dürrenmatti teoste tõlkeid.

## Paradigma vahetus nõukogude keele- ja tõlketeaduses — keeleteadusliku diskussiooni juhtum

Anastasia Šahhova (Mainz)

Artikli eesmärk on juhtida tähelepanu teadusdistsipliinide arengut mõjutavatele poliitilistele ja ideoloogilistele faktoritele. Artikkel keskendub nn keeleteadusliku diskussiooni tagajärgedele. Termin viitab paljudele nõukogude teadlaste poolt 1950. aastal ajalehes Pravda avaldatud artiklitele. Üks kõige paljutähenduslikumaid panuseid keeleteaduslikku diskussiooni oli Stalini essee „Marksism ja keeleteaduse küsimused”, milles riigipea eitas keele klassiseloому ja kritiseeris tol ajal üldtunnustatud Marri keeleteaduse teooriat. Stalini sekkumine teaduslikesse aruteludesse põhjustas keeleteaduses paradigma vahetuse ja mõjutas noort nõukogude tõlketeadust. Keeleteadusliku diskussiooni jälgi võib leida ka Ida-Saksa keeleteaduslikus diskursuses.

Artiklis kirjeldatakse ja analüüsitakse keeleteadusliku diskussiooni juhtumit Kuhni teadusrevolutsiooni mudelist lähtuvalt. Keeleteadusliku diskussiooni ideid peetakse anomaaliaks, mis viis paradigma vahetuseni. Väidetakse, et kuigi Stalini essee oli mitteprofessionaalset võimuesindaja sekkumine teaduse arengusse, olid järgneval paradigma vahetusel nii teadusliku kui ka mitteteadusliku revolutsiooni tunnused. Nõukogude teadlaste publikatsioonide analüüs näitab, kuidas mõjutasid keeleteadusliku diskussiooni tagajärjed keeleteaduse diskursust. A. Fjodorovi monograafia analüüs näitab, milliseid keeleteadusliku diskussiooni jälgi võib leida tõlketeaduse diskursusest. Lõpetuseks analüüsitakse keeleteadusliku diskussiooni ideid Saidi reisiteooria mudelist lähtuvalt, et uurida, kuidas need olid selektiivse tõlkimise kaudu esindatud Ida-Saksa keeleteaduslikus diskursuses.

## Mao Zedongi luuletused ja nende tõlgete saatus Venemaal

Natalja Azarova (Moskva)

Artiklis vaadeldakse Mao Zedongi luule retseptiooni 1950. aastate nõukogude tõlke- ja kirjandusteaduslike suuniste kontekstis ning selgitatakse põhjuseid, miks Mao — üks läänes kõige enam loetud ja tõlgitud Hiina poeete, kes on mõjutanud mitut uuemat Hiina luuletajate põlvkonda — on vene lugejale peaaegu tundmatu. Olukord Mao luule kontekstis on ühest küljest tajutatav kognitiivsetes raamides — „idamaade diktaator, kes kirjutab luuletusi”. Teisest küljest olid Mao kui esteedi ja formalisti luuletused, mida ta kirjutas vanahiina kirjakeeles vana vormi ja kõnekeelt julge novaatorina kombineerides, vastuolus rahvalikkuse, mõistetavuse ja eksplitsiitsuse ideoloogiliste kriteeriumitega, millest lähtuvad kommentaatorid ja tõlkijad. Võitlus formalismi vastu nägi ette Mao luuletuste formaalse täiuslikkuse ignoreerimise, sest tema luulele vaieldamatult omase vormi imetlemine oleks tulnud kuulutada kodanlikuks estetiismiks, mis ei saanud vastata kanoonilisele kujutlusele kommunistlikust liidrist.

## Tõlkimine kui interioriseerimine: Fr. Tuglas A. Tolstoi romaani „Peeter Esimene” tõlkijana

Lea Pild (Tartu)

Artiklis analüüsitakse Fr. Tuglase tõlkestrateegia kujunemist pärast 1940. aastat, eesti kultuuri sovetiseerimise ajal. Võrreldakse A. Tolstoi romaani peamisi narratiivseid tehnikaid ning nende edasiandmise viise eestikeelses tõlkes. Järeldatakse, et 1930. aastatel väljakujunenud vene klassika eestindamise vormid funktsioneerisid ka nõukogude ajal, sh nendes tõlgetes, mille ideoloogia oli tõlkija jaoks vastuvõetamatu. „Peeter Esimese” tõlkes domineerivad need lähteteksti elemendid, mis seostuvad vene kirjanduse kui Lääne-Euroopa kultuuri osa kontseptsiooniga (stilisatsiooni poeetikat käsitles Tuglas Eesti iseseisvusajal kui Lääne-Euroopa kunsti fenomeni ja selle lätted vene modernistlikus kirjanduses pärinesid Tuglase interpretatsiooni kohaselt lääne kirjandusest). Aleksei Tolstoi romaani tõlge kui loominguline projekt võis Tuglast huvitada eri põhjustel. Esiteks, romaani tõlkimine andis võimaluse aktualiseerida eesti lugeja mälus eesti kirjanduse keele- ja stiiliruumi, iseäranis tõlkija enda originaalloomingu põhjal. Teiseks, „Peeter Esimese” tõlkimine pakkus

Tuglasele võimalust jätkata keele- ja stiiliekspimente (romaanilises tõlkes leidub arvukalt kirjaniku neologisme).

## Toimetamispraktikast Eesti NSV-s aastatel 1957–1972 Loomingu Raamatukogu näitel

Anne Lange (Tallinn)

Artiklis käsitletakse Loomingu Raamatukogu esimese toimetuse tööd aastatel 1957–1972 ilmunud tekstide, Eesti Kultuuriloolises Arhiivis säilitatavate käsikirjade ja kirjavahetuse ning Riigiarhiivis hoitavate Glavliti materjalide põhjal. Toimetuse ja kaastöölise kirjavahetus näitab, kui hoolega valiti tõlkeid ja kaaluti saatetekstide sõnu, et saada nõukogude tsensuurisüsteemis ilmumisluba ka totalitaarset diskursust vastustavatele tekstidele. Sarja populaarsuse põhjuseks võibki pidada lugejaid kõnetanud repertuaarivalikut, mis võttis nõukogude kirjanduselt selle väidetava ideoloogilise ühtsuse ja täiendas lektüüri teiste maade sootuks teistelt alustelt mõistetud elukogemuse fiktsiooniga. Viieteistkümmene aasta jooksul, mil Loomingu Raamatukogu peatoimetaja oli Otto Samma, ilmus 526 teost, esindades 59 maa kirjandust. Kõige rohkem avaldati vene kirjandust (97), sellele järgnes (statistikas nõukogude kirjandusena esitatav) eesti kirjandus 73 nimetusega. Vene keele järel oli sageduselt teine lähtekäel inglise keel, järgnesid saksa, prantsuse ja soome keel. Väljaande kõrgel tasemel sümbolset kapitali toetas toimetuse kasutada olnud suhtekapital, mis oli otsustava tähtsusega nii ilmumislubade hankimisel kui ka kaastöölise leidmisel, lubades manipuleerida ametlikult kehtestatud reeglite ja valitsevate institutsioonidega. Seega tuleb riigi ideoloogilise surve tingimustes loodud publitseeritud ja arhiveeritud dokumente hinnata kriitiliselt, arvestades, et need on koostanud asjast huvitatud pool teiste huvirühmade tarbeks.

## Täpsuse ja vabaduse vahel: kompensatsioonistrateegiast Eesti 1960. aastate kirjandustõlkes

Maria-Kristiina Lotman, Elin Sütiste (Tartu)

Kompensatsioonimeetodid, mis on tunnustatud ja loov viis tõlkeprobleemide lahendamiseks, on propageeritud ka eesti tõlkekultuuris, eeskätt 1960. aastatest alates. Teisalt pole kompensatsioonimeetodi teoreetiline käsitlemine eesti tõlkekriitikas ja -teoorias olnud kuigi põhjalik, põhinedes peamiselt üsna üldistel

tähelepanekutel ning konkreetsetel tõlkenäidetel. Artikli eesmärk on avada kompensatsiooni kui tõlkemeetodi või -strateegia olemust põhjalikumalt, lähtudes nii läänes kui ka (nõukogude) vene tõlketeaduses arendatud käsitlustest, ning analüüsida, mil määral on see kohaldatav 1960. aastate keskpaiku Eestis avaldatud tõlkeilukirjanduse analüüsis. Käsitletud materjal on pärit suuremas osas „Kreeka kirjanduse antoloogiast“ (Sophoklese „Kuningas Oidipus“, Aristophanese „Ratsanikud“ ja „Plutus“, Demosthenese kõned, Herodotuse „Historiae“), kuid samuti Puškini värssromaani „Jevgeni Onegin“, Harper Lee romaani „Tappa laulurästast“ ja William Goldingi romaani „Kärbeste jumal“ tõlgetest. Analüüsitud materjalis eristame järgmisi kompensatsioonitüüpe: horisontaalne kontaktkompensatsioon, horisontaalne distantne kompensatsioon, vertikaalne kontaktkompensatsioon, vertikaalne distantne kompensatsioon ja üldistatud kompensatsioon. Lisaks toome näiteid kompenseerimata tõlkekadudest. Kokkuvõtvalt võib väita, et hoolimata teooria tagasihoidlikust arengust 1960. aastate eesti tõlkekultuuris, on tõlkijad sellegipoolest ilmutanud suurt leidlikkust eri tüüpi kompensatsioonistrateegiate rakendamisel: analüüsitud materjali põhjal näeme, et tõlkijad on kasutanud kõiki kompensatsioonitüüpe.

## F. I. Tjuttševi „Lüüriline fragment“ eesti keeles — tõlkija strateegiad

Tatjana Stepaniščeva (Tartu)

Artikkel alustab F. Tjuttševi, A. Feti ja I. Nikitini tõlkeid sisaldava kogumiku „Ilmsi ja ulmsi“ (Tallinn, 1977) uurimist. Kogumiku toimetaja ja koostaja Andres Ehin oli ka üks raamatu tõlkija. Analüüsiobjektiks on Ehini Tjuttševi luuletuste tõlked kaasautorluses Ly Seppeliga.

Raamatuga töötamise ajaks oli Ehinil ja Seppelil juba piisavalt tõlkimise kogemust, samal ajal olid nad ka tuntud luuletajad (kuulusid nn kasseti-põlvkonda). See lubab vaadelda nende tõlkeid mitte ametliku tellimuse täitmise, vaid ilukirjandusliku tõlke autorikogemusena, mille käigus Ehin ja Seppel lahendasid loomingulisi ülesandeid.

Nagu näitab analüüs, omandas „eesti Tjuttšev“ selle tulemusena mõned tõlkija poeetikale omased jooned, aga kaotas ka mõnevõrra autori omanäolisust n-ö poeetilise võimendamise arvelt, mis vastas lugejate ootustele.

## M. Bulgakovi romaani „Meister ja Margarita” kahest tõlkest: tsensuuri küsimus

Sirje Kupp-Sazonov (Tartu)

Artiklis vaadeldakse, kuidas mõjutas nõukogudeaegne tsensuur ja selle peamine organ Glavlit (kirjandus- ja kirjastusajade peavalitsus) M. Bulgakovi romaani „Meister ja Margarita” eestikeelse tõlke ilmumist. Vene keeles ilmus M. Bulgakovi teos esmakordselt ajakirja Moskva 1966. aasta 11. ja 1967. aasta 1. numbris, avaldatud teksti oli tsensuuri käigus oluliselt kärbitud (välja olid jäetud terved peatükid, nt Nikanor Ivanovitši unenägu või seiklused valuutapoes).

Esimene eestikeelne tõlge nägi ilmavalgust 1968. aasta lõpus, tõlkijateks M. Varik ja J. Ojamaa. Kuigi tõlke ettevalmistamist ja ilmumist üritati Glavliti eest igati varjata (mis ka õnnestus, eelkõige tänu sellele, et vene keeles ilmunud teoste puhul ei olnud tõlke jaoks peavalitsuse luba vaja enam taotleda), päädis see ettevõtmine siiski sellega, et Moskvasse kutsuti aru andma kolm inimest: Aksel Tamm (kirjastuse Eesti Raamat peatoimetaja), Aksel Ermel (EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataja asetäitja) ja Lembit Kaik (ENSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee esimees). Kuigi kõik kolm said noomida selle eest, et kõnealune tõlge ilmus, ei järgnenud õnneks siiski mingisuguseid sanktsioone, küll aga oli edaspidi keelatud M. Bulgakovist kirjutamine ja artiklite avaldamine.

Kulus 27 aastat, enne kui ilmus romaani täielik eestikeelne tõlge, millest nüüdseks on ilmunud mitu kordustrukki. Hoolimata raskustest, mis olid seotud esimese eestikeelse tõlke avaldamisega ning ebameeldivustest, millega puutusid kokku mõned sellega seotud inimesed, peavad nii tõlkijad kui ka kirjastuse peatoimetaja romaani eestinduse ilmumist väikeseks võiduks nõukogudeaegse tsensuuri üle ja tunnevad uhkust, kuna eestikeelne tõlge jäi paljudeks aastateks ainsaks M. Bulgakovi romaani väljaandeks terves Nõukogude Liidus.

## Baltisaksa tekstide tõlked eesti keelde nõukogude ajal: tõlke- ja retseptsoonilugu

Reet Bender (Tartu)

Artiklis antakse ülevaade baltisaksa tekstide tõlkimisest eesti keelde nõukogude ajal (nii kodumaal kui ka Välis-Eestis) ning käsitletakse nende tõlgete retseptiooni. Tõlkelugu vaadeldakse laiemas baltisaksa temaatika retseptiooni-

kontekstis, mis oli mõjutatud poliitilis-ideoloogilistest taustasündmustest ja hoiakutest. Metafoorselt on retseptsioonilugu kuni teise maailmasõjani väljendatav Siegfried von Vegesacki keelelise, seisusliku ja rahvusliku „klaasist seinä” ja August Annisti propageeritud lepitusliku ja avaramapilgulise, üle „rahvusliku traataia” vaatava hoiaku kaudu. Teise maailmasõja järel baltisaksa retseptsioon lahknes. Kui Välis-Eestis jätkus teatud määral Annisti soovitatud integreeriv suhtumine (millele seadis omad piirid kogukonna väiksus ja laialipillutus), siis raudse eesriide taguses okupeeritud Kodu-Eestis integreeriti senine nn saksaviha marksistliku klassivõitluse kontseptsiooni ning ametlikul tasandil sai baltisaksa temaatikaga tegeleda vaid väga piiratud, mis tõi kaasa baltisaksa temaatika vajumise unustusse ja muutumise n-õ valgeks laiguks. Kokku ilmus ajavahemikul 1945–1987 baltisaksa tõlkeid 41, neist 9 eksiilis ja 32 Eestis. Eestis avaldatud tekstidest omakorda ilmus 16 teksti ühtede kaante vahel [Issakov]. Iseloomulik on tõlgete mitteilukirjanduslik iseloom (ilmus vaid kaks ilukirjanduslikku teksti), enamik tekste kuulus kas memuaristika või (populaar)teaduse valdkonda, mis omakorda kinnitab baltisaksa tekstiloome pigem teolist kui tekstilist iseloomu [Undusk 1993].

## Charles Baudelaire Marina Tsvetajeva tõlkes

Maria Borovikova (Tartu)

Artiklis pöördub autor Marina Tsvetajeva loomingu viimase perioodi juurde pärast tema tagasipöördumist kodumaale 1939. Nendel aastatel Tsvetajeva samamoodi nagu paljud teised Nõukogude Venemaa luuletajad peaaegu ei kirjuta. Ta on sunnitud elatuma tõlkimisest. Tihti on tegu teise- ja kolmanda järguliste luuletajate tõlkimisega, kuigi tema tõlgete hulgas on ka tekste, millega töötamist Tsvetajeva nautis. Viimaste hulka kuulub Baudelaire'i luuletus „Teekond” (Tsvetajeva tõlkes „Плавань”/„Merereis”). Autor vaatleb Tsvetajeva kasutatud semantilisi nihkeid kui süsteemseid kõrvalekaldeid tema ühtse tõlkestrateegia raamides ning pöördudes Tsvetajeva originaalluule poole, näitab nende süvasidet tema kunstilise maailmaga. Analüüs lubab teha järelduse, et tsvetajevalikke hiliseid tõlkeid võib vaadelda kui omalaadset poeedi originaalloomingu aseainet, mis teeb neist olulisima allika, mõistmaks tema viimaste aastate maailmavaadet.

## „Aken Euroopasse” tõlgituna gümnaasiumi ajalooõpikute keelde

Ljubov Kisseljova (Tartu)

Artiklis vaadeldakse Peeter I aegsete reformide aja tõlgendust revolutsiooni-eelsetes gümnaasiumi ajalooõpikutes ja riigiideoloogia kooliajaloo keelde tõlkimise seotud probleeme. Kuna kool on riiklik institutsioon, siis läbisid ja läbivad õppeprogrammid ja õpikud kõigil aegadel tõsise valiku, lähtuvalt riiklikust ideoloogiast ja poliitikast. Riiklik müüt Peeter I-st kui uue Venemaa ehitajast, aga ka vastandlik müüt tsaarist kui Antikristusest, kes hävitas püha Venemaa, hakkasid kujunema juba 17. sajandi alguses. Artikli autor näitab, et impeeriumiaegne kooliajalugu ei püüdnud ühte kesketest rahvuslikest müütidest mitte ainult järgida, vaid ajastut ja tsaari kui ümberkorraldajat ka demütologiseerida: ei näidatud ainult selle ülimalt vastuolulise ajastu saavutusi, vaid ka läbikukkumisi. Mitte ainult väärtusi, vaid Peetri isiklikke puudusi ja tema meetodite kohutavat julmust. Artikli materjali moodustavad akadeemiliste ajaloolaste Nikolai Ustrjalovi, Sergei Solovjovi, Dmitri Ilovaiski, Vassili Kljutševski ja Sergei Platonovi kooliõpikud, aga ka gümnaasiumiõpetaja Sergei Roždestvenski õpik. Lisaks vaadeldakse poliitiliste tegelaste Leonid Šiško ja Sergei Melgunovi alternatiivseid õppevahendeid, mis ilmusid trükkis pärast 1905. aastat. Vaadeldakse esimeste, Stalini isiklikul korraldusel koostatud parimate nõukogudeaegsete õpikute seost õpikutega, mida kasutati Venemaal enne 1917. aasta revolutsiooni.

## Rahvusliku kooliajaloo konstrueerimine (Põhjasõja alguse sündmuste näitel Eesti ajalooõpikutes aastatel 1920–1930)

Timur Guzairov (Tartu)

Artikkel on pühendatud rahvusliku ajaloo konstrueerimisele Eesti ajalooõpikutes aastatel 1920–1930. Metodoloogilise lähenemise aluseks on 19. saj teise poole – 20. saj esimese poole vene, eesti ja nõukogude kooliõpikutes käsitletud Põhjasõja alguse sündmuste representatsiooni võrdlev analüüs. Erinevalt vene ja nõukogude tõlgendustest kujutavad Eesti autorid Vene-Rootsi sõda rahvusliku katastroofina, toonitavad eesti rahva vaenulikkust anastajate vastu ja rõhutavad lõhet nn võõra riigiga. Eesti ajaloonarratiivi loomisel jutustatakse ka lokaalse-

test faktidest eesmärgiga kujutada oma rahvuskangelasi. Vene- ja nõukogudeaegne kooliajalugu ignoreeris neid „lokaalseid” rahvuslikke fakte.

## Ühest anonüümsest tõlkest: A. Tolstoi romaan „Peeter Esimene” eesti keelde tõlgitud lugemikus XI klassile

Lea Pild (Tartu)

Artiklis analüüsitakse poleemikat, mis puhkes 1940. aastate lõpul kirjavahetuses ENSV Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ja Haridusministeeriumi vahel. Eesti Rahvusrhiivis säilinud ametlikes kirjades vaieldi vene keelest eesti keelde tõlgitava õppekirjanduse tõlkeviisi üle. Käsitletakse üht eesti tõlkeloo seisukohast olulist episoodi, mis puudutab Fr. Tuglase tõlgitud ning XI klassi „Kaasaegse vene kirjanduse” lugemiku jaoks mõeldud fragmente A. Tolstoi romaanist „Peeter Esimene”. Tõlkijate nimesid vaadeldaval ajal koolikirjanduses tavaliselt ei avaldatud. Haridusministeeriumi otsus asendada Tuglase tõlketöö Lii Ojamaa eestindatud katkenditega leidis tõlkijate sektsioonis ägeda vastuseisu, iseäranis järjekindla kohanimede transkribeerimise (nt Режел/Rejel jne) pärast Ojamaa puises tõlkes. Lõppkokkuvõttes jäi kumbki pool oma arvamuse juurde ning 1949. aastal ilmunud lugemikus avaldati ikkagi meisterlik Tuglase tõlge, kus kohanimed ei olnud mitte transkribeeritud, vaid tõlgitud (nt Юрьев/Tartu jne). Järeldatakse, et ENSV Haridusministeeriumi hoiakut Tolstoi romaani eestikeelse versiooni koolilugemikus representeerimise küsimuses võib vaadelda kui Fr. Tuglase vastu suunatud repressioonide üht algusepisoodi. Diskussioon koolilugemiku tõlkimise eripärast on värvikas näide eesti kirjanike ja tõlkijate vastuseisust nõukogude võimustruktuuridele ning edukas katse kaitsta eesti keele staatust koolikirjanduse tõlgetes vene keelest eesti keelde.

## Vene kirjandus Eesti koolis nõukogude ajal — ideoloogia piirid

Anna Veselko (Tartu)

Uurimistöös analüüsitakse esimesi nõukogudeaegseid vene kirjanduse õpikuid, mis ilmusid Eesti koolidesse 1940. aastate teisel poolel. Kahe vene kirjanduse õpiku näitel selgitatakse, kuidas poliitiline olukord määras õppekirjanduse väljaandmise strateegia ja õpikute autorite-koostajate taktika.



Uurimiseks on valitud kaks Eesti koolides kasutatud raamatut: B. Söödi ja J. Väinaste „Kirjanduslooline lugemik VIII–IX klassile: vene kirjandus” (1948) ja A. A. Zertšaninovi ning N. G. Porfiridovi „Vene kirjandus VIII klassile” (1949). Esimese olid kirjutanud kohalikud autorid, teine oli algselt mõeldud pedagoogikakoolidele, kuid tõlgitud ja välja antud Nõukogude Eesti kooliõpilastele. Peamise hüpoteesi kohaselt toimus autorite valik õpikute koostamisel kooskõlas Kremli poliitilise kursiga ja üleminekut tõlgitud õpikutele võib siduda 1949. aasta „eesti asjaga”. Kooliõpikute võrdlev analüüs näitab neis vaid tühiseid erinevusi, mis kinnitab poliitilise faktori olulisust autorite-koostajate valikul.

## Üldise koolikohustuse ja poliithariduse vahel — nõukogude ajakirjad-õpikud aastatel 1930–1932

Anna Senkina (Peterburi)

Artikkel on pühendatud alg- ja keskkoolidele mõeldud ajakirjadele-õpikutele (1930–1932), mis olid õppekirjanduse kirjastamise viimane uuendus enne nn stabiilsete õpikute sisseviimist kogu Nõukogude Liidus. Analüüsitakse ajakirjade-õpikute sisu ja rolli hariduses, kus need pidid õigeks ajaks tagama koolidele ajakohase informatsiooni viimase viisastaku saavutustest, religiooni- ja alkoholivastase kampaania käigust, industrialiseerimisest ja kollektiviseerimisest. Olles koolis õppevahenditeks, toimus ajakirjade-õpikute sisus radikaalne nihe hariduslikust informatsioonilis-propagandistlikuks — faktiliselt oli nende eesmärk mitte niivõrd üldharidusega seotud ülesannete lahendamine, kuivõrd kooliõpilaste poliitharimine kogu Nõukogude Liidus. Väheoluline ei ole ka asjaolu, et ajakirjade-õpikute ilmumisest sai laste ja noorukite ajakirjanduse suurim nõukogudeaegne projekt. Nende väljaandmisega tegelesid nii välja- paistvad hariduse rahvakomissariaadi (kaas)töötajad ja autoriteetsed pedagoogid kui ka parimad lastekirjanikud (A. Vvedenski, D. Harms, M. Iljin, S. Maršak, J. Švarts, jt), kes tol ajal olid tuntud lasteajakirjade Tšiz ja Jož toimetuse liikmed.

## IN MEMORIAM

Mälestades Larissa Volpertit (1926–2017)

Mälestades Vjatšeslav Ivanovit (1929–2017)

## SUMMARIES

### From modelling to untranslatability: Translation and the semiotic relation in Y. Lotman's work (1965–1992)

Daniele Monticelli (Tallinn)

The article studies the use of the notion of *translation* in different phases of Yuri Lotman's work, concentrating on conceptualising the semiotic relation and essential shifts in its treatment. The first semiotic works of Lotman and the Tartu-Moscow school treat the semiotic relation as a relation between modelling systems (languages) and external reality, and as a relation between different modelling systems. In the 1960s, the relations between systems are considered mainly hierarchic — primary and secondary systems. With the elaboration of theoretical foundations of cultural semiotics in the early 1970s, the understanding of relations between systems becomes increasingly horizontal, and culture is understood as a *system of parallel systems*. In the 1980s, Lotman reaches the notion of *semiosphere* which treats the cultural system of systems as a semiotic continuum in which human communication takes place. The semiotic continuum is characterised by heterogeneity and polyglotism. Thus, communication in the semiosphere takes the shape of movement between systems, or translation. In Lotman's last works, translation becomes the universal mechanism of cultural dynamics and thinking. Heterogeneity of cultural languages and the related tensions between translation and untranslatability create new unpredictable meanings, which ensure the changeability and novelty of culture.

### The Soviet school of translation and issues of the history of the concept

Susanna Witt (Stockholm)

The Soviet school of translation was the official pride of Soviet culture, almost a symbol, which retained much of its prestige even in the post-Soviet period both in Russia and abroad. Although the concept has a significant place

in Soviet translation history, it is somewhat vague. Often it is understood as the achievements of Soviet translation practice and theory in general; sometimes, however, as the part of translations that met certain criteria. The article studies the formation of the concept of the Soviet school of translation, which had its beginning in the context of the translators' association members' self-reflection in the first post-war decade (after 1945). Based on materials from the archives and the press, the author analyses the discourses in terms of which the general concept was constructed. At that, attention is paid to the possible consequences of the process from the viewpoint of development of translation history.

## The consciousness of necessity: translation of national literatures in the Soviet Union

Natalia Kamovnikova (St Petersburg)

The article views in detail the situation of translation in the Soviet Union from 1960–1980. Being translated into Russian, the dominating language of the Soviet Union, was the prerequisite for an author to enjoy recognition. Despite the multilingualism officially stipulated by the Constitution of the Soviet Union, Russian was the dominating language in the state. The seemingly free choice to have one's work published in Russian was known as a so-called consciousness of necessity — as a way of ensuring one's literary future. The alternative to this conscious decision was to remain restricted to the readership in the national language of the Union republic and, given the number of readers, eventually falling into oblivion. To provide a clearer picture of the situation of literature and translation, the article contains data on the 1959 and 1970 censuses in the Soviet Union, official statistics of Soviet publications, the languages of publications and the translations published. The article gives an overview of recommendatory lists meant for translation and teaching of national literatures of Union republics in the Soviet Union. Published regularly and read by editors, translators and teachers, these lists contributed to the formation of the general image of national literatures and assessment of the value of individual national authors in the global Soviet context. National languages and literatures were often looked down upon as so-called sister languages and literatures, which characterised their inferior position towards the Soviet *lingua franca*. Such an attitude slowly changed the approach to national literatures and translation practices. For example, the use of interlinear trots, which was considered a temporary measure at the beginning of the Soviet

period, continued actively in 1960–1980. This was promoted by official institutions and individual national poets, critics, anthologies and translators who began to accept interlinear trots as a part of literary reality, recognising them as inevitable stepping stones into a better literary future. Therefore, the steady advancement of the Russian language in literature and translation was a fact that the national writers, poets, critics and publishers had to put up with to secure their existence in the context of Soviet literature and publishing.

### “Right to literary citizenship”: Translators in the literary bureaucracy of the 1930s

Yelena Zemskova (Moscow)

The article describes the establishment and work of the translators’ section of the Writers’ Union in the 1930s. It shows how literary translation became recognised as a particular kind of literary activities in the 1930s. Applying the conceptual system proposed by Sheila Fitzpatrick to the history of Soviet literature, the author reaches the conclusion that the bureaucratic machinery of the Writers’ Union of the Soviet Union made it possible to attribute to translators as the not most trustworthy members of society the status of so-called creative workers.

### Themes forbidden for the Soviet reader

Larisa Naidich, Anna Pavlova (Jerusalem, Mainz)

The article presents facts about censorship bans regarding translations of German authors’ books into Russian in the Soviet period. The introductory part gives examples of motives for selection of texts to be translated. One them was the idea of creating a library of world literature, which was obstructed by ideological bans. Then, relying on the memoirs of authors who had visited the Soviet Union in 1920–1930 — Lion Feuchtwanger, Joseph Roth and Walter Benjamin — the article describes the difficulties their books had in reaching the the Soviet reader. Even if the translation was generally allowed, certain parts of the text were banned. This led to omissions and distortions; sometimes even whole lines of the plot were removed. There were several forbidden themes. First, expressions forbidden for ideological reasons, including some elements in interpretation of historical events; second, the theme of the Jews — often the

text fragments speaking about holocaust and Jews were deleted (these were also unwelcome or even impermissible in the works of Soviet authors) due to official antisemitism in the Soviet Union; third, replacements were made in the translations that were related to the destruction of the church and atheist propaganda, even the word *Christianity* had to be used as rarely as possible; fourth, scenes describing sex and physical proximity, particularly in the case of non-traditional sexual orientations. Hypocrisy, the requirement not to allow so-called indecent situations and words led to deleting whole pages. The article analyses the translations of Heinrich Böll's, Wolfgang Koeppen's and Friedrich Dürrenmatt's works.

## Paradigm shifts in Soviet linguistics and translation studies: the case of the linguistic discussion of 1950

Anastasia Shakhova (Mainz)

The aim of the article is to draw attention to political and ideological factors that influence the development of research disciplines. The article concentrates on the consequences of the so-called linguistic discussion. The term refers to a series of articles published by Soviet scholars in the newspaper *Pravda* in 1950. One of the most significant contributions to the linguistic discussion was Stalin's essay "Marxism and Problems of Linguistics" where the head of state denied the class character of language and criticised Marr's theory of language, which used to be the officially acknowledged theory at that time. Stalin's intervention into scientific discussions caused a paradigm shift in linguistics and influenced the emerging Soviet translation studies. Traces of the linguistic discussion can also be found in the East German linguistic discourse.

The article describes and analyses the linguistic discussion from the viewpoint of Kuhn's model of scientific revolution. The ideas of the linguistic discussion are considered an anomaly that led to a paradigm shift. It is argued that, although Stalin's essay was the intervention of a non-professional authority into scientific development, the following paradigm shifts had the features of both a scientific and a non-scientific revolution. The analysis of Soviet researchers' publications reveals how the consequences of the linguistic discussion influenced the discourse of linguistics. The analysis of A. Fedorov's monograph shows which traces of the linguistic discussion can be found in the discourse of translation studies. Finally, the ideas of the linguistic discussion are

analysed relying on Said's travelling theory to study how they were represented in East German linguistic discourse through selective translation.

## Mao Zedong's poems and the fate of their translations in Russia

Natalia Azarova (Moscow)

The article views the reception of Mao Zedong's poetry in the context of the guidelines of Soviet translation and literary studies and explains why Mao — one of the most widely read and translated Chinese poets in the West, who has influenced several generations of newer Chinese poets — is almost unknown to Russian readers. On the one hand, Mao's poetry could be viewed in a cognitive framework — “an Oriental dictator who writes poems”. On the other hand, the poems of Mao as an aesthete and formalist were written in Old Chinese literary language innovatively combining the old form and spoken language. This contradicted the ideological criteria of popularity, comprehensibility and explicitness from which the commentators and translators proceeded. Struggle against formalism caused ignoring the formal perfection of Mao's poems, as admiration of the form inarguably characteristic of his poetry should have been declared to be bourgeois aestheticism, which could not correspond to the canonical image of the Communist leader.

## Translation as interiorisation: F. Tuglas as the translator of A. Tolstoy's novel “Peter I”

Lea Pild (Tartu)

The article analyses the formation of F. Tuglas's translation strategy after 1940, during the Sovietisation of Estonian culture. It compares the main narrative techniques in A. Tolstoy's novel and the ways of their rendering in the Estonian translation. The conclusion is drawn that the forms of translating Russian classics that had been established in the 1930s continued to function in the Soviet period, even in translations the ideology of which was unacceptable for the translator. In the translation of *Peter I*, these elements of the source text predominate that relate to the concept of Russian literature as part of Western European culture (in the period of Estonia's independence, Tuglas treated the poetics of stylisation as a phenomenon of Western European art, and, in

Tuglas' interpretation, its sources in Russian modernist literature originated from Western literature). Tuglas may have been interested in translating Aleksey Tolstoy's novel as a creative project for several reasons. First, translating the novel enabled him, primarily on the basis of his own creation, to actualise the linguistic and stylistic space of Estonian literature in the memory of the reader. Second, the translation of *Peter I* gave Tuglas an opportunity to continue linguistic and stylistic experiments (the translation of the novel contains numerous neologisms coined by the writer).

## Editing in the conditions of state control in Estonia: The case of *Loomingu Raamatukogu* in 1957–1972

Anne Lange (Tallinn)

The article examines the work of the initial editorial staff of *Loomingu Raamatukogu* (literary supplement to the magazine *Looming*) based on published texts, manuscripts and correspondence stored in the Estonian Cultural History Archives and the materials of Glavlit stored in the Estonian National Archives. The correspondence between the editorial office and contributors shows how carefully the translations were chosen and the words of accompanying texts were weighed to get permission for publishing the texts that opposed the totalitarian discourse. A reason for the popularity of the series was the choice of repertoire that appealed to the readers. It deprived Soviet literature of its alleged ideological unity and complemented the reading matter with fiction of other countries understood from entirely different positions. During the 15 years when Otto Samma was the editor-in-chief of *Loomingu Raamatukogu*, 526 titles representing the literature of 59 countries were published. Russian literature was published most often (97 titles). It was followed by Estonian literature (figuring in statistics as Soviet literature) with 73 titles. The second most frequent source language after Russian was English, followed by German, French and Finnish. The highly valued symbolic capital of the publication was supported by the capital of relations which was crucial for obtaining permits for publication, finding contributors and manipulating the official rules and governing institutions. However, the documents published and archived under ideological pressure by the state have to be assessed critically, considering that they have been compiled by the interested party for other stakeholders.

## Between accuracy and freedom: On compensation strategies in Estonian literary translation of the 1960s

Maria-Kristiina Lotman, Elin Sütiste (Tartu)

The compensation method, which is an acknowledged and creative way of solving translation problems, has also been promoted in the Estonian translation culture, primarily since the 1960s. Theoretical treatment of the compensation method in Estonian translation criticism, however, has not been very thoroughgoing, being mostly based on general observations and concrete examples of translation. The aim of the article is to disclose more profoundly the essence of compensation as a translation method or strategy relying on its treatment in western and (Soviet) Russian translation studies, and to analyse to which extent this can be applied to the analysis of translation literature published in Estonia in the mid-1960s. The material under discussion mostly comes from the translations of *The Anthology of Greek Literature* (*Oedipus the King* by Sophocles, *Knights* and *Plutus* by Aristophanes, a speech by Demosthenes, *Historiae* by Herodotus), Alexander Pushkin's novel in verse *Eugene Onegin*, *To Kill a Mockingbird* by Harper Lee and *Lord of the Flies* by William Golding. In the material analysed, the following types of compensation could be distinguished: horizontal contact compensation, horizontal distance compensation, vertical contact compensation, vertical distance compensation and generalised compensation. In addition, examples are given of translation losses without compensation. In conclusion, it can be said that despite the modest development of theory in the Estonian translation culture of the 1960s, the translators have shown great inventiveness in applying different compensation strategies. The material analysed shows that the translators have applied all the types of compensation.

## F. I. Tyutchev's "Lyrical Fragment" in Estonian: The translator's strategies

Tatyana Stepanishcheva (Tartu)

The article starts the study of the collection *Ilmsi ja ulmsi* (Tallinn, 1977) that contains the Estonian translations of F. Tyutchev's, A. Fet's and I. Nikitin's poems. Andres Ehin, the compiler and editor of the collection, was also one of



the translators. The object of analysis in the article was Ehin's translations of Tyutchev's poems in co-authorship with Ly Seppel.

By the time they worked on the book, both Ehin and Seppel had sufficient experience in translation; both were also well-known poets belonging to the generation who started their literary career in the 1960s. Therefore, their translations cannot be regarded as filling an official order but as authors' experience in literary translation where Ehin and Seppel solved creative problems.

As the analysis shows, the "Estonian Tyutchev" acquired some features characteristic of the poetry of the translator, but also lost some of the originality of the author because of amplification of poeticality, which met the readers' expectations.

## On two translations of M. Bulgakov's novel "The Master and Margarita": The issue of censorship

Sirje Kupp-Sazonov (Tartu)

The article examines how Soviet censorship and its main organ Glavlit (General Directorate for the Protection of State Secrets in the Press) influenced the publication of the Estonian translation of M. Bulgakov's novel *The Master and Margarita*. In Russian, M. Bulgakov's novel was first published in issue 11, 1966, and issue 1, 1967, of the magazine *Moskva*. The published text had been essentially cut by censorship (whole chapters had been omitted, e. g. Nikanor Ivanovich's dream or adventures in the foreign currency shop).

The first translation into Estonian came out at the end of 1968; the translators were M. Varik and J. Ojamaa. Although attempts were made to hide the preparation of the translation and its publication from Glavlit (successfully, as no permission was needed from Glavlit for books that had been published in Russian), the undertaking finished by three people being summoned to Moscow to report to the authorities. These were Aksel Tamm (editor-in-chief of *Eesti Raamat* publishers), Aksel Ermel (deputy head of the Propaganda and Agitation Department at the Central Committee of the Communist Party of Estonia) and Lembit Kaik (chairman of the ESSR State Committee for Publishing, Printing and Book Trade). All three were reprimanded for the publication of the translation, but, fortunately, no sanctions followed. Still, it was forbidden to write and publish articles about Bulgakov.

The full translation of the novel into Estonian appeared 27 years later; by now several reprints have been published. Despite the difficulties related to the publication of the first translation into Estonian and the troubles some people related to it had to encounter, the translators and the editor-in-chief of the publishing house consider it a small victory over Soviet censorship. They are proud that, for many years, the Estonian translation was the only publication of M. Bulgakov's novel in the whole Soviet Union.

## Translations of Baltic German texts into Estonian in the Soviet period: History of translation and reception

Reet Bender (Tartu)

The article gives an overview of translations of Baltic German texts into Estonian in the Soviet period (in both Estonia and exile) and the reception of these translations. Translation history is viewed in the broader context of reception of the Baltic German theme, which was influenced by events and attitudes on the political and ideological background. Metaphorically, the reception history until World War II could be expressed in terms of Siegfried von Vegesack's "glass wall" based on language, estate and ethnicity, and the reconciliatory broader attitude promoted by August Annist, which looked over the "ethnic wire fence". After World War II, the reception of Baltic German texts diverged. Emigre Estonians continued to a certain extent the integrating approach recommended by Annist (which was limited by the smallness of the scattered community). In occupied Estonia behind the Iron Curtain the earlier so-called hatred for Germans was merged with the Marxist concept of class struggle. At the official level, the opportunities for dealing with Baltic German subject matter were very limited; therefore, the Baltic German theme almost fell into oblivion. A total of 41 translations of Baltic German texts were published from 1945–1987 — 9 of them in exile and 32 in Estonia. Sixteen texts published in Estonia appeared between the same covers [Issakov]. The translations had a noticeably non-fiction character (only two belletristic texts were published). Most of them were memoirs or (popular) scientific texts, which in its turn confirms that Baltic German text creation was based on fact rather than literary expression [Undusk 1993].

## Charles Baudelaire in Marina Tsvetayeva's translation

Maria Borovikova (Tartu)

In the article, the author turns to the last period in Marina Tsvetayeva's creation after her return to homeland in 1939. In these years, Tsvetayeva, like many other poets of Soviet Russia, wrote next to nothing. She had to make her living by translating. She often translated second- or third-rate poets, but her translations also include texts working on which Tsvetayeva enjoyed. One of the latter is Baudelaire's poem "Le Voyage" (in Tsvetayeva's translation "Плаванье"). The author views the semantic shifts applied by Tsvetayeva as systemic deviation within her unitary translation strategy, and, turning to Tsvetayeva's original poetry, shows their deep links with her artistic world. The analysis allows to draw the conclusion that Tsvetayeva's late translations can be regarded as a distinctive substitute for the poet's original creation, which makes them the most essential source for understanding her worldview in her last years.

## "Window to Europe" translated into the language of history textbooks

Ljubov Kisseljova (Tartu)

The article discusses the interpretation of reforms during Peter I's reign in pre-revolutionary history textbooks for gymnasiums and the problems of translating the official ideology into the language of school history. As the school is a state institution, curricula and textbooks of all times undergo a strict choice depending on state ideology and policy. The official myth of Peter I as the builder of new Russia and the opposite myth of the tsar as Antichrist who destroyed holy Russia began to take shape as early as in the early 18th century. The author of the article shows that school history of Imperial Russia did not follow one of the national myths but attempted to demythologise the era and the tsar as the reformer. Not only the achievements of this highly controversial era were shown but also the failings, not only the values but also Peter's personal shortcomings and the extreme cruelty of his methods. The material for the article includes textbooks by academic historians Nikolay Ustryalov, Sergey Solovyov, Dmitri Ilovaisky, Vasili Klyuchevsky and Sergey Platonov, and also the textbook by the gymnasium teacher Sergey Rozhdestvensky. In addition, the alternative study aids by the politicians Leonid Shishko and

Sergey Melgunov, which were published after 1905, are examined. The connection of the first Soviet history textbooks, compiled by the personal order of Stalin, with textbooks used in Russia before the 1917 revolution is also discussed.

## Construction of national school history in Estonian history textbooks of 1920–1930 (based on the events at the beginning of the Great Northern War)

Timur Guzairov (Tartu)

The article examines the construction of national history in Estonian history textbooks in 1920–1930. The methodological approach is based on comparative analysis of the events at the beginning of the Great Northern War in Russian, Estonian and Soviet school textbooks in the second half of the 19th and the first half of the 20th century. Differently from the Russian and Soviet interpretations, the Estonian authors depict the Russian-Swedish war as a national disaster, emphasising the hostility of the Estonian people to the invaders and the split between the people and the foreign rule. When creating the Estonian historical narrative, local facts are described with the aim to depict their own national heroes. Russian and Soviet school history ignored such local facts.

## On an anonymous translation: The translation of A. Tolstoy's novel "Peter I" into Estonian in a reader for year 11

Lea Pild (Tartu)

The article analyses the controversy between the translators' section of the Writers' Union of the Estonian SSR and the Ministry of Education in their correspondence in the late 1940s. The official correspondence stored in the Estonian National Archives shows an argument over translation of educational literature from Russian into Estonian. The article deals with a significant episode in Estonian translation history concerning fragments from A. Tolstoy's novel *Peter I* translated by F. Tuglas for the reader of contemporary Russian literature for year 11. Schoolbooks usually did not disclose translators' names at that time. The decision of the Ministry of Education to replace Tuglas'

translation with excerpts translated by Lii Ojamaa, particularly the transcription of Estonian placenames from Russian (e. g. РЕВЕЛЬ/Revel) in Ojamaa's clumsy translation, found strong opposition from the translators' section. In conclusion, neither side yielded their positions, but in 1949 F. Tuglas' masterly translation where the placenames were not transcribed but translated (e. g. ЮРЬЕВ/Tartu) was included in the reader. The conclusion is drawn that the stance of the Ministry of Education in representing the Estonian version of A. Tolstoy's novel in the school reader can be regarded as an initial episode of repressions against F. Tuglas. The discussion on the peculiarities of translation of a school reader was a vivid example of Estonian writers' and translators' opposition to Soviet power structures and a successful attempt to protect the status of the Estonian language in translations of educational literature from Russian into Estonian.

## Russian literature in Estonian schools in the Soviet period: The the borders of ideology

Anna Veselko (Tartu)

The study analyses the first Soviet textbooks of Russian literature which appeared in Estonian schools in the second half of the 1940s. Two textbooks of Russian literature are used as an example to explain how the political situation influenced the strategy of publishing educational literature and the tactics of the authors or compilers.

Two books used in Estonian schools were chosen for the study: *Reader in Literary History for Years 8–9: Russian Literature* by B. Sööt and J. Väinas-te (1948) and *Russian Literature for Year 8* by A. A. Zerchaninov and N. G. Porfidorov (1949). The former had been written by local authors; the latter had been originally meant for teacher training schools but was published in translation for school students of Soviet Estonia. According to the main hypothesis, the choice of authors for schoolbooks was in accordance with Kremlin's political line, and the transition to translated textbooks can be related to the "Estonian case" of 1949. Comparative analysis of textbooks shows only minor differences, which confirms the significance of the political factor in the selection of authors and compilers.

## Between general compulsory education and political education: Soviet magazine-textbooks in 1930–1932

Anna Senkina (St Petersburg)

The article describes the magazine-textbooks (1930–1932) meant for primary and secondary schools, which was the last innovation in publication of educational literature before the introduction of so-called stable textbooks in the whole Soviet Union. The article analyses the content and role of magazine-textbooks in education. They were meant to provide schools with up-to-date information on the achievements of the last five-year plan period, the campaigns against religion and alcohol, industrialisation and collectivisation. The content of magazine-textbooks as study aids at schools shifted radically from educational to informative and propagandist — their purpose was not so much to promote general education but political education of school students in the whole Soviet Union. The fact that the publication of magazine-textbooks became the greatest project in children's and youth journalism in the Soviet period is not of small significance. The people engaged in their publication included renowned experts from the People's Commissariat of Education, authoritative educationists and the best children's writers (A. Vvedensky, D. Harms, M. Ilyin, S. Marshak, Y. Shvarts, et al) who were editorial staff members of the well-known children's magazines *Tshizh* and *Yozh*.

### IN MEMORIAM

In memory of Larissa Volpert (1926–2017)

In memory of Vyacheslav Ivanov (1929–2017)

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

**Наталья Азарова** (Москва) — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания Российской Академии наук, руководитель Центра лингвистических исследований мировой поэзии; поэт, переводчик. Основные области научных интересов: язык поэзии, язык философии, когнитивная поэтика, межъязыковое и междискурсивное взаимодействие.

**Резт Бендер** (Тарту) — PhD (Тарту, 2009), лектор отделения германистики колледжа мировых языков и культур Тартуского университета. Основные области научных интересов: язык балтийских немцев, лексикография, исторические аспекты изучения многоязычия, история культуры балтийских немцев, переводы, мемуаристика, места памяти и лингвистический ландшафт.

**Мария Боровикова** (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные направления научной работы: история русской литературы начала XX в., творчество Марины Цветаевой, экранизация произведений русской литературы, русская культура в Эстонии.

**Анна Веселко** (Тарту) — докторант кафедры русской литературы Тартуского университета. Область исследования: формирование литературного канона, школьный литературный канон, эволюция курса русской литературы в эстонской советской школе.

**Сусанна Витт** (Стокгольм) — PhD (Стокгольм, 2001), доцент кафедры славянских, балтийских, финского, нидерландского и немецкого языков Стокгольмского университета. Области научных интересов: история русской литературы XIX–XX в., история, теория, и практика перевода в России, биография и творчество отдельных переводчиков, культура сталинского периода, творчество Б. Пастернака, поэзия русского модернизма.

**Тимур Гузаиров** (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные области научных интересов: русская культура в Эстонии, творчество В. Жуковского.

**Елена Земскова** (Москва) — кандидат филологических наук, доцент Школы филологии факультета гуманитарных наук Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики». Области научных интересов: компаративистика, история перевода. Автор ряда статей об истории художественного перевода в СССР 1930-х годов и истории журнала «Интернациональная литература».

**Наталья Камовникова** (Санкт-Петербург) — кандидат филологических наук, доцент кафедры психологии, педагогики и переводоведения, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Основные области научных интересов: художественный перевод в СССР, перевод и государственный контроль, переводческая деятельность, время и пространство в художественном переводе.

**Любовь Киселева** (Тарту) — PhD, ординарный профессор по русской литературе, зав. кафедрой русской литературы, зав. отделением славистики Тартуского университета. Основные области научных интересов: история русской литературы и культуры XVIII – первой половины XIX вв., русская литература в инонациональном культурном контексте, взаимодействие русской и эстонской культур, наследие Ю. М. Лотмана, имперская и националистическая идеологии.

**Сирье Купп-Сазонов** (Тарту) — PhD по русскому языку, лектор русского языка отделения устного и письменного перевода, Тартуский университет. Основные области исследований: русско-эстонский перевод, контрастивная грамматика, роль грамматики в переводе.

**Анне Ланге** (Таллинн) — PhD (Таллинн, 2007), доцент Института гуманитарных наук Таллиннского университета. Основные области научных интересов: переводоведение, история перевода в Эстонии, история эстонской культуры, теория перевода.

**Мария-Кристина Лотман** (Тарту) — PhD (Тарту, 2003), доцент отделения классической филологии Тартуского университета. Основные области научных интересов: античное стихосложение, типология эстонского стиха, история метрики, перевод стиха.

**Даниэле Монтичелли** (Таллинн) — PhD по семиотике и теории культуры (Тарту, 2008). Профессор итальянистики и семиотики Таллиннского университета. Основные области научных интересов: идеология и перевод, перевод и культурная идентичность, философия языка, семиотика литературы, современная литературная теория (политические теории Дж. Агамбена, А. Бадью и Ж. Рансьера).



**Лариса Найдич** (Иерусалим) — кандидат филологических наук, профессор-эмеритус кафедры языкознания, Еврейский университет в Иерусалиме. Основные области научных интересов: германские языки, фонология, теория перевода.

**Анна Павлова** (Майнц) — кандидат филологических наук, сотрудник кафедры русистики факультета «Язык. Культура. Перевод» Майнцкого университета (Германия). Сфера научных интересов: германистика, фонология, семантика, теория перевода.

**Леа Пильд** (Тарту) — PhD, доцент кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные направления научных интересов: история и поэтика русской литературы второй половины XIX – начала XX вв., русский символизм и предсимволизм, творчество И. Тургенева, К. Случевского, А. Фета и др.; взаимодействие русской и эстонской культур, теория и практика перевода, наследие З. Г. Минц.

**Анна Сенькина** (Санкт-Петербург) — кандидат филологических наук, независимый исследователь, член редколлегии журнала «Детские чтения» (Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН). Область научных интересов: история учебного книгоиздания в России XIX – XX вв., история детской литературы XIX – XX вв., история детской журналистики.

**Татьяна Степанищева** (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные области научных интересов: история и поэтика русской литературы первой половины XIX в.; творчество В. Жуковского, П. Вяземского, А. Пушкина; взаимодействие русской и эстонской культур.

**Элин Сютисте** (Тарту) – PhD (Тарту, 2009), доцент отделения семиотики института философии и семиотики Тартуского университета. Основные области научных интересов: семиотика культуры, теория перевода, история перевода в Эстонии, поэтика перевода.

**Анастасия Шахова** (Майнц) — аспирант кафедры общего переводоведения, магистр переводоведения, член исследовательской группы «Политика перевода», преподаватель университета им. Иоганна Гутенберга, г. Майнц. Основные области научных интересов: мигрирующие теории в дискурсах переводоведения, политика перевода.

## ABOUT THE CONTRIBUTORS

**Natalia Azarova** (Moscow) — Doctor of Philology, Leading Researcher of the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, Head of the Center for Linguistic Studies of World Poetry; poet, translator. Research interests: language of poetry, language of philosophy, cognitive poetics, interlingual and interdiscursive interaction.

**Reet Bender** (Tartu) — PhD (Tartu, 2009), lecturer of the Department of German Philology, College of world languages and cultures of the University of Tartu. Research interests: Baltic German language and lexicography, historical multilingualism studies, Baltic German history of culture, translation, memoirs, memory spaces and linguistic landscapes.

**Maria Borovikova** (Tartu) — PhD in Russian Literature, Research fellow, Department of Slavic Studies, University of Tartu. Field of research: Russian poetry of the 20th century, issues of the film adaptations of Russian literature, Russian culture in Estonia, creativity of M. Tsvetaeva.

**Timur Guzairov** (Tartu) — PhD in Russian Literature, Research fellow, Department of Slavic Studies, University of Tartu. Field of research: Russian culture in Estonia, V. Zhukovsky's creativity.

**Natalia Kamovnikova** (St. Petersburg) — PhD in Germanic Languages, Associate Professor of the Department of Psychology, Pedagogy, and Translation Studies, St. Petersburg University of Management Technologies and Economics. Fields of research: Literary translation in the Soviet Union, translation and state control, translation activism, time and space in literary translation

**Ljubov Kisseljova** (Tartu) — PhD in Russian Literature, Full Professor of Russian Literature, Head of the Department of Slavic Studies, University of Tartu. Field of research: Russian literature and culture of the 18th and 19th centuries, Russian culture in Estonia, heritage of Y. Lotman, various aspects of imperial and nationalistic discourse.

**Sirje Kupp-Sazonov** (Tartu) — PhD in Russian Language, Lecturer in Russian Language and Translation Studies, University of Tartu. Field of research: Russian-Estonian translation, comparative grammar, the role of grammar in translation.

**Anne Lange** (Tallinn) — PhD (Tallinn, 2007), Associate Professor of Translation Studies at Tallinn University. Research interests: Estonian history of translation, Estonian cultural history, translation theory.

**Maria-Kristiina Lotman** (Tartu) — PhD (Tartu, 2003), Associate Professor at the University of Tartu, Department of Classics. Research interests: ancient versification, Estonian verse from the typological point of view, history of quantitative meters, verse translation.

**Daniele Monticelli** (Tallinn) — PhD in Semiotics and Cultural Theory (Tartu, 2008). Professor of Italian studies and semiotics at Tallinn University. Research interests: translation and ideology, translation and cultural identity, philosophy of language, literary semiotics, contemporary critical theory (G. Agamben's, A. Badiou's and Jacques Rancière's political theories).

**Larissa Naiditch** (Jerusalem)— PhD, Senior Research Fellow, Department of Linguistics, The Hebrew University of Jerusalem. Field of research: Germanic languages, phonology, theory of translation.

**Anna Pavlova** (Mainz) — PhD, Research Fellow, Slavic Department of the Faculty "Language. Translation. Culture", University of Mainz (Germany). Field of research: German language, phonology, semantics, theory of translation.

**Lea Pild** (Tartu) — PhD in Russian Literature, Associate Professor of Russian Literature, Department of Slavic Studies, University of Tartu. Field of research: history and poetics of Russian literature of the 19th and 20th centuries, Russian symbolism and pre-symbolism, creativity of Fet, Turgenev, Blok, Russian culture in Estonia, translation theory and practice, heritage of Zara Mints.

**Anna Senkina** (Saint-Petersburg) — PhD in Russian Literature, independent researcher, member of the Editorial Board of "Children's Readings" (Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom) of the Russian Academy of Sciences). Field of research: the history of educational publishing of 19–20<sup>th</sup> century, the history of readingbook and textbook, the history of children's magazines, history of children's literature of 19–20<sup>th</sup> century.

**Elin Sütiste** (Tartu) — PhD (Tartu, 2009), Associate Professor at the Department of Semiotics, Institute of Philosophy and Semiotics, University of Tartu. Research interests: semiotics of culture, translation theory, Estonian translation history, translation poetics.

**Anastasia Shakhova** (Mainz) — PhD Student in General Translation Studies, M. A. in Translation Studies, Lecturer, member of the research group “Politics of Translation”, Johannes Gutenberg University of Mainz. Field of research: travelling theories in the discourses of translation studies, descriptive translation studies, politics of translation.

**Tatiana Stepanischeva** (Tartu) — PhD in Russian Literature, Research fellow of Russian Literature, Department of Slavic Studies, University of Tartu. Field of research: history and poetics of Russian literature of the first half of the 19th century, Russian culture in Estonia, creativity of Pushkin, V. Zhukovsky, P. Viazemsky.

**Anna Vesselko** (Tartu) — Doctoral student in the Department of Slavic Studies, University of Tartu. Field of research: the formation of the literary canon, the official and educational literary canon, the evolution of the course of Russian literature in the Estonian Soviet school.

**Susanna Witt** (Stockholm) — PhD (Stockholm, 2001), Associate Professor in Slavic Languages and Literatures and Senior Lecturer in Russian at the Department of Slavic and Baltic Languages, Finnish, Dutch and German, Stockholm University. Fields of scholarly interest: history of Russian literature of the XIX–XX centuries, history, theory and practice of translation in Russia, biographies and works of Russian translators, culture of the Stalin period, life and works of Boris Pasternak, poetry of Russian modernism.

**Elena Zemskova** (Moscow) — Candidate of Philology, Associate Professor at the School of Philology, Faculty for Humanities, National Research University — Higher School of Economics. Research interests: comparative literature and translation history. She published a number of articles on the history of translation in the USSR in 1930s and history of the ‘International literature’ magazine.

## ИЗДАНИЯ СЕРИИ “ACTA SLAVICA ESTONICA”

### Acta Slavica Estonica I

Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика XV: Очерки по истории и культуре староверов Эстонии III / Отв. редактор И. П. Кюльмоя. Тарту, 2012. 337 с.

### Acta Slavica Estonica II

Works on Russian and Slavic Philology. Literary Criticism VIII: Jaan Kross and Russian Culture / Managing editor L. Pild. Tartu, 2012. 256 p.

### Acta Slavica Estonica III

Slavica Tartuensia X: Славистика в Эстонии и за ее пределами / Отв. редактор А. Д. Дуличенко. Тарту, 2013. 289 с.

### Acta Slavica Estonica IV

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение IX: Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон / Отв. редакторы А. Вдовин, Р. Лейбов. Тарту, 2013. 345 с.

### Acta Slavica Estonica V

Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика XVI: Антропоцентризм в языке и речи / Отв. редактор И. П. Кюльмоя. Тарту, 2014. 365 с.

### Acta Slavica Estonica VI

Studia Russica Helsingiensa et Tartuensia XIV: Russian National Myth in Transition / Managing editor L. Kisseljova. Tartu, 2014. 300 p.

### Acta Slavica Estonica VII

Блоковский сборник XIX: Александр Блок и русская литература Серебряного века / Редактор тома Л. Пильд. Тарту, 2015. 269 с.

### Acta Slavica Estonica VIII

Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика XVII. Свое – чужое в языке и речи / Отв. редактор И. П. Кюльмоя. Тарту, 2016. 356 стр.



